

НОВОБЫТЪ
МІР

7

1951

7

НОВОБЫТЪ МІР

1951

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXVII

№ 7

Июль, 1951 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

ВАНДА ВАСИЛЕВСКАЯ — Реки горят, роман. Авторизованный перевод с польского Е. Усиевич	Стр. 3
МАРГАРИТА АЛИГЕР — Красивая Мэча, поэма	104
ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ	
И. ЖМЫХОВ — В новом Китае. Литературная обработка С. Артемьева	153
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
ГОВАРД ФАСТ — Пикскилл, США. Перевод с английского И. Кулаковской и В. Крючковой	177
ПРОБЛЕМЫ НАУКИ	
Академик В. А. ОБРУЧЕВ — Наступление на пески	222
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
Е. СУРКОВ — Тема большой родни (О новых произведениях трёх украинских прозаиков)	233
В. АЛЕКСАНДРОВ — О двух откликах на статьи С. Маршака	252
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Б. Рюриков. Мировоззрение Добролюбова. — С. Евгенов. Новая поэма о Ленине. — Д. Данин. Утро великой стройки. — И. Кротова. Обеднённые образы. — В. Архипов. Монография о Некрасове.	257
<i>Международные отношения. Наука</i>	
Кандидат исторических наук М. Юрьев. Победный путь китайского народа. — Д. Милюткина. От Гитлера до Трумэна. — Профессор Б. Кузнецов. Ценное исследование о Ломоносове. — Ю. Милёнушкин. Заметки биолога о заметках писателя.	274
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ (май — июнь 1951 г.)	286

ИЗДАТЕЛЬСТВО

•ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР•

Москва

ВАНДА ВАСИЛЕВСКАЯ

★

РЕКИ ГОРЯТ

Роман

Глава 1

Ядвига с трудом протискивалась сквозь толпу, забившую вокзал. За путями, на пустырях, под заборами, в закоулках между железнодорожными строениями раскинулся огромный бивуак. Люди сидели на узлах и чемоданах, метались во все стороны, таскали откуда-то щепки, уголь, и в воздух взвивались дымы костров. «Маня! Маня!», — то ближе, то дальше кричал отчаянный женский голос, словно ножом разрезая сплошной гул стоголосой толпы.

Ядвига кутала в шаль своего сына. День был тёплый, но ребёнок видно, совсем расхворался. Он тяжело висел у неё на руках. Руки деревенели, — казалось, ребёнок выскользнет из них. Но Ядвига боялась даже поправить его — при каждом движении помутившиеся, невидящие детские глаза болезненно жмурились, а из зажёванных губ вырывался слабый дрожащий стон и отдавался в сердце Ядвиги, как внезапный удар. Она старалась ступать осторожно, тщательно сторонилась людей и со страхом думала, что её могут задеть, толкнуть, и тогда опять протяжно застонет ребёнок.

Да, ему становилось всё хуже. Ещё вчера утром он играл и смеялся и только к вечеру начал плакать, отказываясь от еды. А теперь он весь горит и как будто совсем перестал узнавать её. Она нащёптывала ему нежные слова, уговаривала, что всё будет хорошо, найдётся врач, посоветует, поможет. Но этим шёпотом она утешала только себя, идя в толпе, которая выносила её из тесного вокзала на широкую улицу.

Распрашивать о дороге не пришлось — все торопились в одном направлении, к польскому посольству. Улица выглядела так, словно по ней двигалась огромная процессия, хотя в ней был самый разный и случайный люд, бредущий с вещами, идущий налегке. Где-то тут же рядом с Ядвигой одноногий человек упрямо стучал костылём по выщербленным плитам узкого тротуара. Многие шли прямо по грязной мостовой.

— Поезда уже сформированы, — сказал кто-то.

— Не знаю только, кто в них попадёт, — ответил ему сердитый, нетерпеливый голос. — Видел, что на вокзале делается?

— Чёрт бы их побрал, с их порядками...

Ядвига, как сквозь туман, слышала обрывки разговоров, проклятия, внезапные взрывы смеха, плач девочки, не поспевающей за матерью.

— Осторожней! — почти крикнула Ядвига, когда какой-то усатый субъект бесцеремонно толкнул её плечом.

Он возмутился:

— Скажите, принцесса на горошине! И чего вы прёте с ребёнком? Вот народ — прямо как бараны... Поезда стоят, так нет того, чтобы по-

дождать, пока придут и разместят по вагонам, все лезут в посольство, будто там золотые часы раздавать будут...

— Хоть бы хлеба дали, — откликнулась какая-то дамочка в галошах на босу ногу. — А уж без часов как-нибудь обойдёмся.

— Хлеба... Уж союзнички похлопочут, чтобы хлеба не было... Вымоют они нас голодом в дороге, вот увидите.

— Что же вы сами-то на вокзале не дожидаетесь, а тоже в посольстве прёте? — насмешливо спросил мрачного усача тощий верзила в фуражке с разорванным козырьком.

Усач покраснел.

— Стало быть, дело есть.

— У каждого дело есть, — вмешалась дама, шлёпая галошами, на каждом шагу спадающими с её босых ног. Слух Ядвиги ловил это мерное шлёпанье галош. Она старалась вслушаться в разговоры, но они проходили мимо сознания, и невольно она ждала лишь очередного чавканья галош. Этот звук стал казаться признаком, что она идёт, куда надо, ведь дама в галошах сказала, что у неё дело в посольстве. Нужно было только прислушиваться к её шагам, не терять их звука среди назойливо заглушавшего эти шаги говора толпы.

Только бы добраться до посольства...

Но это оказалось не так-то легко. Перед зданием посольства стояла толпа. Лестница тоже была забита толпой. Кипели ссоры и пререканья.

— Куда вы лезете, мадам?

— Какого чёрта за два часа очередь с места не сдвинулась?

— А с чего ей двигаться? Никого не принимают.

— Как так, не принимают! Это ещё что за порядки? Люди ждут...

— Ну да, и господин посол тоже только и ждёт, когда вы, мадам, к нему явитесь.

— А чем ему тут заниматься ещё?

— Вот именно!

Откуда-то сверху, с лестничной площадки вдруг раздался голос. Позвидимому, что-то объявили.

— Тише!

— Сам погише!

— Да успокойтесь же, черти драповые, там что-то говорят.

— Кто это черти, позвольте спросить?

— Ах, как мы нежно воспитаны!

— Ещё бы! Ясновельможное панство в посёлках хорошему тону обучалось, теперь к нему без палки и не подходи!

— Прошу пропустить меня, мне нужно немедленно! — кричала дама в шляпке.

— Уборная внизу, во дворе, к вашему сведению, раз вам так срочно.

— Хам!

— Ого-го-го!

Дама в шляпке бесцеремонно работала локтями. Вдруг она пронзительно вскрикнула:

— Послушайте, дорогой мой, я не могу пробиться!

Сверху раздался повелительный голос:

— Господа, будьте любезны пропустить эту даму.

На лестнице зашумели.

— Это ещё почему? Все ждут.

— Не пускать её, и всё тут!

— Что это, надо в шляпке быть, чтобы туда попасть?

— Стоп, стоп, сударыня, не так бойко, — преграждал дорогу всё тот же худой верзила в рваной фуражке.

Но сверху уже проталкивался молодой человек с чёрными, гладко прилизанными на прямой пробор волосами. Дама в шляпке ухватилась за его рукав.

— Ах, дорогой мой, что это за люди, что за люди!

— Глядите-ка, люди ей не нравятся...

— А как же, в шляпке...

— Ясновельможная пани!

— Большевицкие порядки хотят завести! — отчаянно пискнула дама в шляпке, буксируемая сильной рукой прилизанного юнца.

— Это мы-то большевицкие порядки заводим? А вы, мадамочка, где были, когда мы в лагерях сидели?

— Там, небось, шляпок с пёрышками не выдавали.

Ядвига притиснула к стене у дверей, приоткрытых в какую-то переднюю. В эти двери никого не пропускали, прорвалась только дама с пёрышком. Ребёнок как будто спал. Ядвига боялась его выронить, так одеревенели её руки. И ноги подгибались, — пожалуй, даже лучше, что такая давка, а то бы она наверно упала. Голова кружилась, грязную лестничную клетку словно затянуло туманом.

— Не курите, господа, выдержать невозможно от этой махорки...

— А вы, сударыня, угостите «Египетскими», тогда мы махорку бросим.

— Уж так нежно воспитаны, говорю тебе, Франек, так нежно воспитаны! Не где-нибудь, а в посёлках, на кизьяках. Они там к таким ароматам привыкли, что теперь — ну, никак...

— И зачем только вас, мама, понесло ехать? — ворчал в сторонке срывающийся юношеский голос. — Могли бы спокойно сидеть на месте, подождать, пока все эти толпы перекачатся.

— Молчи, Марцысь, — отвечал женский голос. — Ведь все едут.

— Сперва вы поднимали крик, что надо готовиться к зиме, а когда мы всё приготовили, тут вас и понесло куда-то...

— Господи, господи, с вами вечно... Владек там тоже, наверное, не смотрит за вещами, а где-нибудь шатается.

— Да бросьте волноваться, мама. И так нас со всеми вещами в поезд не пустят, вот увидите.

— Что ты болтаешь? Как это не пустят? Уж я им скажу... Что это такое? Голые, босые должны ехать, что ли?

— Ну уж, голые, босые...

— Перестань, Марцысь, говорю тебе... Боже, боже, вечно у меня с вами...

— Тише!

Снова раздался голос молодого чиновника.

На этот раз Ядвига услышала:

— Господа, прошу не толпиться, прошу успокоиться... И вообще стоять здесь незачем. Господин посол занят, никого не принимает и принять не может. Господин секретарь тоже занят. Поезда есть, ступайте на вокзал, мы всех по очереди отправим.

— То-то и есть, что «по-очереди»! А когда очередь придёт?

— Три дня женщины с детьми под открытым небом дожидаются!

— Есть нечего!

— Господа, продукты выдают только на вокзале. Все вопросы разрешаются на месте, на вокзале. На вокзале работает представитель посольства...

— Да ведь мы с вокзала и идём, никакого представителя там нет.

— Где он, этот представитель?

— Господа, повторяю ещё раз, прошу не толпиться! — вышел из

себя юнец, и прядка лоснящихся чёрных волос отделилась от прилизанной причёски, смешно подрагивая над тёмными бровями. — Здесь вы, господа, ничего не выстоите. Прошу возвратиться на вокзал и терпеливо ожидать.

— Вам-то хорошо говорить «терпеливо»!..

— Смотрите на него, какой...

— Чего ожидать?

— Я уже сто раз вам говорил: поезда отправляются один за другим. Здесь вы можете дожидаться только того, что поезд отойдёт без вас. Прошу итти на вокзал.

— Боже, боже, какие дети! Вечно с вами что-нибудь... Ну, что ж, итти так итти... — Женщина, слишком укутанная для тёплого осеннего дня, стала медленно выбираться из толпы. — Не толкай меня, Марцись.

— Да я вас вовсе не толкаю. Вы вот зря здесь толкались, мама.

— Ну никакого уважения к матери нет.

На лестнице стало просторнее. Бормоча под нос или громко ругая неведомо кого, люди один за другим спускались вниз. Толпа вокруг вылощенного юнца поредела. Ядвига робко тронула его за рукав.

— В чём дело? Я же сказал...

— Ребёнок, ребёнок заболел... Доктора бы...

— Я сто раз говорил — на вокзале! В поезде. И врач, и всё. — Он уже хотел отвернуться, но что-то во взгляде Ядвиги остановило его. Тёмные глаза умоляюще смотрели с исхудавшего, измождённого лица. Он нехотя бросил взгляд на ребёнка. Дитя как будто спало, но веки были сомкнуты неплотно, и сквозь них виднелась мутно-синяя, словно расплывшаяся во весь белок радужная оболочка.

— Ну что ж, я дам вам записку, чтобы вас посадили в первый же эшелон. Только поторопитесь, он должен часа через два отойти.

Он вытащил блокнот и авторучку и тут же нацарапал несколько слов, скрепив их подписью с энергичным росчерком.

— Там и врач, и всё необходимое. Вы поедете сразу, без всякой задержки.

Она медленно шла обратно. Разве дело в записке? Как поедет она с больным ребёнком? Ведь малыш и вчера стонал при каждом толчке, при каждой остановке поезда. Вот если бы можно было уложить его спокойно, развернуть, снять с него все эти платки и шали, не бояться всё время, что вот-вот он опять застонет... Надо было объяснить всё это тому элегантному молодому человеку — может, он сжалился бы над ребёнком. И возможно ли, чтобы там вовсе не было врача? Пусть бы, по крайней мере, сказал, что это за болезнь... Что могло вдруг случиться с ребёнком? Ведь он был совсем здоров, когда они выезжали. И вообще до сих пор никогда не болел. Только раз у него заболело ушко. Но тогда ей дали подводу, она съездила в районный центр, там осмотрели, вычистили, дали лекарство — и ребёнок скоро выздоровел. А теперь? Надо было добиваться, чтобы ей разрешили не ехать, остаться на время с ребёнком где-нибудь в городе, дожидаться улучшения.

Вернуться разве? Но она отошла уже довольно далеко, и колени её подгибались от усталости.

Теперь уже двигались две толпы по двум направлениям — от вокзала к посольству и от посольства к вокзалу.

— Что это за река? — спросил мальчик, одетый в нарядную матроску, но босой и в рваных штанишках. Идущая с ним женщина не знала.

— Да ведь это и есть эта ихняя Волга, — объяснил кто-то.

Ядвига невольно подняла глаза и взглянула налево. Улицы в эту сторону понижались, спускались вниз, а там широко разливалась огромная, величественная река. За ней тонула даль в лиловой мгле, в голубом тумане, в серебристо-серой тени. Оттуда веяло сонной тишиной, кроткой улыбкой осеннего солнечного дня. Ах, не толкаться бы в толпе, забившей вокзал, не трести малыша в грохочущей и шаткой теплушке, а пойти с ним в эту лиловую, ласковую и кроткую даль, в этот тихий мир, прозрачный, как далёкая детская сказка, когда-то слышанная и давно забытая.

Но лиловая даль была недостижима, она раскинулась за широкой, мощной рекой, равнодушно катящей свои сверкающие волны. А вскоре и река, и необозримые просторы по ту сторону её скрылись за рядами высоких домов. Перед Ядвигой снова был вокзал, и уже издали до неё доносился нестройный звук голосов, сливающихся в один сплошной шум.

Представитель посольства и вправду был на вокзале. Он перебежал с платформы на платформу, что-то кричал охрипшим голосом и отчаянно вырывался из рук, которые хватались за полы его светлого демисезонного пальто. Он яростно отмахнулся от Ядвиги. И только советский железнодорожник указал ей, куда надо идти.

— Прямо, прямо, а потом направо. Скоро и посадка начнётся.

Вагоны были ещё заперты. Ядвига бессильно присела на какие-то железные балки или рельсы, лежащие между путями. В глазах мелькали разноцветные пятна. Она осторожно положила ребёнка на колени. Спит, слава богу, спит... И вдруг её охватил леденящий страх: а если не спит, вдруг он?.. Нет, нет, нельзя даже думать об этом, чтобы не накликал беды.

Маленькая головка беспомощно перекатилась вбок, и ребёнка вырвало. Без усилий, словно грудного, срыгивающего излишек пищи. Ядвига тщагательно обтёрла платком запёкшиеся губки сына. Наверно, он чем-то отравился. Может быть, молоко, которое она с таким трудом вчера достала, было не такое свежее, каким казалось. Может, даже хорошо, что его вырвало, — желудок очистился, ему станет лучше.

— Прошу вас, господа, не толкаться! Стать в очередь, листки держать в руках!..

Она вскочила. Ребёнок снова застонал.

— Не надо, сыночек, не надо, сейчас будем в вагоне, уложу тебя, дам чайку, — шептала она, словно малыш, который опять засыпал, только и ждал холодного чая из бутылки, которую она несла в узелке.

У вагона сразу же начался скандал.

— Куда вы лезете? Листок, я сказал! Листок с номером эшелона! Где у вас листок?

— Какой ещё, ко всем чертям, листок?

— Да ведь выдавали листки, на вокзале выдавали! Чего вы стали на дороге? Посторонитесь!

— Сами, мадам, посторонитесь! Поезд для всех.

— Все в один не влезут, на то и очередь.

— Прошу отойти. Я буду впускать только тех, у кого есть листки с номером эшелона. С номером пять.

— А где было взять листок?

— Да не мешайте же! Люди с утра в очереди стояли, получали листки, а этот пришёл на готовое! Эй вы, господин, хватит нянчиться с ним, он тут всех задерживает.

Высокого субъекта без листка оттолкнули в сторону от дверей. Соза-

ди толпа так напирала, что плотная женщина в ватной кофте — та, что спорила с сыном в посольстве, — едва не рухнула с приставной деревянной лесенки.

— Спокойней, прошу вас, спокойней, по очереди!

Оказалось, что в вагоне уже есть пассажиры, несмотря на то, что он был заперт. В углу, поближе к железной печке с изогнутой ржавой трубой, уже устроилось на грудах узлов несколько человек.

— Ого, да тут уже сидят...

— Это каким же чудом?

Стоявший в дверях представитель посольства грозно обернулся.

— Это никого не касается. Раз сидят, значит имеют право. Следующий, пожалуйста!

— Не касается... Опять какая-нибудь протекция?..

— А вы когда-нибудь видели, чтобы обходилось без протекции?

— Попрошу без замечаний! — заорал опять контролёр. — А это ещё что? Где номерок?

— У меня записка, записка из посольства... — робко сказала Ядвига.

— Ага, записочки из посольства... — язвительно заметил кто-то. — Значит, не обязательно номерок, годится и записочка?

— Ну, разумеется, одни с утра должны стоять в очереди, а другие...

Но Ядвига словно не слышала ехидных замечаний. В вагоне было ещё довольно просторно, она быстро нашла место на охапке соломы, опустилась на неё и только тогда почувствовала, как невероятно устала. Рука, на которой лежал ребёнок, с трудом разгибалась. Узелок, который она с собой таскала, натёр её другую руку, оставив на ней широкую, синюю с кровоподтёками полосу.

Она хотела напоить ребёнка, но это не удалось. Холодный бледный чай вылился из угла рта — малыш даже глаз не открыл. Между неплотно сомкнувшимися веками виднелась стеклянная полоска белка и краешек мутно-синей радужной оболочки. Ядвига прислонилась головой к стене теплушки. Вокруг неё шумели, толпились, искали места всё прибывающие пассажиры.

— К чёрту с этим барахлом, — волновался кто-то. — Завалили весь вагон. И откуда столько набрали? Как, ещё корзина? Вам бы надо отдельный вагон себе заказать.

— Вот видите, мама, — услышала Ядвига уже знакомый голос.

— Ставь, ставь чемодан, — послышался ответ. — Здесь будет удобнее. Владек, да побойся ты бога, где же тот узел, что в одеяле?

— Какой ещё узел?

— Ну, не горе ли с этими мальчишками?.. Который в сером одеяле. Оставил? Выскочи-ка поскорей... Боже, боже, наверно, уже украли...

— Да чего вы, мама, мечетесь? Вон он лежит, ваш узел...

— Мой? Почему мой? Такой же твой, как и мой.

— Нет уж, мне вы этого барахла не навязывайте. Говорил я, не тащите всякой рухляди, а вы...

— Ох, уж эти дети... — застонала женщина и стала разматывать чёрный вязаный платок. — А жара, не дай бог!

— Ещё бы не жара! Ведь вы, мама, сто одежек напялили, будто на Северный полюс собрались.

— Марцысь, Марцысь... Неужто же ещё один узел надо было связывать? Лучше на себя надеть. А то бы вы с Владеком опять набросились...

— Уж так мы и набрасываемся!

В сторонке кто-то тягуче рассказывал:

— Ну вот, мы это сейчас собрались, и на станцию... Три дня, милая вы моя, на этой подводе... Я уж думала, не доеду, всю душу из меня вытрясет... А пыль! Так на зубах и скрипит, лёгкие у меня и сейчас, наверно, чёрные, не откашляешься. Лошадёнка какая-то замученная, а уж эта подвода, прости господи... Но я уж так себе сказала: раз надо, так надо...

В углу капризно хныкала чья-то девочка.

— Тихо, тихо, золотко моё, сейчас поедем, вот сейчас, сейчас и поедем... На, возьми яблочко, скушай...

— Не хочу яблочка...

— А пирожка? Может, пирожка? Скушай, золотко, скушай хоть кусочек...

— Не хочу пирожка...

— А воды с соком?

— С каким соком?

— С малиновым, золотко, с малиновым.

— С малиновым не хочу...

— А по заднице хочешь? — ворвался в эту семейную идиллию грубый голос. Девочка окаменела, открыв рот. Мать, как львица, кинулась на её защиту.

— А вам что? Как вы смеете? Хамство какое...

— Заткнитесь, дамочка. Ишь, глядите на неё, хамами обзывает... Вы бы лучше своего ублюдка успокоили, и без него шума хватает...

— Кто это ублюдок? Моё дитя ублюдок? Моё дитя?

Девчонка, пользуясь случаем, издала пронзительный визг. Мать схватила её в объятия.

— Тихо, моё солнышко, тихо, моё золотко... Как она, бедняжка, перепугалась! И не стыдно так пугать ребёнка? Что за люди пошли, что за люди!..

У дверей опять началась сутолока.

— Как, вы ещё впускаете? На головы друг другу сесть прикажете, что ли?

— Напихали барахла, вот для людей и нет места.

— Ну послушайте только, какой-нибудь несчастный чемодан уж всем глаза колет... У самого нет, так он другим завидует.

— Подвиньтесь, пожалуйста.

— Куда я подвинусь? На потолок? Взбесились, что ли? Что ж нам, как скоту ехать?

— Ну, ну, не орите, дамочка. А ну, подвиньтесь!

— Не пускать больше никого, не пускать!

— Вот какой народ пошёл... Сам влез, так уж другому не надо, — возмутилась маленькая худощавая женщина, ловко взбираясь по лестнице. Но едва очутившись в вагоне, она тотчас присоединилась к хору протестующих: — И так нас, как сельдей в бочку, напихали! Куда ещё втискивать! Есть ведь и другие вагоны...

— Ага, какая умная... А в другие вагоны прямо так и приглашают, скучно им одним ехать, компании ищут...

— Пойдут же следующие эшелоны.

— Пойдут, как же! Вот вы их, господин хороший, и подождали бы, если угодно, следующих эшелонов. Какой умник нашёлся...

— Одного понять не могу, — повернулась вдруг к Ядвиге обладательница двух строптивых сыновей и груды вещей. — Откуда это столько мужчин набралось? Толкаются, отнимают место у женщин и детей, вместо того, чтобы итти в армию этого... Андерса... Роек моя

фамилия,— представилась она, энергично подавая руку.— Вон, глядите, здоровые молодые мужики. В Бузулук бы ехали, в лагеря, а не шатались по свету...

— Ишь, какая боевая! — вознегодовал молодой человек, почти не видный за грудой узлов.

— А что ж... Раз война, место мужчины на фронте.

— Нам-то, небось, сами запретили? — ворчливо напомнил Марцысь.

Госпожа Роек так стремительно обернулась к нему, что солома зашуршала.

— О мужчинах разговор, а не о детях!

— Хороши детки! — неприязненно отозвался юноша из-за груды узлов.

— Вечная беда с этими детьми... Рослые такие, поглядишь — и в самом деле взрослый парень... Вон Марцысь уж раз и комендантский патруль останавливал, воинские документы спрашивал... А ему в июле только пятнадцать исполнилось — как раз когда после договора с Сикорским амнистия вышла... А Владек на год моложе... Вот только в головах у них сейчас всё вверх ногами перевернулось. К матери — никакого уважения, к старшим — никакого уважения! В армию им, да и всё!.. Говорю им, объясняю: куда вам, вы же ещё дети, мать одну, одинёхоньку бросите...

— Ну, уж кто-кто, а вы, мама, как-нибудь и одна справитесь.

— А как бы ты думал? Разумеется, справлюсь. Всюду можно как-нибудь устроиться. Муж, покойник, царство ему небесное, такая размазня был, что, хочешь не хочешь, приходилось самой справляться, хотя я и женщина... А если бы не это...

Ядвига не слушала. Ребёнок лежал у неё на руках и прерывисто дышал. А в посольстве её обманули. Никакого врача в поезде не было. Ей смеялись в глаза, когда она о нём спрашивала. Только и всего, что дали баночку сгущённого молока да проводница принесла кипятку, чтобы распустить его в бутылке. Ядвига наклонила жестяную кружку к запёкшимся от жара губам ребёнка и хотела было поднять его головку, но голова была закинута назад, не поддавалась, и ребёнок лежал неподвижно, вытянувшись. Шея не сгибалась под её рукой.

— Что это с вашим сыночком? — сочувственно спросила госпожа Роек.

— Не знаю. Простудился, видно, что ли...

— Придумают тоже, с больным ребёнком в вагон лезут, — резко сказала мать капризной девочки. — Ещё другие дети заразятся.

Ядвига не ответила. Действительно, был ли смысл садиться с малышом в вагон? Да и вообще, в чём тут был смысл?

«Зачем я, собственно, еду?» — вдруг удивилась она. И только теперь, словно в лихорадочном сне, припомнила письмо Хожиняка, мужа. Как он её разыскал? Откуда вдруг взялся? Ведь он исчез тогда, зимой тридцать девятого, сказал, что идёт за румынскую границу. И потом — ни слова, ни признака жизни. И вдруг два года спустя, когда она думала, что он уже где-то далеко... Нет, неправда, этого она не думала, она просто никогда о нём не думала... И вдруг письмо. Короткое извещение, что он находится в армии Андерса. И чтобы она, Ядвига, ехала на юг вместе со всеми.

Некоторые, правда, оставались. Но она словно не могла не подчиниться велеанию этого письма. Собралась и поехала.

Значит, Хожиняк где-то здесь. Может, даже в этом Бузулуке. Может, даже в самом Куйбышеве, откуда, пыхтя и скрежеща, двигался поезд. Кто знает? Он не дал адреса, ничего не написал о себе. Хожиняк — её

муж. Только она никогда не думала о нём ни «муж», ни «Владислав», а всегда — «Хожиняк». Как прежде, в самом начале, когда он только ещё приехал в Полесье и стал заходить в их дом над рекой.

Нет, о доме над рекой ни за что, ни за что нельзя думать. О журчании воды, о её зеленоватом полумраке под тенью верб, о шелесте высоких тростников, о калине, покрытой белыми гроздьями цветов или взрывающейся пучками пламенных ягод — обо всём этом думать нельзя. Это было, это прошло, миновало — и конец. Та страница перевернулась навсегда, к ней не надо возвращаться. Под шорохом верб, под зелёным шатром ветвей, в плеске озера, в шуме реки, укрытая где-то глубоко внизу, притаилась жгучая, горькая боль. Боль тяжкая, невыносимая, её надо было во что бы то ни стало избежать, до неё нельзя докапываться, не то она бросится на сердце, вопьётся в него железными когтями, отнимет остатки сил. А силы нужны для сыночка, для сыночка...

— Это какая-то заразная болезнь. Я протестую! У него сыпь, смотрите, какие красные пятна! — вдруг запищала мамаша капризной девочки. Ядвига помертвела: и правда, на лице малыша появились красные пятна. Откуда? Ведь ещё минуту назад их не было, наверняка не было, ведь она всё время смотрела на маленькое личико, как же она могла бы не заметить? И всё же пятна были — та, другая, чужая мать тотчас их увидела.

— Это безобразие! Он всех детей заразит! — металась дама с девочкой.

Госпожа Роек вступилась за Ядвигу.

— Так что же делать женщине? Вылезть с ребёнком в чистом поле, что ли?

— А зачем она садилась в поезд? Что она, не видела, что ребёнок болен? Зосенька, сиди на месте, не шевелись! Наташили сюда заразы, ещё заболеешь! Ни на шаг не смей от меня отходить... Вот, на тебе конфетку, золотко моё бедное, только не шевелись, мама тебя умоляет, сиди возле мамы...

— Вы бы сами лучше спокойно сидели, — негодовала Роек. — Примерещилось вам что-то, вот вы и видите сыпь... Конечно, ребёнок болен, но никакой сыпи на нём нет...

— Как это нет, слепая я, что ли?

Действительно, красные пятна исчезли, словно их и не бывало. Ядвига наклонилась к ребёнку. Лицо его было изжелта-бледно, красных пятен и следа не осталось.

— Слепая-то вы, может, и не слепая, а только у страха глаза велики, — успокаивала госпожа Роек.

— Конечно, вам-то бояться нечего, ваши верзилы не заразятся...

— Ну, ну, пожалуйста! Только уж верзилами не обзывайте.

— Да оставьте вы её в покое, мама, — пробормотал Марцьёс. И на этот раз мать тотчас с ним согласилась.

— А и вправду, дитя моё. Стоит ли бог знает с кем связываться? Никакого смысла нет.

Из-за груди узлов доносился сначала тихий, потом всё более громкий разговор. Высокий молодой мужчина разъяснял другому, который сидел перед ним на корточках:

— Долго всё это не протянется. Бьют их, только пух и перья летят. Минск взят, Киев взят. Вы думаете, это изменится? Куда там! Скоро немцы до Москвы дойдут. Видели в Куйбышеве — уже некоторые учреждения туда эвакуированы. Вот потому-то нам и надо на юг, как можно дальше на юг. Сюда немцы тоже дойдут. Я вам говорю — дей-

дут, и скорее, чем некоторые думают. Ещё бы! Этакая армия... А там, куда мы едем, граница близко — мы и ходу!

— А... как же наши войска?

Высокий наклонился к собеседнику.

— Вы что думаете, Сикорский сумасшедший? Вот увидите, как этих азиатов надуют, уж я вам говорю...

— А договор?

— Какой там договор? Послушайте, меня не обманешь! Договор договором, а рассудок рассудком... Наша армия ещё пригодится. Вы думаете, нас и вправду бросят на немцев? Ну, не-ет. Хватит с нас, уже довольно нашей крови пролилось... Пусть теперь большевики попробуют...

— И что же из всего этого может выйти?

— Ну, как вы не понимаете, это ребёнку ясно... И большевики, и немцы обессилят, истекут кровью — и тогда мы с готовой армией наведём порядка.

Собеседник вздохнул.

— Так-то оно так... Только Сикорский другое говорит.

— Сикорский... К счастью, у нас не один только Сикорский, знаете ли... Да и что там Сикорский? Андерс, вот это вождь, я вам доложу!

В другом углу вагона уже некоторое время продолжался приглушенный спор, который в конце концов превратился в шумную ссору.

— Что это такое, я вас спрашиваю? Всем дали сгущённое молоко, а нам нет? Что это за порядки, я вас спрашиваю?

— Нет больше молока.

— Что значит — нет? Целый вагон продуктов прицеплен, мы же видели. Что же, выходит, мои дети не дети, что ли?

— Заткнитесь, мадам, нечего тут квакать, как лягушка!

— Что это за шутки? Мне не шутки нужны. Я спрашиваю: где молоко для моих детей? Взрослые получили, а дети не получили?

— Перестань, Малка, оставь, — потихоньку успокаивал её муж.

— Что значит — перестань? Я спрашиваю, что это за порядки?

— Станем мы ещё евреев молоком кормить! — ядовито заметил верзила в фуражке с рваным козырьком. — Мало они сами везут...

— Кто везёт? Я везу? У меня ничего нет! Откуда это я могу везти?

— Уж у евреев-то ни в чём нужды не будет...

— Говорю тебе, Малка, оставь, — просил бородатый мужчина.

— Хватит орать, баба. Кончилось ваше еврейское царство.

— Ты только посмотри, Абрам, ты только посмотри! Ведь молоко от «Джойнта»! О, смотри, на ящике написано!

— Ну и что с того, Малка, что от «Джойнта»?

— Что за «Джойнт» такой? — заинтересовался кто-то.

— Это ихняя, еврейская организация в Америке, — объяснил другой.

— Ну, и что с того?

— Ты, Малка, сиди тихо. Пусть они на здоровье съедят это еврейское молоко. А то хуже будет, ещё эти хулиганы тебя из вагона выкинут.

— Это кто хулиган? — грозно приподнялся верзила в рваной фуражке.

— Никто не хулиган... Разве я что говорю? Я ничего не говорю... Тише, Малка, тише...

До Ядвиги этот говор в вагоне доносился как бы издали. Ребёнка снова рвало. Напряжённо закинутая назад головка позволяла ещё яснее увидеть в прорезе век мутные закотившиеся глаза. То тут, то там опять появлялись красные пятна и снова исчезали. Ребёнок, казалось, спал,

но его, видимо, мучил даже скудный свет, падающий из окошка под потолком. Ядвига осторожно прикрыла ему личико платком.

И вдруг её охватил леденящий страх. А что, если...

И едва она успела подумать это, стало ясно: её маленький умирает. Он умрёт.

— Это потому, что я не хотела тебя,— шепнула она, словно это была тайна, которую знали они двое.

Да, именно потому он будет у неё отнят. Потому, что она когда-то с таким ужасом убедилась в своей беременности — ещё там, в доме на пригорке. И с таким отчаянием думала о том, что носит в себе чужого ребёнка — ребёнка Хожиняка. Даже во время родов она думала о нём, таком крохотном и беспомощном, с холодной ненавистью. Нет, не с радостью, не с улыбкой, не с растроганной дрожью в сердце ожидала она его рождения. И лишь первый крик, первый неумелый, слабый плач малыша...

Но, видно, это не могло искупить злых, тёмных чувств, которые таились в ней прежде. И вот теперь её ждёт кара. Дитя будет у неё отнято, и она останется одна в потёмках жизни. Уже не протянутся к ней маленькие ручки, уже не почувствует она на лице прикосновение крохотных пальчиков, не взглянут на неё темноглазые, почти синие, круглые глаза, не скажет он: мама! А ведь он уже лепетал, тоненький голосок то и дело произносил какое-нибудь слово-загадку, слово-ласку, которое, быть может, совсем ничего не значило, но в которое она столько вкладывала... И он уже ходил. Маленькие ножки неумоимо семенили за ней, с трудом, с увлечением.

Когда ребёнок родился, там, на севере, когда он лежал возле неё, завёрнутый в подаренные пелёнки, ей думалось, ей думалось, что всё дурное в её жизни уже кончилось. Что за всё, за всё, что получилось не так, что пошло кривь и вкось в её жизни, ей дано теперь это дитя. Нет, это не был ребёнок Хожиняка — это было её, её собственное, её родное дитя. Она его выносила, она его родила, она его воспитает. Она сумеет прокормить, одеть, воспитать его, своего сына, что бы ни случилось. Никакого Хожиняка не было, он исчез, рассеялся, как туман, миновал, как дурной сон. Теперь у неё был только маленький сыночек, круглая головка, поросшая смешным тёмным пушком, трогательные, забавные ручки, крохотные ножки и тельце, словно из шёлка и бархата, невиданное чудо, ребёночек.

Это ради него она работала на рубке леса — и работа не была ей тяжела, потому что после неё она бежала домой, где ожидал маленький сыночек, ясное солнышко, счастье её жизни... Она работала на молоко для него, на кашку для него, на рубашонку и штанишки. И там совсем не было грустно, в этом дремучем лесу. Улыбка ребёнка будто пронизывала светом весь лес до глубины, до самой тёмной чащи.

Но и это миновало, как сон. Теперь он лежит у неё на руках, одеревеневший и бледный, и не узнаёт её, будто отгороженный глухой стеной.

Глупая, глупая! Зачем она поверила тому человеку из посольства с прилизанными чёрными волосами? Ведь не может же быть, чтобы там где-нибудь не было врача. Её сыну могли помочь в Куйбышеве...

А теперь Куйбышев остался позади. Поезд мчится сквозь необозримые, голые, затинутые туманом поля. И весь мир для неё сузился до размеров этой теплушки, где разговаривают, спорят, бранятся какие-то чужие, равнодушные люди. Она оставила своего ребёнка без помощи — и теперь ребёнок умирает.

Но мог ли тут вообще кто-нибудь помочь? Нет. Это судьба мстит ей за то, что она ненавидела своего ребёнка, прежде чем он родился. За то,

что там, в доме на пригорке, когда снег всё занёс кругом пышными сугробами, когда под ударами вихря трещали стены, когда уныло стонали ветви деревьев, она мечтала во тьме ночной, чтобы ребёнок не родился. Чтобы он умер, пусть хоть вместе с ней, только бы его не было, только бы он не появился на свет.

Безумная, глупая, она не знала тогда, не верила, что на земле ещё может быть счастье, ещё может быть радость и смех. Радость и смех ребёнка, счастье, что этот ребёнок живёт на свете.

Вот потому-то он тогда и не умер. Ни в её лоне, ни потом, во время трудных, тяжёлых родов. Чтобы она узнала, что такое счастье. И чтобы узнала боль утраты за тот свой чёрный грех, которому нет прощения. Глупая, глупая, столько раз в жизни она видела, что ничто не проходит даром, что за человеком тянется каждый его поступок, и за каждый — рано или поздно — приходит возмездие. И не только за поступок — даже за мысль. Даже за то, что ещё не успело стать мыслью, а лишь промелькнуло в голове и исчезло, о чём человек и не вспоминал больше. И всё же наступал день, когда мысль, которая не облеклась не только в действие, но даже в слово, возвращалась, возникала в воспоминаниях и мстила за себя.

Сколько раз Ядвига в этом убеждалась! И вдруг наивно поверила, что ей удастся увернуться от ответа за те злые, тёмные мысли, что забытая ненависть минует бесследно, будет сброшена со счетов.

Нет, вычеркнуть из жизни ничего нельзя. И вот теперь придётся нести кару за те тёмные мысли, за ту тёмную, боязливую ненависть.

Только в чём же тут виноват сыночек? Маленькое, беспомощное создание? Почему он должен отвечать за неё, за её грех? Нет, не может быть, чтобы судьба была так мстительна. Пусть обрушится на неё всё дурное, только бы он был жив, только бы он выздоровел.

Но что на неё может обрушиться, кроме этого, единственного? Какое ей дело до чего бы то ни было на свете, кроме этого маленького существа, с трудом ловящего воздух запёкшимися губами?

Всё страшное, что может случиться в жизни, она уже испытала. Уже привыкла, уже раз навсегда в броне; её не удивит никаким ударом. Значит, удар обрушится именно отсюда, поразит именно в то единственное место, которое ещё может ответить живой болью сердца, ох, какой болью.

Нет, не надо об этом думать. Дурные мысли накликают несчастье. Надо изо всех сил, изо всех сил думать, что малышу лучше. Что завтра ему будет ещё лучше. А когда они приедут на юг, куда их везут, малыш уже снова будет ходить. Ядвига поведёт его за ручку, и он засмеётся от радости, увидев солнце и цветы. Ведь там, наверно, цветёт ещё что-нибудь, на этом юге; говорят, там настоящей зимы и не бывает... Маленькие ножки трудолюбиво, старательно затопчут, путаясь в мягкой траве...

Но, вопреки всем усилиям воли, к ней возвращался всё тот же страх. Страх, что это именно кара. Мысль упорно стучалась в мозг, неотвязная, назойливая. «Но ведь так можно сойти с ума, — мысленно останавливала себя Ядвига. — Всё одно и то же, одно и то же. А может, я и вправду помешалась?»

Вдруг она вздрогнула, почувствовав на плече осторожное прикосновение чьей-то руки.

«Выпейте чай», — сказал тихий голос по-русски, и Ядвига увидела перед собой эмалированную кружку и ломоть тёмного хлеба. Проводница смотрела на неё добрыми, грустными глазами.

— Выпейте, выпейте, и поесть надо, я же вижу, что вы ничего не едите, а вам нужны силы.

Она присела на корточки возле Ядвиги и сочувственно рассматривала жёлтое личико ребёнка.

— Что доктор-то говорит?

— Я не была у доктора,— со стыдом шепнула Ядвига.— В посольстве сказали, что в поезде есть доктор.

Проводница, уже немолодая женщина, пожалала плечами.

— Какой тут доктор... Надо было в Куйбышеве пойти в поликлинику.

Правда! Только тут Ядвига с отчаянием вспомнила, что ведь здесь же повсюду есть поликлиники. Можно было просто-напросто разыскать одну из них, войти туда, показать ребёнка, узнать, что с ним. И этого она не сделала. Не сделала, потому что ей казалось, что с того момента, как её фамилию внесли в список едущих на юг, о ней должны заботиться не здешние, а польское посольство, и что советская поликлиника, где она раньше лечила ребёнка, теперь для неё недоступна.

— Спит, всё спит,— шепнула она, отвечая на жалостливый взгляд проводницы. Жёсткая, загорелая рука полным материнской нежности движением отстранила от щеки ребёнка край шерстяного платка, в который он был завернут.

— Если вам что понадобится, я на тормозной площадке буду. Да я и сама ещё загляну к вам,— сказала проводница, осторожно ступая между грудами вещей и спящими вповалку людьми.

— Везёт же некоторым! И из посольства записочки получают, и большевики их подкармливают,— ядовито бросил, ни к кому не обращаясь, верзила с рваным козырьком.— Видели эту кондуктршу? Далеко мы с такими уедем! Взяли бабу, ей бы навоз убирать, поставили к тормозу...

— У них всюду бабы. Ещё полгода не прошло, как война началась, а уж мужчин нехватает, всюду бабы... А ещё вздумали с немцами связываться!

— Мужчины, видно, на фронте! — резко вмешалась госпожа Рок.

— Э, сударыня, какой там фронт... Вот-вот всё к чертям полетит...

У печки, в углу, то и дело завязывались ссоры.

— Куда вы лезете? Опять со своей кастрюлькой? Вы же только что жрали!

— У меня пелагра, мне надо питаться.

— Ну, да! Этакая толстая морда — и пелагра! У всех пелагра, да не все жрут, как свиньи...

— Что же, если кто гол как сокол, так и другие должны голодные сидеть?

— А воняет эта колбаса, как зараза... Не люди, а скоты какие-то, такую гниль жрать!

— Прошу не ругаться! Что за выраженья?

— А это ещё что? Ещё и в угли чего-то набросали?

— Не трогайте, это моя картошка! — завопил господин с пелагрой.

— И откуда они только набрали всего? — удивлялся кто-то сидящий под окном.

— Не знаете, откуда? В Куйбышеве на путях вагон с продуктами разбили, вот и наташили кто что мог.

— Что вы брешете, милостивый государь? Какой ещё вагон?

— Ишь, воров из людей делает!

— Раз глохо лежит, только дурак не возьмёт,— сплюнул сквозь зубы молодой человек в рваной фуражке.

— Куда вы плюёте? Чего вы плюёте? Чуть ребёнка не сплевал!—

вскрикнула мамаша капризной Зоси.— Отодвинься, Зосенька, отодвинься, золотко. Такие невоспитанные люди, такое хамство кругом. Не плачь, не плачь, моё солнышко, мамочка тебя защитит, мамочка тебя не даст в обиду...

— Да что вы так разжалобились над своей девчонкой? Никто ей ничего не сделал, а она орёт...

— Я хочу конфетку,— использовала положение Зося.

— На, на, милочка, на конфетку, только не плачь, мамино золотко, мамино солнышко!

Печка была раскалена докрасна, из неё вырывался дым и чад, но сквозь щели старого вагона непрерывно несло холодом. Запах пригорелого жира назойливо лез в ноздри.

— Сударыня,— вдруг услышала Ядвига,— мама спрашивает, не удобнее ли будет маленькому на подушке?

Ядвига подняла на паренька удивлённые глаза.

— У нас ещё есть, мама набрала этого барахла столько, что...

— Возьмите, ребёнку будет удобнее,— крикнула госпожа Реек, расположившаяся на узлах в другом конце вагона.

— Благодарю вас.

И правда, так малышу будет удобнее. Она положила на подушку неподвижное, вытянувшееся тельце. Попыталась поправить головку, но ребёнок словно одеревенел — шея не гнулась, голова была упорно закинута назад. Что, если?.. Но нет, маленькие губы прерывисто, трудно шевелились, с усилием втягивая спёртый воздух теплушки.

Ночью ребёнок шевельнулся. Ядвига склонилась над ним. Значит, ему лучше — прошла, по крайней мере, эта ужасная неподвижность.

Нет, лучше ему не было. Короткие, мучительные судороги сгибали маленькое тело. Через минуту они прекратились. Но несколько мгновений спустя словно дрожь пробежала по всем членам, руки судорожно сжались, судорога свела маленькие ножки и больше уже не отпускала их.

Под утро поезд, скрежеща тормозами, остановился на какой-то станции. За окном в сером тумане лились струи скатывающегося с крыши дождя. Двери раздвинули, несмотря на протесты некоторых пассажиров:

— Что вы, задохнуться хотите? Надо же впустить хоть немного воздуха в этот хлев.

— Глядите-ка, что это за поезд?

Прямо напротив, на соседнем пути, стояли вагоны.

— Раненые,— тихо сказал Марцысь, опираясь о доски открытых дверей. В теплушке примолкли.

Вагоны были пассажирские. Сквозь окна виднелись подвесные койки.

— Тяжело раненые,— шепнул кто-то.

Выскочившая из вагона санитарка побежала к станции. И вдруг в наступившей тишине, когда перестали прохотать колёса и затихли разговоры, где-то вблизи послышались неожиданные звуки:

О, Танголита, одну лишь ночь...

- Что это?
- Патефон.
- Какой тут патефон? Откуда ему взяться?
- Руководство развлекается.
- Какое руководство?
- Да наше, какое ещё? Господин поручик Светликовский, комендант эшелона.
- Танцуют, что ли?
- Ещё как! Доски ломаются!
- Весело едет господин начальник!

— А что ему? Набрал барышень, жратва есть, выпивка есть, патефон тоже, какого ещё рожна ему надо?

— Как им не стыдно! Тут раненые, а они... — сурово сказала госпожа Роек.

— Что это, наши раненые, что ли? — вмешался верзила в рваной фуражке. — Уж кто-кто, а мы-то большевиков жалеть не станем.

— Скотина, — спокойно сказал пожилой человек в поношенном ватнике.

— Вы это кому? Кто скотина? — выпрямился верзила.

— Может, и вы, — всё так же спокойно ответил тот. Молодой человек рванул было к нему, но, взглянув в его глаза, отступил, что-то бормоча про себя.

Человек в ватнике немного подождал, потом спокойно вышел из вагона.

Женщина с испитым серым лицом, прикорнувшая в углу, закутавшись в тёплую шаль, шумно вздохнула:

— Какая разношёрстная публика в этом эшелоне...

Молодой человек в рваной фуражке немедленно откликнулся на это сочувствие.

— Да что ж, брали всякого, кто хотел... Вот и набился всякий сброд... Простите, с кем имею честь?

— Жулавская. Полковница.

— Малевский. Очень приятно.

— Большевиков жалуют, а взять меня, например... О своих, небось, никто не позаботится. Набили в теплушку, как сельдей в бочку, а в вагоне коменданта так свободно, что даже танцуют...

— Что ж, в конце концов, потанцевать не грех... Было бы с кем.

Полковница пожалала плечами.

— Не знаю, время ли и место сейчас для танцев. Впрочем, как кто считает. Ну, вот они и утихли.

В вагон вернулся человек в ватнике.

— Что, успокоили их? — спросила госпожа Роек.

— Успокоил. Начальник эшелона пьян в дым.

— Ну и порядки...

— У одних и водки вдосталь, а для других хлеба нехватает, вот какие порядки!

— Какая там водка! Коньяк лакают.

— А что ж! И другие лакали бы, кабы у них был. У самих нет, вот и осуждают... — меланхолично заметил Малевский, обращаясь к Жулавской. Но та не поняла и обиделась.

— На кого это вы намекаете?

— Само собой разумеется, не на вас, сударыня.

Она опять завернулась в шаль.

— Когда же мы, наконец, двинемся? Стоим и стоим... Какой дождь!

— Нескоро ещё. Бестолочь, видно, на станции.

— Почему вы считаете, что бестолочь? — неприязненно спросил кто-то.

— А где вы тут видели, чтобы обошлось без бестолочи? Всюду у них бестолочь. Суток трое могут здесь продержаться, — мрачно предсказывал Малевский.

«Трое суток, трое суток... — думала Ядвига. — Не может быть. Зачем стоять здесь трое суток? Где же этот юг, который, может быть, спасёт сыночка? Когда будет конец этому страшному пути, этому вагону, этим назойливым разговорам над самым ухом?». Невидящими глазами она смотрела из своего угла на квадрант неба в дверях, на струи дождя, льющиеся с крыш, на вагон напротив, где за окнами бе-

лели подвесные койки и неподвижные забинтованные фигуры.

К ней наклонилась, обхватив её за плечи, проводница.

— Встань, встань, бедняжка...

Ядвига не поняла.

— Что? Что случилось?

— Надо похоронить ребёнка. Время есть. Мы тут долго простои́м, поезда с ранеными пропускаем, и паровоз будут менять.

— Какого ребёнка? — ужаснулась она.

— Что ты, не видишь? Ведь умер твой сынок.

Ледяной холод с головы до ног охватил Ядвигу. Мелкая дрожь пробежала по телу. Она шумно ловила губами воздух, словно задыхаясь. Обезумевшими глазами взглянула на личико сына. Ведь он лежит всё так же. Только веки широко раскрылись, и круглые мутные глаза неподвижно смотрят вверх. Ядвига осторожно коснулась пальцами его щеки. Щека была холодна.

— Тихо, тихо... Вот несчастье... Крепись, крепись, моя бедняжка.

Ядвига встала, держа ребёнка на руках.

— Что случилось? — заинтересовалась госпожа Роек, выкарабкиваясь из-за груди своих узлов. Ядвига не ответила.

— Ребёнок умер, — шёпотом объяснила проводница.

Госпожа Роек с силой отбросила последний узел.

— Умер? Боже мой... Марцысь, Владек!

— Что вы кричите, мама? Здесь мы.

— Что ж вы, не видите, что случилось? Надо помочь этой даме... Боже мой, что же делать, что делать? Умер... Боже ты мой!

— Надо к начальнику вокзала, — сказала проводница.

— Ну, значит к начальнику... Голубушка, вы уж нас проводите, мы ведь ничего не знаем... Господи, что за люди! Хоть бы помог кто-нибудь.

— И чего вы кричите, мама? Мы с Владеком поможем, — хмуро пробормотал Марцысь.

— Вы с Владеком... Вот именно! Хороша от вас помощь...

— Сейчас сделаем всё, что нужно, — тихо сказал человек в ватнике, выскакивая вместе с мальчиками из вагона и поддерживая Ядвигу под локоть.

— Ну, это я понимаю, — успокоилась госпожа Роек. — Мужчина, это другое дело. А то...

— Вы бы потише, мама, — шёпотом сдерживал её Марцысь, указывая глазами на Ядвигу. Мать хлопнула себя рукой по губам.

— И правда, что это я!

Они медленно брели по мокрому песку к зданию вокзала. Проводница вошла первой. Ядвигу, с ребёнком на руках, усадили на стул у столика, на котором постукивал аппарат Морзе. Она послушно выполняла всё, что ей говорили, но делала всё бессознательно, не понимая, что и зачем делает.

— Вы, сударыня, останьтесь с ней, а мы вот с товарищем проводницей пройдем к начальнику станции, — сказал человек в ватнике госпоже Роек.

— С товарищем? — удивилась та, но тотчас решила, что всё в порядке. — Ага, так, пожалуй, и в самом деле лучше, она здесь всё знает... И вообще...

Оглянувшись на Ядвигу, она шёпотом сообщила Марцысю свои наблюдения.

— Степенный человек, серьёзный, он уж им растолкует всё, что надо. Не знаешь, кто такой?

— Знаю.

— Ну? Почему же не говоришь?

— А что мне говорить? Слесарь из Варшавы. Фамилия Шувара.

— Ну скажите! Слесарь... Такой интеллигентный человек...

— И откуда вы, мама, знаете, что интеллигентный?

— Уж я знаю. Что у меня, глаз нет? Мне достаточно поглядеть на человека. Сразу видно, что не хулиган, вроде остальных.

В комнату вошла молодая девушка, неся на тарелке стаканы с чаем.

— Может, чаю выпьете? — робко обратилась она к Ядвиге. — Начальник сейчас всё устроит.

Ядвига глянула на неё невидящими глазами. Госпожа Роек взяла стакан.

— Тут и разговаривать нечего. Чаю вы выпьете, вы совсем застыли. Смотрите, вся дрожит, бедняжка. Пейте сейчас же, пока горячий.

Ядвига покорилась, не чувствуя, как горячая жидкость обжигает ей губы и гортань. Госпожа Роек поила её, как маленькую, приговаривая:

— Вот так, ну ещё глоток... Превосходный чай... Пейте-ка. Ещё, ещё...

Ядвига безвольно подчинялась всему, позволила взять у себя из рук ребёнка.

— Начальник станции послал за гробиком, в гробике похороним, как полагается.

В углу камеры хранения Шувара помогал столяру укоротить гроб. Сдвинув брови, он сосредоточенно стучал молотком по плоским головкам гнувшихся гвоздей.

— Эх, дела, — вздохнул столяр. — У меня мальчонка, чуть побольше этого, тоже в прошлом году помер. Спасали, спасали, ничего не помогло. А у вас есть дети? — спросил он Шувара.

— Были.

— Много?

— Двое.

— А сейчас они где? С вами?

Шувара ещё крепче сдвинул брови. Молоток скользнул по гвоздю и ударил в доску.

— Нет. У меня вся семья погибла в тридцать девятом.

— В тридцать девятом, — вздохнул столяр. — Так, так. Вот она, война-то! Сколько горя...

Шувара и Марцьёс подняли гроб. Он был лёгкий, будто тело ребёнка ничего не весило. Откуда-то появились двое местных ребятишек и понесли впереди крышку.

— Почему не забили гробик? — волновалась госпожа Роек, видя, что Ядвига не сводит глаз с маленького, уже посиневшего лица.

— В России такой обычай. Гроб закрывают только на кладбище. Чтобы можно было попрощаться.

Моросил мелкий, едва заметный дождик. Дети, несущие крышку, то и дело одёргивали друг друга:

— Не беги так, Санька, потише.

— Сам ты бежишь...

— Тише!

Ядвига не чувствовала, что проводница и госпожа Роек ведут её под руки. Боже, какой дождь, как он льёт, струится, низвергается со всех крыш... И она пыталась защититься от дождя личико сына.

Она не понимала, куда идёт. Между нею и всем, что было вокруг, стояла непроницаемая, серая стена тумана. Туман был повсюду, и из глубины его, словно из неведомой дали, доносились какие-то призрачные звуки. Ядвига помнила, что она высадилась из поезда. Но что было

дальше? Она шла, когда её вели, садилась, когда ей предлагали сесть, ждала, когда говорили, что надо подождать. Куда-то бежали Владек и Марцысь, с кем-то спорила госпожа Роек, проводница помогала Ядви́ге встать, потом усаживала её в какой-то комнате на скамью. Долго её о чём-то расспрашивала, и она отвечала, глядя невидящими глазами в пространство.

Мокрый от дождя песок скрипел под ногами, и Ядвига вдруг удивлённо огляделась: «Куда же девался поезд? Где мы?» Госпожа Роек тихо всхлипывала.

— Да успокойтесь вы, мама, — вполголоса бормотал Марцысь.

Ядвига чувствовала, что её обнимает чья-то рука в ватном рукаве, — ах, да, это проводница... Порывисто подул ветер, затрепетало, зашептало торопливую, тихую жалобу чахлое деревцо. Кладбище раскинулось на песчаных холмах, голое и неприятное, лишь кое-где виднелись маленькие деревца. В песке выкопана яма, а на куче песка рядом стоит маленький, ах, такой маленький гробик, и крышка его ещё не закрыта. В гробике лежит сынок, дитяtko, её сыночек, что умер в вагоне. Ядвига со стоном упала на колени.

— Не надо, не надо, — всхлипывала госпожа Роек.

Ещё раз взглянуть. Хоть раз ещё коснуться холодной, жёлтой руки. Боже мой, что же случилось, как это могло случиться?

Она стояла на коленях, когда гроб опускали в яму, и испугалась, что дождь всё идёт и идёт, что ребёнок промокнет там, в могиле. Зашурушал песок, сыплющийся на крышку. Вскоре яма исчезла — теперь на её месте возвышался маленький жёлтый холмик. Кто-то положил на могилу охапку мокрых от дождя золотистых и красных осенних листьев. «И всё? И ничего больше?» — удивилась Ядвига. Она шла, куда её вели, как вдруг увидела, что жёлтый песок кладбища, его низкие пожившиеся кресты, каменные и деревянные обелиски с красной звездой на верхушке остались позади. Она споткнулась о булыжник мостовой и внезапно остановилась.

— Идёмте, идёмте, — уговаривала Роек.

— Куда?

— Как, куда? К поезду, к поезду!

— Я туда не пойду, — тихо сказала Ядвига. — Не могу же я его здесь оставить. Такой дождь...

Госпожа Роек перекрестилась.

— Во имя отца и сына... Что вы говорите? При чём тут дождь?..

Рука в ватном рукаве крепче обхватила Ядвигу. Ядвига увидела, что по круглому загорелому лицу проводницы катятся слёзы.

— Не надо, милая... Вот и у меня ещё летом было двое сыновей... А сейчас никого нет. Надо жить... Надо своё делать...

— Как это? — не поняла Ядвига.

— Оба, как соколы ясные... И погибли... А я даже не знаю, где их похоронили, кто похоронил. Ты хоть это знаешь... Ты ещё молодая, вся жизнь впереди. Маленькому уже не поможешь. А теперь надо в вагон. Надо ехать, раз уж собралась.

— Разумеется, разумеется, — торопливо поддержала её госпожа Роек. — Двое сыновей, боже мой... Молоденькие?

— Молоденькие, — как эхо повторила проводница, отирая глаза рукавом ватника.

Дождь переставал, ветер разогнал тучи. Ядвига снова безвольно двинулась вперёд. В вагоне госпожа Роек не дала ей забиться в прежний угол. Она устроила её между своими узлами, положила под голову подушку.

— Вот так, здесь вы отдохнёте. Вытяните-ка ноги, так будет удобнее. Владек, сбегай достань кипятку, надо чай заварить.

Поезд двинулся. Двери теплушки ещё не были задвинуты, и Ядвига увидела какие-то забрыз, грязную улицу и чахлое, гнушееся от ветра деревцо.

«Вот где я тебя оставляю, вот где оставляю одного, маленького, в такой дождь и холод. Не умела я тебя радостно ожидать до того, как ты родился, не умела спасти, когда ты жил на свете... Вот ты и ушёл от меня, вот и ушёл от меня...»

Но мысли эти скользили лишь по поверхности, словно не проникая в её сознание. Они ничего не значили, текли сами собой, ленивые и сонные. «Сыночек умер», — шепнула она, но и эти слова ничего не означали. «Вот где я тебя покинула», — повторила она ещё раз. Но и это казалось неправдой, потому что на самом деле покинутой была она, Ядвига. Одна во всём мире. Это уже было раз, что она осталась одна-одинёшенька на свете. Но об этом она не должна думать. Это было там, в тот страшный день... Давно, так ужасно давно, что кто знает, было ли вообще? Быть может, она просто слышала рассказ о чьей-то несчастной судьбе, о чьей-то горькой доле, но к ней это не имело никакого отношения. А сейчас она знает только, что едет на этот несчастный юг. Грохочут колёса, подрагивает, скрипит вагон. Назойливо лезет в уши гомон незнакомых чужих голосов. Она ясно слышит это, значит это есть на самом деле. Только как она здесь очутилась? Зачем и куда едет? С неожиданной силой Ядвига загрустила по всему, что так недавно без размышлений покинула.

Там днём и ночью шумели вековые деревья, неслась лесная песня, проникновенная, отдающаяся глубоко в сердце. Внизу визжали пилы, суетились люди, пылали костры на полянке, и всё это казалось странно мелким, почти незаметным перед песней леса, которая неслась вверх. Был ли ветер или не было его, даже при самой тихой погоде, когда на лице и руках не чувствовалось ни малейшего дуновения, когда нижние ветви замирали в неподвижности, — там, высоко в вершинах, слышался шум, словно над головами людей ходили волны огромного моря. Прохладно, зелено было в глубине леса, а после дождя ноги погружались в густой, бархатный мох, будто в мягкий ковёр. Была какая-то особая прелесть в этом хождении босиком по мху. А ягод — сколько там было ягод!

Разумеется, жить там было нелегко. В зимние ночи потрескивали от мороза толстые стволы, сквозь стены барака свистал ветер, пока они не законопатили как следует всех щелей мягким, зелёным и серым мхом.

Зябли руки, холод проникал сквозь плохую одежку. Но от огромных костров веяло теплом, дров здесь не жалели. Их было столько, что хоть день и ночь жги, всё равно не сожжёшь и щепок, остающихся от рубки леса. Да, иной раз приходилось брести на работу по колено в снегу, но что это для неё значило? Ведь работать ей приходилось всегда, всю жизнь. А теперь она работала на сыночка, на своего маленького.

Конечно, ей, привыкшей к физическому труду, было легче, чем многим. Но ведь не она одна сразу взялась за работу! И как раз такие чувствовали себя здесь лучше других. Хуже всего жилось тем, которые забивались в угол барака, плакали горькими слезами, боялись холода, мороза, боялись всего на свете. Эти и не пытались работать. Они сразу объявили, что лучше умрут с голоду, но не пойдут разделять на морозе поваленные стволы. Они на чём свет стоит проклинали свою горькую участь, злобно удивлялись тому, что ещё живы. И вдруг оказалось, что,

например, толстая госпожа Лясковская, которую привезли сюда почти неподвижную, с отёкшими, как колоды, ногами, теперь стала ходить, освободилась от душившего её жира, помолодела лет на десять. Она не любила, когда ей говорили об этом, но что верно, то верно — люди с сердечными болезнями чувствовали себя здесь лучше, несмотря на труд и тяжёлые условия. Поправлялись и больные туберкулёзом. «Север. Такой уж климат!» — объясняли им, и в конце концов пришлось этому поверить. Можно было избежать и цынги: нужно было только жевать свежую хвою или зелёные свечки, растущие на концах ветвей. «Не дождутся они, чтоб я эти иглы жевала!» — говорили некоторые женщины. Они хотели болеть, лежать в бараках, умирать. Но были и такие, что ожесточились, хотели наперекор всему выжить, продержаться, вернуться когда-нибудь домой. Работать, выполнять норму, перевыполнять её, зарабатывая на себя и на детей.

А она, Ядвига? Нет, в ней этого не было. Просто, судьба забросила её сюда, и надо было жить. Дают работать, значит надо работать. В ней не было ни злобы, ни ненависти к этим людям. В конце концов, разве ей было здесь хуже, чем там, в Ольшинах, когда она сидела в доме одна, как прокажённая, и захлёбывалась в отчаянии, что придёт рожать ребёнка Хожиняка, что этот ребёнок растёт в ней, развивается, существует? Когда по ночам завывал в трубе ветер, издали доносился заунывный волчий вой, а она — одинокая, беспомощная, отрезанная от деревни глухой стеной, умирала от страха? Одна в этом пустом доме. Когда по ночам трещал пол и казалось, что подкрадывается кто-то неведомый, что вот сейчас он подойдёт к кровати и она увидит нечто несказанно страшное, нечто такое, чего даже представить себе нельзя... А дни в Ольшинах — разве они были лучше ночей? Безнадёжность... безнадежность... Никому она там не была нужна и сама себе отвратительна. А этот северный лес радушно принял её в свои дебри, дал покой и отдых душе. Здесь у неё был сыночек, была работа — нелёгкая, но прогонявшая горькие мысли. Она давала ей удовлетворение, и за хорошую работу её Ядвигу, здесь уважали. Чего же ещё?

Почему же она так сразу послушалась письма, почему даже не подумала, куда едет и зачем? Просто, собралась вместе с другими и отправилась в эти долгие странствия, которые пока ничего, кроме гибели ребёнка, не дали? Во имя чего? Потому что так велел Хожиняк? Но кто он такой, что она должна считаться с его волей, и откуда он опять взялся?

Тогда, в Ольшинах, его внезапное возвращение не принесло ничего, кроме несчастья. Да, да, он всегда приносил ей несчастье, с той первой минуты, когда мать стала изводить её, уговаривая выйти замуж... Какое же несчастье принесёт он ещё? И возможно ли, что они встретятся?

У Ядвиги дрожь пробежала по спине. Ведь она даже не помнит его лица. Словно чья-то рука стёрла в памяти его черты. А между тем он существует, имеет какие-то права на неё, приказывает. Он вырвал её из зелёного бора, с шумящего лесами сурового севера, где она нашла всё же своё место, своё, собственное место, — и швырнул в эти скитания, которые неведомо когда и неведомо чем кончатся. Она опять не хозяйка своей судьбы, опять делает то, чего хочет этот чужой человек. Ей вдруг показалось, будто его глаза следили за ней всё это время, будто его исчезновение было односторонним: она теряла его из виду, она ничего о нём не знала, но он всегда знал, где она, всегда готов был вмешаться в её жизнь, приказывать, нарушить её покой. Пусть этот покой был непрочный, построенный на хрупком льду, но всё же это был покой..

И дико даже подумать об этом — но ведь там, в дремучем лесу, её ребёнок нашёл бы помощь и спасение... Он не нашёл их в городе, где его судьба была в руках соотечественников, своих. Да, так о них говорилось: «свои». Чужие, бессердечные люди, которые обманули её! Они-то прекрасно знали, что в поезде нет врача... Знали, и всё-таки вы проводили её с ребёнком на руках, хотя видели, как он болен, не могли не видеть. Освободились от хлопот, а больше им ни до чего дела нет... И вдруг её охватил ужас: «О чём я думаю, о чём я, собственно, думаю? Ведь он умер! Умер у меня на руках, и я даже не заметила, как это случилось. Его уже нет. Он лежит под слоем песка на одиноком, унылом кладбище, и каждый поворот колёс уносит меня от него, уносит, уносит... И вот уже ничего не слышно, кроме этого грохота колёс, которые упрямо, однообразно, непрерывно повторяют какое-то слово». Что это за слово? Ядвига ясно слышала его, но понять, уловить, что оно значит, не могла.

Всё вокруг подёрнулось зыбким туманом, сотканным из чьих-то голосов и лиц, из каких-то звуков и движений.

— Угомонили бы вы свою Зося, — сердито сказал Шувара. — Пусть бы женщина хоть чуточку задремала... Поди сюда, Зося, я расскажу тебе сказку про верблюда.

— Разумеется, в таких случаях сон — лучшее лекарство...

«О чём они говорят? — силилась понять Ядвига. — О каком несчастье? О каком сне? Кому надо уснуть?»

— Спит, — сказал кто-то шёпотом. Это, кажется, Марцысь, старший. «Какой Марцысь?» — успела ещё удивиться Ядвига и хотела открыть глаза, чтобы поглядеть. Но веки отяжелели, как каменные, туман перед глазами сгустился, его тяжёлые клубы опустились ниже. «Засыпаю», — подумала она и погрузилась в мягкую, тёмную тучу.

Глава 2

Все ссоры, свары, скандалы, ежеминутно возникавшие в вагоне, побледнели перед тем, что произошло по приезде в городок, откуда должны были отправиться дальше на баржах.

Господин Малевский, молодой человек в фуражке с рваным козырьком, всегда и обо всём был осведомлён лучше всех и охотно делился своими сведениями со всяким, кто соглашался его слушать. Он знал, например, что большевики уже едва-едва дышат и что Сикорский зря с ними заигрывает; что вся советская армия — это чистейший блеф; знал, что в десятках пунктов Советского Союза уже вспыхнули восстания, что население взбунтовалось против энкаведе, который гнал людей на фронт; что японцы вот-вот ударят с востока; знал, что большевики хотят выморить голодом всех поляков, но им это не удастся. Он прозевал лишь то, что происходило у него под самым носом, в эшелоне, всего лишь через несколько вагонов от их теплушки. Эта новость распространилась молниеносно. Казалось, ещё никто не мог успеть высидеться из поезда, как все узнали:

— Сбежал!

Поручик Светликовский, комендант поезда, назначенный куйбышевским посольством, действительно сбежал. Неведомо когда и как — прямо будто ветром сдуло. Только что был — и вдруг исчез, сквозь землю провалился.

— Большевики убили, — предположил было кто-то, но на этот раз его не поддержал даже Малевский. Ибо вместе с поручиком исчезла и некая молодая особа, ехавшая с ним в одном вагоне, а также исчезли все деньги, отпущенные для эшелона, равно как и изрядное количество

продуктов. Когда и как это случилось, никто сказать не мог, но случилось... Вдобавок вместе с поручиком Светликовским исчез ещё и небольшой, но довольно тяжёлый чемоданчик, о содержимом которого раньше знали лишь несколько человек, но теперь, когда скрывать было уже незачем, узнали и остальные пассажиры. Тридцать золотых портсигаров были общей собственностью небольшой, но обособленной группки, которая окружала поручика и явно играла в эшелоне роль «элиты». В последний момент поручик, видимо, забыл о своих компаньонах. Чемоданчика не было.

— Все деньги, какие только у меня были, все деньги! — кричал высокий седой пассажир, по слухам, «очень важная шишка» в довоенном польском министерстве иностранных дел.

— Интересно, откуда они, чёрт их дери, набрали столько монеты? — удивлялся какой-то пожилой человек в потёртом пальто, весь трясясь в малярийном ознобе.

— У кого смекалка есть, тот и из камня деньги выжмет.

— Деньги деньгами, — высоким, срывающимся голосом вмешалась Зосина мамаша. — Но ведь он продукты забрал. Что мы теперь есть будем?

— Ну, уж вам-то, кажется, голод не угрожает. Разве только Зосеньку перестанет тошнить от конфет...

— Ну что ты будешь делать! Всем, всем это несчастное дитя глаза колет! — расплакалась оскорблённая мать.

Советского начальника станции окружила на перроне плотная толпа поляков.

— Что же будет? Что теперь с нами будет?

— Надо искать этого разбойника! Обратиться к местным властям.

— Вот ведь люди... И не стыдно вам перед большевиками всю эту грязь выволакивать?.. — вознегодовал какой-то усатый господин.

— Действительно! Что ж, по-вашему, покрывать вора, если он поляк? Такие похуже большевиков...

— Ну уж и похуже!

— Конечно, если вы были с ним заодно, то, наверно, успели нажить-ся... А мы что? Без одежды, без еды, без денег. Завезли нас на край света, а что с нами дальше будет?

— Я уже телеграфировал нашим властям и вашему посольству в Куйбышев телеграфировал, — успокаивал начальник вокзала. Милиционер с винтовкой через плечо подозрительно всматривался в возбуждённую толпу.

— Но что же нам делать?

— Придёт ответ из Куйбышева, назначат нового руководителя. Ведь не оставят же вас на произвол судьбы, — уговаривал начальник. — Баржи на реке уже приготовлены, всё выяснится, и вы поедете дальше.

— Марцысь, Владек! — командовала госпожа Рокк. — Собирайте вещи, пошли на пристань. Это всё-таки верней, чем ждать на станции. Пани Ядвига, вы с нами!

За эти дни, после смерти сына, Ядвига так привыкла слушаться команды госпожи Рокк, что и теперь беспрекословно двинулась за ней по грязным переулкам.

— Юг! — ворчал кто-то. — Хорош юг... Дождь льёт как из ведра.

— Ну, что ж, дождь везде бывает. А мне так здесь даже нравится.

Смотри-ка, Марцысь, что это такое на полях?

— Хлопок.

— Вот видишь, и хлопок растёт. Значит и вправду юг. О, и река... Какая огромная! А может, это озеро?

— Да нет же! Это и есть Аму-Дарья.

— Ну вот! Могла ли я думать, сидя в своём Груйце, что увижу какую-то Аму-Дарью? Прямо не верится, будто в сказке, — радовалась госпожа Роек.

— Вот нашла баба сказку! — неприязненно пробормотал кто-то. Однако вся спешащая к пристани толпа притихла, когда узкие, грязные улочки вдруг расступились, открыв необозримый простор. Прямо перед ними катила свои быстрые, мутно-жёлтые волны величаява река. Вдоль обоих берегов за каймой густых зарослей тростника лежали обработанные поля.

На пристани кипело движение. У берегов длинной извивающейся вереницей стояли баржи, пыхтел пароходик, сновали лодки.

— Мама, мама, верблюду! — пронзительно вскрикнул детский голос. От пристани, оступаясь на скользкой глинистой почве, действительно поднимался в гору навьюченный верблюду. Маленькая голова над выгнутой лебединой шеей мерно покачивалась, полуприкрытые глаза презрительно взирали на толпу. Рядом шёл высокий мужчина в косматой бараньей шапке, в халате, подпоясанном поблёкшим шёлковым поясом.

— Завезли к дикарям! — сплюнул Малевский.

— Кто это?

— А чёрт их знает. Казах, узбек, ну — калмык, попросту говоря. Сброд, — пояснил кто-то из польских пассажиров.

— У них всюду так.

— Гра-жда-не... — язвительно протянул Малевский.

Поляков на пристани всё прибывало. Они складывали свои узлы и чемоданы, осматривались. Кто порасторопней — отправлялся на поиски продуктов. Вечером велись долгие разговоры:

— Рису сколько угодно. И охотно обменивают.

— Вот как умно было ничего не выбрасывать! Был у меня старый платок, думала — тряпка и всё, а смотрите, сколько за него рису дали и сушёных фруктов.

— А у меня такое красное шёлковое платье было. Долго материал валялся, мне и шить-то не хотелось, очень ярко. Подарок, один родственник моей Мане подарил. Кабы не шёлковое, я бы прислуге отдала. Но шёлк, жалко всё-таки. И даже ничего платьице вышло, когда сшили, в мелкие, мелкие складочки. Вся юбка плиссированная, а блузка гладкая. А когда уезжали, разве человек думал, что делает? Что по-нужнее — бросали, а это платье я как-то впопыхах сунула в чемодан. Потом гляжу — шёлк, видно, был слежавшийся, ну, по всем складочкам посёкся, говорю вам, как бритвой порезано... Так и лежало в чемодане. Вышла я на базар, стою, платье в руках держу. Тут сразу несколько человек подошло, потому что красное, знаете, прямо как мак, сразу в глаза бросается. Железнодорожник один подошёл, спрашивает, сколько я хочу. А потом тронул рукой — и увидел, что оно посёкшееся. Ну, сказать ничего не сказал, улыбнулся этак и ушёл. А вокруг меня уже целая толпа. Я говорю цену, кто-то начал было торговаться, а тут мяжу, одна тянет поверх голову руку с деньгами, хочет взять платье. Я деньги взяла, платье ей кинула, да скорей в другую сторону, на продуктовый рынок. Вот говорили — деньги не брать, а деньги-то, оказывается, ходят, хоть бы и эти их рубли...

— Ну, а она что?

— Которая купила? Ну, дорогая, уж это не моя забота. Они тут, говорят, любят яркие цвета. И кто бы подумал, что от этого платья ещё польза будет... Предчувствие у меня какое-то было, что ли, что столько

времени его с собой возила. И масла на него купила, и муки, и фасоли! А я было испугалась, что этот железнодорожник отпугнёт покупателей.. Какой-то добрый, видно, человек попался!

— Что они понимают в материях, да ещё в шёлковых! — вмешался Малевский.

Ему никто не ответил. На пристани как раз появился длинноухий ослик, запряжённый в повозку, на которой стоял котёл.

— Суп. Начальник станции прислал суп.

— Ого, как большевики для нас стараются!

— А как же! Лупят их на фронте, вот они и стараются не портить с нами отношений, думают, что нам этой похлёбкой глаза ззмажут, — ораторствовал Малевский. — Куда вы лезете, мадам? Жрать, так всякий в первую очередь норовит...

— Сперва надо детям дать, пусть поедят горячего.

— Ах, эта опять со своей Зосенькой! Почему детям? У меня пелагра, я требую...

— А этой еврейке чего здесь надо?

— Малка, иди, Малка, не надо... Пусть они себе едят на здоровье этот суп. Мы обойдёмся и без супа.

— Ясно, обойдётесь... Мало вы всю жизнь нашу кровь пили? Теперь то уж конец! Теперь вам и ваши большевики не помогут!

— Какие большевики? Что мне до большевиков! Я мирный человек, они у меня магазин отобрали. Может, я от них больше пострадал, чем кто другой...

Горячий пар поднимался над котлом, распространяя аппетитный запах. Девушка в военной гимнастёрке черпаком разливала суп в подставленные миски, кружки, тарелки. Сидящий на козлах подросток, щури узкие глаза, равнодушно смотрел в пространство, проявляя некоторое беспокойство лишь когда толпа слишком напирала на повозку.

— Осторожней, товарищи, осторожней, котёл опрокинете! — кричала девушка в гимнастёрке, и светлые кудряшки выбивались из-под задорно сдвинутой набекрень пилотки.

— Эх, и здоровенная девка! — заметил юноша в эксцентричных фиолетовых брюках, внушающих подозрение, что они переделаны из вельветового дамского халата.

— Морда, как кастрюля, — добавил его сосед.

— «Товарищи», говорит... Товарищей себе нашла! В хлеву её товарищи, а не здесь.

— А вы бы, господа, поосторожнее, — вступилась госпожа Роек. — Ведь она может понять.

— Ну и что же? Пускай поймёт. Неужто с такими ещё деликатничать?

— А я не советовал бы, — тихо сказал Шувара.

— Чего это вы не советовали бы?

— Язык распускать.

— Это почему же?

— К супу вы, господин хороший, первый рвётесь, а ведёте себя как свинья.

— Что такое?! — оба молодых человека грозно выпрямились.

— Вы меня не лугайте, я не из пугливых. А если кто посмеет оскорбить эту девушку, я на него управу найду.

— Ну конечно, конечно, управа найдётся, — озлился фиолетовый. — Бегите скорей, донесите в энкаведе.

— Мне и энкаведе не нужно, дам раз в зубы, так ты, щенок, сразу ногами накроешься.

Юноша в фиолетовых брюках рванулся было вперёд, но приятель удержал его.

— Оставь, Фелик, не стоит связываться. Что ты, не видишь? Большевистский прихвостень!..

— Осторожно. Котёл опрокинете! По очереди, по очереди, всем хватит! — кричала девушка. На подножку повозки вскочил Шувара.

— Спокойно! Люди вы или скоты? По очереди, по очереди, стать по двое в ряд... Женщины и дети вперёд!

— Ого! Какой командир нашёлся!

— И правильно, надо помочь девушке, а то прямо стыдно, — вступился кто-то и его тотчас поддержало множество голосов. Юноша в фиолетовых брюках вместе со своим приятелем Малевским отошли в сторону и долго о чём-то сговаривались, причём фиолетовый мастерски сплёвывал сквозь зубы на витрину какого-то закрытого магазинчика.

К вечеру снова стал моросить дождь, и толпу, разбившую бивуак на площади, охватило беспокойное движение. То и дело кто-нибудь вставал с узлов и направлялся в сторону местечка. Госпожа Роек, которая сладко вздремнула на своём багаже, очнувшись от дремоты и осматрившись, вдруг забеспокоилась.

— Марцысь, Владек, что случилось? Куда народ разошёлся?

— Искать ночлега. Не ночеваг же под дождём.

— Ну, разумеется, а что же мы-то? Смотрите, пани Ядвига уже совсем промокла. Марцысь, достань-ка ту шаль из узла, да не из этого, не из этого! Боже мой, беда с этими детьми... А мы что ж, так и будем здесь на площади ночевать?

Подошёл Шувара.

— Вот что, тут есть какой-то запасный путь, и стоят пустые вагоны. Начальник станции сказал, что можно занимать их.

— Пустые вагоны? Где? Где? — обрадовалась госпожа Роек.

— Я покажу дорогу, туда уже много наших пошло.

В вагонах оказались и печурки. По сравнению с грязной пристанью под непрестанно моросящим дождём вагоны показались чрезвычайно удобным убежищем.

— Превосходно! — радовалась госпожа Роек. — Теперь, если даже несколько дней придётся ожидать, нам не страшно. Крыша над головой есть, а завтра вы пойдёте на базар, выменяете что-нибудь на продукты. Глядите, как тут просторно. Нет ли у кого-нибудь случайно свечки?

Нашлась и свеча. Все засуетились, убирая теплушку, устраивая себе постели, развязывая и завязывая узлы. Шувара самочинно взял на себя обязанности коменданта, и дело пошло ладно и организовано.

— Вы смотрите, как быстро всё устроилось. И без шума, без крика.

— Потому что наших графьёв и графинь нет, — заметил какой-то молодой парень.

— И правда... — подтвердила, осматриваясь, госпожа Роек. — Всё наше высшее общество куда-то пропало. Где же это они?

— В город ушли, — ответил самочинный комендант. — Там, говорят, можно снять комнату.

— Ну и бог с ними. Тише будет. А вы, если разрешите спросить, сами откуда? А то мы вроде знакомы, вроде нет...

— Откуда я сейчас или раньше? — улыбнулся Шувара.

— Сейчас-то известно, откуда. А вот в Польше?

— Я из Варшавы. Слесарь.

— Очень приятно, Роек. — Она протянула руку с таким видом, будто он ей представился, и Шувара, с некоторым запозданием, назвал свою фамилию.

— Очень приятно, — повторила она. — А мы из Груйца. Вроде по соседству. Покойный муж, царствие ему небесное, был почтовым чиновником. Мелкий чиновничек, с почтовым вагоном ездил. Пьянчужка был, по правде сказать, ну да что вспоминать об этом, господь с ним! После моего отца — он садовником работал — остался нам домишко... Не свой, конечно, просто арендовали его и клочок земли. Так что когда муж, царствие ему небесное, помер, я этим огородом и себя и ребят кое-как, слава богу, кормила. Да и когда муж был жив, так, по правде сказать, мы больше сами кормились, потому что покойник, вечная ему память...

— Мама, — с упрёком произнёс Марцысь.

— Ты чего? Что я, неправду говорю? Правду... святую правду. Ты-то уж за отца не заступайся, потому что, пока он жив был, так тоже немало горя из-за тебя хлебнул... Уж я-то его памяти не оскорблю, я знаю, как о ком поговорить. Ты мать не учи... Да, так о чём это я говорила? Вот и поехали мы с младшим сыном на свадьбу к моему двоюродному брату, под Луцк. На неделю, дней на десять, так мы предполагали. Отчего ж не съездить, думаю себе? Я всегда любила путешествовать, только не случалось... Муж, покойник, бывало, проклинал этот свой служебный вагон, а я ему говорю: кабы мне, так я бы лучшей работы и не придумала... Ездить, видеть разные новые места...

— Много он видел, отец! Пятнадцать лет по одной и той же дороге ездил.

— Оно, правда, покойник, царствие ему небесное, больше кабачками интересовался, чем другим чем-нибудь... Да, так о чём же я говорила? Ага... Вот мы и поехали в Луцк на свадьбу. Жену себе брат нашёл неплохую. Не то, чтобы очень молода, ну да ведь и ему уже за сорок... И вдруг — война. Старшенький мой, Марцысь, тоже к нам в Луцк бежал. А потом в Луцк советы пришли... Разве объяснишь, какая мы офицерская семья? Да и кто в такое время слушать станет? Но пожаловаться не могу, вещи все разрешили забрать, и вообще очень, очень были любезны... Другие там жалуются, ну, не знаю, но уж что до меня, то как на духу могу сказать, очень, очень предупредителен был этот лейтенант, или как он там у них называется...

— А уж бог да господь, да святая исповедь у вас, мама, с языка не сходят, — сердито проворчал Марцысь.

— А что ж тут дурного, дитя моё? Ну, коли уж правду говорить, так у исповеди-то я, пожалуй, лет двадцать не была... Или нет, подожди, Марцысь, сколько это лет? Тебе сейчас...

— Я не знаю, что было двадцать лет тому назад, — пробормотал мальчик.

— Ну, конечно, не знаешь. Ещё бы тебе знать!.. Но о чём это я говорила? Пани Ядвига, укройтесь потеплее, дитя моё, Владек, натяни на неё одеяло! Да, так вот, не то чтобы я была очень уж религиозна. Нет, этого я не могу сказать, а просто так говорится. Да и кому это мешает, что я господя бога поминую? Ну, вот и вышло, что если бы не эта свадьба, я, может, сюда и не попала бы. Сперва я даже так и думала, что, вот, мол, поехала на свою беду. Сидела бы в своём домишке, выращивала помидоры... А теперь, думаю, может и Груйца уже в помине нет? Потому что по радио передавали, и Марцысь в газете читал — до чего этот мальчишка быстро выучился по-русски! — так просто ужас, что эти немцы там выделывают!.. Меня-то, может, и не тронули бы, хотя бог их знает! А уж мои парни наверняка бы пропали. Уж они-то не

стали бы тихо сидеть, ну и пропали бы... Вот я теперь и думаю, что всё к лучшему вышло, да ещё столько новых мест человек увидел. Могла я когда-нибудь думать, что вот хоть эту Аму-Дарью увижу? И на каргето её, пожалуй, не нашла бы...

Шувара внимательно слушал, не проявляя никаких признаков нетерпения. Ядвига тоже вдруг с удивлением подумала, что болтовня госпожи Роек совсем не неприятна ей. Эта маленькая, плотная, закутанная в бесконечное количество юбок, блузок, кофточек женщина излучала из себя какую-то непреодолимую весёлую энергию. Она говорила оживлённо, торопливо, и чувствовалось, что это не просто болтовня, а переливающиеся через край силы. Впрочем, вскоре для них нашёлся выход и кроме болтовни. На утро, после первой же проведённой в вагоне ночи, она принялась хозяйничать.

— День на дворе, нечего разлёживаться! — весело окликнула она дремлющих товарищей по вагону. — Марцысь, Владек, раздвиньте двери пошире, надо проветрить как следует! А ну, молодёжь, нечего, нечего, отправляйтесь к реке мыться! Да не с пустыми руками! Вёдра есть, принесите воды. А вы, сударыня, тоже умыли бы, наконец, свою Зосю! — прикрикнула она на нечёсанную даму, которая, охая, поднималась с постели.

— Где же её умыть? Такой холод, не погону же я ребёнка на реку...

— А вот принесут щепок, нагреем воды на печке. Ну, поживей, господа, шевелитесь, шевелитесь! А это что? Как вам не стыдно, сударыня? С утра до вечера пичкаете ребёнка сладостями, а не видите, что по девочке вши ползают!

— Какие вши? — как ошпаренная завизжала дамочка. — У моего ребёнка вши?!

— Да вот же, смотрите, ползают! Посмотрите-ка, господин Шувара, что делается... Ещё тиф начнётся. Уж этого я не понимаю, чтобы у собственного ребёнка вшей не вычесать.

— Здесь всюду вши. Хоть каждый час вычёсывай, всё равно будут... — мрачно объявила закутанная в свою неизменную чёрную шаль полковница.

— Где это, всюду?

— У них, в России...

— Ах, так вы думаете? А когда в Куйбышеве предлагали идти в эту ихнюю баню, так все отлынивали, да ещё обижались, с какой стаги их подвергают дезинфекции, — возмутилась госпожа Роек. — Господин Шувара, идите к начальнику станции, здесь тоже, наверно, есть дезинфекция и баня.

— Да не дезинфекция, мама, а дезинсекция! — змешался Марцысь.

— Пусть будет дезинсекция, зовите как хотите, а дезинфицироваться нам всем надо, раз уж вши появились.

— Вы что же, думаете, что это от мсёй Зоси?

— От Зоси или не от Зоси, а вши есть, вот и всё. Давайте, наконец, по-человечески жить, хватит этой грязи...

Жулавская поморщилась.

— Есть же люди, которые никогда не умеют проявить ни капельки такта.

Госпожа Роек не обиделась.

— Ну уж там такт или не такт, а надо помыться, вот и всё.

— Уж я-то в бане мыться не буду, — надменно заявила полковница.

— Не будете, так придётся поискать места где-нибудь в другом вагоне, — спокойно ответил вернувшийся Шувара. Но Жулавской, пови-

димому, не хотелось искать другого места. Всё с тем же презрительно надменным выражением лица она вместе с другими обитателями вагона подверглась санобработке в дезинсекционном пункте на станции.

— Что мы смертельно простудимся, это совершенно ясно. Но ничего не поделаешь, раз людям вдруг захотелось чистоты...

— Не простудимся, не бойтесь, — успокаивал Шувара. — Я видел на Урале, как люди прямо из бани выбегали голые на мороз — и бух в прорубь!.. И ничего, хоть бы насморк!

— Это кто же такие? — всё так же надменно осведомилась полковница в шали.

— Разные люди. Рабочие, крестьяне.

— Ах так, рабочие и крестьяне. Ну, разумеется, — повторила та и, демонстративно завернувшись в свою шаль, уселась в углу.

— Что это такое? — вдруг удивился кудрявый парень, глядя, как Марцысь растапливает печку.

— Кизяк, а вы никогда не видели? Мы в Северном Казахстане всегда им топили.

— Я был не в Северном Казахстане.

— А где?

— В другом месте, — сухо отрезал кудрявыи, поправляя дымящую трубу.

Жизнь в вагоне мало-помалу налаживалась. По утрам первая вскакивала госпожа Роек. Потом вставали другие, мылись, готовили завтрак. Ядвига выводила на прогулку детей. Заставляли гулять и взрослых, даже мрачную полковницу в чёрной шали принудили ежедневно выходить на воздух. Шувара установил непосредственную связь с начальником станции и приносил последние известия, сообщаемые по радио. Обитатели вагона перезнакомились друг с другом, между некоторыми завязывалась и дружба. Разношёрстная публика начинала приобретать какую-то общую окраску. Здесь были люди со всех концов Польши, выброшенные военной бурей из родных гнёзд. С момента сентябрьской катастрофы судьбы их складывались по-разному, и различны были пути, которые в конце концов привели их сюда, к устью Аму-Дарьи, о существовании которой большинство из них никогда в жизни не слышало или слышало, как о далёкой восточной сказке.

По узкой тропинке Ядвига водила детей на край хлопковых плантаций. Самый младший, Олесь, мать которого, большая и слабая, обычно лежала в вагоне и, закрыв глаза, думала какие-то свои думы, привязавшись к Ядвиге с первого дня. Ядвига шла, чувствуя в руке его маленькую тёплую ручку, и невольно думала о том, что её мальчик уже никогда не будет вот так семенить ни по одной тропинке в мире. Но в этой мысли уже не было горечи, а лишь безграничная печаль. Печалью веяло от мутных волн огромной реки, печаль лёгкой тенью затягивала горизонт, выростала листьями никогда не виданных растений на краю тропинки. Весь мир окутан был этой печалью, как мягким пушистым платком. О мальчике только и можно было думать во время этих прогулок с детьми, слушая щебетанье детских голосов, глядя на маленькие головки. А потом времени на думы и печаль не оставалось — госпожа Роек умела заполнить Ядвиге каждую минуту дня. Приготовление пищи, уборка теплушки, экспедиции на базар и уход за несколькими больными так плотно занимали день, что по вечерам усталая Ядвига засыпала каменным сном.

Да и о чём думать, о чём грезить? Уже в тот страшный зимний день с трескучим морозом, когда ей пришлось покинуть дом в Пелесе, ей показалось, что жёсткая, непроходимая граница перерезала пополам

её жизнь, что закрылась одна глава и открылась новая, в которой не будет ничего, кроме непроглядной чёрной тьмы.

Так же закрылась навеки одна глава в её жизни, когда она вернулась из влудкого костёла уже не Ядвигой Плонской, а женой осадника Хожиняка. Тогда тоже что-то замкнулось и навсегда пропало, и, казалось, незачем было вспоминать, что же осталось общего между прежней Ядвигой и той, которая переступила порог осадничьего дома не как гостя, а как жена и хозяйка.

Но ведь потом оказывалось, что это неправда. Что прошлое тянется за человеком, как тень, что ни от чего нельзя отделаться, ни с чем нельзя покончить. Когда-то она ушла от своей деревни, от людей, которые были ей близки, воздвигла своим замужеством между собой и ими непреодолимую грань. Но деревня напомнила ей о себе уже на рассвете следующего дня — красным заревом пожара, кровавым отблеском пылающих осадничьих построек. Напомнила ей о себе и свадьба во влудком костёле в тот февральский вечер, когда Пётр...

Нет, нет, об этом думать нельзя, на это нехватало сил.

— Дай-ка, Олесь, высморкаемся, у тебя опять из носика течёт.

— Не хочу...

— Как это, не хочешь? Разве хорошо так ходить? Такой большой мальчик... Ну, сморкайся, сморкайся сильнее...

Но Олесь не умел сморкаться и только шмыгал смешным маленьким носиком-пуговкой да поднимал на Ядвигу огромные голубые глаза, полные обиды и упрёка: как может она требовать от него такой трудной вещи?

— Эх, ты!..

Она невольно улыбнулась. Невозможно было не улыбнуться, глядя в эти прелестные глаза, — у кого это были похожие? Ах, да, почти такого же цвета глаза были у маленькой рахитичной Авдотьи, внучки старой Петручихи... Где она теперь? Что с ними со всеми? И где сейчас Стефек?

Нет, неправда, что в человеке могут погаснуть, умереть, испепелиться все чувства. Ведь вот, после того, что произошло в тот мрачный февральский день — на севере в дремучем лесу появился на свет её мальчик, и оказалось, что не умерла улыбка, что не умерло счастье, что было зачем жить... Теперь уже нет мальчика, но жизнь продолжается, и Ядвига снова кому-то нужна. Хоть бы этому Олесю, мать которого, погрузившись в полусонное оцепенение, не может им заниматься, или этой Мане, которая степенно рассказывает о себе: «Когда мама умерла, я, значит, стала жить с тётёй, а потом тётя тоже умерла и я, значит, решила ехать вместе со всеми. Не пропадать же человеку, как-нибудь устроюсь, правда?»

И кроме всего, есть же где-то ещё Стефек, брат, Стефек, имя которого носил её мальчик...

Нет, ничто не умирает в человеке, ни его радости, ни печали, ни страхи...

Где теперь может быть Стефек? До самого нападения немцев на Советский Союз он писал ей на север и присылал посылки. Нет, он не забыл её, не выкинул из сердца, хотя ведь мог бы, имел на это право... Но потом, с самого июня — ни слова, ни весточки. Там, над Стырью, теперь немцы. Где же может быть Стефек?

Это мучительное беспокойство тоже было признаком, что её сердце не умерло, хотя там, на песчаном холме, заносимом ветрами степей и пустынь, осталась маленькая могилка. В её сердце жил ещё страх за Стефека, жила вера, что он снова найдёт её, как уже раз нашёл.

«Может, это только я такая подлая и злая, что всё живу и живу, несмотря на все несчастья? — думала она. — Вижу, как здесь красиво, улыбаюсь этим широко открытым детским глазам, совсем не похожим на тёмные глаза того крошки, что остался на унылом, открытом всем ветрам кладбище...»

Но ведь живут и другие. Живёт Шувара, у которого погибли от одной бомбы жена, двое детей и старушка-мать, все его близкие, до одного. И та советская проводница, потерявшая на войне обоих сыновей... Осматриваясь в теплушке, Ядвига видела, что в ней нет ни одного человека, который бы не таил в сердце тяжких ран, который не видел бы своими глазами таких вещей, которые видеть человеку не по силам. И всё-таки они жили и хотели жить — спали, ели, ссорились, смеялись, будто не было за их спиной могил и развалин, будто они забыли об урагане, разбросавшем их по всему свету так, что, кажется, никому никогда не разыскать друг друга, никому никогда не найти дома, который можно назвать своим. И каждое место, где можно было хоть ненадолго приютиться, становилось для них как бы своим домом, и люди, вчера только познакомившиеся, — своей семьёй. Уже нарождалось у них что-то вроде вагонного патриотизма — жители теплушек навещали друг друга, и госпожа Роек, которая успевала за день побывать во всех вагонах, с гордостью говорила:

— Как хотите, а наша теплушка лучше всех. Когда пойдёте гулять с детьми, Ядвига, принесите хоть веточек каких-нибудь, поставим в кувшин. В третьем вагоне сделали букеты из таких блестящих зелёных листьев, очень красиво! А у нас куда чище, чем у них, да если ещё букет...

Но эта спокойная жизнь продолжалась недолго. На четвёртый день, когда Марцысь, пристроившись у входа, мастерил из раздобытых где-то досок обеденный стол, к вагону подошла группа незнакомых.

— Сюда, сюда...

Высокий мужчина в военных сапогах легко поднялся в вагон, окинул его внимательным взглядом и, не здороваясь, словно здесь никого не было, бросился обратно к дверям:

— Места много, прошу вас, сударыня, пожалуйста!

Из постоянных обитателей теплушки в этот момент почти никого не было. Но тут, словно почуяв грозящую опасность, они один за другим стали сходиться. Однако проникнуть в своё жильё им было нелегко. Мужчина в военных сапогах втаскивал по приставной лесенке даму в мехах и бесконечное количество чемоданов, баулов, пакетов, коробок. За чемоданами толпилось ещё несколько человек.

— Это что же такое будет? — крикнула госпожа Роек, когда нога в лакированном сапоге энергично отбросила одеяло, соскользнувшее с большой женщины, матери Олесья.

— Сюда, сюда, сударыня, здесь будет удобнее.

Дама в мехах величественно опустилась на скамейку, собственно-ручно сколоченную сыновьями госпожи Роек.

— Что тут за рухлядь? — распорядился человек в сапогах. — Прошу немедленно убрать.

— С какой стати? Это наши вещи, — ополчилась на него госпожа Роек.

— Всё равно чи!.. Прошу немедленно освободить место для супруги господина майора...

— Подумашь, супруга господина майора! Куда опять эти дети девались? Марцысь, растолкуй этому господину...

— Толковать тут нечего. Вагон почти пуст. Здесь разместится шесть человек.

— Да что за люди? Новый эшелон пришёл, что ли? — беспокойно спрашивали кругом.

— Какой там новый... Это же майорша, которая ехала в одном вагоне со Светликовским.

— Какой ещё Светликовский?

— Ну, тот, что сбежал...

— Посольство назначило нового коменданта транспорта, поручика Шатковского, — объявил неизвестный в военных сапогах.

— Ах, вон что... И откуда только берутся все эти капитаны, поручики как раз здесь? Ведь объявляли, что сюда перевозят только семьи.

— Молчать! — заорал тот.

— Это вы мне? Да с чего я стану молчать?

— Большевицские порядки заводите? Нет, не выйдет. Теперь дело пойдёт по-иному, хватит...

— Легавый... — вполголоса объяснил госпоже Роек кудрявый парень.

— Кто? — не поняла та.

— Легавый, полицейский.

— Какой полицейский?

— Ясно, какой. Польский, довоенный.

— Откуда вы знаете?

— Уж я-то его знаю... Ну, теперь он покажет, где раки зимуют.

— Какие раки? Что ему до нас? Господин Шувара, куда вы девались? Смотрите, что тут делается. И откуда только их набралось?

— Очень просто, — объяснил Шувара. — Сперва они расползлись по местечку, но за комнату приходится платить десять рублей в сутки. А ведь мы тут пока что щели законопатили, теплушки почистили, трубы к печкам сделали, всё готово. Почему бы и не сэкономить десять рублей?

— Молчать! — надрывалось новоявленное начальство.

— А вы не орите. Кончилась ваша власть...

— Я вам покажу, кончилась или не кончилась... Вы кто такой?

— А вам на что? Протокол, что ли, составить хотите?

— Понадобится, так и составлю.

— Да бросьте, господин унтер, — сочла нужным вмешаться майорша, которая до сих пор лишь протяжно вздыхала. — Вы же видите, что это за сброд!

— Кто это сброд? — грозно спросил кудрявый.

— Вот уже и полицейские унтеры налицо, и госпожи майорши. Всё по-старому... — язвительно заметил кто-то из обитателей теплушки.

— Не успело кончиться, а уж снова начинается...

— Молчать!

Шум и крик в теплушке продолжались довольно долго, пока, наконец, полицейский не направился в следующий вагон.

— Я не говорю, что у нас уже никому больше не поместиться, — ораторствовала госпожа Роек, подкладывая в печурку кизяк. — Отчего же, место есть. А только кого к нам, прости господи, сунули? И с какой стати? Спрашивали нас, что ли? А как мы здесь славно, спокойно жили, боже ты мой...

— Прошу не трогать грязными руками мои вещи! — пронзительно запищала майорша, которая всё ещё не решалась снять шубу, хотя в теплушке было жарко. — И снимите эти кастрюльки, невозможная вонь!

— Это не кастрюльки, кизяк воняет, — равнодушно объяснил кудрявый.

— Что это?

— Дерьмом, сударыня, печку топят, сушёным коровьим дерьмом, вот и воняет.

Из груди майорши вырвался протяжный стон и, вытащив платочек, она тихо заплакала, демонстративно стирая слёзы.

— Куда я попала, боже мой, что это за люди...

— Всякие люди бывают, это верно, — подхватила госпожа Роек. — И такие, и этакие. Некоторым вот кажется, что ихнему барству никакая война конца не положит.

С момента назначения нового коменданта в эшелоне начались новые порядки. Утром явилась комиссия из нескольких человек в полувоенных костюмах и конфисковала ящики с продовольствием.

— Это с какой стати?

— С такой стати, что все припасы будут сложены в одно место п каждому будет выдаваться рацион.

— Мы и до сих пор каждому выделяли рацион.

— По каким спискам?

— Как, по каким? Сгущённое молоко детям, консервы взрослым...

— Ну вот, видите... А теперь будут составлены списки и выяснится, кому полагается помощь, а кому нет.

— Как, кому нет? Все на равных правах едут!

— Это мы посмотрим, все или не все. Господин Шлетынский, перепишите этот вагон. Прошу подходить по очереди.

— Прошу, господа, все по очереди! Сударыня, — обратился он к майорше, — будьте любезны...

— Вот тебе и по очереди!

Майорша, комкая в руках платочек, со вздохом отвечала на анкетные вопросы. Тот записывал, сочувственно качая головой.

— Кто следующий? Прошу!

— Ядвига Хожиняк.

— Кто вы такая?

— Как кто?

— Откуда вы тут взялись?

— Приехала... Приехала в Куйбышев...

Регистрирующий потерял терпение.

— Ну, ладно, в Куйбышев откуда попали?

— Из Орчи.

— Ах так, так. Жена осадника, да?

Ядвига покраснела до слёз. Теперь, когда она сказала это в присутствии двух десятков людей, в присутствии Шувары, ей показалось, что время повернуло вспять, что снова вернулся тот страшный февральский вечер, снова разверзлась под ногами чёрная пропасть.

— Да, — опустив глаза, тихо сказала она.

Но на спрашивающего её ответ, повидимому, произвёл самое благоприятное впечатление.

— Что ж вы сразу не сказали? Так, так, понятно. Садитесь, пожалуйста, что ж вы стоите? Андрей, подай табуретку.

Но Ядвига поспешно спряталась в толпу. Вперёд выступил Шувара.

— Слесарь? — удивился Шлетынский.

— Слесарь, — равнодушно подтвердил Шувара.

— И откуда вы здесь взялись?

— Из Варшавы.

— Ну хорошо, а здесь?

- Я поехал на работу, на Урал.
- Ах, вон оно что... изволили поехать на Урал, — протяжно повтори Шлетынский. — А зачем вы с этого Урала уехали?
- А с этого Урала я поехал в эту вашу армию...
- Так, так... Ну и что?
- А это уж вы сами знаете, что.
- Вы полагаете? Может быть, и так. Кто следующий?

Новые вопросы, новые ответы, названия местностей, которые сами по себе означают человеческие судьбы, извилистые и трудные человеческие пути. Напоследок остался кудрявый парень, который явно оттягивал время. Но в конце концов никого, кроме него, не осталось, и он медленно подошёл к столу.

— Из тюрьмы, — неохотно пробормотал он в ответ на вопрос, откуда сюда явился. И Шлетынский тотчас стал чрезвычайно любезен.

— Из тюрьмы? Вот что. Я запишу вам тут мой адрес, я живу в гостинице, у самого вокзала, забегите ко мне завтра пораньше.

— Только это не то, что вы думаете.

— Как не то?

Кудрявый мгновение рассматривал его исподлобья, затем решил:

— Я за кражу сидел, а не за то, что вам надо. За кражу со взломом.

Майорша пискнула, Шлетынский поморщился и поднялся со стула.

— Больше никого нет? К утру будут готовы списки, прошу явиться за ними к унтеру Лужняку. Рационы будут выдаваться по спискам, копии списков будут находиться у вас. Ежедневно с десяти часов утра, в бывшем дровяном складе на пристани.

— Ого, на пристань бегать, когда раньше на месте было...

— Прошу без замечаний!

— А когда мы дальше поедем? — спросил кто-то.

— Придёт распоряжение, поедем... Комендант занимается этим вопросом.

— Как бы только он продуктами не занялся, вроде прежнего, — пробормотал кто-то в углу, но Шлетынский вышел, притворяясь, что не слышит.

Госпожа Роек всплеснула руками.

— Что тут только делается! Коменданты, списки — кому они нужны? — а об отъезде ни звука! Зимовать мы тут будем, что ли? И тесно стало в вагоне, прямо дышать нечем. Вы бы, сударыня, хоть духами не обливались, а то прямо голова трещит от них...

— Вы это мне говорите? — слабым, страдальческим голосом спросила майорша.

— Да вам, вам, кому же ещё... Хуже кизяка эти ваши духи.

Составленные комиссией списки, вопреки мнению госпожи Роек, которую, при молчаливом протесте майорши и её окружения, выбрали делегаткой от вагона по продовольственным вопросам, оказались всё же для чего-то нужными. Это выяснилось на следующий же день.

— Тут ошибка в списке, — заявила госпожа Роек, когда ей вручили листок.

— Какая ошибка?

— Здесь пятнадцать человек, а у нас в вагоне восемнадцать.

— Который вагон?

— Первый.

— Первый... первый... — служащий порылся в папке. — Первый... Нет, никакой ошибки нет. Продовольствие полагается пятнадцати лицам.

— Как пятнадцати? Здесь пропущены Шувара, Шклярек, Скворонский... — вспоминала она.

— Не занимайте у нас времени понапрасну. Всё в порядке. Этим господам никакой помощи не полагается.

Она широко раскрыла глаза.

— Как так, не полагается?

— Не полагается, и всё. Кто следующий, прошу!

Унтер Лужняк бесцеремонно оттаскивал её за рукав.

— Идите, идите, не мешайте другим.

— Да что же это за порядки такие! Наделали ошибок в списках, а потом...

— Никаких ошибок не наделали. Вы знаете, что это за элемент?

— Какой ещё там элемент?

— Большевиков мы кормить не станем.

Она попыталась было спорить, но Лужняк без дальнейших разговоров вытеснил её из помещения.

— Зря вы так волнуетесь, во всех вагонах то же самое, — объяснил ей Шувара. — Всем, кто добровольно поехал на работу в Советский Союз, они ничего не дают. Помогают только «жертвам большевизма», — добавил он с издёвкой.

— Нет, я пойду к этому, как его там, коменданту. Что же это такое? Майорша получает паёк, хотя у неё куча денег, все получают, а ведь вы, господа, безо всего, как стояли, поехали...

Но к коменданту её не допустили. А вечером явился Лужняк и объяснил, что комендант назначил делегатом вагона господина Малевского, который снова откуда-то появился, занял угол вагона и в кратком, ясном резюме изложил свою программу:

— Евреи и большевики ничего не получают. Пусть подыхают с голоду, если им угодно.

Евреев в их теплушке, правда, не было. Но, не считая даже троих «большевиков», которые не подлежали благотельным заботам начальства, для многих других существовал, как оказалось, ещё ряд оттенков и градаций. У майорши и ещё нескольких человек из её окружения было даже вино и шоколад, а «плебс» принуждён был довольствоваться распущенным в горячей воде сгущённым молоком, время от времени жестяной консервированного мяса да жёсткими как камень сухарями.

— Почему нет хлеба? — пытались протестовать обойдённые. — Ведь большевики выдают для нас хлеб!

— Кто выдаёт? Они сами дохнут с голоду, доигрались со своими колхозами! Станут они нам давать.

Но хлеб выдавали, и Шувара даже точно узнал от начальника станции, сколько именно. Только по пути с городского склада на запасный путь, где находились временные жилища поляков, хлеб будто в воздухе растворялся. У господина Малевского его было вдоволь, но как раз он-то и произносил целые речи о том, что хлеба нет, доказывая ясно, как дважды два четыре, что большевики коварно заманили их в пустыню, чтобы уморить здесь голодом.

Шувара и ещё два «большевика», к которым присоединился и кудрявый Антон Хобот, через несколько дней перестали принимать участие в жизни теплушки. Они работали на пристани и приходили сюда только ночевать.

А между тем жизнь здесь превратилась в подлинный ад. Возникали слухи один страшней другого, и чем бессмысленней они были, тем легче им верили.

— Немцы уже всё заняли, о нас здесь просто забыли.

— Теперь, того и гляди, на нас бросятся дикари с ножами и вырежут всех за то, что нас большевики сюда привезли.

— Куда нас хотят везти? По реке на Аральск? А что же дальше будет? Вы знаете, что Аральское море и река как замёрзнут, так лёд семь месяцев держится, и тогда уж ни взад, ни вперёд. Все погибнем...

— Господин Малевский говорит, что там северная зима всё равно как на полюсе, шесть месяцев солнце не светит.

— Не может быть. Тут же юг!

— Какой там юг! Всё это сказки... Только чтобы обмануть нас и погубить...

Но вдруг пронеслась другая весть:

— Англичане перешли границу, идут сюда...

— Какую границу?

— Ну как, какую? Разумеется, иранскую. Так что нечего беспокоиться. Большевики бегут, только пятки сверкают. Мне вчера это один тут рассказывал, очень порядочный человек, хотя и здешний.

— Да ведь англичане русским союзники?

— Э, неужели вы в это верите? Станут англичане связываться с большевиками! Не-ет. Там их немцы бьют, а тут англичане как наподдадут сбоку!

Одновременно доходили известия, имевшие больше оснований. Да и проверить их было легче. Оказалось, что большевики действительно давали хлеб, но этот хлеб, через посредство коменданта эшелона и его приближённых, вместо того, чтобы попадать по назначению, попадал прямо на рынок. В деревню продавались и костюмы, ватники, детские ботинки, которые получал под расписку для распределения между нуждающимися поляками поручик Шатковский. Однако говорить об этом открыто никто не решался, так как оказалось, что всё, о чём говорят в теплушках, немедленно доходит до руководства и вызывает весьма чувствительные репрессии.

В довершение ко всему в эшелоне появился тиф. Дважды приходила советская комиссия, чтобы проверить санитарное состояние теплушек, но больных старались от неё скрыть.

— Знаем мы эти их больницы! Морилки, только и всего.

— И чего эти комиссии шатаются?

— Да говорят, что в ряде эшелонов тиф и что уже появились случаи и среди населения.

Городские власти были в отчаянии. Не проходило дня без скандалов на базаре, где оборотистые юнцы старались надуть «глупых азиатов». Не проходило дня, чтобы к советским властям не поступали жалобы от самих поляков. Но что тут можно было сделать?

— Я не имею права вмешиваться, — говорил Шуваре председатель районного совета. — Поймите, я связан по рукам и ногам. Эшелон находится в ведении польского посольства, там свой комендант, своё руководство. Я обязан всячески помогать полякам, но не имею права вмешиваться в их внутренние распоряжки.

— Хорошо же «ведает» посольство эшелонам!

— Ничего не поделаешь, разбирайтесь как-нибудь сами. Повторяю, у меня руки связаны... Одно скажу... Тифа я у себя не допущу. Больные должны быть отправлены в больницы.

Но больных не отправляли. Во время посещений комиссии их прятали в тёмные уголки, прикрывали одеялами, клали на них вещи — лишь бы их никто не заметил.

— Ради всего святого, люди, что вы делаете? Ведь это тиф, тут и ребёнок не ошибётся... Что ж вы хотите, чтобы мы все здесь перемерли? — **взывала госпожа Рок.**

Малевский совещался в сторонке с Лужняком.

— Ну что ж? Чем хуже, тем лучше! Мало они над людьми издевались, а теперь ещё тиф... Ведь каждый умерший будет им в счёт поставлен, понимаете, Лужняк?

Унтер кивал головой и покачивался на каблуках, поскрипывая начищенными до блеска сапогами. Равнодушно глядя в сторону, Малевский вполголоса спросил:

— Донесение отправили, последнее?

— Отправил.

— Место то же самое?

— То же самое.

— Вы смотрите, поосторожнее.

— Э, чего бояться? Никому и в голову не приходит.

— Да, доверчивы-доверчивы, а потом вдруг оказывается, что хитры, как змии... Азиаты, знаете, коварны, об этом надо помнить... Впрочем, и в самом эшелоне есть большевистские прихвостни...

— Я уж держу на примете, кого следует. Этот Шувара...

— И Шувара, и другие... Не угодно ли, пошёл на пристань мешки таскать... По правде сказать, от него хорошо бы избавиться.

— Избавиться?

— Не понимаете? Ребёнок вы, что ли? Впрочем... не теперь, так позже.

Однако вскоре Малевский на время позабыл о Шуваре, занявшись другими делами. Местные власти предприняли энергичные меры по борьбе с тифом в эшелонах. Все теплушки перетряхнули; больных, несмотря на вопли и протесты, перевезли в больницы, весь эшелон подвергся дезинсекции. На некоторое время был запрещён выход в город.

И вот из теплушки в теплушку понеслась весть об ужасающих актах насилия, совершённых якобы тут же рядом, в соседнем вагоне; о поляках, умирающих без всякой помощи на голом полу в больницах, об убитых женщинах и детях. Малевский и поручик Шатковский употребили все усилия, чтобы эти слухи как можно скорее проникли наружу. И они распространились с невероятной быстротой, и огромными буквами закричали с газетных листов в далёкой Англии и ещё более далёкой Америке — с тем, чтобы потом, известными лишь Малевскому путями, вернуться сюда, на эти необъятные просторы, но вернуться уже в качестве «достоверного сообщения». «Потому что ведь это напечатано в газетах, в заграничных газетах! А уж там, милая моя, получше информированы, чем мы. Мы сидим в этой дыре, ничего не знаем, а тут такие ужасы творятся, милая вы моя! Подумать только, ведь это настоящее мученичество, ведь это описать невозможно, что мы, несчастные, терпим...»

Шувара и остальные, работающие на пристани, после дезинсекции уже не вернулись в теплушки, найдя приют в городке. Они явились лишь в последний момент, перед отъездом, когда после прибытия представителя посольства, к которому, впрочем, никого из обыкновенных смертных не допустили, после бунта почти всех пассажиров, категорически отказавшихся плыть по реке, — советские власти со страшными усилиями выхлопотали для поляков вагоны. Паровоз уже стоял под парами:

— А теперь куда?

— В Южный Казахстан. Там нас устроят.

— Опять в Казахстан, — пронзительно вскрикнула Жулавская, но кудрявый паренёк успокоил её:

— Не орите, дамочка. Теперь не придётся вам навоз убирать. Теперь не как-нибудь, само посольство вами займётся.

Теплушку покачивало. Маленький Олесь спал на коленях у Ядвиги.

Золотое солнце поднималось над степью, белой от утреннего заморозка, раскинувшейся под беспредельным небом необычайной синевы. Ритм колёс был ритмом сердца. И Ядвиге вдруг подумалось, что Стефек, наверно, жив, и когда они обретут постоянное место жительства, он непременно найдёт её.

Господин Малевский, который железной рукой вводил в вагоне свои порядки, сперва оказывал Ядвиге явное предпочтение. Не такое, конечно, как майорше и её четырём приятельницам, но всё же предпочтение. Она понимала, почему: ведь она была женой осадника! Даже глядя со стороны на привилегии, применяемые руководством эшелона к пассажирам, легко можно было разбить всех присутствующих на определённые группы. На первом месте были люди, которые до амнистии сидели в советских тюрьмах, а до войны были офицерами или полицейскими. На втором — семьи офицеров. На третьем — семьи осадников. И только потом уже шли остальные, вплоть до тех, кому не полагалось никакой помощи, на том основании, что до нападения фашистов на Советский Союз они добровольно «работали на большевиков». Эти не получали ничего, и «руководство» на каждом шагу подчёркивало, что после окончания войны они не будут впущены в Польшу.

Ни у Малевского, ни у коменданта эшелона Шатковского, ни у унтера Лужняка не было ни малейших сомнений, что после войны именно они, а не кто другой, будут решать вопрос о том, кого впускать, а кого не впускать в Польшу. Но и между ними были кое-какие разногласия. Поручик Шатковский верил, что генерал Сикорский «человек порядочный», а всё это соглашение с Советами — только так, до поры до времени, а там видно будет. Он, мол, знает, что делает. Унтер Лужняк Сикорскому не доверял, но зато доверял генералу Андерсу. Кому доверял и кому служил Малевский — было весьма неясно, но зато он лучше всех знал и больше всех говорил о том, кого впустят, а кого не впустят в Польшу.

Впрочем, Ядвига скоро оттолкнула от себя Малевского своей дружкой с госпожой Роек, которой он не выносил, и с Шуварой, которого он уже совсем ей простить не мог. Но пайки она пока ещё получала, и это радовало её из-за маленького Олесья. Мать ребёнка, больная и истощённая, не перенесла тифа и осталась в могиле там, на Аму-Дарье. Теперь Олесья принадлежал только Ядвиге. Память о том, другом, о сыне, одиноко оставшемся в песках далёкого кладбища, не померкла, не стёрлась, но этот голубоглазый мальчик словно стал на его место. Сердце помнило, в нём жила постоянная боль, острая, как игла, но пустоты оно теперь не ощущало.

Ведь был ещё и Стефек. И Стефек стоял между нею и Малевским. Она знала, что брат с теми — с теми, кого ненавидит Малевский.

И напрасно здесь, в эшелоне, столько говорят о преследованиях и обидах. Нет, Ядвига не чувствовала обиды. То, что с нею произошло, было лишь последствием её собственных решений, её собственных поступков. Кого ей было винить? Никто силой не выдавал её замуж за Хожиняка. А последствием этого брака было то, что ей пришлось давать в своём доме убежище людям, руки которых были обогреты кровью или могли быть обогрены ею завтра. Её дом над Стырью стал для них пунктом, куда они приходили и откуда отправлялись дальше в свой недобрый путь.

Может быть, и даже наверно, многие пострадали действительно незаслуженно. Но что делать, если они очутились на пути событий не как отдельные люди, а как группы, играющие определённую роль в общем соотношении сил? И даже их страдания сейчас, в перспективе

времени, выглядели иначе. Вот хоть бы и этот еврей, бывший лавочник. Если бы его не вывезли, если бы он остался там, у себя дома, его бы уже не было в живых. А теперь он жив и не погибнет здесь с семьёй, несмотря на все придирки господина Малевского.

Да и на многое люди смотрели теперь иными глазами. Там, в лесу, на севере, чужие русские люди лечили её ребёнка, заботились о нём, внимательно следили за его больным ушком, а здесь свои, поляки, отказали ей во враче, обманули её, посадили с ребёнком в поезд, где о нём некому было позаботиться. И когда Ядвига вспоминала о полугодах, проведённых в тайге, ей вспоминался теперь не жестокий мороз, не бараки. В памяти остались добрые слова, добрые люди, которых она там встретила, все мелкие услуги, которые ей оказывали и которые имели для неё такое огромное значение. И от этого её злополучного путешествия в памяти у неё осталась проводница в ватнике, мать двух погибших сыновей, первая, даже раньше госпожи Роек, занявшаяся Ядвигой. И начальник станции, который так деятельно о них заботился, и другие советские люди.

Нет, разговоры Малевского её не убеждали. Малевский лжёт. Большевики сражаются с врагом, который является и врагом поляков. С большевиками Стефек, если только он жив, а Ядвига верила, что он жив, и её вера всё более крепла.

Всё это были не совсем чёткие мысли, и Ядвига, пожалуй, не сумела бы растолковать их кому-нибудь другому. Но чувствовала она именно так, и потому ей была приятна болтовня госпожи Роек, приятны её мальчишки, и особенно Марцьсы, и неприятен был Малевский, хотя тот всячески старался казаться доброжелательным. Нет, он был неприятен и груб. Хотя он говорил по-польски и каждое его слово было понятно, в нём чувствовалось что-то чужое. Ядвиге казалось, что за тем, что он говорит, скрывается что-то неизвестное, тёмное и угрожающее, и ей становилось страшно.

Над степями висела голубоватая мгла. Казахстанское небо переливалось на закате всеми цветами радуги. Господин Малевский, стоя в полуоткрытых дверях теплушки, сплёвывал сквозь зубы и, глядя в меркнувшую лиловую даль, отливающую опаловым и алым блеском, говорил непрекаемым, не допускающим возражений тоном:

— Вот дикарская страна!

Но то была советская земля, за которую погибли сыновья проводницы в ватнике. И эта земля была прекрасна. Она не была похожа на буйные луга над Стырью, с её зелёными волнами под тенью ольх, не было здесь калиновых зарослей и кустарников бересклета. Но она была необъятна и величава, эта земля, и когда Ядвига смотрела в необозримую степную даль, в сердце её воцарялась тишина, как в храме.

Когда господин Малевский говорил: «большевистские мерзавцы», Ядвига знала, что он имеет в виду не только советских людей. Его брань относится к Шуваре и также к Стефеку. Ибо эта земля была и землёй Стефека. И она была несказанно прекрасна. Господин Малевский не хотел этого видеть. Но Ядвига видела. Видела и при свете дня, и в отблесках угасающей вечерней зари, когда она укладывала Олеся спать, и сердце её сжималось от странного чувства. Нет, это не было счастьем — да и каким оно бывает, счастье? Но это было чувство тихого восхищения этой землёй, которая была также и землёй Стефека.

Она была и землёй Петра. Только об этом нельзя, нельзя было думать. Это отнимало силы и жгло невыносимой, мучительной горечью. Об этом невозможно было думать ни там, в северных лесах, ни потом, в пути, ни теперь, в вагоне. «Когда-нибудь придёт к этому вернуться

и сказать себе всё до конца, — думала Ядвига, пытаясь усмирить вихрь тёмных мыслей, которые как густой дым поднимались со дна памяти. — Но не теперь. Теперь этого ещё нельзя касаться».

Потому что она сама во всём виновата и никого — она знала это, — никого не могла винить. Ведь это она изменила своей любви. Она обманула доверие Петра. Нет, на него она не могла обижаться. Но не могла и вспомнить его таким, каким он был на лугу в Оцинке, каким был на мостках тихой сонной бухточки перед её домом. Как она ни боролась против этого, в памяти возникало его лицо, каким оно было в тот февральский вечер, когда её вывозили из Ольшин. Замкнутое, чужое, будто они виделись впервые. Что-то нечеловеческое было в этом лице, что до сих пор сковывало льдом её сердце. Она старалась воздвигнуть стену между собой и этим воспоминанием, никогда за неё не заглядывать. Но суровый, незнакомый образ возникал из глубины снов, жил в душе, всегда был с Ядвигой, хотя она защищалась от него, как от грозной опасности. Ничто тогда не дрогнуло в его лице. Он стоял, освещённый неверным светом керосиновой лампочки, и казалось, что он видит Ядвигу впервые, что он не знает её, никогда даже не слышал её имени. От него веяло холодом и чем-то, что было ещё страшной холода. Если бы при нём заскулил щенок, он, верно, пожалел бы щенка. Но её он не пожалел. Для неё он не нашёл даже взгляда. Тоска, отчаяние, любовь, которые заставили её тогда рвануться к нему, оттолкнулись от этого каменного лица, от холодного, как лёд, взгляда.

«Но об этом не надо, не надо, ни за что на свете не надо думать», — повторяла она себе, бессознательно ломая руки. Олесь шевельнулся во сне. Она заботливо укутала его одеялом.

— Спи, спи, сыночек.

Глава 3

— Если бы мне, дитя моё, кто-нибудь предсказал, что я буду ходить за свиньями где-то на краю света, я бы ни за что не поверила. Ещё, может, и обиделась бы, — говорила госпожа Роек. — Хотя, не знаю, этому ещё, может, и поверила бы — никогда не знаешь, что тебе суждено, ни от чего не надо зарекаться. Но если бы мне сказали, что поросят купают в тёплой воде, как детей, этому я уж наверняка не поверила бы! Этому — ни за что! У отца были поросята — известно, огород, отходы там всякие, словом, выгодно. Ну, сидели они себе в хлеву, только и всего. Но если бы мне тогда сказали, что я буду мыть поросят да ещё выводить на прогулку — это уж нет, ни за что не поверила бы!..

Ядвига смеялась, упираясь лбом в лосящийся, коричневый коровий бок. Корова шумно пережёвывала жвачку и от времени до времени оглядывалась на доярку большими, доверчивыми глазами. Молоко тонкими струйками брызгало в цинковый подойник, поднималось пушистой пеной. Резкий запах коровника, знакомый, домашний запах врвался в ноздри Ядвиги.

— Стой, стой, Калина!

Корову звали не Калина. Рядом на столбе было чётко написано её имя — «Тюльпанка», а также имена её матери и отца, срок её отёла. Но она была коричневая, как и та, в Ольшинах, и, если глядеть только на её бок, опершись о него лбом, можно вообразить, что это коровник на материнском хуторе в Ольшинах, и доит Калину Ядвига — девушка, которая ещё ничего не знает о своей судьбе, ещё чего-то ожидает от неё. Там, за дверьми, наполняя воздух густым ароматом, цветёт жасмин, Стефек куда-то ушёл, мать сидит в своей комнате, и кругом тихо, спокойно. Калина пережёвывает траву. Скоро придёт Ольга, можно бу-

дет поплыть на лодке на калиновый островок, куда прилетают купаться горлицы. Трава ещё покрыта буйной, серебряной росой, и следы ног прокладывают на её синеватой поверхности темнозелёную тропинку. Вдали шумит озеро...

Но нет, это не Ольшины. Чтобы убедиться в этом, достаточно поднять голову. Коровник огромный, с цементным полом, с большими, как в барской усадьбе, окнами. По обе стороны рядами стоят коровы и тычутся мордами в автоматические поилки, где непрестанно бежит чистая проточная вода. Навозная жижа стекает по пологим канавкам в глубокий, выложенный цементом ров, идущий вдоль прохода, и только за коровником собирается в цементированную, наглухо закрытую яму. Молоко не процеживается на скамье сквозь тряпочку — его сливают в большие оцинкованные бидоны. Проверяют процент жира, измеряют количество. Затем удой Тюльпанки и других коров записывается в толстую прошнурованную книгу.

Ядвига надо торопиться, чтобы поспеть на свою постоянную работу, к овцам. Потому что Тюльпанка — это только так, для удовольствия. Ядвига выпросила позволение доить её.

— Так хочется доить, ну хоть одну эту... — просила она доярку Матрёну.

— Так, может, ты бы лучше взяла вон ту, бурую? Та легче доится.

— Нет, я эту!

Матрёна улыбается, глядя, как рука Ядвиги нежно гладит мягкий бок животного, гладкую, шелковистую шерсть.

— Что ж так? — И, не дожидаясь ответа, тихо говорит: — Наверно, своя корова вспомнилась, домашняя... Была корова-то?

Ядвига поднимает на неё влажные глаза. Боже мой, как это смешно! Корова — только и всего, а в сердце такая нежность, будто к родному человеку, столько тепла, словно вдруг неведомо откуда донёсся тихий привет, шёпотом сказанное слово, воскрешающее давно минувшие мгновения.

— Наша была поменьше. И не так хорошо доилась. Но похожая.

— Ну, тогда дои уж её, раз тебе так хочется... Известно — скотина, а привыкаешь к ней, будто к человеку. И умная ведь какая... Другой, не понимающий, скажет: что, мол, корова? — глупая скотина. А нешто она глупая? Всё понимает, вон как смотрит! Глаза как у человека... Только что не говорит. И ведь все тут такие.

Но Ядвиге пришлось по сердцу именно эта, похожая на её Калину. Правда, она и ростом больше, да и молока даёт в четыре раза против Калины. В Ольшинах и не поверили бы, что одна корова может дать так много молока. И сколько она даст — это зависит как раз от Ядвиги.

В открытые двери коровника сиял прозрачный, лазурный день. С гор неслись тёплые ветры, и уже несколько дней назад Олесь нашёл в зазеленевшей траве маленький белый цветок. Шла весна. Она чувствовалась в воздухе, в запахе ветра, в молодых, зелёных иголках травы, неуверенно пробивающихся из земли, в движениях людей, более живых и быстрых с тех пор как тела их освободились от ватников, полушубков, тёплых платков. Там, в Ольшинах, теперь ещё всё спит под снежным покровом, синий лёд ещё сковывает озеро, и лишь кое-где над незамерзающими трясинами, среди убелённого снегом кустарника поднимаются клубы пара. А здесь уже весна.

Ядвига вышла из коровника и, заслонив рукой глаза от яркого, крепко пригревающего солнца, взглянула вдаль.

Словно прозрачное, парящее в воздухе видение, переливалась вдали полоса лилово-розовых гор. Трудно было представить себе, что там

тоже есть земля, и трава, и скалы. Горы казались полосой мглы, насыщенной сиянием, чудом, которое исчезнет при первом дыхании ветра.

— Тянь-Шань. — Ядвига выговорила это слово полушёпотом, для самой себя. В нём тоже был отзвук далёких сказаний, и оно казалось таким же призрачным, как и сам этот горный хребет, ежеминутно меняющий окраску и, наверно, никогда не похожий на настоящие горы. Хотя разве видела она когда-нибудь другие горы?

На высоких стройных тополях, идущих вдоль дороги, уже виднелись набухающие, клейкие почки. Ещё несколько дней солнечной погоды — и они лопнут, выпустив из темницы молодые зелёные листки, живые и радостные. «Как здесь будет летом?» — думала Ядвига, глядя на тонкие линии арыков, перерезающие территорию совхоза, на слегка волнистую равнину, тянущуюся до самого горизонта, до таинственных гор Тянь-Шаня.

— Тут всё будет красно от тюльпанов, — сказала Матрёна. И Ядвига нетерпеливо ожидала тюльпанов. Изумляло, что цветы, которые там, дома, тщательно взращивали в садах и оранжереях, здесь росли под открытым небом, сами собой, без труда и без помощи человека. Тюльпаны появятся скоро. Ядвига уже видела их острые, свёрнутые в трубочку ростки, скрывающие под зелёным покровом тайну бутона и цветка, который вот-вот выглянет, пламенем сверкнёт на солнце, заколышется на тёплом ветру...

— А за коровником есть и жёлтые. Только тех меньше, — сказала Матрёна. И Ядвига нашла это место. Но сейчас ещё нельзя было распознать, вправду ли они жёлтые. Ростки были все одинаковые и ревниво скрывали то, что в них заключалось.

— Чему я так радуюсь? — вдруг удивилась Ядвига. И тотчас ответила себе: — Ну да, это же весна. Это потому, что весна.

Окна в доме открыты настежь — ведь уже совсем тепло. Но домой идти не хочется, невольно замедляешь шаг, чтобы успеть порадоваться солнцу, тёплому, мягкому ветерку, ласково касающемуся лица. Это ощущают все, никому не хочется лишнюю минуту пробыть в помещении, и на всех дорожках, на всех тропинках совхоза полно женщин.

— Бабье царство, — смеялся Шувара, когда они приехали сюда. И правда, в канцелярии правления, в поле, в конюшнях и коровниках — повсюду работали одни женщины. Исключением был один директор. Но директор уже успел потерять на войне правую руку и только потому был здесь, а не на фронте. И всё-таки Наталия Андреевна, его жена, как будто даже стеснялась перед всеми этими женщинами, чьи мужья, отцы, сыновья и братья были на войне, что её муж находится при ней. Странно выглядели здесь в первые дни Шувара, Шклярек, Скворонский, мальчишки госпожи Роек. Но и эти мужчины быстро исчезли из совхоза, ушли работать в МТС, расположенную за несколько километров. В совхозе они теперь появлялись только по праздникам, и то не всегда. Времени было в обрез, шёл ремонт машин, надвигались вспашка и сев. Госпожа Роек сперва возражала против работы в МТС — «как же отпустить сопляков одних, особенно Владека?» — но делала она это скорее для порядка; за ними обещал присматривать Шувара, а к нему она питала полное доверие.

— Слесарь, дитя моё, слесарь, а какой интеллигентный человек! И не скажешь, что рабочий. И ребята больше его слушаются, чем меня. Ну как же, мужчина всё-таки. Покойник, царствие ему небесное, хороший человек был, но уж ребят совсем не умел в руках держать. Да, по правде сказать, и не слишком ими интересовался. Всё в этих разъездах,

а уж если дома, то, не тем будь помянут, редко когда в трезвом виде. А тут другое дело — человек степенный, не даст им распуститься.

— Да они и сами хорошие дети, — заметила Ядвига, хотя ей смешно было говорить «дети» об этих почти взрослых юношах.

— Хорошие-то хорошие, да ведь всё-таки мальчишки, ну и конечно... Никогда не знаешь, что им может на ум взбрести! Но на работе их вроде хвалят, Марцысь уже на этом самом, на тракторе ездит... Может, это опасно? — вдруг встревожилась она.

— Да что ж там опасного? Здесь даже девушки управляют тракторами, — успокаивала её Ядвига.

— Знаю, дитя моё, знаю, только тут и девушки тоже какие-то не такие, как у нас. Влезет на машину, и хоть бы что... Я бы, наверно, умерла, если бы меня заставили трактор водить.

Ядвига подавила усмешку, но сама госпожа Роек, подумав мгновение, со вздохом прибавила:

— Хотя — кто знает? Если бы уж непременно надо было, я бы, пожалуй, и полезла на трактор... Муж, покойник, наверно, в гробу бы перевернулся, если бы меня на тракторе увидел...

Но Ядвиге думалось, что и покойник, вероятно, не сомневался в неисчерпаемых способностях своей супруги и вряд ли чему бы то ни было удивился, если бы и восстал из гроба.

Когда мальчики приходили по праздникам в гости, мать считала необходимым читать им наставления:

— Марцысь, ты только будь осторожен, дитя моё! Не дай бог, упадёшь под эти самые гусеницы, ведь они в лепёшку человека раздавят.

— Сто раз я вам, мама, объяснял, что там нельзя упасть.

— Что ты мне рассказываешь, дорогой мой? Какая-нибудь случайность всегда возможна. Ты лучше слушай, когда мать говорит, мать тебе плохого не посоветует. И ради всего святого, дитя моё, не испортить машины... Ты понимаешь, какая это ответственность? Такая дорогая вещь, подумать страшно... Что-нибудь не так повернёшь, не так крутнёшь — и несчастье готово. Что мы тогда будем делать?

— Уж вы, мама, выдумаете!

— А что, разве не случается?

— Случается, если кто не умеет.

— А ты так уж всё и умеешь?

— Не умел бы, так мне бы трактора не дали. Проверили, небось, сначала, умею ли.

Тут госпожу Роек вдруг охватила материнская гордость.

— Ну, подумай, Ядзя, какой всё-таки способный мальчишка... В два счёта кончил эти курсы — и уже тракторист! Можно ли было подумать... Ведь сколько же ему лет?

— Вы бы хоть моих годов не считали, — хмуро пробормотал он, но внимание госпожи Роек уже отвлеклось на младшего.

— А ты что ещё выдумал с этими шофёрскими курсами? Куда тебе быть шофёром? Ты знаешь, что это за работа, да ещё на здешних дорогах! Разве тебе выдержать?

— Вы за меня уж, мама, не беспокойтесь.

— А за кого же мне беспокоиться, если не за родных детей? От горшка три вершка, а уже нивесть что о себе воображает... И никакого уважения к матери, никакого! Был бы жив покойник, он бы вам показал...

— Действительно! — иронически пробормотал Владек.

— Нечего ворчать себе под нос! Хотя, по правде сказать, покойник тоже не умел с ними, нет, не умел... Потому они так и распустились,

что не дай бог... Иной раз, говорю тебе, Ядвигя, никакого терпения с ними нехватает...

— Маме обязательно надо поворчать.

— А конечно, надо. Кабы я не ворчала, вы бы вообразили, что вы чистое золото. Совсем у парней головы вскружились. Когда же это ты собираешься стать шофёром?

— Скоро.

— Скоро! Ну, подумай, Ядзя, дитя моё, какие всё-таки способные ребята!.. Только что начал учиться, а уже скоро шофёром будет.

— Теперь сокращённые курсы.

— Ясно, что сокращённые. А всё-таки не всякий бы справился. Ведь тебе ещё только...

Не успев сосчитать, сколько лет сыну, она вдруг бросилась в угол, где стояли потрёпанные чемоданы.

— Постой, постой, пуговица висит, надо пришить, а то потеряешь. И что бы вы без матери делали!..

Владек беспокойно переступал с ноги на ногу, но госпожа Роек упорно шила, не переставая ворчать.

— Уже не терпится? Уже надо бежать? Маршцысь! Куда этот мальчик девался? Боже ты мой, две недели матери не видели, и полчаса дома выдержать не могут. Знаю я, куда вы торопитесь! Знаю! Только смотрите у меня, чтобы вести себя прилично, чтобы мне за вас стыда не натерпеться...

Она откусила зубами нитку и хотела взглянуть на свою работу, но Владек успел исчезнуть за дверью.

— Ну, на что это похоже? Сопляку пятнадцать лет, а бежит на танцуюлку, как взрослый!..

— Что вам мешает? Пусть себе потанцует. Девушки так ждали этого воскресенья, — заступилась Ядвигя.

— И правда, дитя моё, — мигом переменяла фронт госпожа Роек. — Пусть себе потанцуют. Надо и о девушках подумать. Ведь только и кавалеров, что наши. Ты бы сама сходила, почему бы нет? Пойдём, пойдём, посмотрим, что там за вечер.

Они шли по тополевой аллее. Из клуба урывками доносились звуки гармонии. Солнце уже клонилось к западу, и Тянь-Шань стоял вдали, словно огромный, сверкающий сапфир, по граням которого вздрагивали розовые отблески. Кроткая тишина окутала всю равнину, простёршуюся в беспредельную даль. И в эту сияющую тишину вдруг ворвалась донёсшаяся из клуба песня:

Ой, на гори вогонь горить,
А в долини козак лежить...
Порубаный, постреляный,
Қитайкою покрываный.

Ядвигя остановилась. Задержалась и госпожа Роек. Ясно слышались слова:

Що в головах ворон краче,
А в ниженьках коник плаче...

— Что случилось? — встревожилась госпожа Роек, увидев, как вдруг побледнела Ядвигя.

Не плачь, мати, не журыся,
Бо вже твій син оженьвся,
Та взяв собі паняночку,
В чистым поли земляночку...

— Нет, нет, ничего не случилось...

Ой, на гори вогонь горить,
А в долини козак лежить...

Как мучительно вздрогнуло сердце... Знакомый, знакомый мотив, навеки заомнившиеся слова. Песенка Ольги. Одна из немногих старых казацких песен, какие пели там, над Стырью. Как далеко нёсся по росе голос Ольги — и Ядвига, слыша жгучую тоску, безутешное рыдание в этом голосе, знала, что Ольга думает о Сашке, который умер в тюрьме. Быть может, он умер «порубаный, постреляный», а быть может, и просто так, на тюремной койке... Никто ведь не знал, как умер Сашко, никто его смерти не видел, никто не знал, где он похоронен. Но Ядвига сейчас думала не о нём. Она и сама хорошенько не знала, о ком думает, отчего так дрогнуло сердце. Не о сыночке ли, лежащем в песках далёкого кладбища? Нет, и не о нём она сейчас вспомнила. Где-то сейчас Стефек? Ведь и он мог «порубаный, постреляный» найти себе «в чистым поли земляночку».

Госпожа Роек спросила тихонько:

— По-украински поют?

— Да.

Пели девушки, пришедшие сюда со скотом с Украины. Они прошли пешком тысячи километров, спасая от врага колхозный скот. Шли по пыльным дорогам под грохот взрывающихся бомб, брели по раскисшей осенней грязи, по трактам, изрытым тысячами колёс. В приволжских степях их захватил снег, режущий острыми иголками лицо. Но они всё шли, в дождь и ненастье, ночевали иной раз в открытом поле, отмеривали тысячи километров ногами, с которых сваливалась разбитая обувь. Они шли полгода, пока пришли сюда и поставили спасённых колхозных коров в коровники совхоза. Худые, с взъерошенной, слипшейся шерстью, со впалыми боками, коровы не давали молока и грустно мычали, переступая с ноги на ногу. Сперва они и ели неохотно, но потом стали быстро поправляться. Вот эти приведшие их девушки и принесли сюда свои песни, и временами казалось, что вся степь до самого Тянь-Шаня звучит, звенит, полнится украинской мелодией.

Но сейчас песня раздалась не в пору. Умолкли звуки гармоники. Утих шум в клубе. Опустились глаза. Стиснулись бессильные пальцы. И все эти женщины, молодые и старые, думали сейчас об одном — о тех, с кем их разлучила война, кто бился с врагом на далёких фронтах, грудью защищая родные просторы. Может, уже лежит порубаный, постреляный муж доярки Матрёны, которая как раз ожидает третьего ребёнка, и брат Натальи Андреевны, и мужья, сыновья, братья всех этих женщин, работающих здесь на совхозных полях. В любой день почтальон мог быть вестником несчастья. Ни одна из этих женщин не была свободна от страха, постоянного страха за близких людей, Заведующая фермой Анастасия Петровна, у которой не было ни мужа, ни сыновей, трепетала за жизнь дочери — её Фрося работала на фронте санитаркой.

Отсюда было далеко до полей битв. В ясные дни сияло золотое солнце над степью и, как огромный опал, переливался на горизонте Тянь-Шань. Хотелось верить, что всюду пробиваются из земли зелёные ростки весны, встают лазурные рассветы и опускаются на поля благодуханные вечера с золотисто-розовыми зорями, всюду плывёт над землёй сладостная, кроткая тишина.

Казалось, чего ещё надо человеческому сердцу? Позабыть бы здесь обо всём. Поля битв далеки, за тысячи километров. Там, поближе к фронту, города и сёла утопают во мраке, машины ездят с затемнён-

ными фарами, и люди по ночам передвигаются ощупью. Но здесь свет горит напролёт все ночи, яркие огни освещают работу тракторов. И можно бы вообразить, что войны нет на свете. Среди этих восходов и закатов, среди звёзд и росы, облаков и высоких трав война могла казаться страшной сказкой, чёрным ночным бредом, от которого можно освободиться одним усилием воли.

Но все сердца здесь были связаны с далёкой стороной, где земля гудела от грохота пальбы, где небо горело не зарёй, а пламенем пожара, где кровью омывалась родная земля.

Девичья песня неосторожно пробудила то, что таилось в душе каждого, — и не стало цветущей степи, померкло золото заката, не стало ничего, что окружало здесь людей. Прямо в глаза смотрела жестокая правда войны, и словно холодная рука смерти стиснула сердца. Девчата пели. Вновь и вновь взвивалась песня, вновь и вновь повторялись упрямые, дышащие скорбью слова:

Ой, на гори вогонь горить,
А в долине козак лежить...

Матрёна, сложив руки, сидела в углу на скамье, и слёзы лились по её лицу, ручьями струились по щекам, капали на юбку. Губы Анастасии Петровны болезненно искривились и голова в развязавшемся платке мерно покачивалась в такт песне.

Вечеринка расстроилась. Напрасно зоотехник Анята неожиданно ворвалась в песню залихватским перебором гармошки. Песня умолкла, но сразу же, будто застыдившись, умолкла и гармонь. Женщины постарше первые двинулись к выходу, за ними стали расходиться и другие. Заглянувший сюда на минуту директор, опустив голову, медленно зашагал к дому. Его правый рукав заложен был за ремень, стягивающий гимнастёрку. Он, видимо, не привык ещё к этому и всякий раз, как приходилось подать кому-нибудь руку, смущался и робко, неуклюже протягивал левую.

По аллее навстречу директору не спеша трусил казах на ослике. Его ноги свисали чуть не до земли, на голове косматилась огромная папаха, от которой он казался ещё выше на своём крохотном ослике.

— Здорово, Канабек. Что случилось?

Казах медленно слезал с ослика.

— Ничего не случилось. Я к тебе, Павел Алексеевич.

— Пойдём, пойдём в дом.

— В дом не надо. Я только так. Скажи, Павел Алексеевич, у тебя поляк есть?

— Поляки? Ну, разумеется, есть.

— Работают?

— Работают.

— А в МТС?

— Да и в МТС то же самое.

— Не убежали?

Директор удивился.

— С чего им бежать? Все здесь работают, и хорошо работают.

Казах качал головой в папаче, которая торчала на его голове, как старое, повреждённое дождями и ненастьем воронье гнездо. Солнечный свет золотился на его широких скулах, обтянутых смуглой кожей.

— А мой сбежал. Пришёл осенью, ел, пил. Полушубок получал. Валенки получал. Всю зиму сидел. Я говорю: ешь, пей, отдыхай. Полушубок есть, полушубок бери. Весна придёт, отработаешь. А весной сбежал. Все шесть. Ещё сапоги забрал. Мои сапоги, новые сапоги.

Вокруг собеседников собралась группа слушателей.

— Что он говорит? — заинтересовался Шувара.

— Ничего, ничего, — смущённо бормотал директор.

— Какой ничего? Я говорю, мой поляк сбежал. Всю зиму ел, пил, полушубок взял, валенки взял, теперь сбежал.

Лицо слесаря покраснело.

— Кто такой?

— Поляк. Все шесть, — объяснял казах. — Из колхоза «Красная звезда».

— Неужели нельзя найти? — вмешался Марцысь.

— Где найти? Зачем найти? Не хочет работать, пускай идёт. А только всю зиму ел, пил, теперь ещё мои новые сапоги взял...

— Кто это у вас был?

— Поляк был.

— А как фамилия, не знаете?

— Откуда знать? Трудный фамилия, польский. Пришёл, зимой работы в колхозе нет, весной есть. Жди весна, ешь, пей, отдыхай. А весной — сбежал.

— Что ж, мошенники среди всякого народа случаются, — сказал директор. — А ты, давай, в дом пойдём.

Ему, видимо, хотелось положить конец разговору на улице, где вокруг них собралось всё больше народу, и было неприятно за «своих» поляков, которые стояли тут же. Марцысь был красен, как свёкла.

— Зачем в дом? Время нет в дом ходить. Самому домой надо. Хотел спросить, как твой поляк. Твой работает, а мой сбежал... И в МТС работает?

— Все работают. Прошли курсы, тракторами управляют. Вон те двое, — директор указал уцелевшей рукой на Шувару и Марцыся, — стахановцы.

— Стахановцы... — бормотал казах, карабкаясь на ослика, который присел к земле под его тяжестью. — Стахановцы... А мой сбежал...

Он попрощался и уехал. Ослик медленно зашлёпал по тополевой аллее, длинные ноги казаха качались по обе стороны его туловища, как два маятника.

— Скоты этакие! — горячился Шувара, который вместе с мальчиками зашёл к госпоже Роек и Ядвиге. — Ещё, наверно, и хвастают — ловко надули, мол, азиатов!

— А если дать знать в милицию?

— Как раз есть им сейчас время этим заниматься! И главное, можете быть уверены, что это не единственный случай. Рассчитали негодяи наверняка: рабочих рук нехватает, колхозы с удовольствием будут до весны даром кормить, лишь бы обеспечить себя к весне рабочими. А весной они — фюйти! И поминай как звали.

Владек с трудом сдерживал слёзы.

— Ты-то чего? — прикрикнула на него мать. — Мы ведь работаем как следует! С осени, с первого же дня работаем...

— Что с того? Вы же слышали, он сказал: поляки...

— Не можем же мы отвечать за всякого жулика, каждый отвечает за себя, — всё слабее настаивала на своём госпожа Роек. Но все чувствовали, что это не совсем так, что это мошенничество бросает тень и на них. Казалось, им не в чем упрекнуть себя, и всё же, слушая там, на улице, жалобы казаха, они краснели и опускали глаза, будто сами сбегали, обокрав и обманув колхоз.

— Надо бы узнать, что это за прохвосты там были.

— Мало ли прохвостов? Вы что, уже забыли о нашем эшелоне? Хотя бы этот Светликовский, который нас обокрал?

— Не станешь же оправдываться, что нас, мол, тоже поляки обокрали.

— Да в чём же нам оправдываться? Вот и директор сразу сказал, что среди нас даже стахановцы есть.

— Да, только казах крепче запомнит тех, что объедали целую зиму колхоз, а потом сбежали, чем тех, что работали не у него, а у соседа.

— Да, хорошую память мы тут по себе оставим, нечего сказать... — вздохнула госпожа Роек.

Они разошлись угнетённые.

Госпожа Роек не могла успокоиться:

— Надо ехать в город, к уполномоченному посольства. Должны они нам помогать или нет? Всё время об этом разговор идёт... А тут Олесь совсем оборвался. С тебя, Ядвига, дитя моё, тоже скоро туфли свалятся...

— Мне не надо, уже тепло, буду босиком ходить.

— Выдумашь тоже!

— А я люблю. Я и дома часто босиком ходила.

— Вот ещё! Хочешь ходить босиком, так ходи, а туфли пусть будут. Они там со всего света выжимают помощь для нас, а много ты от них видела? Раз полагается, пусть дают, вот и всё. Поеду-ка я, кстати узнаю, кто такие там были в «Красной звезде».

В первый же выходной день госпожа Роек попросилась на грузовик, отправлявшийся в город за запасными частями, и уехала.

Вернулась она поздно вечером, красная и взволнованная.

— Вообрази, дитя моё...

— Садитесь, пейте чай, пока горячий.

— Какой там чай. Не до чаю мне сейчас. Говорю тебе, дитя моё...

— Да вы хоть шаль снимите!

— Шаль? Ну конечно, конечно... Уф, жарко... Говорю тебе, дитя моё, Содом и Гоморра, подлинный Содом и Гоморра! Ты знаешь, кто там у них уполномоченный? Полицейский Лужняк!

— Не может быть! — удивилась Ядвига.

— Какое, не может быть? Он, собственной персоной. А какой тон задаёт! Попасть к нему — всё равно как к президенту! Я уж думала, и не доберусь...

— Ну, вы-то! — улыбнулась Ядвига.

— Что, вы-то? Ты это можешь себе представить? Швейцар, секретарша, машинистки, целый штаб кругом. Сидит, развалившись, как турецкий паша, и привстать не соизволит. Разумеется, кто я такая? Какая-то свинопаска из совхоза. А тут такой барин! Папиросы курит, дым прямо в лицо тебе пускает — и никаких! А как одет! И все эти барышеньки вокруг, скажу тебе, дитя моё! Разряжены, намазаны, ты и представить себе не можешь. Но я-то уж знаю, откуда это всё берётся! Уж я там поговорила с людьми! Целый вагон пришёл, можешь себе представить, целый вагон вещей! И знаешь, что они с ним сделали? Что получше — себе отобрали, а остальное на базар пошло! Никто ни одной тряпки не получил... А белья там, говорят, была целая уйма, так эти его бабищи, свиньи такие, поносят сорочку, пока не загрязнится, а потом, стирать не охота, так она бросит в угол, и новое тащит, а то, что сняла, так и сопрет без пользы... А нам ничего не полагается, слышишь? Ничего! На большевиков, говорит, работаете. пусть вам большевики и дают. Так и сказал!

— А вы что?

— Я-то? Не беспокойся, язык у меня хорошо подвешен! Что ж, говорю ему, по-вашему, значит, лучше шататься по городу, чем работать? Хватит и того, говорю, что эти большевики предоставили нам на время войны крышу над головой, да ещё кормят, последним куском хлеба с нами делятся... От большевиков, говорю, мы достаточно получаем, даже стыдно иной раз, потому что сами ведь понимаем, война... А вот от этого посольства, от дорогих соотечественников, спрашиваю, что мы получили? Эшелон, говорю, Светликовский обокрал, а теперь этих уполномоченных насажали, так они бедных людей обкрадывают... В разных там Америках, говорю, кричите о наших несчастях, там, может, некоторые тамошние поляки последнее отдают, чтобы нам помочь, а куда это всё идёт? На этих девок, говорю ему, что вас тут как саранча обсели? Где продукты? Где одежда? Дети зимой без сапог ходили, а ты бы посмотрела на ихние туфельки да на чулочки... Воры вы все, говорю ему...

— Не может быть! Так и сказали?

— А что ты думаешь? Не веришь? Да чтоб мне святых даров при кончине не дожидаться! Так и сказала: «вор вы, говорю, и только, стыдно, говорю, станвится, на вас глядя, что и я тоже полька... Хотя, какой вы, говорю, поляк? Вы вор, только и всего! Стыд и срам, говорю, чтобы этакий здоровый бугай сидел здесь с девками, вместо того, чтобы в армию итти»...

— Ну, а он?

— Он? Что ж он? Выставил меня за дверь, и всё. Что ему, бугаю, стоит пожилую женщину за двери, на улицу вышвырнуть? Ещё пригрозил, что найдёт на меня управу. Как бы не так! Очень его испугались... Ну, я ещё и на улице отвела душу, высказала, что о нём думаю. Народу собралась уйма, слушали. Ещё бы! И знаешь, дитя моё, что я тебе скажу? Стыд и срам, что там делается. Поляков полно, по всему городу шатаются, по базару, и вот, богом тебе клянусь, сама своими ушами слышала, одна женщина говорит другой на улице: держи, говорит, сумочку покрепче, а то поляки по базару ходят... Вот до чего мы дошли! А на столбах, на заборах объявления висят, рабочие везде нужны — и в совхозы, и в колхозы. Так, думаешь, идут? Не-ет, работать, видишь ли, им стыдно, а кланчить, спекулировать, красть и объедать этих большевиков, которые за весь мир с немцем воюют, это им не стыдно... Да ещё пугают, что будто бы кто на большевиков работает, они в Польшу не впустят... Слышишь? Лужняк меня в Груец не впустит!

Она уже забыла, что не хотела пить, порывисто схватила со стола налитую чашку и залпом выпила.

— Уф... Как только меня удар не хватил, дитя моё! Видно, уж особая милость господня ко мне была... Ноги моей там больше не будет, ноги! Да, а этот-то чего не идёт? Куда это он девался?

— Кто такой?

— Ну, этот, как его? Хобот, помнишь?

— Откуда же он тут возьмётся?

— Забрала я парня с собой из города. Что ему там делать? Тут он ещё человеком стать может. Уж так просил, возьми и возьми с собой, чуть не заплакал. Где вы там? — крикнула она, открывая дверь.

— А я здесь дожидаюсь, — отозвался из темноты мужской голос.

— Чего дожидаться? Входите сюда, чай на столе. Уж простите, что я о вас совсем и позабыла... От этого Лужняка и всего там прочего у меня прямо голова закружилась... Садитесь, садитесь, — подтолкнула она смущённого парня к столу.

«Ах, вот кто это! Это тот взломщик», — вспомнила Ядвига, наливая ему чай.

Госпожа Роек передохнула и залпом выпила ещё чашку.

— Да, а в «Красной звезде», знаешь, кто был?

— Нет, а вы узнали?

— Конечно, узнала. Знаешь, тот в фиолетовых штанах, что вечно около Малевского тёрся, помнишь? Понабирал таких же, как сам, прохвостов. На это охотники нашлись, это ведь не то что «на большевиков рабстать». И, оказывается, целое предприятие организовали. Сама подумай, всю зиму казахи их кормили, поили, весной, мол, отработают... А весной — ищи ветра в поле! Этих Лужняк, небось, впустит в Польшу. Что там делается, дитя моё, это и рассказать невозможно.. А эта их армия, говорят, уже за границу собирается.

— Как это?

— Да вот так. За границу, и всё.

— За какую границу?

— За какую? За персидскую. В Персии их ещё не видали!

— А на фронт?

— Какой там фронт! Ты в это верила, дитя моё? Вот и оказывается, что я была права, что своих ребят туда не пустила. Хотя, по правде сказать, что мы тогда знали? Вот он может тебе рассказать, он там был.

— Вы были в армии Андерса?

— В армию его не приняли, потому он сюда и вернулся. Но рассказать, что это за армия, может... Ты думаешь, они будут воевать? Как бы не так! Когда рак свистнет, а рыба пискнет! Говорили, что в октябре пойдут, даже договор такой подписали. А теперь с октября почти полгода прошло, а они и не чешутся... Ещё бы! Большевики их кормят, одевают, триста миллионов рублей дали, чего же им ещё? Не бойся, не пойдут, будут сидеть и ждать, когда большевики немцев побьют... И знаешь, что я тебе скажу, дитя моё? Оно, пожалуй, и лучше, что они уберутся за границу, а то тут они ещё, не дай бог, такого наделают... Фронтной паёк им давали, давали, наконец сказали — хватит! Раз сидите в тылу, получайте тыловой паёк. Вот и подумай, где у них стыд: под Куйбышевом сидеть да фронтной паёк жрать, у детей кусок хлеба отнимать... И как меня там от злости на куски не разорвало, так это уж, видно, только милость божья ко мне, чтобы я ещё могла в Польше с этим Лужняком встретиться и уж там, на суде, о его негодяйстве рассказать... Девушки, почти дети, идут на войну, а эти бугаи сидели там и жрали фронтной паёк. А как зашла речь о тыловом пайке, так — айда, за границу... Скатертью дорожка! Сраму только с ними наберёшься. И что только на божьем свете делается...

А на божьем свете действительно происходили странные вещи.

Хотя весенние полевые работы оставляли людям всё меньше времени, в совхоз заглядывали то мальчики с Хоботом, который тоже стал работать в МТС, то Шувара, Сковронский или Шклярек. По их рассказам выходило, что госпожа Роек была осведомлена точно. И Шувара и мальчики слышали, что части польской армии Андерса уже уходят из Советского Союза. Всё оттягиваемая отправка на фронт этой армии сменилась энергичной подготовкой к эвакуации сорока четырёх тысяч человек в сторону, противоположную фронту, — в Иран.

— Каким же путём они собираются попасть в Польшу? — удивилась госпожа Роек. — Хороша польская армия!

Хобот рассказывал обо всём, что он видел сам и что слышал, тщетно пытаясь попасть в эту армию. Кое-что — с чужих слов, недостоверно — знала о ней и госпожа Роек.

— Представь себе, дитя моё: среди бела дня, посреди улицы, офицер лупит солдата по морде. Одна женщина мне рассказывала, своими глазами видела. А тот дурень стоит в струнку и только тянется... Тут райком недалеко, местные побежали к секретарю, они здесь к этому не привыкли... А секретарь, говорят, только руками разводит: не имею, говорит, права вмешиваться. Это армия польская, не можем им указывать. Поляки, мол, имеют право в этой армии всё по-своему делать. Слышишь, дитя моё? По-своему!.. По-своему солдата по морде бить... Что же это такое, неужели ничто не изменилось за эти годы? Никто ничему не научился? Кончится тем, что стыдно будет признаваться, что ты поляка.

На разговоры времени было немного. Но думать можно было и за работой. И Ядвига, убирая овчарню, присматривая за ягнятами, дежуря у ягнящихся ярок, думала. Перед ней встала проблема, которая так мучила госпожу Роек, — проблема национальной принадлежности. Ни с того ни с сего начинаешь вдруг чувствовать себя составной частью некоего целого, чувствовать связь с этим целым и ответственность за него. Ведь даже та краска стыда, о которой говорила госпожа Роек, доказывала, что эта связь существует, хочешь ты этого или не хочешь.

Это было ново для Ядвиги. Там, в Ольшинах, она как-то об этом не думала. Там было какое-то иное деление. Была деревня, были крестьяне, и были Плонские, барыня, барышня, барич. «Не такие уж баре», — насмешливо подумала Ядвига. Но деление было именно такое. Мать, бывало, кричала на неё, но не за то, что она играет с украинскими детьми, а за то, что это мужички дети. И в то время Ядвиге было безразлично — говорить по-польски или по-украински. С матерью и со Стефеком она говорила по-польски, с крестьянами по-украински, и эти два языка были как бы равноправными в её жизни. Потом появился инженер Карбовский, и снова не думалось, поляк он или нет, — он был предпринимателем, и именно это определяло его положение и поступки. А Хожиняк был осадником, и в этом заключалась его сущность. И позже... Да, позже Ядвиге пришлось покинуть родные края — не потому, что она была поляка. Другие поляки там остались, работали, учились, взяли хоть её брата Стефека. Нет, это случилось потому, что она была женой осадника и в её доме была — как это назвал тот лейтенант? — да, «явочная квартира». А теперь вдруг оказывается, что её место в жизни определяется тем, что она поляка. Она, Ядвига, и тот, в фиолетовых штанах, и унтер Лужняк, нынешний уполномоченный посольства, — все они поляки. Поляк поручик Светликовский, который сбежал, обокрав эшелон. Но поляки и Шувара, и госпожа Роек и, наконец, Стефек... Сотни различных, не похожих друг на друга людей, и всех определяет это слово: поляки. И вот радуешься, когда приходит директор и приносит газету, в которой напечатано, что на текстильной фабрике в Семипалатинске работает стахановская польская бригада, хотя никого из этих людей не знаешь. И стыдишься за этого фиолетового, хотя это совершенно чужой тебе человек. И испытываешь чувство страшного, несмываемого позора за эту польскую армию, которая не хочет воевать и, в сущности, поступила совершенно так же, как этот приятель Малевского, — позволила кормить и одевать себя, обещая помочь на фронте, а когда пришло время выполнить обязательства, убралась за границу. Тысячи, десятки тысяч незнакомых людей становились связанными с Ядвигой именно потому, что были поляками.

Ядвига чувствовала, что в её жизнь ворвалось нечто, чего раньше не было. Определение национальности перестало быть просто графой в том или ином документе, оно становилось существенным вопросом,

упорно требующим разрешения. И особенно ясно это чувствовалось здесь, у подножия сверкающего Тянь-Шаня, где в военные дни связались и переплелись судьбы стольких национальностей.

Для обитателей этой страны всё было ясно и понятно — в разговорах украинских девушек, казахов, русских одинаково веско и проникновенно звучало слово: родина, советская родина!

В конторе совхоза висела на стене огромная карта, и Ядвига часто засматривалась на неё. Необъятная страна, раскинувшаяся на две части света, с омывавшими её морями и океанами, с огромными хребтами гор, яркой зеленью равнин, с холодной тундрой на севере и жаркими пустынями на юге. Всё её необозримое пространство называлось: «Родина». И по всей стране девушки и юноши, старики и молодые, люди в зрелом возрасте и подростки пели песню о родине, нежную и дерзкую, и эту же песню пели на фронте идущие на смерть бойцы.

Как невесту, Родину мы любим,
Бережём, как ласковую мать...

Родина... Да, они здесь отчётливо знали, всем сердцем чувствовали, что такое родина.

А где же её, Ядвиги, родина?

Иногда сердце её вдруг сжималось от неутолимой тоски по шуму озера, по горьковатому запаху тёмных ольховых листьев, по таинственному шелесту тростника и солнечным бликам на воде. Но ведь эта земля детства не была её родиной. Это была родина Олены, Ольги и Петра. И Ядвига прекрасно знала, что как бы ни вопили против этого реакционные польские листовки и газеты, которые совали им в Куйбышеве, что бы ни говорили Малевский и полицейский Лужняк, — земля, где она росла, была украинской землёй, землёй старой Петручихи, Ольги, Семёна, Петра. И только они имели на неё право, ибо они растили хлеб на этой земле, ибо они из поколения в поколение поливали её потом, добывая из неё скудное пропитание. Могилы их отцов и дедов зарастали травой и пылали гвоздикой на солнечном склоне у озера. Здесь, на этой земле народились их песни, на этой земле народилась их певучая речь. Поляки были здесь лишь пришельцами, несущими с собой насилие, горькие обиды и страх. Пришлой была здесь и её, Ядвиги, семья, и хотя она прожила здесь столько лет — это не была её земля, это не была её родина.

Где же, собственно, была родина госпожи Плонской? В Луках? Неправда, в Луках они тоже были только пришельцами, там работал на них тот же обездоленный ими украинский крестьянин, пока не завоевал своего права на жизнь и свободу. Нет, Ядвига слишком хорошо знала крестьянскую судьбу, суровую крестьянскую участь, звучавшую в песнях Ольги, зажигавшую гневные искры в серых глазах Петра, чтобы чувствовать какую бы то ни было связь с помещиками, убитыми или изгнанными из усадеб в день пламенного мужицкого гнева. Пусть даже эти изгнанники — это родные отец и мать.

Теперь в Лукской усадьбе, о которой целыми годами так скучно и назойливо рассказывала мать, вероятно, разместился какой-нибудь сельский клуб, библиотека или детский сад. И это справедливо. Ядвига не сомневалась бы в этом, если бы ей даже не говорил этого Стефек, если бы даже она не знала, что так думает Пётр. Ведь и у них в Ольшинах в тридцать девятом году, как только вошла Советская Армия, ворота усадьбы широко распахнулись, чтобы впустить крестьянских детей, — крохотную кривоногую Авдотью, с глазами как полевые цветы, вечно голодных и оборванных детей Паручихи, ребятишек погибшего Ивана. А стояла она раньше, эта усадьба, наглухо запертой, и упра-

вляющий лишь переводил куда-то за границу деньги никогда не заглядывающему в неё владельцу...

Нет, это было справедливо. Так и должно быть. Но это убеждение всё же не разрешало для Ядвиги проблемы её родины. Где же её, Ядвиги, родина, если не в Ольшинах?

Один-единственный раз Ядвига была в Варшаве. Вместе со Стефekom. Но в памяти ничего не осталось от проведённых там трёх дней, которые прошли в непрестанном страхе и гнетущем сознании своего ничтожества. Её пугало уличное движение, мчащиеся со всех сторон автомобили, яркий свет дуговых фонарей и куда-то спешащий, шумный поток прохожих; и эти изящно одетые женщины, смеющиеся, курящие папиросы за зеркальными стёклами кафе, беззаботно закладывающие ногу на ногу, показывая до колен ноги в прозрачных чулках. Её пугали огромные дома, мрачные своды костёлов, а от музея, куда водил её Стефек, в памяти не осталось ничего, кроме мучительного хаоса. В театре она так упорно думала о своём немодном, вылинявшем платье, о поношенных туфлях и грубых, потрескавшихся руках, что её душили слёзы стыда, и она не видела происходящего на сцене. Ядвига была счастлива, когда кончились эти три дня, которых она раньше так нетерпеливо ожидала. Она легко вздохнула, выйдя из вагона на своей станции, снова почувствовав знакомый родной запах татарника и мяты, услышав, как шумит на ветру озеро, увидев челны на воде. А ведь это была столица её страны! Почему же она показалась ей такой чуждой, неприязненной, холодной?

Где же, в конце концов, её родина? Маленький клочок земли среди озёр и рек — от Влук до Синиц? Озеро и Стырь? И больше ничего?

Нет, что-то здесь было не так.

Почему этот вопрос раньше никогда не возникал перед ней, а вот теперь...

Как невесту, Родину мы любим,
Бережём, как ласковую мать...

Девушки с Украины тосковали по своему дому, по своей деревне, именно по такому вот клочку земли, как от Синиц до Влук. Или нет — для них этой навеки сросшейся с сердцем землёй была вся Украина: и Киев, и степь над Чёрным морем, и Полтава, и Днепр, и Ворскла, и Буг, и Псёл. Но и здесь, под мерцающим светом ярких южных звёзд, перед опаловым видением Тянь-Шаня, они были дома, у себя на родине. То, что они охватывали этим именем, было беспредельно, необъятно, не имело, казалось, конца и края, но в то же время целиком умещалось в одной великой любви.

«А как же я?» — думалось Ядвиге, и она чувствовала себя бедной, на целый мир беднее этих людей. Существовало, оказывается, огромное чувство, которого она была лишена. Именно это чувство в жару и в ненастье, в метели и морозы вело украинских девчат, спасавших от врагов колхозный скот. Именно оно сообщало ясное выражение лицу беременной Матрёны, которая уже много месяцев не имела вестей от мужа с фронта. Оно, это чувство, давало стойкость тем матерям и жёнам, которые уже знали, что их близкие никогда, никогда не вернуться. Оно снимало утомление от непосильного труда, оно украшало жизнь, делало её прекрасной и полной.

Да, но это была другая родина. Это была родина, где всякий чувствовал ответственность за её целостность, и всякий считал, что она — его достояние, что он её строит, создаёт, защищает. Это была советская родина, где любое событие интересовало всех, где у каждого, кроме

своего дома, своей семьи и своих дел, были ещё тысячи других, общих дел — общих для всех, для десятков и сотен миллионов людей.

Вот насколько Ядвига была беднее их. И она стыдилась своей душевной бедности, как уродства, и старалась скрывать её, скрывать от всех, от госпожи Роек, от её мальчиков, но больше всего от здешних людей.

— Скучаешь? — спросила её раз Матрёна, застав Ядвигу неподвижно сидящей на груде досок и глядящей на горы в пламени заката. — Не скучай! Наши победят, вернёшься на родину.

Ядвига взглянула на неё. То были дни дурных вестей с фронта. Немцы шли вперёд. Вся Украина, родина Матрёны, была занята врагами до последнего клочка. Бронированные армии фашистов прорвались в южные степи и катились всё дальше на юг. Матрёна знала об этом. И всё же была так твёрдо уверена в победе. И так все здесь...

— Побьют наши фашистов, освободят и твою Варшаву.

«Твою Варшаву»? Сердце Ядвиги сжалось от стыда. Матрёна не сомневается, что раз Ядвига сидит задумавшись, значит думает о своей стране, о Варшаве. А что она могла бы рассказать Матрёне о Варшаве?

Нет, надо скрывать своё уродство. Невозможно признаться перед этими людьми, живущими лишь одним — любовью к родине, — что она этого не понимает, что нет у неё в крови этого слова, этой любви.

— И ваши тоже помогут, ваша армия, — прибавила Матрёна, и Ядвига покраснела до слёз. Сказать или не сказать, что польские начальники уведут свою армию в Персию, что они обманывают Матрёну, как обманули и собственных солдат? Что они делают то же, что сделал тот фиолетовый в «Красной звезде»? Нет, успеют ещё все об этом узнать. Успеют ещё все поляки натерпеться стыда перед жёнами и матерями фронтовиков, когда станет известно, что андерсовцы и не собираются помогать в войне, что они просто-напросто дезертируют — спокойно, цинично, вдобавок притворяясь обиженными.

Лицо Матрёны вдруг осветилось мягкой, радостной улыбкой, и она осторожно положила руку на свой выпуклый живот. Ядвига поняла: это шевельнулся ребёнок, ребёнок. Матрёны и человека, который воюет далеко отсюда, где-то за тысячи километров, — а быть может, его уже и нет в живых.

Женщина присела возле Ядвиги. Её некрасивое лицо было сейчас почти прекрасно, освещённое изнутри мягким радостным светом.

— Ты рада, что у тебя будет ребёнок?

— Милая ты моя, да как же не радоваться?

— Ведь это третий...

— Третий!.. Первые две — девочки, ну а теперь уж наверняка сын будет. В войну всегда мальчики рождаются. Как Василию сына хотелось...

— Тяжело тебе будет с троими.

— Да ведь кому теперь легко? А только с ребёнком мне легче будет. Веселее. Ни задуматься, ни погрузить не даст. То его корми, то купай, то пленяй. А что тяжело — так ведь работать я могу, сила есть.

И как не приходит в голову Матрёне, что муж может и вовсе не вернуться, что она останется с тремя сиротами? — изумилась Ядвига. Будто отвечая на её мысли, Матрёна сказала:

— А если Василий... — голос её дрогнул. — Если уж суждено ему не вернуться... Так хоть сын будет, Василием назову. А ты так чудно спрашиваешь, радуешь ли я...

Ядвига вертела в руках какой-то засохший стебелёк:

— У нас там женщины не радовались, когда было много детей.

Как объяснить это Матрёне? Ядвига вспомнила Паручиху, жену

Ивана и всех остальных... Нет, там ребёнок не был желанным гостем. Ещё один лишний рот у пустой миски, ещё одна рука, тянущаяся за куском чёрствого мякинного хлеба, ещё пара ног, которые надо обуть, ещё тело, которое надо хоть чем-нибудь прикрыть... Каждый ребёнок становился обидчиком старших, вырывал из их рта скудные крохи.

Но Матрёна и не нуждалась в объяснениях.

— Что ж, конечно... При капиталистическом строе... — сказала она. — А у нас другое дело. У нас дети — радость.

Как странно было слышать эти учёные слова — «капиталистический строй» — в устах доярки. Но сейчас Ядвига задумалась не об этом. Она задумалась о своём сыночке, которого она не хотела, не ждала его появления на свет с тем радостным трепетом, с каким ждёт своего Матрёна, и который пришёл ненадолго, только для того, чтобы научить её сердце любви, и ушёл прежде, чем она успела на него нарадоваться. Маленькая могилка в песках далёкого кладбища.

— Тучи-то, как кровь, красные, — сказала Матрёна.

Небо играло огнями. На побледневшей, словно вылинявшей лазури пылали небольшие тучки, налитые кармином, пурпуром, тёмным багрянцем, пламенем.

Матрёна раздвинула сухую траву у своих ног:

— Гляди, расцветает...

Свёрнутая зелёная трубочка тюльпана выглянула из прошлогодней травы. Листья были почти серебристые, крепкий бутон вырывался из них, с трудом преодолевая жёсткий покров. Но с одной стороны он уже лопнул, и сбоку виднелась тоненькая полоска чистого кармина.

Обе нежно улыбнулись вестнику весны. Матрёна снова заботливо прикрыла его етеблями сухой травы.

— Пусть его растёт. По ночам ещё бывают заморозки.

Небо играло огнями. Но Тянь-Шань уже окутывали лёгкие сумерки.

— Ты молишься когда-нибудь, Матрёна? — неожиданно для себя спросила Ядвига.

Матрёна удивлённо взглянула на неё:

— Я-то? Нет, зачем, я неверующая. А сама-то ты разве молишься?

— Нет. Не молюсь. Но иногда мне кажется... Те, что молятся, может, им легче?

Матрёна нахмурила тёмные брови.

— Это почему же?

— Верить, что есть кто-то, кто заботится о человеке...

Матрёна беззаботно, по-детски рассмеялась.

— Заботиться-то, конечно, надо!.. Взять хоть бы тебя, что бы ты стала делать, если бы о тебе заботы не было? Только для этого никакого господ бога не требуется. Это раньше, когда простой человек нигде себе опоры не видел, когда его все угнетали да обижали, вот тогда ему и подсовывали молитву вместо помощи, да он и сам за неё хватался. А теперь человек сам свою жизнь строит, сам за неё борется... Только лентяй на бога надеется — такой, кому и думать неохота, и работать лень.

— А ведь и у вас есть верующие?

— Конечно, есть... Думаешь, все сразу к одному приходят? Ну, а я уже при советской власти родилась, отец у меня умный человек был и так уж нас с детских лет воспитывал, что религия — опиум для народа. Надо тебе почитать про это...

Ядвига покраснела. Да, всё менялось, на всё приходилось смотреть другими глазами. Её учит простая крестьянка, доящая в совхозе коров. О крестьянках мать Ядвиги обычно говорила с таким презрением, слов-

но стояла бесконечно выше их. А вот простая крестьянка знает больше, чем госпожа Плонская и чем «барышня» Ядвига, и может объяснить то, на что Ядвиге трудно найти ответ.

Она поделилась этими мыслями с госпожой Роек. Та пожала плечами.

— Вот открыла Америку... А я тебе скажу, дитя моё, что мы были тёмные, совсем тёмные. И хуже всего то, что воображали, будто это и есть самая что ни на есть мудрость. Я-то неучёная, никаких гимназий не кончала, но как муж у меня считался чиновником, то и я вроде интеллигентней называлась. Да куда там! Тёмные, говорю тебе, тёмные были. Ну, теперь это всё переменится!

— Что переменится?

Госпожа Роек всплеснула руками.

— Как, что? Всё переменится! Да разве я сейчас соглашусь, чтобы мне грозили исключить мальчика из школы, если я во-время не внесу плату? Имеет каждый право на образование или не имеет? Имеет! Разве я соглашусь, чтобы мне любой полицейский приказывал и власть передо мной разыгрывал? Да я сама такая же власть, а может, ещё и получше! Не бойся, теперь мы наведём порядок.

— Только все ли согласятся?

— А нам-то что? Кто не согласен — вон!.. Нет, теперь всё это кончится. И детские сады надо устроить, и ясли, всё как здесь... И знаешь, мне говорили, здесь не только потому все работают, что теперь война, здесь и до войны не было безработицы... Ты это можешь себе представить? Так и у нас должно быть. Сколько я намучилась, когда муж должность потерял, почти год был без работы. Это и представить себе трудно... Или вот земля... Там у нас, под Груйцем, было имение, несколько тысяч гектаров. Так вот я тебя спрашиваю, на что это похоже, чтобы у одного человека было столько земли, что её за день не обойдёшь, а мужик с ребятишками чтобы с голоду подыхал? Забрать придётся имение, только и всего. Ты почему смеёшься?

— Выходит, Марцьёс правду говорит, что вы совсем большевичкой стали. Большевистские порядки хотите в Польше заводить.

— Хочу. Большевистские они там или не большевистские, а порядки заводить надо... Как их там ни называй. Ну, сама скажи, ну, скажи честно, согласишься ты теперь, чтобы Польшей распоряжался кто хочет и как хочет, а нас чтобы и не спрашивал? Чтобы мы сидели, как дураки, ничего не знаячи, а наши правители в это время и нас и детей наших немцам продавали? Орут, оружием бряцают, а как пришлось страну защищать, так фюиты! — господа генералы за границу! Верховный главнокомандующий — чтоб ему, лысому, ни дна ни покрышки — за границу! Нет, хватит, я тебе скажу, хватит! Говорим, бывало: наша Польша... Какая там она была наша? Ну, сама скажи! Твоя? Моя? Много ты о ней знала, много ею интересовалась? Называлось, что я, мол, полька, а задумывался кто-нибудь, что это значит? Чувствовал, что отвечает за Польшу? Конечно, когда немцы напали, так наши, бедняги, с голыми руками на танки бросались, тут-то все почувствовали, когда горе пришло... А раньше много мы знали, что делается? Но — теперь-то уж будет по-иному. Теперь уж будет — твоя и моя, наша родина, настоящая...

Госпожа Роек вдруг всхлипнула и, чтобы скрыть волнение, энергично высморкалась в грязноватый платок. Ядвига вздрогнула.

— Может, так оно и есть? Может, в этом и причина? В том, что родины-то по-настоящему у них не было, что всё это было только так, только слово, над которым человеку даже не хотелось задумываться...

И, может быть, как раз теперь, в эти трудные, непонятные дни, она и рождается — твоя и моя, наша родная, близкая сердцу, царящая над сердцем и живущая в сердце польская родина?

Но ведь для других она существовала и раньше. Как это сказал Шувара? «Я за Польшу десять лет в польских тюрьмах отсидел». И для Стефека она существовала. А для неё, Ядвиги, — нет. Но теперь, видно, наступает время, когда она будет существовать для всех, для всех. Когда каждый почувствует её в своём сердце так, как чувствовал Шувара, когда его в тюрьме избивали полицейскими дубинками, когда ему выкручивали и ломали пальцы, зажав их между карандашами. И всё же он видел её поверх тьмы тюремных камер, поверх гнёта и безграничной нищеты — видел прекрасную, сияющую, будущую родину. Такую, какую знает Матрёна и все они тут. Ибо такой родиной может быть каждая страна.

«Только что же могу сделать я? Что я значу?» — спросила себя Ядвига.

Шерсть на ягнятах блестела под лучами солнца мягонькая, шелковистая.

— Бась, бась, бяшки!

Они подбегали и теснились вокруг неё, смешные мордочки с тёмными, влажными глазами, чёрные носы в мягкой белой шерсти. Они были совсем как дети — как у детей, у них были свои капризы, свои шалости, и как дети они доверчиво теснились к её рукам.

И вдруг, хотя это как будто не имело ничего общего с тем, о чём она до этого думала, — она почувствовала полное успокоение.

— Это моя работа, — неожиданно сказала она вслух. И это спокойное, ясное утверждение как будто разрешало какой-то вопрос. — Это потому, что я вместе с ними, что я одна из них, — догадалась Ядвига, подразумевая под «ними» Матрёну, Павла Алексеевича и всех, кого она узнала здесь, в степи, где сияло лиловое видение гор.

Глава 4

Часы работы на тракторе были хорошими часами. Более того — это были часы счастливые. Марцысь смотрел с высоты на огромное, казалось бы непобедимое пространство. Машина была послушна рукам — большая, тяжёлая машина слушалась его, Марцыся, рук. Здесь он чувствовал себя и вправду взрослым. Здесь ему не приходилось пререкаться с матерью о своём возрасте. Машина двигалась так, как повелевал Марцысь. Ни споров, ни сомнения — трактор его слушался.

Конюх Володя говорит, что трактор не приравняешь к коню: конь всё понимает, с конём можно разговаривать, как с человеком, а трактор что? Железо — железо и есть. Но это вздор. Марцысь чувствовал, как волнуется и вздрагивает, двигаясь, железное туловище трактора, как послушно оно подчиняется его приказам, он чувствовал, что трактор можно просить, уговаривать его идти как следует. Марцысь знал его характер, капризы и находящее на него по временам упрямство. Притом той радости, какую давал трактор, не мог дать конь: он давал упоение чувством огромной силы, когда нетронутая с утра степь к вечеру раскидывалась чёрными бороздами лоснящейся вспаханной земли и когда с улыбкой превосходства вспоминалась вспашка, которую приходилось видеть раньше, под Груйцем. Лошадка тащит плуг. Пахарь изо всех сил налегает на чапиги. Медленно вытягивается мелкая борозда на клочке земли, лениво ложится рядом с ней другая. До конца поля далеко, стерня убывает медленно. И лошадь, и человек кажутся маленькими, слабыми, плуг — беспомощным. Когда-то они

кончат работу? А ведь там, под Груйцем, были крохотные, изрезанные межами поля. Что же мог бы сделать тот пахарь, пусть взрослый и сильный мужчина, со своей лошадейкой, на этих мощных массивах земли? Здесь управлял трактором он, Марцысь, которого мать упорно считала ребёнком, а между тем когда он вечером, отирая пот с лица, оглядывался на сделанное за день, ему самому не верилось, что это сделал он. Да, это была прекрасная работа! В ней был азарт и риск, было радостное соревнование: вспахать больше, чем Егор Иванович, старый тракторист, съевший зубы на тракторной вспашке. Или хотя бы больше, чем хромой Илья, который всё-таки на несколько лет старше Марцыся. И переживать радость победы, видя свою фамилию на Доске почёта, вывешенной перед дирекцией! Да, это были счастливые дни и счастливые мгновения. Сердце ширилось, от радости хотелось кричать на весь мир. Эх, увидели бы его сейчас школьные товарищи... Щенки! Чего стоили все их победы на футбольном поле по сравнению с тем, что делалось здесь?

То были хорошие дни и часы. Но потом случайно брошенное кем-нибудь слово, сообщение с фронта, солдатское письмо или обрывок газеты снова погружали его в чёрное отчаяние. Конечно, здесь, за тысячи километров от фронта, за спиной армии, под защитой советских солдат и советских танков легко разыгрывать героя... А что было тогда, в сентябре тридцать девятого? Ведь он так и не видел ни одного немца. Драпал как угорелый из-под Груйца на восток, под Ровно... Не кинулся с гранатой в руках под немецкий танк, не ринулся с саблей на немецкий танк, как кидались в конном строю те, под Кутно, не испытывал ураганного огня с суши, с моря и с воздуха, как герои Вестерплатте... Правда, сколько ж ему тогда было лет? И пятнадцати не было. Но разве это оправдание? Нет! Были герои и помоложе его. Он просто уходил от немцев на восток. В то время и это считалось своего рода геройством... Но если бы ещё он шёл, как другие, куда глаза глядят, в неизвестность! Нет, он прекрасно знал, что там, под Ровно, он встретит мать и Владека. А потом здесь, в Советском Союзе, когда стала формироваться эта польская армия, ведь можно же было попробовать — а вдруг бы удалось? Но, собственно говоря, эта армия с самого начала как-то не внушала доверия; потому, вероятно, матери и удалось так легко его отговорить. Уже тогда стало известно, что принимают не всех, перебирают, капризничают, что есть какие-то «свои», которым отдаётся предпочтение. К тому же все в один голос говорили: «Молод, речи быть не может, чтобы приняли! Солдат тридцать девятого года не берут, кадровых не берут, а такого сопляка вдруг примут»... А потом по пути на юг Марцысь и вовсе потерял охоту итти в эту армию.

Стали поступать сведения, передаваемые украдкой, шепотком, из уст в уста, рассказы о странных порядках в андерсовской армии. И вот что удивительно: самым странным было как раз то, что они почти не отличались от довоенных польских порядков. Но тогда это воспринималось, как нечто естественное; а сейчас невольно предъявлялись какие-то иные требования, прикладывались новые мерки. Словно самый воздух советской страны менял людей, менял их взгляды на вещи. Теперь же, когда оказалось, что армия, которая в октябре собиралась выступить на фронт, не только сидит ещё в марте на месте, но вообще намерена смыться отсюда, — теперь стало вполне ясно, что итти в неё незачем.

Всё это так. И всё же стыд ел Марцысю глаза. За этих спекулянтов в местечке. За объедающих колхозы и удирающих к весне лодырей. За самого себя — ведь здешние люди верили в польскую армию: «Вот и вы нам поможете», — говорили они доверчиво; что же они должны ду-

мать о нём, который не идёт в армию? Что он уцепился за материнскую юбку, хотя не хром, как Илья, не стар, как Егор? Объяснить им, как обстоит дело с этой армией?.. Нет, это тоже было стыдно.

На тракторе он забывал обо всём. Но по вечерам, несмотря на усталость, подолгу не мог уснуть, ворочаясь с боку на бок и глотая слёзы.

Герой! Влез на трактор и воображает, что нивесть какой подвиг совершил. Там, там надо было геройствовать, под пылающим Груйцем. Ведь потом оказалось, что Варшава ещё защищалась, вот там и доказывал бы, годится он в герои или нет... Велика штука — пройти пешком несколько сот километров, чтобы встретиться с матерью! В тридцать девятом и в сороковом году ещё можно было вспомнить об этом путешествии, как о героическом приключении. Советские люди расспрашивали его, внимательно слушали его рассказы, сочувствовали. Он видел то, чего здесь ещё тогда не видели, и это помогало ему временами забывать, что единственной его заслугой было обладание молодыми здоровыми ногами.

Но теперь дело обстоит иначе. Теперь ему рассказывать было не о чем, здесь видели побольше, чем он, — взять хоть бы этих девушек, что пришли с коровами с Украины, не говоря уже о Павле Алексеевиче, не говоря о тех, о ком случалось читать в газетах, кого случалось видеть в документальных фильмах или слышать по радио. Много порассказать могли бы они, здешние люди. Они видели больше и видели иначе. Здесь была упорная, ожесточённая борьба, была непоколебимая вера в победу, был единый порыв, как на крыльях подхвативший весь народ.

Да, Марцысь помнил в Польше и радостные дни накануне войны. Задорные дни, когда верилось, что победа будет завоёвана разом, когда потихоньку мечталось: «Пусть бы уж, пусть бы они поскорее напали, мы им покажем!». И все эти курсы противовоздушной обороны, и все эти земляные оборонные работы. Но всего этого хватило только на первый день войны. В этот день толпа ещё считала самолёты в безоблачном небе, и люди, задрвав головы, кричали: «Глядите, глядите, наши гонят немца!». И все искали «немца» где-то впереди стаи плывущих в вышине самолётов... чтобы, в конце концов, узнать, что никаких «наших» там нет, что вся эта скользящая в небе серебристая стая — и есть немцы, одни только немцы, и никто их не гонит. За всё время своего бегства Марцысю пришлось увидеть один-единственный польский самолёт — маленький, беспомощный, укрытый в зарослях над озером в Полесье.

Нет, здесь дело другое. Когда по вечерам, в строгом молчании все слушали сводку Советского Информбюро и тяжело вздыхали, слыша слова: «После ожесточённых боёв наши войска оставили...», — Марцысь твёрдо знал, что бои были действительно ожесточённые и что каждую пядь земли враг оплатил потоками своей крови. Сводка сообщала число убитых немцев, сбитых самолётов, уничтоженных танков — и это было так. Да, это другая война. Здесь всё настоящее, огромное, героическое. И что перед лицом всего этого героизма значит его работа на тракторе, пусть даже добросовестная, пусть превосходная работа?

— Дурачок ты, — говорил Шувара. — Ну, и что бы ты сделал там в Польше? Тебе бы даже винтовки не дали, потому что их не было. Нам дали кремнёвые ружья из музея, понимаешь? Дробовики... Самое подходящее оружие для современной войны!

— Но вы, по крайней мере, были в этих батальонах.

— Ну, ладно, был, а что вышло? В конце концов, так же, как и ты, очутился здесь. Варшаве я мало чем помог, хоть и с дробовиком в руках... А тут мы ещё пригодимся.

— На тракторе?

— Что ж это ты с таким презрением говоришь о тракторе? Ну, хоть бы и на тракторе... до поры до времени. А потом, может, и не на тракторе.

— Как бы не так! В Персию ехать, что ли? Нас ведь в Красную Армию не примут.

— В Персию? Ну не-ет! Немножко потерпи...

— Очень уж вы терпеливы.

— Может, и не так уж терпелив, как тебе кажется,— сказал Шувара, зажимая в тиски кусок железа. — Ты что, думаешь, что я успокоился на этом дробовике — и всё? Нет. А только, видишь ли, ты выходишь из себя по поводу Ирана, а я полагаю, что ничего другого и ожидать нельзя было. Видел я их, вблизи видел. Такого старого воробья, как я, на мякине не проведёшь. С самого начала знал, чем там пахнет. Конечно, теперь-то легко говорить, но уж, если тебе угодно, так и я пытался туда вступить... Ну, нет, брат, и они не такие дураки, чтобы меня взять. Тотчас почуяли, с кем дело имеют... Ещё бы! Ведь все полицейские, шпионы, охранники, которые не остались под немцами, все у них служат. Я там сразу на старого знакомого напоролся...

— А у вас-то что с полицией было?

— Да так, знаешь, небольшие старые счёты... Не беспокойся, не уголовные. А таких людей, как я, им не требуется! Вот ничего у меня с ними и не вышло.

— Вот видите. А что же дальше будет?

— А дальше, брат, посмотрим. Подожди немного, сейчас мы и здесь полезную работу выполняем. Но это не всё, не всё... Ты не огорчайся, увидишь, что мы ещё пойдём в Польшу, да с винтовкой, а то и с автоматом, а не с дробовиком...

— Это ещё откуда?

— Да отсюда же, отсюда, откуда ещё? Не из Лондона и не из Персии, а именно отсюда.

— Любопытно, каким это образом!

— Мне, брат, и самому любопытно, видишь ли. Но ты вот терзаешься, за всех хочешь отвечать, и за Рыдза, и за Бека, и за Андерса, и за Малевского... Всё это хорошо, но бесполезно. Лучше делай пока своё нужное дело.

Голубые искры брызгали из-под напильника, которым работал Шувара, резкий скрежет железа сверлил Марцьё уши.

— Говорю тебе, — убеждал его слесарь, — мы ещё пригодимся, и как ещё пригодимся! Только дураки могут думать, что эта война ничего не изменит.

Однако Шувара не всё рассказал Марцьё. Он скрыл одну подробность, которую сам ни на минуту не мог забыть. Дело в том, что он ездил не только в Бузулук, где формировалась армия Андерса и откуда его спровадили после короткого и не слишком приятного разговора. Задолго до этого, как только началась война, он побывал в советском военкомате. Но там его категорически отказались принять в ряды армии. Напрасны были ссылки на революционное прошлое, на ударную работу в советской промышленности. Его любезно поблагодарили, сказав, что пока в нём нет надобности; конечно, в случае чего... И так далее.

Только после этой неудачи он отправился в Бузулук. Но об этом первом отказе он не упомянул в разговоре с Марцьё — это был слишком мучительный, слишком сложный вопрос для мальчика.

Новые подробности об армии Андерса Марцьё узнал от Хобота.

— С евреями ну как с собаками обращаются! И не только с евреями.

Там к ним немного западных украинцев и белорусов попало. Дают им жизни!.. А какая агитация ведётся, не дай бог! Офицерики выфранчены, как до войны, а солдату тяжко. О войне они и не думают. Они ждут, чтобы немцы большевиков побили, а потом им Англия готовую Польшу даст. Я там повертелся — и ходу. Мерзость такая. С коммунистами без суда расправляются. И кругом воры. Продовольствия столько, что все могли бы есть вдоволь, так нет, они спекулируют, деньги сколачивают. Там один денщик хвастался, что они со своим капитаном золото скупают. Здесь золото дешёво — посольство им даёт монету, они и скупают. Говорит, уже полчемодана этот капитан набрал золотых портсигаров и всякой всячины. И потом... — Хобот огляделся и, понизив голос, сказал: — И потом, знаешь, чем они ещё занимаются?

— Чем?

— Шпионажем. Разузнают, где аэродромы, где какие станции, склады, где какие дороги...

Марцысь остолбенел.

— Что ты говоришь? Для кого они станут шпионить?

— А холера их знает. Для англичан, что ли...

— Да ведь это союзники?!

— Ну и что с того? А может, и для немцев...

— Ну, это уж слишком!

Но тут вмешался Шувара.

— Почему — слишком? Многие из них ещё до сентября у немцев на жалованье были, отчего бы им и не продолжать свою работу? Надо трезво смотреть на вещи. Видел этот журнальчик, что посольство издаёт? Так и пышет от него ненавистью, а ведь им ещё приходится поневоле сдерживаться. — И вдруг, как бы припомнив что-то, обратился к Хоботу: — У тебя, брат, какие-то грешки на совести есть, а? Смотри, как бы это не повторилось. Обстановка сейчас такая, что всем нам приходится отвечать друг за друга. Так ты гляди!

Загорелое, худощавое лицо Хобота налилось кровью. Покраснел даже лоб.

— Вы, вы... Это про то, что я тогда в поезде тому фрукту сказал?

— Вот-вот!

Хобот хрустнул пальцами:

— Да ведь... ведь это же неправда!..

— Как, неправда?

— Ну, я только хотел, чтобы он от меня отвязался... А на самом деле было совсем другое... Скандал мы устроили с приятелями, ну, выпивши были. Так вот, за хулиганство...

Шувара пожал плечами.

— Не верите? Я и бумажку могу показать. У меня есть бумажка, там всё написано.

— Нашёл время хулиганить!.. Но всё равно, хулиганство ты тоже брось!

— Да что вы думаете, что я какой-нибудь скандалист? Просто так случилось, со всяким может случиться...

— Я тебя только так, на всякий случай предупреждаю...

— И предупреждать нечего, — обиженно огрызнулся Хобот. Но Шувара вдруг рассмеялся, и в его серых глазах блеснули весёлые искорки.

— Эх, парень, парень, и врать-то ты не умеешь, сейчас и уши покраснели.

— Как это? — смутился Хобот.

— Да вот так. Ладно уж, меня не надуешь. Но, чур, уговор: что было, то было, но сейчас — ни-ни! Сейчас всё по-новому, согласен?

Хобот молча кивнул головой, исподлобья глядя куда-то в сторону.

Некоторое время он сторонился Шувары, хотя его послали на работу в мастерскую, которой тот руководил. Но обида скоро рассеялась. Шувара, с его спокойным голосом, с его добродушной усмешкой и умением разъяснить все трудные вопросы, легко привлекал к себе сердца. К тому же он был превосходным слесарем, и это внушало уважение Хоботу, который имел за собой лишь недолгие годы практики у пьяницы-мастера, не горевшего желанием поделиться своими скудными знаниями с учеником.

Подружившись с Хоботом и получив от него все сведения об андерсовской армии, Марцысь окончательно убедился, что жалеть ему не о чём. Но ведь это он знает лишь теперь. А сначала казалось, что это настоящая армия и что именно там его место. Всё же он тогда не сумел настоять на своём, не смог убедить мать... Конечно, в сущности вышло даже лучше, но мальчика мучили сомнения в твёрдости его характера.

Было и ещё кое-что, что ему не нравилось в самом себе. Иногда он вдруг ловил себя на хвастовстве, на стремлении показаться лучше, чем на самом деле. И это было особенно отвратительно здесь, где люди без всякого бахвальства, как нечто само собою разумеющееся, совершали настоящие подвиги.

Владеку хорошо — он ни о чём таком не задумывался, а жил себе, словно всё вокруг делалось само собой. Но Марцысь ещё с детства увлёкся тем, что называлось выработкой характера. Человек должен проверять себя, управлять собой, воспитывать в себе нужные свойства, истреблять свойства излишние и вредные. Уже много лет он упражнял силу воли. Он довёл в себе до совершенства умение просыпаться в заранее назначенный час. «Проснуться без десяти семь!» — приказывал он себе с вечера. Сначала это не выходило. Он вдруг просыпался испуганный, словно его за волосы выхватили из мягкой глубины сна, и, взглянув на будильник, убеждался, что всего пять часов. Засыпал и снова вскакивал; но оказывалось, что он спал всего десять минут и до назначенного срока ещё далеко. В конце концов, Марцысь добился того, что просыпался — минута в минуту — в то время, которое назначил себе с вечера. Дома знали, что Владека надо силой стаскивать с постели, но Марцысь всегда встаёт во-время. «Значит, можно выработать в себе всё, что хочешь!» Можно овладеть своим сном — значит, и многим другим, происходящим будто бы независимо от тебя. И это необходимо, если хочешь стать настоящим человеком. Кем именно — было для него не совсем ясно, и выбор часто зависел от случайности: от последней прочитанной книги, от недавних событий. Но всегда это было что-нибудь необычайное, изумительное, прекрасное.

Иногда — капитан судна или знаменитый путешественник, иногда — полководец или изобретатель. Но, во всяком случае, герой. Этой основной цели и служили все мелкие упражнения воли, к которым он принуждал себя. Скажем, круглый год, вне зависимости от температуры, мытьё с ног до головы холодной водой. Мать кричала, что он простудится, что это бог знает что — обтирание зимой в холодных снях, где вода в ведре покрывалась тонкой коркой льда! Да, сперва это было ему трудно. Пока он наливал в таз ледяную воду, кожа от одного предчувствия того, чему она сейчас подвергнется, дрожала мелкой дрожью и всё тело невольно ёжилось. Вода обжигала, как огонь, перехватывало дыхание. Но вот он докрасна растирал тело грубым полотенцем, и его охватывала внезапная, неизъяснимая радость. Потом гимнастика на коврик из лоскутов, и снова радость от того, что мускулы становятся

всё крепче, играют под кожей. И постепенно холодная вода становится уже необходимостью, ежедневной привычкой, удовольствием. Значит, можно силой воли приучить своё тело радоваться тому, чего оно раньше боялось! Можно также научиться и сдерживать гнев; если ты не позволяешь вывести себя из равновесия, это тебе даёт преобладание в стычках с товарищами. Можно упражнять волю и в другом — отказаться от сладких блюд, от десертов: «Не люблю!» Мать сперва упирается: «Сладкая пища необходима», но в конце концов вынуждена примириться, и лишь от времени до времени поворчит: «В нашем доме, когда я была маленькая, речи ни о каких таких капризах не было. Ешь, что дают, и всё!». Но мать его не понимает. Ведь надо подготовиться к будущей жизни — уметь отказывать себе во всём, уметь сказать себе: «делай так, и не иначе!» Это нужно, чтобы суметь перенести всё, что переносили люди на необитаемых островах, в глубине пустынь, на вершинах гор, в самых трудных условиях, чтобы суметь посмеяться над трудностями и препятствиями.

И вот оказалось, что Марцысю трудно отказаться от хвастовства. Вдруг так захочется поразить чем-нибудь Илью или даже Егора Ивановича! Илья — тот слушает с разинутым ртом и широко раскрытыми глазами, и Марцысь всё более увлекается, увлекается, пока вдруг не заметит, что явно перехватил. Тут-то Егор Иванович и подмигнёт ему с такой плутовской усмешкой, что Марцысь, покраснев как рак сразу умолкает.

И это тем более нелепо, что как раз теперь то, о чём всегда мечталось, как о далёком, туманном будущем, начинает претворяться в действительность. Работа на тракторе — это уже нечто настоящее. Это не мечта, что, мол, когда-нибудь... Это уже в руках — это не обет, а свершение. Марцысь-тракторист уже что-то собой представляет. Он уже действует. Разумеется, это ещё только начало. Но, видя свою фамилию на Доске почёта или в районной газете (ох, какая это крылатая, поднимающая вверх радость! Только бы не выдать её, ни за что на свете не показать окружающим!), получаешь подтверждение, что ты не ошибся, что у тебя были не просто детские мечты, что ты действительно будешь «кем-то» и это признают все, даже сам Егор Иванович, который, посмеиваясь над хвастовством Марцыся, хвалит его работу, даже мать, которой всё ещё кажется, что Марцысь ребёнок, и которая всё же не может не гордиться им. И, наконец, это признаёт Ядвига, с которой Марцысь говорил гораздо откровеннее и искреннее, чем с матерью, и которая никогда не давала ему почувствовать, что она намного старше его. К ней можно было относиться, как к товарищу, и она держала себя как настоящий товарищ.

Как раз в эти дни Ядвига получила письмо от уполномоченного посольства, унтера Лужняка. Она долго и недоверчиво вертела в руках конверт, недоверчиво перечитывала адрес: «Ядвиге Хожиняк».

Хожиняк... Неужели это её фамилия?

Последнее время она опять совсем позабыла о Хожиняке. Даже удивительно — ни разу не подумала о нём за все эти месяцы. Но это не меняло положения вещей — того, что она носила эту чужую фамилию чужого человека.

Какая новая неприятность её подстерегает? Она неприязненно припомнила короткое сухое письмо, которое получила от мужа, когда он распорядился, чтобы она ехала на юг. Теперь письмо было не от него, почерк на конверте незнакомый. И всё же лучше, пожалуй, его не распечатывать. Зачем нарушать спокойствие, которое она, пусть немного искусственно, но всё же выработала в себе здесь? **Щебет Олеся, заботы**

госпожи Роек, её мальчики, все эти здешние люди, такие славные, сердечные, серебристая шерсть ягнящихся овец, нежное слабое мычание ягнят, расцветающие в степи тюльпаны — нет, она не хотела ничего, что могло бы испортить ей эти дни.

Но госпожа Роек прикрикнула на неё:

— Да что ты, дитя моё, заранее огорчаешься? Вот сумасшедшая, право! Распечатавай. Что там может быть такого? И как в тебе никакого, ну никакого любопытства нет?.. Я бы уж сгорела от нетерпения узнать поскорей, а ты...

Письмо было коротенькое, на официальном бланке:

«Милостивая государыня, прошу вас по нетерпящему отлагательства делу немедленно приехать для переговоров с уполномоченным польского посольства».

И всё.

Неразборчивая, размашистая подпись.

— Что это может быть? — удивлялась Ядвига.

— Поедешь — узнаешь.

— Вы думаете, надо ехать?

Госпожа Роек заломила руки.

— То есть как это? Разумеется, ехать! Беги скорей к Павлу Алексеевичу, узнай, есть ли какая машина. Нельзя откладывать! По крайней мере, узнаем, что и как. Ишь, вспомнили вдруг о нас! То есть не о нас, а только о тебе, но это всё равно.

Оказалось, что машину получить можно, но шофёр занят. Госпожа Роек сама побежала в дирекцию к телефону и через четверть часа торжественно объявила:

— Значит так. С тобой едет Марцысь, у них какие-то дела в городе. Завтра раненюко утром будь готова. Я сама поговорила с директором и он сразу согласился. Марцысь с грузовиком будет здесь на рассвете. К вечеру вернётся домой, и мы всё узнаем. Не забудь взять с собой поесть, а то ты всегда так, будто человек может жить святым духом. А с этим хамом Лужняком держись посмелей, с ним деликатничать нечего!

— Да ведь я даже не знаю, чего ему от меня надо...

— Ну так что? Что надо, то надо, а хамить он всё равно будет, не беспокойся, да ещё после скандала, который я ему устроила! Но ты, впрочем, одна к нему лучше не ходи, иди с Марцысем, он тебе поможет. Ребёнок, конечно, но всё-таки поможет. Интересно, что там нового? Я прямо сгорю от нетерпения, пока вы вернётесь... Только не задерживайся там, дитя моё, сейчас же домой...

— Да зачем мне там задерживаться?

— Правда, незачем. Но так уж на всякий случай говорится... Эх, поехала бы я с тобой! Нет, не выйдет, неудобно отпрашиваться с работы: чего ради, скажут? Да, к тому же, ты сядешь в кабине с Марцысем, а я уж вроде лишний багаж... Вот если бы я умела водить машину, тогда другое дело.

Ядвига невольно улыбнулась:

— О, если бы вы ещё умели машину водить...

— Вот именно! Да, что это я ещё хотела сказать?.. Ах, да! Ты там присматривай за Марцысем, как бы с грузовиком чего не случилось. А то он захочет перед тобой похвастать, как он ловко правит... Лучше уж помедленнее, всё равно успеете. Пусть не спешит.

— Будьте спокойны.. Он превосходно водит машину.

— Вот это-то и плохо! Очень уж он самоуверен, а тут достаточно

маленькой неосторожности — и готово. Ты подумай, ведь ему... Сколько же это ему сейчас лет?..

— Пора вам привыкнуть к тому, что он взрослый парень.

— Взрослый? — Госпожа Рсэк всплеснула руками. — Ну, знаешь, Ядзя, от кого — от кого, а от тебя я этого не ожидала... Взрослый! Кто не знает, тот действительно мог бы подумать, очень уж он вытянулся. Но ты-то!

— У него уж и усы пробиваются..

— Усы? Подумаешь, усы! Да это и не усы вовсе. Что-то такое у него там есть над верхней губой, но до усов ещё далеко. Пушок какой-то! Да и какое это имеет значение? Мужчина, дорогая моя, остаётся ребёнком до смерти, уж я тебе говорю, никогда он не бывает по-настоящему взрослым. А тем более Марцысь. Который же это ему год пошёл?

Госпожа Роек постоянно путалась в подсчётах годов своих сыновей, ссылаясь на то, что время летит так быстро, оглянуться не успеешь.

— Ещё недавно оно на цыпочки становилось, чтобы посмотреть, что на столе лежит, — и пожалуйста, тракторист!

И, как всегда, забыв о возрасте сына, она вдруг начинала восторгаться.

— Тракторист, ну и кто бы мог подумать! Я своим глазам не верила, прямо-таки своим глазам не верила, когда прочла, как его в газете хвалят, — оживлённо рассказывала она Ядвиге, словно та слышала об этом впервые, а не присутствовала при чтении газеты, которую принёс им Павел Алексеевич. — Впрочем, сейчас мне больше всего любопытно, что тебе там завтра скажут.

Но Ядвиге не было любопытно. Сердце её сжималось, предчувствуя недоброе. Она плохо спала всю ночь, и когда на рассвете перед домом зафыркал мотор и из кабины выскочил Марцысь, Ядвига была уже готова.

Было прохладное, серебряное от росы утро. Но вскоре прозрачный воздух словно насытился цветочной пылью, так озарило его золотисто-розовое сияние. Развёртываясь широкой лентой, ложилась под колёса упругая степная дорога. Оконце кабины было открыто, и весёлый свежий ветерок ласкал лицо.

Ядвига забывала минутами, куда и зачем едет. Сердце утихло, будто вся жизнь переменялась и не осталось ничего, кроме беспредельной шири по обе стороны да широкой, белой, уходящей вдаль дороги.

Да что в ней было и прежде, в её жизни? Любовь? Когда-то она любила так крепко, так тяжко, так мучительно. Думала, что только эта любовь и существует... А на поверку оказалось, что она смогла усомниться, предать свою любовь, предать Петра. И Пётр смог с таким каменным лицом стоять перед ней в тот страшный вечер... «Нет, нет, только не об этом», — торопливо отогнала она от себя эти мысли, успев, однако, заметить, что воспоминание потеряло свою остроту.

«Может, потому, — подумала Ядвига, — что теперь я испытала на себе человеческую доброту. Хотя сама-то я не добра».

Ещё вчера госпожа Роек сказала: «Ты очень доброе существо, Ядзя!» Но это было не так, и Ядвига прекрасно знала это. Добрыми она считала тех, кто добр бескорыстно, ничего за это не ожидая. Она же, делая что-нибудь для других, старалась купить себе этим дружескую улыбку, доброе слово, хорошее отношение. И может быть именно потому ей всегда казалось, что никто к ней хорошо не относится. А между тем без доброго отношения она зябла, её душа замерзала, она чувствовала себя глубоко несчастной. И если Ядвига так охотно заменяла других в ночных дежурствах, брала на себя чужую работу, ухаживала за

больными, то не потому, что была добра, а чтобы снискать к себе хоть чуточку симпатии. Значит, делала она всё это для себя. Правда, ей нужны были не деньги, не карьера, не материальная выгода: она добивалась лишь хорошего отношения. Но это ничего в существе дела не меняло: она не была бескорыстной.

Марцьёсь внезапно затормозил. Оторванная от своих мыслей, Ядвига вздрогнула.

— Поглядите-ка! Выйдемте на минуту!

Она выскочила, слегка опершись на его руку, но тотчас споткнулась — ноги от долгого сидения в машине стали как чужие. Мальчик поддержал её.

— Взгляните!

Ядвига охнула. Равнина, повсюду зелёная от буйной сочной травы, влево от дороги расстилалась огненным ковром.

— Тюльпаны, — шепнула она, оторопев.

Крупные красные цветы на высских стеблях колыхались, кланялись от лёгкого ветерка, как колосья в поле, шелковисто поблёскивая на солнце. По полю то и дело проходила серебристая волна, когда ветер гнул цветы к земле, — тогда показывалась внешняя сторона лепестков, подёрнутая чуть заметным сероватым пушком. Куда ни кинь — всюду было ликующее поле, всюду этот победный, торжествующий багрянец. Он взбирался на холмы, спускался в ложбинки и, добежав до горизонта, сливался с небом. Нет, это не было похоже на полевые цветы. Это были великолепные, огромные тюльпаны, каких ей не случалось видеть даже в цветочных магазинах Бреста. Осторожно раздвигая стебли, чтобы не топтать их, она погрузилась в огненно-красное поле. Цветы достигали её колен, а в низинах и ложбинках были ещё выше. Ядвига шла, прикасаясь концами пальцев к чашечкам цветов. Казалось, ещё минута — и сердце не выдержит этого буйного избытка красоты, этой сумасшедшей роскоши ликующего цветения.

— Нарвать? — нерешительно спросил Марцьёсь.

Нет. Нет, только не рвать! Они слишком горды и прекрасны, чтобы обрекать их на увядание в кабинке грузовика. Такие радостные под весенним солнцем, под ласковым ветерком, такие влюблённые в свою красоту, сильные на своих сочных стеблях, такие упоительные. Правда, они не пахли. Но степь, воздух, ветер вокруг благоухали весной, свободной, буйной и зелёной. Высоко в небе звенели жаворонки — это были степные жаворонки, не такие, как там, дома; но они так же самозабвенно звенели в вышине, как жаворонки Полесья. На горизонте высился Тянь-Шань, словно лёгкий седоватый дым, словно сгущение лазурного воздуха, полоса насыщенной солнцем утренней мглы. Ядвига захлебнулась весенним ветром, несказанной красотой, от которой замирало восхищённое сердце. Слёзы вдруг заструились из глаз.

— Что это! Вы плачете? Что с вами? — смутился Марцьёсь.

Она сама удивилась, почувствовав на щеках капли слёз.

— Да нет же, нет, я не плачу... Ох, Марцьёсь, ты видел когда-нибудь такое? Так бы, кажется, и не уходила отсюда никогда.

Марцьёсь помолчал. Он не любил восторгов.

— Дальше тоже будет красиво, — неохотно ответил он. — Пора ехать, а то не успеем вернуться дотемна.

— Да, да, конечно, — вздохнула Ядвига и, движением пловца раздвигая тюльпаны, вышла на дорогу. У самого края одиноко рос цветок. Марцьёсь мгновение постоял в нерешительности и сорвал его.

— Всё равно его тут раздавила бы какая-нибудь машина, — сказал он, словно оправдываясь, но всё же не подал Ядвиге тюльпан. И лишь

сев за руль, как бы для того, чтобы освободить руки, положил цветок ей на колени. Машина рванулась вперёд.

— Уже видны тополя, — сказал через некоторое время Марцысь. Ядвига разглядела вдали котловину, будто чашу среди степи, что-то вроде сгустившегося голубоватого тумана в этой чаше, а вокруг рвущиеся к небу стройные силуэты тополей.

Вскоре мягкая степная дорога влилась в шоссе.

Машина загрохотала по мостовой городка.

Ядвига поёжилась, как от холода, когда Марцысь остановил машину перед небольшим домиком с верандой.

— Это здесь. Может, мне пойти с вами?

— Да, да, пожалуйста, — шепнула она.

«Опять запугана, опять боится...» — подумал Марцысь. Свободная улыбка и спокойное выражение, которые делали её такой красивой на прогулках с детьми и там, среди пламенеющего моря тюльпанов, теперь погасли. Стоя на тротуаре, смущённо и неловко обдёргивая на себе платье, она казалась маленькой и жалкой. Ему пришлось слегка подтолкнуть её к крыльцу. Глупо было спрашивать, не пойти ли с ней. Разумеется, надо идти. Ведь заранее известно, что одна она растеряется. При каждом столкновении с новыми людьми она всегда становится такой несчастной. Тем увереннее Марцысь постучал в дверь, на которой висело тщательно выведенное печатными буквами объявление: «Приём от одиннадцати до двух». Не ожидая ответа, он нажал дверную ручку.

В небольшой комнате сидело порядочно народу, но было сразу заметно, что это не посетители, а персонал. Слышался то усиливающийся, то ослабевающий говор. В углу мужской голос, ежеминутно прерываемый взрывами подавленного смеха, рассказывал, повидимому, какой-то анекдот. Парень с минуту колебался, к кому бы из этих занятых своими частными делами людей ему обратиться. Наконец, он заметил маленький столик в углу. Барышня с тщательно уложенными волосами и покрашенными губами сердечком подняла на него глаза.

— К уполномоченному.

Она приподняла тонкие, ровно нарисованные брови.

— Не знаю, есть ли у него сейчас возможность принять вас.

— Приём, кажется, от одиннадцати до двух? Сейчас двенадцать.

Брови поднялись ещё выше, холодный голос стал ещё холоднее.

— Да, приём с одиннадцати. Но господин уполномоченный сейчас занят. Может быть, вы потрудитесь завтра.

Марцысь покраснел.

— Мы двести километров ехали. Ежедневно делать такие экскурсии... Наконец, эта дама получила письмо с предложением явиться.

— Письмо? Ах, тогда другое дело... Что ж вы сразу не сказали? В таком случае... Сейчас узнаю.

Она встала, обмахнула пуховкой носик и, слегка покачивая бёдрами, обтянутыми плиссированной юбочкой, направилась в другую комнату. Мгновение спустя она снова появилась в дверях.

— Будьте любезны обождать, господа.

Марцысь огляделся и, бесцеремонно взяв стоящий у столика секретарши стул, подал его Ядвиге.

— Садитесь. Да садитесь же! — вышел он из терпения, видя, что она колеблется. Она неловко присела на краешке стула и устремила глаза в пол. «Ну, конечно, — злился он про себя, — уже потерялась и съёжилась, как испуганный ребёнок. И кого боится? Этих хихикающих, покрашенных девиц? Этих наглых хлыщей в тщательно заглаженных брюках? Вот уж, нашла кого...»

Кто-то из стоящих у печки мужчин окинул его ироническим взглядом. Парень покраснел от гнева и вызывающе выставил вперёд ногу в заплатанном рваном сапоге. Пусть их хорошенько рассмотрят и эти сапоги, и потёртый, порыжевший ватник!

— Пять минут ждём, потом входим, — заявил он Ядвиге. Та опять испугалась:

— Так ведь нельзя, ведь сказали подождать?

— Вот именно. А времени у нас наверняка меньше, чем у этого господина, который заставляет нас ждать. Да не пугайтесь вы так, — шепнул он со злостью, перехватив её испуганный взгляд. Ну ясно, она боится этой стервы за столиком. Наверно, та кажется ей замечательно красивой со своими взбитыми волосами и раскрашенной мордой. Небось, заметила и её туфельки — новенькие, из какой-то прелестной мягкой кожи. Вон как прячет под стул свои старые, стоптанные туфли, как нервно мнёт в руках платочек. Марцысь злился всё больше. Ведь в совхозе Ядвига вела себя как настоящий товарищ и работала так, что Павел Алексеевич просто слов для похвалы не находил. А тут вдруг сидит дура душой.

Он почувствовал себя обиженным не только за неё и за себя, но и за всех работающих в совхозе, в колхозах. Перед чем она здесь так робеет? Почему вместо того, чтобы посмотреть свысока, с презрением на этих господ, она смущается, ёжится, хочет стать незаметной? Кажется, ей-то стыдиться нечего! И перед кем? Ведь это не просто пошлые бабёнки, нет, это банда паразитов, живущих за счёт чужого горя, нищеты и дурацкой беспомощности. Ох, как он их ненавидел, как он их всех ненавидел! Живут, будто ничего не случилось, будто не лежит в развалинах Варшава, не погибли десятки и сотни тысяч людей. И будто не проливает свою кровь эта страна, где они нашли приют... Что им до всего этого, этим господам, что им до соотечественников, которые работают в совхозах и колхозах, побратавшись одной судьбой и одними стремлениями с советскими людьми!

Барышня в углу, шурша серебряной бумагой, угощала других служащих шоколадом. Они отламывали себе куски, смеясь и переговариваясь.

Чтобы приободрить Ядвигу и дать выход злобе, Марцысь шепнул ей:

— Видите, как жрут краденый шоколад?

— Боже мой, как ты можешь?.. Почему краденый?

— Ну да, краденый, у нас краденый... У Олеся, у Мани, у всех польских детей. Ведь не для них же его прислали бог знает откуда!

— Тише!

— Почему тише? — рассердился он ещё сильнее, но в эту минуту их пригласили в соседнюю комнату.

Уполномоченный, не приподнимаясь, небрежно кивнул им головой. Да, это был старый знакомый по эшелону, унтер Лужняк. Только уже нажравшийся, раздобревший. Марцысь это сразу заметил, рассматривая прекрасный костюм и безукоризненный галстук нового сановника.

— По какому делу?

— Мы... То есть эта дама получила письмо, что она должна явиться к вам по важному делу...

— Ах, так? — заинтересовался он. — Ваша фамилия?

Она охрипшим от волнения голосом произнесла фамилию, прозвучавшую в её устах ещё более странно и чуждо, чем обычно.

— Так, так, припоминаю... Понятно...

Он рылся в каких-то бумагах.

— Мы вас долго разыскивали в связи с этим выездом.

— Каким выездом? — удивилась Ядвига.

— Ваш муж выхлопотал вам разрешение отправиться вместе с семьями военных, уезжающих в Иран.

— В Иран?

— Сорокатысячная польская армия переходит в Иран. Семьи пока едут не все... Вы, во всяком случае, внесены в список. Только вам следует поторопиться, эшелоны вот-вот отправятся.

— В Иран? — она смотрела на него широко раскрытыми непонимающими глазами.

— В Иран. Хватит с нас этого советского гостеприимства. Там вы встретитесь с мужем, отдохнёте после всего этого ада.

Вся кровь отхлынула от лица Ядвиги. Комкая в руках платок, она спросила каким-то чужим, далёким голосом:

— А что я буду делать в этом... Иране?

— Это уж не моё дело, — сухо ответил тот. — Муж вас как-нибудь устроит. Отдохнёте после всех этих ужасов.

Марцьсь стиснул зубы и до хруста сжал пальцы. Что это такое? Почему она ничего не говорит? Теперь ведь уже несомненно, что это не сплетни, что они действительно бегут — попросту говоря, дезертируют с поля боя... Сорок тысяч военных...

— А с кем, разрешите спросить, идёт война в Иране? — спросил он высоким, срывающимся голосом. Лужняк подозрительно взглянул на него.

— А вы, собственно говоря, кто такой, молодой человек?

...Марцьсь на мгновение смутился.

— Я? Я просто так, приехал с этой дамой...

— Ах, так...

— Господин Роек работает трактористом в нашей МТС, — вдруг выпалила Ядвига и, испуганная своей храбростью, покраснела до корней волос.

Лужняк откинулся на спинку стула и закурил папиросу. Он раскуривал её долго, держа зажжённую спичку и рассматривая прищуренными глазами тоненькую струйку дыма.

— Ах, вот как? Весьма любопытно. В нашей МТС? А я ничего не знал о нашей МТС. Очень, очень любопытно... МТС? Это что-то с тракторами?

— Да, это что-то с тракторами, — отрезал Марцьсь.

— И вы, мадам, тоже что-то делаете в этой нашей МТС? Тоже на тракторе?

— Нет, я работаю в совхозе.

— В совхозе... Так, так.

Он снова порывлся в бумажках.

— Вашего мужа зовут Владислав?

— Да.

— Значит, правильно. Очень любопытно!

С минуту он рассматривал свою папиросу, будто именно в ней открыл что-то любопытное.

— Ну, что ж... Разрешение есть, я бы вам советовал сразу ехать. Документы и деньги на дорогу вам выдаст моя секретарша.

Ядвига не двинулась, упорно комкая в руках платок.

— Пройдите в ту комнату. Секретарша сейчас вам всё устроит.

Она подняла голову.

— Не надо. Я не поеду.

Уполномоченный удивлённо поднял брови.

— Неужели? Вам так нравится в этом... совхозе? А до совхоза где вы были?

— Была... в Коми.

— Ах, в Коми! Чудное место, не правда ли?

Вдруг он перегнулся через стол. Лицо его покраснело, жилы на лбу вздулись.

— И вы им так благодарны за это Коми, что никак не можете с ними расстаться? Отказываетесь от единственного и, может быть, последнего шанса выбраться отсюда?

— Я вовсе не хочу отсюда выбираться, — глухо сказала Ядвига. — Тем более в Иран.

— Вот как. Ну, что ж, пожалуйста, останется место для кого-нибудь из порядочных людей... Могу лишь пожалеть, что произошла такая ошибка. Ваш муж, господин Хожиняк, видимо, пользуется прекрасной репутацией, раз ему, несмотря на его невысокий военный чин, разрешили взять с собой жену... Но если вы пылаете такой любовью к большевикам, что ж — вольному воля!

— Пойдём отсюда! — грубо сказал Марцысь.

Лужняк ткнул папиросу в пепельницу.

— Могу лишь пожелать: счастливо оставаться! Господину Хожиняку придётся принять к сведению, что вы задерживаетесь здесь... по идейным, — а может, по сердечным? — побуждениям, — сказал он, глядя прищуренными глазами на Марцыся.

Тот круто повернулся к нему.

— Ты, скот этакий...

— Но-но, полегче! — Лужняк всем корпусом перегнулся через стол. Ворох бумаг сдвинулся, и Ядвига увидела чёрный поблёскивающий пистолет. Она схватила парня за рукав.

— Марцысь, идём!

— Я его, я его...

С неожиданной силой Ядвига потащила Марцыся к дверям.

— Слышишь? Идём!

Этот повелительный тон был так необычен для Ядвиги, что ошеломлённый Марцысь позволил вытолкнуть себя за дверь. Всё ещё таща его за руку, Ядвига торопливо прошла через канцелярию, где все глаза с любопытством уставились на них. Повидимому, шумный разговор донёсся из кабинета в приёмную.

— Немедленно садись в машину! — командовала Ядвига. — Теперь куда? У тебя здесь есть дела?

— В автосбыте.

— Поехали. Я подожду в машине.

Он снова подчинился. И лишь когда он сошёл с машины и вошёл в автосбыт, Ядвига почувствовала обморочную слабость. Всё случившееся казалось ей коротким, но страшным сном. Иран, Хожиняк, Лужняк, и этот пистолет под бумагами... Почему Марцысь вдруг кинулся на Лужняка? Ах да, этот мерзавец сказал...

Уличка была глухая, тихая, кругом никого не было, лишь над забором какого-то сада возвышалась верблюжья голова. Верблюд глядел полузакрытыми глазами в пространство, а его подвижные тёмные губы непрерывно жевали. Эти сощуренные глаза придавали морде надменное выражение. Некоторое время Ядвига бессознательно рассматривала верблюда. Однообразное, спокойное движение жующих челюстей подействовало на неё как-то успокоительно. Только бы Марцысь задержался ещё хоть немного, только бы он не пришёл сейчас. Пусть бы прошла эта слабость, и дрожь в руках, и это желание разрыдаться.

Опять всё сначала! Она уже успела забыть о существовании Хожиняка, но он всегда находил её. В Ольшинах — ну, это ещё было понятно,

ведь это был дом её матери, откуда он взял её, куда он знал дорогу... Но каким чудом разыскал он её там, в тайге, когда приказал ехать на юг? Сорвал её с места с ребёнком... Хотя о том, что у неё ребёнок, он мог и не знать. Она не говорила ему о своей беременности, а когда он уходил в последний раз из дому, ничего ещё не было заметно. Впрочем, тогда ему и не до неё было... Да, не до неё... А вот потом он всё-таки разыскал её и приказал, просто приказал ей ехать, будто иначе быть не могло. И вот теперь, когда она снова успела забыть о нём, он вновь явился с приказаниями, переданными через этого полицейского унтера Лужняка, того самого, который сказал госпоже Роек, что не впустит её в Польшу. Никто и не спросил Ядвигу, желает ли она ехать в Иран, хочет ли она бросить госпожу Роек, мальчиков, Олеся, овцеферму...

«Но чего я, собственно, волнуюсь? — спросила она себя. — Ведь всё конечно, больше он меня разыскивать не станет. Этот Лужняк уведомит его о том, что я отказалась ехать, и чёрт его знает, о чём ещё...»

Ей вспомнился грязный взгляд, которым Лужняк окинул её и Марцысь, будто помоями окатил. Её и этого мальчика, почти ребёнка! Хуже всего, что этот ребёнок был достаточно взрослым, чтобы понять намёк. Словно на мгновение замутился прозрачный, чистый источник, эта смешная и милая дружба с мальчиком, со строптивым сыном госпожи Роек. Но что поделаешь? Уж таковы эти люди! Тут и обижаться не на кого. Что же ещё им могло прийти в голову!

Марцысь, вернувшийся из автосбыта, был всё ещё немного смущён. Его буревали противоречивые чувства. В нём ещё кипело негодование, но он сознавал, что с Лужняком он вёл себя как мужчина, и если бы не Ядвига, не помог бы унтеру и его револьвер, уж он бы расквасил эту гнусную морду. Было, однако, ещё нечто другое. Где-то в самой глубине своей души Марцысь чувствовал гордость и тем, что этот скот принял его за совершенно взрослого, больше чем взрослого... И вот за это Марцысь себя презирал. К счастью, Ядвига будто и не замечает его смущения и ведёт себя так, словно ничего не случилось. Теперь, когда она не между чужими, у неё уже нет этого испуганного, детского выражения на лице, она снова стала собой, добрым товарищем, одним из лучших работников овцефермы.

А Ядвига и вправду уже не думала о происшедшем. С облегчением, с чувством несказанной радости она сознавала, что вся эта история осталась позади. Что ещё не успеют блеснуть звёзды на небе, как она увидит тополевую аллею и строения ферм, и дом, где нетерпеливо дожидается госпожа Роек, и что там, в совхозе, и Матрёна, и Павел Алексеевич, и все, все — свои близкие люди. И что она, Ядвига, перестала быть одиноком, всеми покинутым человеком.

— Скорей, Марцысь, так хочется поскорей домой!

Кроваво-красная заря меркла, по степи начинали стлаться голубые сумерки. Но в вышине сиял свет, и воздух над степью играл всеми красками, а на розовом и золотом небе, на фоне проглядывающей местами холодноватой полоски лазури загорелась мерцающим светом первая звезда.

Глава 5

На западе, у самого горизонта, ещё сияла узкая алая полоска. Небольшое озерцо в долине отражало этот блеск одной поверхностью, словно лишённое глубины. Повыше купол неба темнел, становился густым, далёким, и одна за другой в нём зажигались звёзды. В лесу и в рощах уже стоял зелёный ароматный сумрак. Горьковато и пряно пахло черёмухой, молодыми берёзовыми листьями, буйными, сочными

ветвями ольхи. Несмело, словно пробуя голос, щёлкнул соловей и тотчас умолк. В густых зарослях на опушке леса было слишком много людей, шума, движения. Соловей щёлкнул ещё раз и снова умолк. Теперь он отлетел подальше, на купу осин, трепещущих серебристой дрожью листвы.

— Волк, не путайся под ногами!

Огромная, почти чёрная овчарка капитана Скворцова вертелась среди работающих у самолёта техников. Услышав окрик Стефека, она села, внимательно глядя на людей.

— Умный пёс, умный. Только не надо мешать!

Собака склонила голову набок и тихо заскулила, будто отвечая.

— Умный-то умный, а курицу всё-таки украл,— заметил Вася Чабан, наливая масло.

— Может, ещё и не он?

— Как же! Не он! Волк, кто украл курицу? Нехорошо, нехорошо, разве порядочные собаки крадут кур?

Волк распластался на земле и, отворачивая голову, стал тихонько отползать в сторону.

— Смотри, смотри, как застыдился... Знает, бестия, о чём говорят, ишь, совесть заела! Не он, как же! Разбойник!

Но в голосе Чабана не было гнева. Все любили этого большого тёмного пса, неразлучного товарища на аэродроме. Днём Волк обычно спал возле кровати своего хозяина, но убедясь, что капитан храпит, накрывшись с головой одеялом, немедленно отправлялся в свои воровские экспедиции. Едва начиналась вечерняя подготовка к полётам, Волк появлялся как из-под земли. Он шёл за капитаном в заросли, где стояли укрытые в зелени самолёты, бежал вслед за машиной в поле, а потом, когда капитан улетал, дежурил на аэродроме, ожидая его возвращения.

— Не прячься, не прячься, Волк. Ну что там — одной курицей больше, одной меньше...

Волк снова сел и боком, не глядя, подавал Стефеку лапу, будто прося прощения.

— Ну, ну, ладно уж, сиди...

Из лесу доносился смех. Лётчики ужинали. Звякали судки. В землянке командира полка звенел телефон.

— Ну, как там?

— Ещё неизвестно.

Алая полоска на западе погасла. Погасло озеро в долине. В пустынном углу аэродрома вырисовался чёрный силуэт прожектора. На небе высыпало всё больше звёзд. Они мерцали ярко, отчётливо. Казалось, вздрагивает и переливается весь небосклон.

— Ну, как там?

— Всё ещё ничего.

Самолёты стояли в зарослях, вполне готовые. Баки полны бензина, моторы проверены, масло залито. Подвешенные внизу тёмные, продолговатые бомбы сейчас производили довольно невинное впечатление. Стефек отёр перепачканные руки. Слышалось шуршание раздвигаемых ветвей, кто-то направлялся прямо к нему. Он рассмотрел знакомый силуэт и вытянулся в струнку. Не потому, что так было принято, нет, Стефеку хотелось выразить своему капитану всю свою любовь, всё уважение, всё, что думал о нём — о нём, который скоро полетит в эту звёздную майскую ночь.

— Всё в порядке?

— Полный порядок, товарищ капитан.

Конечно, всё было десятки раз проверено, смазано, отрегулировано. Ведь это машина капитана Скворцова, ей он сейчас доверит свою жизнь.

Капитан Скворцов стал для Стефека олицетворением всего, о чём он грезил долгие годы. Вспомнились далёкие, туманные вести о Красной Армии, совсем не такой, как все другие армии в мире. Стефеску случилось читать в переводах советские книги, изредка попадавшие в Синицы или Влуки, и в его сердце росла мечта хоть когда-нибудь увидеть Красную Армию своими глазами. Он грезил, что наступит час, и она придёт, эта армия свободы, и принесёт свободу на земли над Стырью, над Горынью, до самого Буга — и дальше, за Буг.

И вдруг в тридцать девятом он, наконец, увидел её своими глазами, и она не принесла ему ни малейшего разочарования. Разве только то, что она не пошла дальше, за Буг...

Люди этой армии были как раз такими, какими он представлял их себе. И в то время, как свирепствовали лживые слухи, как из уст в уста передавались всякие ужасы, как нашёптывалась всяческая клевета на большевиков, — ни один, кто видел на Западной Украине Красную Армию, не мог поверить ни одному дурному слову о ней.

А позже, в июньские дни сорок первого года — о, как он смотрел на советских солдат, не смея и мечтать о том, чтобы стать одним из них, носить красную звезду на шапке, надеть эту овечьную славою, сияющую легендарной формой!

И теперь всё, что он слышал, читал, видел собственными глазами — высокое мужество, безграничное самопожертвование, — всё приобретало в его глазах черты капитана Скворцова...

С запада веял лёгкий, тёплый ветерок, пахло черёмухой. Весёлые разговоры лётчиков утихли. Повар, что-то ворча под нос, собирал посуду. Штурманы вертелись у командирской землянки. Наступили знакомые мгновения напряжённого ожидания. Зазвонит телефон — и надо будет молниеносно отбросить маскирующие ветви, расчистить дорогу — один за другим выкатятся самолёты на тёмное, поросшее низкой травкой поле. Сверкнёт фонарь, широким взмахом подавая сигнал, взревёт мотор, волна воздуха ударит в лицо, взметнутся пыль, стебли травы, комки земли — и самолёт поднимется во тьму звёздной ночи.

Но пока никто ещё не знает, куда придётся лететь. В командирской землянке штурманы раскладывают карты. Бродят без дела техники. Медленно-медленно идут напряжённые минуты. А может, нынче не будет вылета? Но нет, нет, должен быть вылет — ведь теперь они бывают каждую ночь. Ведь это необычная, это прекрасная весна. После ненастной осени отступлений, после трескучих морозов трудной зимы она пришла, долгожданная, ожидаемая с дрожью в сердце, призываемая жгучим желанием миллионов сердец, — весна побед. В тёмной бездне звёздного неба словно горят желанные, радостно заученные наизусть слова приказа, данного войскам Юго-Западного фронта:

«Мы вступили в новый период войны — период освобождения советских земель от гитлеровской нечисти... В решительный, беспощадный бой, товарищи!»

Нет, эта майская ночь не может пропасть зря! Ведь идёт решительный бой. Нетерпеливые руки лётчиков жаждут ухватиться за штурвал, нога хочет почувствовать педаль. Уже надел наушники стрелок-радист, уже единым биением бьются сердца троих людей, которые в эту ночь вызывают на поединок смерть. Они полны нетерпеливого ожидания, и вместе с ними волнуются все — командир, обслуживающий персонал и

даже Волк, который, тихонько повизгивая, следует как тень за капитаном.

— Есть...

Шелестят карты. Штурманы прокладывают пути. Из землянки выскакивает капитан Скворцов.

Ревёт мотор. Плывут во тьме белый и зелёный огоньки. Навстречу выходит солдат с фонарём.

Самолёт разворачивается. Два раза вспыхивает зелёный огонёк — капитан Скворцов просит разрешения на взлёт. Фонарь описывает полу-круг над землёй. В облаке пыли, как-то неожиданно оторвавшись от земли, самолёт поднимается в воздух. Плавный круг, и капитан Скворцов уже улетел на запад, к своей цели, выполнять боевое задание.

А с опушки уже доносится новый рёв мотора — выкатывается следующий самолёт. Каждые несколько минут взлетают самолёты, описывают круг, исчезают во тьме майской ночи.

И вот их уже нет. На аэродром опускается тишина, странная после кратких минут шума и оживления.

Командир полка уходит в свою землянку. Разбредаются техники. На аэродроме остаётся большой темносерый, почти чёрный лёс. Насторожив уши, он смотрит вдаль, где исчез его хозяин. Напрасно теперь звать Волка, напрасно прогонять его отсюда; он будет сидеть и ждать, пока капитан не вернётся с боевого задания.

Стефек присел рядом с Волком. Ему не хотелось возвращаться к людям, ни с кем не хотелось разговаривать. Его охватила, околдовала эта майская ночь. Каждое дуновение тёплого ветра приносило на аэродром крепкий запах черёмухи. И снова, сперва робко, потом всё уверенней защёлкал соловей. Раз, другой он попробовал голос и вдруг залился вибрирующей трелью, радостным щёлканьем. Ему ответил второй, присоединился третий, пока, наконец, вся опушка, все заросли не охватила стоголосая соловьиная песнь. Их было здесь больше, чем в Ольшанах, и пели они как-то иначе, ещё красивее. Правда, Стефек слышал от товарищей, что курские соловьи славятся на всю Россию.

Он почувствовал под руками прохладную росу. Какая чудесная ночь, полная запахов и соловьиного пения! И небо, как бархат, тёмное, всё искрящееся звёздами...

Но нет, небо не совсем тёмное. Отсюда виден свет, незаметный из леса, и это не тихий свет звёзд, не последнее слабое сияние вечерней зари. Там, на западе, где небо сливалось с землёй, вспыхивали внезапные, короткие отблески. Синеватые, жёлтые, почти белые. Горизонт не был неподвижен. Он вздрагивал, жил, дышал.

«Да ведь это линия фронта!» — вдруг понял Стефек, поражённый контрастом между звенящей от соловьиного пения черёмуховой рощей и этим зловеще вздрагивающим горизонтом. Рыжее зарево медленно пробивалось сквозь густую тьму неба. И на фоне этого рыжего зарева вспыхивали и исчезали, вздрагивали, мерцали и снова разгорались взрывы далёкого огня. Низом по земле катился едва уловимый глубокий гул, будто вздох, приподнимающий грудь земли.

Туда лежал путь капитана Скворцова. Он должен был перелететь этот вздрагивающий горизонт между ослепительными лучами прожекторов, сквозь кровавые чётки брызжущих в небо трассирующих пуль и разрывы снарядов. Сбросить бомбы — и назад, ещё раз над мерцающим, вздрагивающим горизонтом, над линией своего и чужого огня. Притаившиеся во тьме стволы зенитных орудий вращаются, отыскивая в ночном мраке воздушную цель. Обшаривают небо прожекторы, пытаются поймать самолёт в свои сверкающие лучи, заставить его беспо-

мощно трепетать среди них, как крылья маленького серебряного мотылька. В воздух поднимается вражеский истребитель, хищные глаза врага высматривают возвращающегося лётчика.

Вздрагивает, мерцает, дышит далёкий горизонт. А здесь пахнет черёмухой и поют соловьи. Они поют, щёлкают, заливаются трелями даже в часы самых страшных бомбёжек, когда небо сотрясается от гула, когда небо и земля гремят оружейной пальбой. Но стоит в далёких тучах прогреметь отдалённому грому, стоит сверкнуть молнии за линией холмов, как они умолкают, пока не пройдёт гроза. Гроза — это природа, это явление, которое их касается. Война — дело человеческое.

Даже когда железным градом сыплющиеся осколки секли густую листву, даже когда снаряды срезали ольховые ветви, где ютились соловьиные гнёзда, — это не мешало стоголосому любовному пению, звенящему над всей долиной, на склонах гор, над берегами неглубокой, извилистой речки.

В Ольшинах тоже были соловьи. Но их никогда не было там столько. В лугах пел один. Как-то весной в жасминовых кустах у дома каждый вечер показывал своё искусство другой. Но тут их было, видимо, сотни.

Можно бы закрыть глаза, отгородиться от далёкого грохота орудий, погрузиться в соловьиное пение. Нет войны. Нет огня и крови. Нет смерти. Есть лишь благоуханная майская ночь.

Но нет, не закроешь глаз. Людям ни на мгновение не забыть о происходящем.

Там далеко, за мерцающим горизонтом, остались знакомые, родные сердцу города и деревни. Там Соня Кальчук, жива ли она ещё?

Но и о Соне думается теперь иначе, чем прежде. Собственная тревога, собственная скорбь — это сейчас тревога и скорбь миллионов, и какой-то стыд мешает тосковать и скорбеть о себе в то время, когда вихрь войны разметал все гнёзда и ударил по всем сердцам. Стефек сдвигает брови. Нельзя унывать, нельзя думать только о Соне — ведь там остались все они, и близкие, родные, и те, кого он никогда в жизни не видел, все под одним обухом несчастья. Быть может, давно уже нет Ольшин. Быть может, весенние волны озера бьются о пустой берег, быть может, в его водах отражаются лишь развалины и пепелища сожжённых изб. Быть может, давно уж нет в живых Сони. Но если и так, у него всегда останется уверенность, что если ей суждено было умереть, она умерла, как должен умереть человек, его весёлая, черноглазая Соня. Не изменила, не сломилась, не испугалась врага.

О сестре он почти не думал. Эта была в безопасности — вдали от рушащихся в развалины городов, от обращаемых в пепел деревень, она была недосыгаема для захватчиков. То, что казалось катастрофой, вдруг оказалось величайшим счастьем — кто знает, что ожидало бы Ядвигу, если бы она осталась в Ольшинах? А мысли о Соне были противоречивы и сбивчивы. Страх, тревога о том, что могло с ней случиться. Но это беспокойство было как бы логическим выводом из всего, что ему было известно о враге, что он читал и слышал о нём. А в глубине души таилось убеждение, что ничего дурного с Соней случиться не могло, что уж с ней-то, во всяком случае, всё в порядке. Быть может, она в партизанском отряде, а может — кто знает! — ей даже удалось в последнюю минуту бежать, и она здесь, по эту сторону фронта, в полной безопасности. Да, скорей всего так оно и есть.

Он не признавался себе, что это как раз менее всего вероятно. Ему легче было думать, что она где-нибудь тут — на этих тысячах и десятках тысяч километров свободного от врага пространства. Работает где-

нибудь в глубине страны, и как только кончится война, они встретятся. Да, так и должно быть, потому что, если бы Соня... Нет, это было бы слишком жестоко, бессмысленно, несправедливо! Она где-нибудь здесь и думает о нём. И Стефек испытывал что-то вроде хвастливой гордости при мысли, что наступит время, когда он расскажет Соне обо всём пережитом за время войны, о капитане Скворцове, о своей работе на аэродроме. А Соня будет слушать, широко раскрыв кроткие тёмные глаза, будет слушать, как умеет слушать только она.

Но мысли тут же меняли направление. Всё, что происходило не здесь, не на фронте, было призрачным, недействительным. Подлинными, реальными были только эти военные дни — фронтовая жизнь, работа на аэродроме.

И вдруг он ещё раз, в тысячный раз за это время, всё с тем же чувством острого счастья, которого не могла притушить привычка, подумал о себе.

Да будут благословенны солдатские сапоги, которые ему дано было надеть, чтобы вместе с миллионами солдат Советской Армии шагать по боевым дорогам. Да будет благословенна защитного цвета форма, при виде которой так неудержимо билось сердце любовью и восторгом, когда он впервые увидел её там, в родном Полесье.

Он, Стефек Плонский, — солдат Красной Армии. Об этом он не смел мечтать ни в ольшинские дни, когда шёпотом разговаривал с Петром о Красной Армии. Как она была тогда далека, овеена легендой, за непроницаемой стеной границы, охраняемой польским стражником. Вполголоса, чтоб не услышало непрошенное ухо, с тоской, с глубочайшей верой пели они тогда строфы песни, занесённой в Ольшины рабочим из местенка:

Но от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней.

Не мог он о ней мечтать и тогда, когда в тридцать девятом году он шёл неведомо куда, польский солдат, солдат разбитой, покинутой командующими, брошенной офицерами, беспомощно блуждающей по бездорожьям армии.

И вот оказалось, что весь этот ужас, всю эту ядовитую боль раз навсегда перечеркнул тот июньский день, когда капитан в военкомате внял его страстным мольбам и принял его в Красную Армию. Ему хотелось тогда целовать выданные ему кирзовые сапоги, которые были велики на его ногу, и ремённый пояс, и винтовку.

Никто, даже этот капитан, не мог бы понять, чем это для него было. Ведь они-то шли в свою армию, служили в своей армии. Но он, Стефек Плонский, не мог об этой армии и мечтать. И вдруг наяву, наяву он попал в неё! Его приняли в прекрасную армию свободы и мира, в армию, которая победит фашизм. Это он знал твёрдо, чувствовал в самые трудные, самые горькие дни. И под Тернополем, и под Киевом, и под Харьковом, на путях отступления, когда машины увязали в липкой грязи, когда аэродромы превращались в болото, когда кругом дылели деревни. Он твёрдо знал, что придёт день, когда эта армия двинется на запад. Он был так же уверен в победе, как в том, что после зимы наступает весна. И так же, как он, были в этом уверены и все другие его товарищи. Они знали, что, быть может, придётся брести по колено в собственной крови, километр за километром ползти по грязи, замерзать в снегах, отступать, падать и вновь подниматься. Но в конце концов всё равно придёт победа.

Это знал капитан Скворцов, готовящийся к своему тысячному вылету. Это знали солдаты в строю, и раненые в госпиталях, и крестьяне,

здесь, у самой линии фронта, где в любую минуту могли сгореть, обратиться в пепел, взлететь на воздух их домишки.

Это знали дети, пасущие коров на склонах пологих холмов и подозрительно поглядывающие на майское небо, прислушиваясь, не нарастает ли вдали рокот вражеского самолёта.

Это знало население городов и местечек, покинутых армией в тяжёлые дни отступления.

Это знали все на сражающейся, истекающей кровью, на нескрушимой советской земле: он наступит, наступит желанный день!

И вот он наступает. За вздрагивающей линией горизонта ждёт освобождения земля, ждут освобождения люди. Их освобождение близко. Трозной волной хлынет наша армия снова на Харьков, на Киев и дальше, дальше, до Вислы, и ещё дальше, неся свободу и счастье. А вместе с ней пойдёт и он — Стефек Плонский, теперь уже сержант Советской Армии, чтобы до конца выполнить свой долг.

Он вздрогнул, так неожиданно раздался над ним голос командира полка.

— Что, не видать ещё? Уснул, а?

— Нет, товарищ гвардии полковник. Не видно.

— Скоро должны быть...

На аэродроме замелькали тени. Люди вышли из своих землянок. Волку передалось общее ожидание. Он сидел всё в той же позе, с виду спокойный и неподвижный; но, положив ему руку на спину, Стефек почувствовал, что животное непрерывно дрожит мелкой дрожью.

— Спокойно, пёс, спокойно, скоро прилетит!

Высоко в небе вдруг сверкнула, покатила падучей звездой, рассыпалась тысячами искр ракета.

— Летит, летит!

Теперь вдруг ожил расположенный по соседству, на склоне холма, ложный аэродром. Там загорелись прожекторы, раздался шумный говор смешанных голосов, зажигалось и гасло огромное «Т», взвилась вверх тонкая струйка пурпурных пуль.

— Стараются ребята, — рассмеялся кто-то. Но Стефек не смотрел в ту сторону. Он впился глазами в звёзды, отыскивая среди них движущуюся точку. Там, вверху, снова вспыхнула ракета. Доносился шум мотора.

— Свой. Дайте ему прожектор, выложите «Т»!

Аэродром засиял ослепительным белым светом. Небо вдруг стало совсем чёрным. Из этой чёрной бездны быстро спускалась светящаяся белая точка, и вот уже плавным движением приземлился на посадочной площадке самолёт. Бегут техники. Так, играючи, не сядет никто, кроме капитана Скворцова, — словно посадочная площадка выложена бархатом, а самолёт лишён веса. Волк с радостным визгом бросается к лётчику, устало стаскивающему с головы шлем.

— Всё в порядке. Поторапливайтесь, ребята.

Самолёт катят к опушке. А в небе уже снова ракета. И снова суeta на ложном аэродроме, и снова замирает сердце: свой или враг? Он может появиться внезапно, может даже подать правильные сигналы — и вдруг ударить сверху, как коршун, разбомбить, разнести зелёный лужок, который так ласково ложится под колёса самолёта. Кто же таится во мраке звёздного неба? Кто описывает в нём круг — свой или враг?

Ракета.

— Давайте прожектор, — приказывает командир полка. В ослепительном голубовато-белом свете нежданно близко возникает чёрный

силуэт самолёта. И снова спешка. Оттащить к опушке, расчистить место для следующего. — Поживей, поживей! — нетерпеливо подгоняет Скворцов. А Стефек и так работает быстро, размеренно, привычными движениями. Подлить бензина. Проверить мотор. Одновременно снизу к самолёту подвешивают бомбы. Техники работают, но лётчикам всё кажется, что дело не подвигается. Майская ночь коротка, рассвет наступает быстро, растворяя тьму в золотисто-розовом свете зари. Надо спешить, чтобы успеть ещё раз. К тому времени, как возвращается третий самолёт, капитан Скворцов вылетает во второй раз. Один за другим двинутся с опушки зелёные и белые огоньки. Один за другим самолёты вторично летят за линию фронта к Харькову, на Донбасс, на украинские земли, ещё страдающие под оккупацией врага. Дежурный на старте ровным, сухим голосом рапортует в телефонную трубку:

— Жёлтая пятёрка в воздухе.

— Голубая двойка...

— Чёрная шестёрка поднялась.

Стефек отёр потный лоб. В воздухе погас последний огонёк. Умолк, утонул во сне ложный аэродром. Все ушли, и они снова остались вдвоём — человек и собака, засмотревшиеся в далёкий горизонт, во выюгу звёзд, в необъятную даль.

Как горько, что нельзя полететь с ним! Но приходится оставаться здесь, на росистой траве, и с замирающим сердцем ожидать, когда, наконец, сверкнёт в тёмном небе ракета.

И вот — снова выбегают люди из землянок. Ракета...

— Опять Скворцов! — говорит полковник. Разумеется, это его, Стефека, капитан. Зелёный и белый огоньки описывают плавный круг. Самолёт приземляется.

В свете прожектора Стефек ясно видит усталое лицо лётчика. Оно постарело за эти несколько ночных часов. Но капитан касается пальцами кожаного шлема.

— Капитан Скворцов просит разрешения вылететь третий раз.

Командир смотрит на часы. Короткая майская ночь вскоре кончится. Он что-то подсчитывает в уме.

— Если успеете вылететь в два тридцать — летите.

То есть через десять минут. Капитан Скворцов мягким, просящим голосом говорит лишь одно слово:

— Стёпа...

Но большего и не надо. Теперь всё зависит от Стефека. Десять минут. Это не много. Прежде на это требовалось, по крайней мере, пятьдесят. Но теперь техники действуют, как машины, в которых бьётся умное, страстное сердце. Масло, бензин, бомбы. Два тридцать — и самолёт выходит на старт. Едва он успевает растаять в воздухе, где-то высоко на бархате звёздного неба вспыхивает ракета. Возвращаются остальные. Но эти уже не успевают вылететь в третий раз; это удалось только капитану Скворцову, Стефекону капитану.

Лётчики вылезают из кабин тяжёлые, будто сонные. Усталой походкой идут от самолётов в лес, так изменила их одна эта ночь. Вечером они смеялись и пели в лесу, поддразнивали повара, были молодыми парнями. Сейчас и не поверишь, что им по двадцать четыре, по двадцать пять лет. Посеревшие, измученные лица. Два вылета, четыре перелёта через линию фронта, два раза над целью. В страшнейшем напряжении всех сил, всей воли, всех нервов прошла майская ночь. Тяжёлой походкой идут смертельно утомлённые люди. Вечером они снова станут молодыми, весёлыми ребятами. Сейчас это люди, которые в течение нескольких часов играли в прятки со смертью.

...Меркнут звёзды. Ещё темно, но на востоке уже виднеется красноватая полоса, мрачная и зловещая. Не верится, что через час-полтора там встанет алая, сияющая утренняя заря. Сейчас это лишь узкая багровая полоска. И, хотя звёзды уже медленно тонут в глубине неба, на мгновение делается как будто ещё темнее.

Где-то в лесу зашебетала птица. С лугов ответила другая. Мрак редеет. Начинается сероватый рассвет. Но вот багровая полоска постепенно превращается в розовое сияние. Затем по краям её появляется золотистая кайма.

Высоко вверху мощный, грохочущий рокот моторов. Это возвращают на свои базы бомбардировщики дальнего действия.

Дрожит Волк, весь мокрый от росы. Снова появляется командир полка.

— Не видать?

— Нет, товарищ полковник, — с трудом отвечает Стефек. Полковник ещё раз смотрит на часы. Да, уже поздно. При дневном свете нельзя пролетать над линией фронта. Тяжёлый, не обладающий большой скоростью самолёт Скворцова не может ускользнуть от шныряющих всюду «мессершмитов».

Полковник уходит тяжёлой походкой утомлённого человека. Стефек смотрит ему вслед. «Он тоже беспокоится», — думает Стефек. Ведь он отвечает за всех людей, за все машины. Ежедневно ему приходится посылать через фронт людей, которые ему ближе родной семьи. И ежедневно он ожидает их — с виду спокойный. Но вот не может усидеть в землянке, выглядывает, выходит, десятки раз запрашивает по телефону.

Ох, в те сентябрьские дни тридцать девятого года... Как жадно хотелось тогда Стефeku увидеть такого начальника, как жарко призывало его сердце именно такого офицера! Но его не было на пылающих, потерянных, страшных сентябрьских дорогах. И Стефек тщетно пытался отыскать в памяти хоть одного командира среди тогдашних польских офицеров, который оставил бы по себе хоть какое-нибудь воспоминание. Нет, таких не было. Никто не думал, куда ведёт дорога, по которой бредёт истомлённый, отчаявшийся солдат, где он преклонит голову, что он будет есть. Конечно, офицеры были. Капитаны, поручики, подпоручики. Но они были не командирами, а лишь такими же заблудившимися в чёрной ночи отчаяния солдатами.

Да что вспоминать! Не в этом сейчас дело... Где капитан Скворцов?

«Если бы я так не торопился, — думает Стефек, — если бы не поспел к двум тридцати, он был бы здесь, как все другие. Не надо, не надо было и ему лететь в третий раз!»

Снова рокот моторов. Это уже летят на линию фронта дневные самолёты. А капитана Скворцова всё нет!

Занимается день, серебристый, розовый, сияющий. Трава поседела от росы, птичий гомон наполняет черёмуховые заросли, купы осин, ольховые чащи. А капитана Скворцова нет.

— Стёпа, завтракаты! — кричат ему с опушки техники. Но Стефек даже не поворачивает головы.

На старте ещё раз появляется полковник, но уже ни о чём не спрашивает, а лишь смотрит на часы. Хотя ясно, что ждать уже, собственно, нечего...

— Чего он там сидит? Уведите его, пусть поест и идёт спать, — слышит Стефек за своей спиной. И тотчас отвечает голос полковника:

— Нет, оставьте его.

Значит, и он не хочет думать о несчастье. Значит, и он верит, что

самолёт ещё может вернуться. Тяжело занести в книгу, лежащую на столе в землянке: «Лётчик капитан Скворцов не вернулся с боевого задания». Нет, нет, это всегда успеется...

Поют птицы в лесу. Где-то над полями, неподвижно повиснув в воздухе, звенит, захлёбывается песней жаворонок. Обсыхает роса, которая ещё мгновение назад играла огнями, преломляя в каждой капле крохотную радугу. Теперь видно, как богато убралась черёмуха белыми кистями. Луг и роща зеленеют той первой, чистой, словно освещённой изнутри зеленью, которая уже не повторится, уйдёт вместе с маем.

В голове вертится неизвестно откуда прибудившаяся строфа из какого-то случайно прочитанного в детстве стихотворения:

Ехали с запада.
На росе ещё остался след.
О конь, конь вороной мой,
Перед нами далёкий свет.

Он не помнит, что дальше, не может уловить смысла этих строк и о ком в них идёт речь. И всё же в них веет несказанная печаль, звучит что-то неотвратимое, чего не минуешь, не избежишь.

След на росе... Всего несколько часов назад по этой траве шёл капитан Скворцов и оставил следы на росе, только их не было видно в потёмках. Теперь роса исчезла, выпитая солнцем. Нет росы и, быть может, нет и капитана.

Стефёк понимает, что ждать уже нечего. Линия фронта близка. Если самолёт не перелетел через неё ночью, под защитой мрака, значит случилось несчастье. Но бывают же чудеса — взять хотя бы историю самого капитана Скворцова. Три раза он спасался, три раза возвращался на подбитой машине. Не погибал, не сгорал в воздухе, не падал на неприятельской территории; не попадал в руки врага. Может, и теперь... Вдруг явится и с обычной добродушной усмешкой скажет: «Что, Степа, наверно, уже беспокоился?».

...Снова шаги, торопливые шаги человека, спешащего с новостью.

Стефёк вскакивает. Всккивает и Волк.

Идёт командир полка. «Он ещё тоже не ложился», — благодарно думает Стефёк. И тотчас же сердце начинает стремительно биться: лицо полковника спокойно и радостно.

— Звонил капитан Скворцов. Приземлился у соседей, прилетит к вечеру. Иди теперь спать. Линия была повреждена, он не мог позвонить раньше.

Стефёк идёт, но Волк не трогается с места. Стефёк его зовёт, но пёс лишь смотрит на него, и в его глазах светится упрёк.

— Пойдём, пойдём! Капитан жив и здоров, он прилетит позже, понимаешь?

Волк, склонив голову набок, снова садится на прежнее место, устремив глаза туда, где ночью виднелась вздрагивающая линия фронта. Он не уйдёт отсюда, пока его не позовёт сам капитан. И Стефёк решает, что его завтрак всё равно уже, наверно, давно простыл. Надо сперва принести поесть собаке.

Шелестит под ногами трава. В кустах нежным голубовато-сиреневым цветом расцветает барвинок — маленькие цветы, похожие на спойные, наивные детские глаза. На лугу широко раскрылись золотые солнца одуванчиков. И над всем этим бездонное небо, ясное, крохотное.

без единого облачка, без единой тучки. Захлёбывается от счастья птичий хор. Где-то в глубине зелёной чаши, впервые в этом году, закуковала кукушка.

Но стоит хорошенько вслушаться — и услышишь другую жизнь: по земле несётся глухой, таинственный гул, глубокий и непрерывный. Это там, на линии фронта, гремят орудия.

Волк поднимает на Стефека влажные, умные глаза и равнодушно отворачивается от миски.

Тихое повизгивание, словно детский плач, вырывается из его горла.

— Капитан Скворцов придёт, скоро придёт, понимаешь?

Слабое повиливание хвостом. И снова этот внимательный, настороженный взгляд, будто собака напрягает все силы, чтобы понять, что ей говорят.

-- Ты же видишь, я смеюсь. Если бы что-нибудь случилось, разве я стал бы смеяться?

Волк помахивает хвостом. Короткий, бсдрый лай.

— Ну, видишь, вот ты и поверил. А теперь ешь.

Но есть Волк не хотел. Он потёрся у ног Стефека и снова вернулся на своё место, насторожив уши и пристально всматриваясь вдаль. Но это уже не была поза безнадёжности. Теперь он ждал, ждал жадно, с пылким нетерпением, от которого напрягались все его мускулы.

— Ну, ладно, не хочешь, не надо! — сказал, наконец, Стефек. Он лишь сейчас почувствовал страшную усталость. — Сиди себе здесь до вечера. Захочешь есть, так миска полна.

Теперь можно спать. Стефек тихо проскальзывает в длинную комнату в новом деревянном бараке. Белая постель, тёплое одеяло. Можно укрыться с головой и спать, спать. Всюду тихо, ничто не нарушает покоя людей, которым надо отдохнуть, чтобы ночью им не изменили глаза, не дрогнула рука, не ослабли мускулы.

За окнами сияет ясный день. Но шторы, слегка колеблемые тёплым ветерком, смягчают свет, и человек проваливается в сон, глубокий, пушистый и тёмный.

А во сне всё сразу меняется. Благоухает жасмин, шумит, колышется озеро. Он тихонько, осторожно прикрывает двери. Какая роса на траве. У мостков ждёт Соня. Как хорошо идти по тропинке, обняв Сою. Высокая, мокрая трава бьёт по ногам. С реки, с болот, отовсюду слышится лягушечий оркестр. Ничего не говорить, а только идти вот так под золотым от звёзд небом, чувствуя тепло Сониной руки.

— Но зачем, — удивляется Стефек, — я так осторожно выбирался из дому? Ведь мы уж должны были пожениться с Соней, почему мы ещё не поженились? Странно, ведь мы сговорились — но когда это мы сговорились? Из пушистой глубины сна вдруг слышится словно подсказанный знакомым голосом ответ. В июле — ну, конечно, в июле...

И сон сразу начинает терять свою мягкую, ласковую пушистость. Сквозь него приходится продираться, как сквозь густые заросли, что-то мучительно в этих зарослях отыскивать.

— Как же так? — спрашивает он Сою. — Ведь мы должны были в июле пожениться?

Но Соня уходит, уходит, словно не слышит, как Стефек зовёт её. Даже головы не поворачивает. Нет, лучше проснуться — он затерялся во сне в непонятной печали, в беспричинной скорби, в пронизывающем страхе. С трудом, с усилием Стефек вырывается из сонных потёмков.

Сквозь белые шторы падает рассеянный солнечный свет. Мощный храп доносится с койки у противоположной стены. Все спят, ещё очень

рано, судя по солнцу. Можно бы ещё уснуть. Но страшный сон притаился где-то поблизости, и только ждёт, чтоб он снова заснул. Теперь уж наверняка приснится что-то очень дурное. «Но что же такое мне снилось?» — вспоминает Стефек. Ведь ничего страшного не было. Он шёл с Соней Кальчук по лугу в Ольшинах, где-то на дне сердца ещё осталась сладость этого сна. Почему же он так хотел проснуться? Ах, да. Потом Сони не стало, она уходила, уходила всё дальше, пока не исчезла, пока не развеялась, чужая и далёкая, будто позабыла о его существовании.

И сердце снова сжимается от страха, необъяснимого тем содержанием сна, которое можно выразить словами. Но там было что-то, чего словами выразить нельзя, и именно это было страшно, заставило его вырываться: тревога, заполнившая даль, в которую уходила Соня. Пугливое мерцание воздуха и гнёт на сердце. Нет, лучше уж не спать.

Двери коридора открылись прямо на зелёную поляну, на солнечный майский день. Царила тишина — видимо, все спали. По узкой тропинке, извивающейся меж кустов, он стал спускаться к озеру.

Под деревьями, почти невидимая в их чаще, стояла изба. Кудлатая белая собачонка выскочила за ворота и дружелюбно потёрлась о ноги Стефека.

— Здравствуй, Тявка...

Собачонка радостно заскулила. Опёршийся о плетень крестьянин кивнул головой.

— Добрый день. Ну, как там ночь прошла, ничего?

— Всё в порядке.

— Спать неохота? Денёк-то какой! И вправду спать не захочешь. Заходите-ка в сад.

Под старыми кудрявыми грушами стояла подгнившая скамья. Стефек присел рядом с хозяином, который свёртывал себе козью ножку. Белые утки ныряли у самого берега озера в поисках пищи.

— Вон как бьют! Всю ночь слышно было, а теперь опять...

Сквозь солнечную тишину дня, сквозь жужжание пчёл, выющихся над мелкими, едва расцветшими цветочками, сквозь щебетанье птиц, которых ещё не сморило полуденное солнце, доносился низкий, глухой, будто раскаты отдалённого грома, гул. Можно бы подумать, что где-то за холмами, поросшими зелёным лесом, собирается гроза. Но небо было безоблачно.

— Н-но! — донёсся с поля весёлый возглас.

— Это кто же пашет? — удивился Стефек.

— Солдаты. Я и не собирался пахать, да и лошади у меня нет. Так и остался этот клочок, что у воды. А они и с лошадьёю пришли, захотелось ребятам вспахать. Теперь уж посею просо, что ли.

Небольшое поле полого спускалось к озерку. Плуг проводил ровные, тёмные полосы по заросшей травами целине. Высокий солдат, налегая на чапиги, вёл плуг; другой солдат погонял гнедого коня.

— Стосковались ребята по крестьянской работе... Подойдём, посмотрим, что ли?

Высокий солдат обернулся на звук шагов и остановился. Стефек увидел крестьянское, дочерна загорелое лицо и ярко выделяющиеся на нём голубые глаза.

— Закурим? — старик вытащил кожаный кисет с махоркой.

— Отчего не закурить? — Они свернули по козьей ножке. Голубые глаза солдата блуждали по распаханному клочку земли.

— Ох, и земелька тут, земелька... Золото, а не земля. А ты, отец, так её оставил...

Хозяин пожал плечами.

— Куда денешься? Лошади нет. Да и что там, этот клочок!

Солдат наклонился и, взяв в руку горсть земли, медленно размял её.

— Ишь, какая чёрная. У нас не такая земля.

— А ты сам откуда? — спросил Стефек.

— Я-то? Я из Белоруссии. У нас всё больше песок... Ну, всё-таки, картошка и лён и у нас растут, ещё как растут! А всё же не та земля... А ты её бросил, — ещё раз горько попрекнул он старика, окидывая его голубым взглядом. На коже, туго обтянувшей скуластое лицо, выступили мелкие капельки пота.

— К вечеру, а то и раньше, вспашем. Просо будешь сеять?

— Да уж, видно, просо... Что ещё сейчас посеешь? А проса у меня осталось в мешочке, так, чуточку. Можно посеять.

Солдат взглянул на небо. Солнце поднялось уже высоко.

— Ну-ка, Володя, давай кончать. Эх, кабы нам ещё и посеять удалось...

— Что ж, сегодня не успеете, завтра можно, — заметил крестьянин. Солдаты улыгнулись враз и какой-то одинаковой улыбкой.

— Кто знает, где мы завтра будем? По всему видать, что и ночевать здесь не придётся, вечером дальше двинемся. — Голубоглазый махнул рукой на запад. — Давай, давай, погоняй, Володька! Да, хорошо бы ещё успеть просо посеять...

Старик вздохнул.

— Вот она, солдатская доля! Сегодня здесь, а завтра — кто его знает, где придётся голову сложить... Вот и мои сыны тоже теперь где-то воюют, и они, небось, по работе соскучились. Да, не та нам работа этой весной выпала, не та! Вон, гляди, солдаты! Завтра, может, от них и следа не останется, а пахать им всё одно охота. Работящий у нас народ.

Он поднял на Стефека серые глаза, окружённые сетью морщин.

— Жалко мне вас, солдатики, жалко, а что поделаешь? Война. Только не тянули бы, скорей бы кончали. Вон у меня один сын ещё дома сидит, ничего парень, как следует быть. А не берут — молод, говорят. Кабы меня спросили, так я бы всех в солдаты брал. Мне, вон, говорят — стар, мол, не годишься. Ну ясно, не молод, ещё в гражданскую войну воевал, да и тогда уж не сопляком был... Однако пригодился тогда — пригодился бы и сейчас. Воевать мы умеем, русский солдат всегда умел воевать, а теперь и подавно... Уж так хочется поскорей его, гада, прогнать! Сколько людей, сколько добра пропадает, сколько времени зря идёт...

Тёмные борозды ровно вытягивались одна за другой. Гнедые бока лошади потемнели от пота. У берега с хлопаньем ныряли белые утки, гладкие и донсящиеся. За спиной Стефека послышался вздох. Он обернулся. Жена старика стояла за ними, глядя на пашущих. Руки её были сложены под фартуком, из-под завязанного под подбородком платка виднелись гладко причёсанные седые волосы.

— Что, мать, правду я говорю или нет?

Она ещё раз вздохнула. Блёклые глаза скользнули с пашущих солдат на сверкающее золотом озеро, на весело зеленеющий лесок на том берегу.

— Правду-то оно правду, — сказала она тихо. И ещё тише, словно про себя, прибавила: — А от Ивана второй месяц писем нет.

— Нет, так будут, — сурово перебил старик. — Не один Иван на свете. Понятие надо иметь... Время такое пришло.

— Да я ведь только так, — робко защищалась женщина. И тут же

обратилась к Стефеку: — Может, молока напьётесь? Холодное, на погребѣ стоит.

— А ты не спрашивай, давай. Конечно, напьѣтся.

Стефек смотрел на её небольшие загорелые руки, наливающие молоко в кружку. У кого это были такие же? Ну, конечно, у старой Петручихи, у лучшей пряжи в Ольшинах. И снова вспомнился дурной сон, который он сегодня видел. Стефек пожал плечами. Глупо думать о снах. Ведь всё в порядке, и капитан Скворцов вернулся, и Соня, наверно, где-нибудь здесь, в Советском Союзе, вместе с другими эвакуированными.

— И поляки теперь, наверно, пойдут помогать нам, — услышал он голос старика.

— Какие поляки?

— Да вот, эта ихняя армия, что ещё осенью организовалась. Я по радио слышал, как их генерал говорил. По-польски говорил, так я не всё понял. Ну, а теперь-то они уж, небось, готовы, вы не слышали?

Вся кровь бросилась Стефеку в лицо. Он наклонился, притворяясь, что подтягивает голенище.

— Нет... Не слышал.

— А интересно. И в газетах ничего не писали?

— Что-то не заметил.

— Оно, конечно, не так их и много, ну а всё-таки какая ни есть подмога. У нас тут говорили, поляки неплохие солдаты.

Кровь снова отхлынула у Стефека от сердца. И почему он краснеет от этих вопросов, он, сержант Красной Армии? Почему ему приходится лгать? Но как, какими словами сказать этому старику, считающему неправильным, что у него не забирают третьего сына, что его, Стефека, соотечественники и не собираются «давать подмогу»? Что большинство их уже убралось подалее отсюда, в Иран, за тысячи километров от фронта? Как объяснить ему, что это были за люди и чего от них можно было ожидать?

«И что у меня с ними общего?» — внутренне бунтовал Стефек против этой невольной краски в лице, против того, что он не смеет поднять глаз, против того, что чувствует себя как бы ответственным за тех, что ушли, не желая слышать грохота орудий, от которого содрогается здесь земля, не желая видеть пылающих городов и деревушек, не желая видеть этого пути на запад, хотя это единственный путь в Польшу.

Какое ему до них дело? Он-то ведь ни минуты не верил, что из этого что-нибудь выйдет. Он-то знал, что его место здесь, в рядах армии, которая по-настоящему сражается с врагом. К чёрту их, он не желает о них думать!

Насвистывая, он шёл в гору, к бараку. Ему нет до них дела. Капитан Скворцов благополучно вернулся, а Соня, наверно, где-нибудь на Урале, в Башкирии или Казахстане. И нечего думать о Соне — сейчас надо думать только о самолёте, о жёлтой пятёрке капитана Скворцова.

Глава 6

Зима в Ольшинах в этом году была долгая и жестокая. В сильные морозы раздавался громкий, словно выстрелы, треск деревьев. Под пышным снежным покровом озеро простиралось бескрайней равниной; снежная пелена скрыла береговой ольшанник и лозняк. Снег засыпал с верхом низкие деревенские хлевы, так что приходилось прокапывать к ним глубокие ходы, похожие на туннели. Издали трудно было догадаться, что над озером, в развилке реки, прикорнула деревня. Только

в полуденную пору кое-где виднелись тонкие струйки дыма, казалось поднимающиеся прямо из снега, и это был почти единственный признак жизни. Но и дымков было немного; дрова приходилось беречь, с осени их не успели наготовить, сколько надо, а сейчас ни один смельчак не решался отправиться в лес. Снегу навалило выше головы — недолго потерять дорогу, заблудиться в этом незнакомом белом мире. Да и зачем итти в лес: снегом завалило хворост, невысокие деревца, ветви, сломанные по осени вихрем; они лежали зарытые глубоко и докопаться до них было не под силу.

Словно медведь, улёгшийся в яме на зимнюю спячку, ушла под снег деревня, тихая, примолкшая. Отсюда было далеко до трактов и большаков, — трудно добраться до деревни, трудно из неё выбраться. Немцы не показывались здесь с самой осени. Дел у них тут не было. Ещё осенью они увели коров, где удалось — забрали и хлеб...

Время от времени, какими-то неведомыми путями, в Ольшины всё-таки доходили вести, но такие путаные и смутные, что никто не знал, чему верить, чего держаться.

Все, как спасения, ожидали весны. Казалось, что когда двинется лёд, когда выглянет из-под снега земля, когда задышит мощной грудью озеро, наступят какие-то перемены, произойдёт что-то решающее. Но пока зима держала в своих крепких, беспощадных когтях не только землю и воду, но и самоё жизнь, помертвевшую застывшую жизнь. Невозможно было поверить, что ещё так недавно всё здесь кипело, росло в неудержимом радостном порыве. Мёртвым стоял теперь клуб над озером. Занесло сугробами тропинку в барский дом, где были весной ясли и детский сад, и её, невидимую под снегом, забыли, словно никогда по ней не бегали детские ножки. Учитель уехал в первые же дни войны, а Ольга исчезла из яслей и никто не знал, куда она девалась. Её домашние лишь пожимали плечами в ответ на вопросы, — видно, сами не знали или не хотели говорить.

Исчез в самом начале и Пётр. Он один, быть может, мог бы объяснить что-нибудь людям — но не было Петра. Жители Ольшин неохотно встречались друг с другом, глядели исподлобья, никому не хотелось разговаривать. Каждый будто нёс на плечах тяжкое бремя и тащил его один, ни от кого не требуя помощи. Всё, что здесь случилось два года назад, казалось коротким, мимолётным сном, с которым одним взмахом покончила тяжкая, душная явь. Жизнь изменилась до основания, и трудно было с этим примириться. Но никто не знал, что делать, что предпринять, и от этого руки беспомощно опускались. А вдобавок ко всему пришла страшная зима, жестокие морозы и вьюги, каких не помнили и самые старые люди в деревне. И казалось, так уж оно и будет всегда — не победить весеннему солнцу, не одолеть тёплому ветру этих морозов, снежных завалов, мертвенной белизны.

Но весна всё же наступила. Снег постепенно превращался в бегущие ручьи, в быстрые речушки и в жидкую грязь, в которой утопали Ольшины. Уже слышно было по ночам, как с грохотом ломается лёд на озере, уже видны были на нём длинные расщелины, сквозь которые проступала вода. Тёплый ветер съедал снежный саван, а доедали его дожди, необычайно рано хлынувшие с хмурого неба. Но не веселила людей весна, как бывало раньше. Теперь не один из тех, что нетерпеливо поджидал её зимой, горько вздыхал о морозах и снеге. Правда, зимой голод заглядывал в избы и лишь изредка пылал огонь в очагах курных хат; но зато деревня была отрезана от мира, отрезана от Влук и Сениц, ограждена, как крепость, стеной высоких снегов. А теперь обнажатся, оттают дороги и ветер обсушит тропинки, впитаются в землю

лужи — и кто знает, что двинется по этим дорогам, что ещё обрушится на беспомощные, ничем не защищённые Олышины?

Но пока дороги были ещё непроходимы. Рыжая глина размокла, провалились гнилые мостки, которых осенью никто не чинил, разлилась река, вышли из берегов речушки, ручьи, потоки, залив мутной бурой водой низины и тропинки. Пока ещё всё это защищало деревню не хуже, чем снега, и всякий знал, что ещё не время ожидать каких-нибудь перемен или пришельцев.

Лишь один пришелец забрёл в деревню, но он появился так тихо, что о его приходе узнали нескоро. Павел услышал о нём впервые от старосты, зайдя к тому одолжить ось. Староста был ещё молчаливее и неприветливее, чем всегда. Ось он всё же дал, ворча что-то под нос. Павел присел на минуту на лавке у окна.

— Вот и дикие гуси летят, — старался он начать разговор.

— Время им лететь, вот и летят. Да и гусак, говорят, прилетел. Тоже, видно, время ему.

— Какой гусак? — удивился Павел.

— Так вы ничего не слышали? Хмелянчук, говорят, домой пришёл.

— Хмелянчук? Не может быть!

— А кто его знает... Паручиха заходила сюда за мукой, говорила, будто её детишки его видели у избы.

— Хмелянчук... Ишь ты! И откуда он взялся? Выпустили его, что ли?

— То ли выпустили, то ли сам сбежал, кто знает?

Они задумались. Что же это такое? Возвращается всё минувшее. Сколько уж времени, как они и думать забыли о Хмелянчуке, и вот он снова здесь, снова появился в деревне. Словно в знак того, что всё, изменившееся с приходом Красной Армии, теперь не в счёт, и возвращаются все старые порядки, словно никогда не проносилась освежающая гроза, принёсшая деревне новую жизнь.

— А может, это ещё и неправда? Мало ли чего ребятишки наплетут... Увидели кого-нибудь возле его избы и сейчас — Хмелянчук.

— Может, и так... Но только кому бы там быть, кроме него? К бабе его ведь никто не ходит... А его по рыжей башке узнать нетрудно.

— Если пришёл, так покажется же где-нибудь.

— Да уж если пришёл, так, небось, не без умысла... А может, и выдумали ребятишки.

Так они и разошлись, не зная, чему верить. Но Хмелянчук действительно был уже здесь. Однажды вечером, когда его старуха шла в хлев кормить уцелевшего поросёнка, она встревожилась, заметив мелькнувшую за сараем тёмную фигуру. Кому бы это вертеться вокруг их двора? Народ тут такой, что ничего хорошего от него не жди, а дурного дождаться недолго. Она поставила корыто с варёной картофельной шелухой и, вытирая руки об юбку, будто ненароком — так, мол, иду поглядеть на реку, — медленно подошла к углу своего дома. Так и есть, у забора стоял кто-то, не то нищий, не то странник. Уже смеркалось. Она сперва различила только рваную кацавейку и ноги в холщёвых обмотках, обвязанных бечёвкой.

«Вор, должно быть... Высматривает...» — подумала она с испугом. Но, набравшись храбрости, крикнула:

— Чего вам?

Оборванец подошёл поближе. Не веря глазам, она попятилась и вскрикнула.

— Не ори! — шепнул тот. — В избе никого нет?

— Господи Иусе, да ведь это Федя!..

— Федя, Федя, — бормотал он, озираясь. — Что ты, не могла забор хоть колом подпереть?

— Так это снегом... снегом забор повалило, — шептала она, в замешательстве продолжая вытирать о передник уже давно сухие руки.

— Свиньям несёшь?

— Какие там свиньи, один поросёнок остался... — И вдруг опомнилась. — Господи Иисусе, Федя, Федя, живой, здоровый... Федя! — Она кинулась к мужу и всхлипнула, стремительно обхватив его руками. — Господи, а я уж думала, тебя убили, замучили, не вернёшься уже ко мне... Ой, Федя!

— Тише, баба, а то народ сбежится. В избу пойдём. Работник дома?

— Какой там работник! Работы никакой нет, что ж я дармоеда кормить буду?

— А девка?

— Да что ты, господь с тобой... Ведь она ещё при советах от нас ушла... Не помнишь, что ли?

— А новую не взяла?

— На что брать-то? Самой делать нечего, горе такое...

— Да перестань! — грубо прикрикнул он. — До ночи ты меня собираешься во дворе держать, что ли? Давай, давай в избу!

Она кинулась в избу и трясущимися руками принялась растапливать печь.

— О господи, и как ты только жив остался...

— А с чего это я жив не буду? — пробормотал он, осматриваясь в избе. — Поесть бы дала, вот что. Сала, что ли, кусок.

— Да откуда ж я тебе сала возьму, боже милостивый?

— Разве не колола свинью зимой?

— Свинью! Забрали у меня свинью, и кабанчика забрали, всего один поросёнок уцелел, и то уж я его в яме за садом прятала.

— Кто забрал?

— Да кто ж? Немцы забрали... Всё дочиста ограбили ещё осенью...

— Да перестань ты хныкать! — снова рассердился он. — Давай, что под рукой, только поживей. И самовар поставь.

— Самовар? Чаю нет, сахару нет, какой тут самовар!

— Ну, вижу, ты совсем нищей стала, — сердито проворчал он, когда она поставила перед ним тарелку чёрных галушек.

— Да как не стать-то? Ведь дочиста ограбили, ничего нет, как сквозь землю всё провалилось...

Он молча ел галушки и мрачно оглядывал избу. Всё было как прежде — и занавески на окнах, и килим над постелью, и поливные миски на полке у печки. Но ему казалось, что он ничего не узнаёт. В воспоминаниях эта изба казалась ему больше, светлее, чем была в действительности.

Старуха стояла, сложив руки под передником, и следила мокрыми глазами за каждым движением его руки.

— Ну а в деревне что слышно?

— Да что ж, в деревне как в деревне... Я-то к ним не хожу, да и они ко мне не ходят...

— А земля как?

Она не поняла.

— Какая земля?

— Ты что, совсем одурела? Наша земля... За рекой, за садом?

— Да что ж? Немцы говорили, все советские порядки отменяются. У кого землю забрали, чтоб им отдали... Да что теперь в этой земле?

— Озимые посеяла?

— Чем же мне было сеять? Весь хлеб, какой был, забрали... До последнего зёрнышка забрали. Только у тех, кто спрятал, ещё горсть-другая найдётся...

— А ты не прятала?

Она расплакалась.

— Не прятала... Говорили, они ничего брать не будут, культурные. И ещё говорили, что раз тебя большевики вывезли, так... А они пришли, забрали... Уж как я просила, как кланялась — забрали, вроде как своё.

— Дура баба, к коменданту надо было итти.

— К ихнему?

— К какому ж ещё?

— Ой, Федя, ходили тут, ходили которые к коменданту... Так им ещё прикладами надавали, а до коменданта не допустили.

Он стёр ладонью мокрые усы.

— Не реви. Вот я осмотрюсь маленько, сообразим. Ну, а в деревне кто остался?

— Кто в деревне-то остался?

— Совсем одурела баба! Ну, из этих, из большевистских прихвостней, остался кто? Иванчук? Павлова Ольга? Параска?

— Иванчука нет... Стефека, панича, тоже нет. Как советы ушли, так и они куда-то подевались... Ольги и не было, она в город тогда уезжала. А так все здесь. И батюшка здесь.

— И богослужения в церкви бывают?

— Бывают, бывают. Только снега всю зиму такие были, что в церковь не пройти... Да, правду сказать, люди и боялись. А теперь опять водой всё залило... А главное, бояться...

— Чего же им бояться?

— Да уж так, бояться и бояться. Из избы и то выйти неохота. Такие уж времена пришли. Всюду страшно.

Хмелянчук сплюнул и пожал плечами.

— Тьфу, глупая баба! С тобой говорить — только время терять. Спать хочется. Прилечь, что ли? И устал же я.

Она засуетилась, снимая с постели полосатую плахту.

— Ещё бы не устать, господи Исусе! Ложись, Федя, ложись.

Он медленно снимал рваную обувь, тряпки, обвязанные бечёвкой. По правде сказать, спать ему не хотелось, но надоели причитания жены, её слёзы и стоны. Хотелось спокойно подумать, освоиться с тем, что он, наконец, дома.

Собственно, он иначе представлял себе это. Как? Он и сам хорошенько не знал. Но, во всяком случае, был разочарован. Не было радости, скорее скука и какая-то пустота. То, что поддерживало его столько времени, что давало ему силу и энергию для преодоления всех трудностей, теперь исчезло, перестало существовать. Всё было уже позади, осталась только неудовлетворённость, внутренняя пустота, пустота настолько ощутительная, что трудно было даже определить, что её вызывает — чёрные ли галушки, вместо сала, которого ему так хотелось, или неприятные мысли, которые его одолевали, неясные ещё и всё же неотвязные.

Он некоторое время ещё повернулся на кровати, но уже видел, что заснуть не удастся. Вдобавок, жена сидела на лавке под окном и вздыхала так тяжело, что о сне нечего было и думать. Он неохотно поднялся.

— Сапоги мои целы?

— Есть, есть, как же, смазаны, в кладовой стоят... Сейчас принесу. Что ж ты не спал?

— Не спится. Душно тут. Хочу на воздух выйти.

Спускались сумерки, когда он вышел из избы. Снова бросился в глаза подгнивший, повалившийся забор. Он внимательно осмотрел столбы — нет, никуда не годятся! Он долго бродил по двору, осматривая имущество, но вдруг приостановился и бросил взгляд на деревню.

Кое-где ещё белели пятна снега, но общий вид местности был тёмным, серым, безнадёжным — раскисшая глина, лужи, болотца. Голые кусты выглядели, словно мёртвые, словно им никогда уже не зазеленеть, не расцвести. Дождя не было, но в туманном, влажном воздухе словно непрерывно моросило, мелкие капельки оседали на голых ветках, сливались в более крупные, стекали по чёрной коре, как слёзы. Вскоре он почувствовал сырость на своих усах.

Серо, мрачно, безнадёжно выглядело всё вокруг. В деревне ни огонька. Озеро колыхалось, мерно плеща бурными волнами о берег, кроша остатки льда.

Хмелянчук хотел было пойти в ту сторону, но не следовало пока встречаться с людьми. Не хотелось и возвращаться в избу. Он присел на мокрое бревно у сарая и бездумно засмотрелся в меркнущую, сонную, набухшую сыростью даль. Боже милостивый, каким всё здесь казалось жалким, маленьким, безнадёжным... И какая долгая жизнь отделяла день возвращения от дня ухода...

Нет, это не похоже на то, что ему грезилось там, за тридевять земель.

А между тем он не прозевал ни одной минуты. Грохот бомб, разрывающихся во Львове, Киеве и Минске, в тот же день донёсся туда, где он был, — за тысячи километров на восток. И он воспринял эти взрывы как сигнал, с радостью, со злым, мстительным чувством. «Они» его вывезли, оторвали от дома, от земли, от Ольшин, — ну вот, теперь и «им» придёт конец. Он твёрдо верил: «им» придёт конец, а стало быть, начнётся хорошая жизнь для него, Хмелянчука. И всё будет попрежнему. Нет, даже не попрежнему, а лучше. Уж кто-кто, а немцы-то наверняка сотрут в порошок всех этих Иванчуков, Семёнов, всех этих деревенских голодранцев, которые не давали ему жить спскоийно, выпускали рыбу из садков, истребляли посеы, травили клевер, и, наконец, добились того, что его привезли сюда, в чужую землю, где приходится всё начинать сызноа... Нет, он и не собирался работать там, на востоке, — он сразу уверил себя, что так остаться не может, что долго это не протянется. Войны он ожидал с такой уверенностью, словно всё было заранее гарантировано. И вот грохот бомб прокатился эхом от Буга до морей и океанов. Хмелянчук не думал о том, что для миллионов людей то был сигнал к борьбе и обороне. Он понял эти взрывы, как сигнал, поданный ему, — сигнал к возвращению.

Сообразил Хмелянчук и то, что сейчас особенно возиться с его поимкой не будут. «Сейчас у большевиков другие заботы, хо-хо! Совсем другие заботы», — думал он про себя. И вот, в один июльский денёк, собрав в узелок лишь самое необходимое, Хмелянчук двинулся в путь. Его не пугали ни огромность пространства, ни трудность пути. Там, над озером, в развилке рек, там его место, там ждёт его жизнь, к которой он привык. Он знал, что он должен дойти и дойдёт.

Не приходилось даже скрываться. Он правильно предвидел, что сейчас не до него. Упорно, терпеливо он продвигался вперёд, сообразуясь лишь с одним — с направлением на запад, только на запад! Не он один направлялся в ту сторону — туда ехали и шли, широкой рекой текли десятки тысяч людей. Туда везли орудия, танки, какие-то таинственные ящики. Эшелоны за эшелонами. Он поплыл в общем потоке. Правда, минутами его брало сомнение: откуда эта уйма людей, этот неисчер-

паемый поток народа? Откуда в этой стране, о которой он сам со злой радостью говорил, что она разута, раздета и голодна, — откуда в ней столько хлеба, столько скота, всякого добра? Ведь он сам, своими глазами видел переполненные поезда, один за другим, один за другим идущие на запад, туда, где кипела борьба... Но он сейчас же утешал себя, что всё это быстро истощится. Уж немцы-то с ними справятся, хо-хо! Немцы закончат всё в два счёта, не успеют ещё и эти эшелоны дойти.

Сам он двигался медленнее, чем ему хотелось. Пришлось цепляться как раз за эти эшелоны, даже помогать в погрузке, чтобы кормиться в пути. Где поездом, где попутной автомашиной, а, случалось, и пешком, он продвигался на запад. И чутко, чутко прислушивался к вестям. Нет, большевикам не везло! Потупив глаза, чтобы не выдать радости, он слушал сводки. Знакомые, ох, какие знакомые названия! Немцы захватили уже и Ольшины — ещё бы, в два счёта захватили!.. И уже продвинулись много дальше. Хмелянчук с радостью подсчитывал, насколько сокращается его путь благодаря тому, что немцы идут с запада, а он — на запад; он встретит их — и всё пойдёт замечательно.

Слегка беспокоило лишь то, что он не видел вокруг себя страха. Люди слушали сводку, глядели на карту, ну, иной раз вздохнёт кто-нибудь, заплачет женщина... Но то не был страх. Они верили в свою мощь. Постоянно повторялось: «временно оккупированные территории». «Временно!» — издевался Хмелянчук. Для него это не было временно. Он верил, что если немцы ступили куда ногой, то не найдётся силы, которая смогла бы стронуть их с места. Уж они-то ничего не дадут у себя вырвать.

Чем дальше он продвигался на запад, тем больше чувствовалась война. Отсюда в глубь страны, в безопасные места, шли санитарные поезда с ранеными, эшелоны эвакуированных.

«Бегите, бегите, — радовался он в душе. — Не скрываться вам, не убежать, нет, не убежать! Всюду вас найдём!».

С злобой радостью смотрел он на платформы со станками, с заводским оборудованием, направляющиеся на восток. Ишь, разобрали заводы, спасают своё добро! Да только когда эти заводы снова начнут на них работать? Нехватит времени, нехватит! Фронт надвигался быстро, лавиной катились на восток железные немецкие колонны.

Но сейчас и это уже не так сильно интересовало Хмелянчука. Главное — Ольшины и Стырь, Стоход и Горынь, и плавни над Припятью, знакомые, родные места — всё уже в немецких руках.

Зимой его как громом оглушила весть о советской победе под Москвой. Червь тревоги снова зашевелился в его сердце. А вдруг?.. Но нет, это ничего не может значить, не должно ничего значить. И всё-таки... Что за страна, что за огромная, необъятная, страшная страна! Пожалуй, и немцам не удастся захватить её всю. И что за люди, твёрдые, верящие, и прямые люди. И сколько их!

Он видел на своём пути огромные города — куда до них Бресту, смешно и говорить! Видел деревни и посёлки, электростанции, заводы, элеваторы — и всё это настолько разнилось от того, что рассказывали в Польше об этой стране. Но дело ведь не в этом. Ну, пусть их не разобьют окончательно — в полную победу над большевиками он уже, пожалуй, и перестал верить. Пусть их не уничтожат повсюду, — лишь бы там, над Стырью, не осталось их и следа, лишь бы там можно было жить, как раньше. Если даже там всё разрушено войной, — ничего, можно будет приняться сызнова, отстроиться, он ещё не стар, не одного молодого за пояс заткнёт... И потом, ему же возместят убытки, он по-

страдал от большевиков, — такие, как он, будут там сейчас первыми людьми.

Пока до фронта было далеко, он ехал спокойно и уверенно. Но затем пробираться стало труднее. Украдкой, тишком, сторонкой приходилось ему проскальзывать между опасностями. Столько тысяч километров он проехал — так неужели же споткнётся здесь, на пороге своего счастья? Ну нет, не таковский он человек.

И он полз, как змея, крался, как лисица, петлял, заметал следы. По ночам уже слышался далёкий орудийный гул. Уже не раз приходилось ему укрываться в придорожных рвах, слыша над собой зловещий рокот самолёта, и его трясло от бешенства, что он, будто большевик какой, вынужден прятаться от немецких самолётов.

Наконец, через пылающие города и деревни, через грохочущую линию фронта, он пробрался в родные края. И сразу же сообразил, что и здесь нужна осторожность, пока он не очутится дома, в своей деревне. Там ему будет на кого сослаться, там он заживёт, как хочет. И он продолжал пробираться тайком, жил жизнью полудикаря, питаясь чем попало. Заходить в избы он боялся — немцы могли потребовать документы, а их у него не было. На слово же они могут и не поверить...

Всё здесь было как-то иначе, чем он себе представлял, — какая-то притаившаяся, полузадушенная, мертвенная жизнь. И он решил, что лучше обходить хутора и посёлки, итти по лесам, по бездорожью, по замёрзшим болотам, которых тут было вдоволь.

Но вот, наконец, и дом — Ольшины, родные места, тёмные и печальные в эту раннюю пору дождливой, грязной, холодной весны.

Теперь надо было что-то предпринять, на что-то решиться. Но на что? Он хмуро вспоминал радость, которую почувствовал, услышав о войне. Свою уверенность, что всё это для него, Хмелячука, скоро и благополучно окончится. Теперь у него уже этой уверенности не было. Долгое путешествие показало ему кое-что, с чем он раньше не считался, чего не знал. Всё было не так просто, как сперва казалось. Вся эта история может затянуться, хотя ясно, что кончится она поражением советов. Главное — повести себя умно. Но что сейчас умно, а что — нет? При большевиках, например, он был очень осторожен, ещё как осторожен! И всё же не удалось... Ну, большевики, конечно, дело другое, большевики по самой природе вещей — его враги. Ни на какой мир с ними итти было невозможно, а обманывать их можно было лишь до поры до времени. Но сейчас? Казалось бы, немцы пришли, хозяйничают, наводят свои порядки, — значит с этой стороны ему ничто не угрожает. Вся окрестность притихла, притаилась в мрачном молчании, кто же посмеет ему что-нибудь сделать? Все козыри у него на руках.

Он вновь и вновь повторял себе это, блуждая глазами по темнеющим холмам за озером. Но успокоиться не мог.

Нет, это не совсем так. В сердце таилось глухое беспокойство. Что-то мешало точно и ясно обдумать положение. Вдобавок ещё эта глупая баба, которая ничего не знает, ни на что не может ответить толком. Надо поговорить с кем-нибудь. Но с кем?

Он вернулся в избу уже к ночи. На столе чадила коптилка, струйка копоти вилась над слабым красным огоньком.

— Лампы нет?

— Керосину нет. Вот этак, при коптилке, и сажу, масла-то у меня есть ещё немного.

— Давно нет керосину? — спросил он хмуро, как бы что-то соображая.

— А с самого начала.

- Как немцы пришли?
 — Как пришли, так и не стало керосину.
 — А соль?
 — Какая там соль! И соли нет, и ничего нет, как сквозь землю провалилось.
- Она вздохнула и, робко покосившись на мужа, пршепгала:
 — При советах привозили, а теперь не привозят..
 Он резко обернулся.
 — Советов тебе захотелсь? — Он хмуро уселся на лавку. — К попу сходить, что ли?
 — Завтра пойдёшь.
 — А чего ждать? И сейчас, небось, не спит ещё. Сейчас пойду.
 — Да ты что это, Федя? А полицейский-то час?
 — Полицейский час? Разве немцы в деревне есть?
 — Я ж тебе говорила, что с осени ни одного не было.
 — Ну, так что с того, что полицейский час?
 — А кто его знает, ещё подсмотрит кто-нибудь, донесёт... Очень строго наказывали, чтобы после семи часов из избы ни-ни, ни на шаг.
 — И все этого приказа так и слушаются?
 — Кто слушается, кто нет. А страшно... В Синицах сколько народу расстреляли!..
 — За что?
 — Кто их знает... И за полицейский час, люди говорили... Здесь-то немца, конечно, нет, а случаем кто пройдёт, увидит, и вот оно, несчастье! Хотя, говорят, по деревням-то немец боится ходить..
 Хмелянчук вздрогнул.
 — Немец боится?
 — Ну да. Говорят, — она пугливо оглянулась на занавешенное окно, — как пойдёт который ночью в деревне, так и не вернётся.
 — Немец? Здесь, у нас?
 — Нет, у нас пока не слышать. А вот в Рудах, в Бялке.. Бялку за это сожгли, осенью.
 — Сожгли!..
 — Люди говорят, сама-то я не видела. Всё село спалили, говорят, с людьми... — шептала она, держа у губ уголок платка.
 — Не может быть! — твёрдо сказал Хмелянчук. — Кто виноват был, того и сожгли. В Бялке тоже народ разный.
 Он-то хорошо знал, что в Бялке народ разный. Ведь там жил и его кум Зозуля, богатейший хозяин на сорока моргах. Этому-то уж наверняка бояться было нечего.
 — Вот я Макара расспрошу.
 — Какого Макара? — испугалась она.
 — Как какого? Зозулю, какого ещё?
 Она всплеснула руками.
 — Я ж тебе говорю! И Зозулей сожгли, всех сожгли, из всей деревни ни один человек живым не вышел... Избы позапирали, поставили пулемёты, чтобы кто не выскочил, и подожгли. Как солома, сгорело, осень-то сухая была..
 Его вдруг затрясло от злобы.
 — А ты бы держала рот на замке, трещит, трещотка. Бабы бог весть чего плетут, и ты за ними! — прикрикнул он и лёг на кровать.
 Но сон не приходил.
 Зозуля... Не может быть! Но дело даже не в одном Зозуле. Оказывается, не напрасно в сердце ныла тревога. Здесь ещё не было того порядка, о котором он мечтал, когда шёл сюда. Оказывается, и здесь

ещё нельзя распрямить спину и зажечь той жизнью, которая грезилась в снах. Приходится всё ещё таиться, изворачиваться, хитрить, чтобы как-нибудь прожить.

«Хотя, что глупая баба знает? Поговорю завтра с попом», — решил он, и это немного его успокоило.

Но поп, повидимому, вовсе не сбридовался его посещению, и узнать от него ничего не удалось. Он лишь пыхтел и мычал на все вопросы. Попадья тяжело вздохнула, сложив руки на животе.

— И как это немцы ни одного постового у нас в деревне не оставили? — пытался начать интересующий его разговор Хмелянчук.

— Да, да, не оставили, — как эхо отозвался поп.

Разговор не клеился. Поп барабанил пальцами по столу, гость явно тяготил его.

— А к вам, батюшка, заходит кто-нибудь?

Поп испугался.

— Как это, заходит? Кому ко мне заходить?

— Обыкновенно, как к отцу духовному.

— А-а, прихожане! Прихожане заходят, заходят, отчего же. Уж это как полагается, к пастырю...

— А немцы не беспокоят вас, батюшка? — рискнул спросить Хмелянчук.

Поп даже руками всплеснул.

— Немцы? Что вы? Зачем им меня беспокоить?

Взгляд попа явно избегал взгляда гостя. Хмелянчук понял, что ничего ему тут не узнать, что им тяготятся, и решил отложить разговор.

Несколько дней он просидел дома, делая кое-что по хозяйству и раздумывая, куда бы обратиться, с чего начать, с кем здесь можно разговаривать свободно. Ехать во Влуки или Синицы? Но как ехать, не зная, что там делается? А червяк беспокойства всё точил и точил его, отгоняя сон.

Таким-то образом и получилось, что первый разговор вышел у него ни с кем иным, как с Мультинючихой. С того дня как Паручихины ребята высмотрели его на задах, бабы сгорали от любопытства. Наконец Мультинючиха отправилась в разведку и на тропинке за Хмелянчуковым сараем, будто невзначай, наткнулась на него самого.

— Фёдор... Господи Иисусе, так вас отпустили?

— Что же вы и не поздороваетесь? — увернулся он от ответа.

— Слава Иисусу Христу! Подумать только, что вот вы и дома... И кто бы мог ожидать...

— Во веки веков, аминь. А вы что, смерти моей, что ли, ожидали?

— И что вы, кум! Так только говорится.

Хмелянчук решил воспользоваться случаем.

— А у вас что нового?

— Э, какие у нас новости... Старые беды, да и всё тут.

— Беды, говорите?

— Да как же? Весна, хлеба нет, хоть зубы на полку клади... А сеять чем будем, один бог знает. Хлеб немцы позабирали, всё до зёрнышка позабирали.

— Сейчас-то их что-то не видать.

— А чего им сейчас ходить? Забрали всё, что было, коров, свиней, зерно, чего ж им ещё? Никаких у них сейчас здесь дел нет. Так уж, видно, и подождём тут все!

— Да, недолго вам пришлось на большевистские подарки радоваться, — заметил он язвительно.

— Побойтесь бога, да что я получила? Ведь самую чуточку земли-то

мне дали! Про других не скажу, а уж я-то с этой земли не разбогатела. И говорить-то не о чем! А всё равно отобрали, да ещё объявляют, если кто тронет — повесят. Да кто её станет трогать! Всю чисто землю немцу отдали, и усадьбу ему отдали. Вот только не приехал он ещё, а всё, чисто всё кругом — его.

— Так он, наверно, скоро теперь приедет, новый помещик? Весна-то ведь на носу...

— Кто его знает...

Она пугливо оглянулась, хотя поблизости никого не было.

— Может, и не приедет... Говорили, осенью приедет, — не приехал, а уж сейчас-то и совсем...

— С чего же это?

Она ещё раз оглянулась.

— Говорят... не знаю, правда, нет ли... Будто из-за этого, из-за Иванчука, страшновато ехать-то.

— Из-за какого ещё Иванчука?

— Ну вот! Что это вы, Иванчука не знаете, Петра-то?

— А его ещё не повесили?

— Типун вам на язык, кум! Вот, говорят, будто из-за этого Иванчука помещик и не едет. Потому Иванчук, говорят, со своими партизанами в синицких лесах сидит, ну и...

— Что ты говоришь! — Неприятный холодок пробежал по спине Хмелянчука.

— Я-то, конечно, не знаю... А только и во Влуках объявляли, и в Синицах... Соберут народ и объявляют, что, мол, партизаны... А у нас говорят, что не кто-нибудь, а Иванчук над ними командует.

— Брехня!

— Может, и брехня. А только, раз уж немцы с барабаном объявляли, должно быть, правда.

Хмелянчук вернулся домой в раздумье. Да и было над чем призадуматься. Он так надеялся, что после всех своих приключений, скитаний, очутится, наконец, на твёрдой, надёжной почве. А твёрдой-то почвы как раз и не было. Всё колебалось под его ногами, как обманчивая зелёная лужайка, скрывающая болото, всюду его подстерегали опасности, как заросшие окна бездонных трясин.

Ехать в Синицы или Влуки и договориться с немцами? А вдруг то, что рассказывала Мультиночиха, не брехня; вдруг этот Иванчук внезапно явится из лесов, из тайников в болотах, и потребует к ответу?.. От него не скроешься, он всё разузнает. Если только это и вправду Иванчук, так ведь он знает все тропинки, все кладки и броды. Может, у него и в местечке свои люди есть, и уж они следят, во все глаза смотрят, кто что делает.

В Хмелянчуке закипела обида против немцев. Что ж это, не могут порядок навести? Прут себе вперёд, а что у них за спиной, о том и не думают! В чём же видно их господство, их сильная рука? Разве только в рассказах об осенних реквизициях да в установлении полицейского часа, который соблюдают запуганные бабы. В остальном деревня предоставлена самой себе.

Вера в немецкий порядок постепенно начинала колебаться в Хмелянчуке. Потому что в польские, например, времена здесь были комендант Сикора и этот Людзик, которого убил Пискор. Они шатались повсюду, заглядывали во все углы, как из-под земли вырастали в самых неожиданных местах. Наличие власти чувствовалось непрестанно. Позже, в советские времена — во времена Овсенко и Гончара, — всё, конечно, было по-другому, власть взяли голодранцы. Но была милиция,

была местная партийная организация, и их влияние ощущалось на каждом шагу. Порядок, как-никак, был, ничего не скажешь. А теперь? Придёт такой Иванчук, зарежет человека, и никто даже не узнает. Да и люди переменялись — прежде собирались, болтали, сплетничали, сразу можно было сообразить, откуда ветер дует. А теперь — попрятались, как барсуки, по избам, говорят какими-то недомолвками, чёрт их разберёт, что они думают. Да что говорить о других, когда нельзя понять, что думает собственная жена? Ходит баба, вздыхает, то и дело плачет, а ни одного толкового слова из неё не вытянешь. Иной раз можно даже подумать — хотя статочное ли это дело? — что она жалеет о временах, когда здесь были советы.

Между тем, несмотря на то, что Ольшины были как будто совершенно отрезаны от мира, сюда то и дело доносились вести самые разнообразные, но всё странные и пугающие. Каким путём, как и через кого они доходили — этого Хмелянчук не понимал. Но многие из вестей не давали ему спать спокойно. Под Брестом полетел под откос немецкий воинский эшелон. Сгорели склады в Паленчицах. Немцы сожгли деревню Чапли за то, что там бесследно исчез немецкий патруль. Вокруг происходило нечто странное, нечто опровергавшее веру в немецкую мощь, и совсем не было похоже на тот порядок, которого ожидал Хмелянчук.

Шла весна, уже зазеленела трава на пригорках, уже опалили полые воды, всё ниже оставляя на сухом камыше тёмную чёрточку осевшего ила. Хмелянчук с надеждой поглядывал на помещичью усадьбу: если приедет новый владелец, всё переменится, — ведь должны же будут немцы заботиться о его безопасности! Но уже набухли почки на яблонях в усадебном саду, а двери господского дома всё темнели, заколоченные досками, словно усадьбе суждено было остаться мёртвой навеки. Бабы приходили к усадьбе собирать щавель и как-то незаметно повыламывали доски в ограде, и она, в конце концов, повалилась. Её тотчас растащили на топливо; разобрали даже хлев на усадебном дворе.

Хмелянчук не мог смотреть на это без сердечной боли. Пропадало добро. Хоть и не его добро, а всё же собственность, достояние. Снега и морозы, дожди и ветры разрушали хозяйственные постройки, и никто не чинил их, никто не старался сберечь. Усадьба рушилась на глазах. А деревня, видя, что никто не приходит, не смотрит, не стережёт, всё больше смелела. В один прекрасный день вдова Паручиха появилась с мотыгой в помещичьем огороде, на том самом клочке, который ей выделили когда-то большевики, и как ни в чём не бывало принялась сажать картошку. Клочок был маленький, всего несколько рядков, да ведь зато и земля тут! Не земля, а золото, даже жаль картошку сажать, тут бы и капуста выросла. За Паручихой потянулись другие. И каждая вскапывала какой-то клочок. Но Хмелянчук тотчас же заметил, что это делается не беспорядочно. Всякая женщина вскапывала тот участок, который получила при дележе, после прихода красных.

Хмелянчук ходил сам не свой. Что же это такое? Красных давно нет, а деревня исподтишка опять заводит советские порядки, будто Гончар всё ещё тут на месте и руководит крестьянами! Что это, глупость? Или же они знают что-то такое, чего не знает он, Хмелянчук? На что они рассчитывают? Фронт отодвинулся за сотни километров, всюду, всюду, куда ни кинь оком, всюду хозяйничают немцы, а Ольшины будто и не знают об этом, будто их это и не касается.

Ходили смутные слухи, что теперь будет независимая Украина, своё украинское государство под немецким протекторатом. Где-то во Львове

организуется украинская армия. Существовали будто бы кое-где и местные украинские отряды, предназначенные для борьбы с партизанами; Хмелянчук только вздыхал. Кто-то принёс весть, что один такой отряд вырезал до последнего человека польскую деревню под Львовом. Хмелянчук вздыхал: опять беспокойство, опять политика, из которой, по его глубокому убеждению, никогда ничего хорошего не выходит... Ему всё равно, чья тут будет власть, лишь бы ему дали возможность жить, как он хочет. И разве он хотел чего-нибудь особенного? Нет, только жить на своей земле, которую он столько лет добывал с таким трудом, ну, нанять там двух-трёх работников, ведь одному не управиться — работать, богатеть. В большевистское время часть земли у него отобрали; ясное дело, немцы должны бы её вернуть. А украинская власть? Кому она нужна? В сущности, он предпочитал немцев. Известно, народ культурный, не то что какой-нибудь там Хведько или Евдоким.

И он гневно смотрел на пустые и мёртвые усадебные постройки, проглядывающие сквозь буйную, молодую зелень весенних деревьев. Был бы сосед-помещик — по крайней мере, известно было бы, чего держаться. А так...

Хмурый бродил он по своему хиреющему хозяйству. Нечем было обсеяться, нечем обработать землю. Многие в деревне говорили, что и не собираются сеять, но от жены он узнал, что на самом деле они по ночам ездят на лодке куда-то на островки, скрытые от человеческих глаз калиновыми зарослями, и засевают там украдкой какие-то клочки.

— Чтобы, мол, для немцев не сеять, — пугливо объясняла ему жена. Он лишь пожимал плечами. Почему «для немцев»? Для себя, а не для немцев! Ну, конечно, сколько-нибудь отдать придётся и немцам за налог — налоги всегда всем платили. Должен же быть порядок. И хотя пока его не видно, но ведь, в конце концов, немцы придут в Ольшины и введут его.

Однако немцев всё не было. Зато однажды он нашёл у своего порога печатную листовку и, запершись в избе, украдкой прочёл её. Ему показалось, что он грезит:

«Братья и сёстры на временно оккупированных врагом территориях!»

У Хмелянчука потемнело в глазах. Вот оно как! Значит, те не отказались от этих земель, год назад ускользнувших из их рук, не поставили на них крест. Они помнят, думают о них. И ещё могут что-то здесь делать... Хмелянчук беспокойно оглянулся; словно дверь вот сейчас скрипнет и впустит Гончара.

В эту ночь он и не пытался уснуть. Листовку он тщательно засунул в глубокую щель меж половиц, у стены, думая ещё раз прочесть её, когда успокоится. Может, лучше бы сжечь, но это он всегда успеет.

Так, значит, у них в деревне есть свои люди... Ведь кто-то получил эту листовку, кто-то её подбросил, есть нити, связывающие их с теми, находящимися за сотни километров отсюда? «Может, правда и то, что рассказывают об Иванчуке», — подумал он, и ему стало ещё страшнее. Колебалась почва — да полно, почва ли это или коварная зелёная ряска на поверхности трясины? Что же таится в глубине? Нет, лучше уж явная опасность, чем эта вечная тревога, вечная неуверенность. И снова в Хмелянчуке разгоралась злость на немцев. Под самым носом у них такое делается, а они что? Оставляют беззащитным, беспомощным его, Хмелянчука, который ведь ничего другого не хочет, как только быть лояльным гражданином и жить как лояльный гражданин. А что получается?

Первого мая на деревьях у дороги и на высоком тополе во дворе усадьбы затрепетали краевые флажки. А утренней порой Хмелянчук

собственными ушами слышал доносящуюся с реки ненавистную и грозную песню, песню, которую когда-то пели те, что собирали деньги на Испанию, песню, с которой начинали и которой заканчивали собрания в советском клубе. Он не мог ошибиться! Под самым носом у немцев, которые стояли во Влуках и Синицах, в Паленчицах и Бресте, в Киеве, Харькове, а на западе вплоть до самого океана, — Ольшины дерзко праздновали большевистское Первое мая, праздновали почти открыто, будто глумясь над немецкими победами.

Нет, он был прав, что не поехал к немцам. На что можно рассчитывать, чего ожидать, если вдруг оказалось, что он сидит в самом что ни на есть большевистском гнезде и что за каждым его шагом наверняка следят!

И Хмелянчук притаился в своей избе, как барсук в норе. Ему не интересны стали ни весна, ни весенний сев. Жена с виноватым видом брала мотыгу и тихонько копалась в огороде. Он лишь презрительно поглядывал на её работу, не говоря ни слова. Чёрт с ним, с хозяйством, пусть всё пропадёт пропадом. Важно только одно: выжить, переждать, продержаться. Не может быть, чтобы это продолжалось вечно. Порядок будет. Но пока надо притаяться.

Однажды ночью его разбудили далёкие взрывы. Он вышел из избы и долго смотрел во тьму.

— Сражение, что ли? — тихо спросила жена, выскользнувшая за ним.

— Кому тут сражаться, глупая? — проворчал он.

— Может, эти... партизаны?

Он хотел прикрикнуть, но смолчал. Чёрт её знает... Такое время, что и родной жене нельзя довериться.

— Где-то возле Синиц, — шепнула она.

— Тише!

Из ночной тьмы, откуда-то с тёмного майского неба доносилось далёкое, едва уловимое жужжание.

— Самолёт, — глухо сказал Хмелянчук.

А уже на другой день в Ольшинах — опять неведомо откуда — было известно, что ночью летал советский самолёт. В Синицах его обстреляли, но он благополучно улетел на восток.

«Что бы это значило? — ломал голову Хмелянчук. — Они так далеко отступили, откуда же этот самолёт?» Ему снова припомнилась листовка, и он почувствовал себя со всех сторон окружённым врагами. Запершись в избе, задёрнув занавески, он снова и снова перечитывал страшные строчки: «Братья и сёстры на временно оккупированных врагом территориях!». А тут ещё советский самолёт...

И вдруг его как громом сразила новая весть — весть о советском наступлении на Украине.

Войска Юго-Западного фронта двинулись и, прорвав линию немецкой обороны, неудержимо рвались вперёд.

Оживилась деревня. Хлопали двери изб, бабы громко перекрикивались с порогов домов, люди ходили по улице. На мостках, над тихо плещущим озером, девчата пели песенку о Катюше и другие песни, которые в тридцать девятом принесли с собой большевики.

Люди забыли о своём горе, о нищете. Чёрная, выходящая от голода деревня радовалась советской песне. Из уст в уста передавались названия местностей, о которых никто раньше и не слышал. Стало также известно, что отряд Петра Иванчука вышел из лесов и уничтожил небольшой немецкий гарнизон во Влуках. Об этом говорили вслух, не скрываясь. Хмелянчук боялся показаться из дому, чтобы не встретить

кого-нибудь, чтобы с ним не заговорили, чтобы не пришлось высказаться в ту или другую сторону.

«Пусть делают, что хотят», — думал он, глядя на эту обезумевшую деревню, радующуюся советским победам под боком у немцев, которые были кругом — и в Паленчицах, и в Синицах, и даже во Влуках, куда после налёта партизан нагнали уйму войска. Пусть делают, что хотят, лишь бы ему самому уцелеть, лишь бы ему как-нибудь продержаться это время. Нет, он не поверит, что у Гитлера нехватит сил разбить советские армии! «Ведь он завоевал весь мир», — утешал себя Хмелянчук. Но весь мир был далеко, а количество километров, отделяющее Ольшины от советского фронта, всё уменьшалось. Конечно, и он был ещё далеко, где-то за Киевом, за Харьковом. Но уже одно то, что фронт, вместо того, чтобы уходить всё дальше на восток, стал вдруг приближаться, казалось Хмелянчуку непостижимым и страшным. А что если они и вправду придут? Что если опять займут Ольшины и спросят его, почему он оказался здесь, вместо того, чтобы обрабатывать землю, отведённую ему в далёкой Сибири?

«Куда тогда бежать, где прятаться?» — смутно думалось ему, и он чувствовал, что почва под его ногами колеблется. Трясина, всюду предательская трясина, обманывающая яркой зелёной травой, которой она поросла сверху. Где же твёрдая, надёжная почва?

И вот случилось так, что страх пересилил в нём осторожность. Нет, он не может смотреть на всё это сложа руки, не может молчать. Что если и в других деревнях происходит то же самое, а немцы об этом и не знают? Тогда он, Хмелянчук, и другие такие, как он, сами виноваты в своей гибели. Да что тут говорить! Если так пойдёт дальше, то будь он тише воды, ниже травы, — всё равно деревня, в конце концов, вспомнит о нём и сведёт с ним старые счёты. Придёт день, когда его придушат, как кошка душил прижавшуюся от страха к полу мышшь, и никто даже не узнает, что с ним случилось. Швырнут его в болото, заруют в первой попавшейся яме, разграбят остатки его хозяйства — и конец.

Долго писал он письмо при свете едва тлеющей коптилки; наконец, изложил всё, что считал нужным. И о Первом мая, и о листовках, и всё, что говорили об Иванчуке. Он долго колебался, называть ли фамилии. Но потом, стиснув зубы, решил: писать, так писать! Конечно, можно было бы перечислить всех, всю деревню, все они здесь хороши — но для этого ещё придёт время. В задумчивости он, сам не замечая этого, грыз кончик карандаша, во рту почувствовался неприятный металлический привкус. Значит, Павел... Уж кто-кто, а Павел наверняка принимает участие во всём этом! Затем — Кальчуки, с ними у Хмелянчука есть кой-какие счёты ещё с польских времён. Параска? Он на мгновение заколебался, стоит ли связываться с Рафанюками. Но ведь, в конце концов, Рафанюк одно, а его жена другое. Что ж, разве она не таскалась с Петром? Не таскалась потом с Гончаром? Пусть бы уж какие-нибудь там голодранки, какая-нибудь Паручиха или другие деревенские нищие. Но жена обстоятельного крепкого хозяина, такого степенного человека, как Рафанюк... Нет! Ему же будет лучше, если он от неё избавится. Хватит ей его срамить! Кто ещё? Семён... Семёна, правда, нет в деревне, жена говорила, что он куда-то исчез сразу после прихода немцев, но, на всякий случай, надо вписать и его. Может, он у этого Иванчука, это на него похоже. Поищут — так найдут, наверняка найдут, если захотят.

Он окончил письмо и задумался: подписываться или нет? Нет, подписываться опасно. Немцы немцами, а деревня деревней. Не следует до

времени явно становиться на одну из сторон. «Только есть ли ещё время? — подумал он со страхом. — Не поздно ли уже, если слухи о советском наступлении не простые сплетни?» Всё подтверждало, что это не сплетни. Но, в таком случае, всё равно, — в таком случае надо просто бежать отсюда, бежать с немцами. Ведь возьмут же они его, если он им всё расскажет?

Всего несколько месяцев тому назад он не поверил бы, если бы ему сказали, что он будет сидеть здесь, в Ольшинах, на территории, занятой немцами, и чувствовать себя беспомощным, беззащитным, покинутым, брошенным на произвол судьбы. Ведь по пути сюда он видел, что такие, как он, рабстали по деревням старостами, начальниками полиции, сидели в немецких учреждениях. Но то были другие деревни — деревни, расположенные по железным дорогам, по трактам и шоссе, деревни, по которым проходили войска, оставляя гарнизоны, — не то, что эти утонувшие в болотах, забытые богом и людьми Ольшины. Да и там, в тех деревнях, случались иногда странные вещи!

Хмелянчук вздохнул. Ох, не легко жить в такие времена...

Ну ладно, — в конце концов, поверят и без подписи. А уж потом, когда они заинтересуются Ольшинами, он успеет дать знать о себе, чтобы добиться прекровительства немцев.

Долго он раздумывал, как доставить письмо. А вдруг кто-нибудь подсмотрит, вдруг его поймут по дороге и прочтут донес? От одной этой мысли мороз по коже подирал. А с другой стороны, нельзя терять времени. И вдруг подвернулся счастливый случай: заболел поп, и Хмелянчук, хотя у него после того неудачного посещения так и не восстановились тёплые отношения с батюшкой, вызвался съездить за доктором.

В Паленчицах он узнал, что слухи о партизанском налёте на Влуки не были пустой болтовнёй. Подтвердились и вести о советском наступлении. Значит, и вправду нельзя было терять ни одного дня, в любой момент могло случиться что-нибудь страшное.

Передать письмо кому-нибудь в руки он не решился, а просто бросил его в ящик, улучив минуту, когда на улице никого не было. Теперь уже размышлять было не о чем, дело сделано, письмо доверено металлическому ящику, откуда грязноватый конверт, который он вчера каким-то чудом разыскал в ящике стола, попадёт прямо в руки немецкого коменданта.

И начались бесконечно томительные дни ожидания. Хмелянчук стал ещё реже выходить из дому, стараясь никому не показываться, словно мужики могли по его лицу догадаться, что он сделал. По ночам он просыпался весь в липком, холодном поту. Поверят ли немцы его письму? Вдруг они подумают, что это западня, хитрость, придуманная самим Иванчуком, чтобы завлечь их в болота, в клин между трясины, озером и рекой?

Брезжил рассвет, прозрачный, весь серебряный от росы. Ещё только вставал майский день, и туман пушистыми белыми клубами опадая на луга за рекой, длинными полосами тянулся по тихому озеру, когда в селе вдруг поднялась тревога. Хмелянчука разбудил крик жены, которая в одной сорочке выскочила во двор, испуганная необычным шумом.

— Федя, вставай, немцы...

Спросонок он ничего не понимал:

— Что, что?

— Надо бежать, немцы, немцы в деревне... Боже милостивый...

— Сдурела ты, баба? Нам-то чего бежать?

Она молча глядела на мужа остановившимися от ужаса глазами.

— Чего нам бояться немцев? Что мы им сделали?

— Да, говорят, они...

— Мало ли чего говорят... Ты бы вот юбку-то надела! Немцы так немцы, нам-то что?

Он одевался не спеша, зевал, почёсывался, стараясь показать жене, что совершенно спокоен. Но сердце болезненно, толчками колотилось в груди. Ну вот, его письмо и подействовало. Они пришли. Теперь они научат этих хамов уму-разуму. Они им покажут Первое мая! Они им покажут...

Дверь с шумом распахнулась.

— Выходить на площадь.

Хмелянчук хотел заговорить с солдатами, но те не слушали. Он пожал плечами и, чтобы сорвать обиду, прикрикнул на побледневшую жену:

— Ну, что ж ты? Не слышала, что надо выходить?

Пошатаваясь, шепча дрожащими губами молитву, она вышла за мужем и зажмурилась, чтобы не видеть синеватого поблескивания штыков.

На площади перед церковью уже собиралась толпа. Молчаливые мужики, едва одетые женщины. Тихонько всхлипывали дети, прижимаясь к матерям. С первого взгляда Хмелянчук мог убедиться, что его письму поверили. Немцев уже была тьма, а со стороны озера, со стороны синицкой и влущкой дорог, охватывая деревню цепью, появлялись всё новые. Из всех изб выгоняли людей. Плотный кордон солдат окружил сбившуюся на площади толпу.

Взошедшее солнце пронизывало мглу на лугах золотисто-розовым блеском. Кричал коростень на болотах, в безоблачном небе плавным, величественным полётом пронеслась цапля. Солнечные блики скользили по поверхности озера. Избегая взгляда людей, Хмелянчук смотрел, словно впервые видел её, на родную деревню. Ольха над рекой темнела сочной, молодой зеленью. Зелёные кудри ив свисали до самой воды. Тихо, едва слышно плескалось о кремнистый берег озеро. Росистое, ласковое, майское утро вставало над землёй, и одуванчики в лугах пылали, как широко раскрытые очи звёзд.

Не то вздох, не то стон проносился временами по толпе. Лица солдат словно застыли, каменные, ничего не говорящие.

— По избам ищут, — тихо сказал кто-то. С площади и вправду было видно, как зеленоватые, цвета плесени мундиры рыщут по деревне, как распахиваются и захлопываются двери, как с грохотом вылетают оконницы и тучами носятся грязные куриные перья из чьей-то подушки.

Солнце поднималось всё выше и припекало, как летом. Минуты казались часами. Наконец, к толпе подошёл офицер.

— Павел Пилюк!

Мёртвая тишина.

— Павел Пилюк! — крикнул офицер, повысив голос.

— Тебя, кум, ищут, — прошептал чей-то тревожный голос. Павел, сутулясь, вышел из толпы и спокойно остановился перед офицером.

— Иванчук Пётр!

Толпа молчала.

— Я спрашиваю, где Иванчук?

— Нет его, — пробормотал кто-то в толпе.

— Нет? Ага, так! Кальчук?

Кальчук сделал шаг вперёд и стал рядом с Павлом.

— Кальчук Софья?

Хмелянчук упорно смотрел в землю. Офицер перечислял фамилии, упомянутые в его письме.

Но нет, не могут они догадаться, кто донёс!.. Теперь это, впрочем, безразлично. Бояться ему больше некого. Деревня уже окружена железным кольцом немецких войск. Что теперь могут ему сделать все эти Иванчуки? Теперь начнётся его, Хмелянчука, время. Теперь они пожалеют, теперь узнают, что значит с ним связываться! О, теперь он сведёт с ними счёты за всё, за всё, с самых давних времён, ещё после той, первой войны.

Но тут будто над самым его ухом раздался вопрос:

— Чья это изба?

Он не поднял глаз. Его это не могло касаться.

— Чья это изба, спрашиваю! — опять заорал офицер.

Видно, у кого-то нашли что-нибудь. Теперь убедятся, что он писал правду.

И вдруг его словно ударило. Кто-то рядом громко и отчётливо сказал:

— Хмелянчука, Фёдора.

Он поднял голову. Перед офицером стоял немецкий солдат, подавая ему печатный листок бумаги. Это была листовка, та самая листовка, которую он так тщательно спрятал под досками пола, собираясь потом сжечь. Хмелянчука затрясло. Он позабыл, совсем позабыл об этой бумажке.

— Я...

Офицер грубо прервал его.

— Ты Хмелянчук?

— Я.

— Твоя изба?

— Моя. Я хотел...

— Молчать! — неумолимо и сухо сказал офицер и толкнул его к стоящим в стороне Павлу и Кальчуку.

Смертный холод охватил его тело. Оледенели руки, ноги, Хмелянчук хотел оправдываться, объяснить, но губы одеревенели, как чужие, язык не слушался. Он мёртвыми глазами уставился на офицера.

— Ох!.. — вырвался вдруг стон из груди стоящего рядом Кальчука. Из ольховых зарослей вели Соню. Рукав её сорочки был оборван, по лицу тонкой струйкой сочилась кровь. Майский ветерок развеивал тёмные волосы на её высоко поднятой голове. Её поставили рядом с отцом.

Солдаты стягивались от изб к площади, рапортовали что-то офицеру. И вдруг Хмелянчук увидел — верёвки. Солдаты разматывали их кольца, и он смотрел на эти верёвки как замороженный, и глаза всей толпы так же неподвижно уставились на петли в руках солдат. Только Соня Кальчук словно не замечала их. Она глядела на озеро, на искрящуюся золотом мелкую волну, разбивающуюся о прибрежную гальку. Тонкая струйка крови сочилась из её виска и стекала по щеке, но нежно очерченные девичьи губы улыбались загадочной, далёкой улыбкой.

— Вперёд!

Хмелянчук почувствовал, что его толкнули, и безвольно, как неживой, двинулся за другими. Что с ним происходит, он всё ещё не понимал. Жена вдруг с отчаянным криком ухватила за его рукав.

— Федя!..

Солдат ударил её прикладом в грудь. Она пошатнулась и, сразу

затихнув, с остановившимися глазами побрела вслед за мужем. Пла-ток сползал с её головы.

Да, это была липа, что стоит у церкви. Весёлая, молодая листва покрывала её шелестящим шатром, толстые ветви опускались почти до земли. Хмелянчук рассмотрел золотистые чешуйки у основания листьев.

Офицер скомандовал, к Хмелянчуку подошёл солдат с петлей в руках. И тут вдруг чары, сковавшие его члены, рассеялись. Рванувшись из рук солдата, он так стремительно кинулся к офицеру, что тот отскочил и схватился за револьвер. Но Хмелянчук упал на колени, пытаясь обнять ноги в лакированных сапогах.

— Это я! Я! Это я послал письмо... Меня большевики... Я с немцами!..

Лакированный сапог ткнул его прямо в лицо.

— Взять его! Живо!

Три солдата бросились на Хмелянчука и, выкручивая ему руки за спину, накинута на шею петлю. Четвёртый солдат уже сидел верхом на толстом суку липы, ожидая, чтобы ему бросили конец верёвки.

— Спасите! Это же я, я писал! — нечеловеческим голосом выль Хмелянчук. Офицер махнул рукой, конец верёвки полетел вверх, солдат подтянул его через сук, и тело Хмелянчука тяжело закачалось над самой землёй, едва не касаясь её ногами.

Соня Кальчук, когда ей накидывали петлю на шею, крепко сжала руку отца, отбросила назад растрепавшиеся тёмные волосы и звонко, ясно сказала:

— Верьте в победу! Наши идут на Украину! Бейте немцев! Да здравствует Сталин!

Четыре тела качались на ветвях липы. Толпа помертвела. Никто не вздрогнул, не оглянулся, хотя там, у дороги, уже запрыгали по тростниковым кровлям быстрые красные огоньки и к небу поднялись чёрные клубы дыма от поджигаемых с четырёх углов изб.

Колыхалось, ходило волнами озеро. Сквозь завесу чёрного дыма видно было сверкающую искрами золотую дорогу, проложенную по нему солнцем. Широко открытые глаза мёртвой Сони смотрели как бы прямо на эту золотую, радостную дорогу и дальше, дальше, на другой берег, кудрявый, зелёный, пенящийся свежей, неповторимой в году, майской зеленью.

Авторизованный перевод с польского Е. Усиевич.

(Продолжение следует)



МАРГАРИТА АЛИГЕР

★

КРАСИВАЯ МЭЧА

Поэма

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1. Родные места

Тополя стоят, как свечи.
Низкий ветер от реки.
Берега Красивой Мэчи
зелены и высоки.
Над её живой водою
высоко стоит твой дом.
За твоею слободою
убегает Мэча в Дон.
Не затем ли Мэча кружит
нашим лугом и селом,
что прощается и тужит
о девичестве своём?
Берега крутые точит
и несётся напролом.
Хочет сердце иль не хочет, —
что там! — вот он, тихий Дон!

Отражая луг и поле,
плоскодонку, взмах весла,
синий цвет девичьей воли
Мэча Дону принесла.
И во всём ему переча,
несогласная с судьбой,
и в Дону осталась Мэча
ледяной и голубой.

Дон и так и сяк, и круче,
Дон и лаской и добром,
Дон ей свой песок зыбучий
бросил под ноги ковром,
расстелил цветные глины,
задал много трудных дел,
на пути воздвиг плотины,
двигать мельницы велел.
Стало Мэче не до спору
с Доном — старшею рекой,

по какому ль уговору,
по уступке ли какой,
по взаимному ль желаңью
двух сроднившихся сердец,
но она за Лебедањью
уступила наконец.
И слились живые воды
на супружеские годы
дружбы, верности, труда.
Синь девической свободы
потерялась навсегда.
Но в любом донском районе
тот, кто в нашем рос краю,
вдруг узнает в тихом Доне
Мечи быструю струю,
Мечи синюю водицу
и девическую статью
и невольню заглядится,
глаз не в силах оторвать.
Так в старухе деревенской
вдруг проступят сквозь лета
свет девичий, пламень женский,
молодая красота.
Вдруг в лице проснутся краски,
брови выгнутся в дугу,
ты её увидишь в пляске
в расступившемся кругу.
Песню вдруг она затаяет,
поведёт слегка плечом,
пред тобой на миг предстанет,
озарённая лучом
первых трепетов девичьих,
замирания в крови,
зорь бессонных, трелей птичьих,
первой песенной любви.

И тебе по-человечьи
иногда бывает жаль
той красивой, быстрой Мечи,
что ушла куда-то вдаль.
Вот течёт на свете речка,
вдруг... её в помине нет.
Дрогнет девичье сердечко
промелькнувшей мысли вслед.
Что ты? Полно, дорогая,
эта грусть пройдёт, как дым...
Есть ведь радость и другая,
радость в близости с другим.

Мчится Меча, отражая
всё, что видит на пути.
Ну, а ты расти большая,
что бы ни было, расти.

2. Праздник

Полдень.
Голоса от перевоза.
Гуси щиплют травку у ворот.

У крыльца растёт плакучая берёза,
но она не плачет, а поёт.
В ней живут скворцы, весёлые птицы, —
целый день хлопочет и суетится
озорной, голосистый народ.

В доме пусто. Мама с бригадой в поле.
Слышишь молоты в кузнице? Это отец.
А Татьяна сегодня впервые не в школе.
Десять классов... Всему приходит конец.

Всё на свете сегодня чуть-чуть по-другому,
даже ходики тише идут на стене.
Никогда она так не слонялась по дому,
не прислушивалась к тишине.
То присядет, руками обняв колени...
За окном неспеша начинается день.
Бестолковые куры набились в сени,
надо выйти, погнать их...

Не хочется. Лень.

То она, как ветер, срывается с места, —
заглянуть на печь, не ушло бы тесто, —
веник сбрызнуть водой, — подмести углы,
чистой тряпкой сырой протереть полы.
То вдруг встанет у зеркала и заглядится...
Золотые веснушки... Золотые ресницы...
Что глядеть? Ничего интересного нет.
Десять лет, как стрижи, улетели в небо.
Десять лет пролетели, как будто и не было.
Нет, неправильно, были те десять лет!
Были!
Ветром овеваны, солнцем согреты!..
Были!
Может быть, даже за целый век
никогда, как за первые школьные лета,
не растёт человек.
Годы, люди и книги тебе приоткрыли
достояний народных раздолье и свет.
Ты стоишь у окна и, как сильные крылья,
за тобою шумят эти десять лет.

Так и хочется взмыть над плакучей берёзой
и лететь без оглядки — была ни была! —
от насиженных мест, из родного колхоза,
высоко, далеко, на большие дела.
На какие?

Ещё ты не можешь ответить.

Кем ты станешь?

Ещё ты не знаешь сама.

Что особенно любишь ты?
 Всё на свете.
 Что ты хочешь — лечить или строить дома?
 Быть художником или учителем в школе?
 Или лётчиком в небе?
 Решайся.
 Легко ли!

Полететь бы,
 увидеть, как люди живут...
 А потом приземлиться за Мечео в поле,
 где девчата-подружки прополку ведут.
 В чистом поле, на солнышке — милое дело!
 Ты хорошую песню легко б завела
 и пошла б...
 Недалёко же ты улетела.
 Для того ль тебе дали два сильных крыла?

Мать с отцом полагают: у дочки большая дорога,
 ведь недаром училась она десять лет.
 Надо дальше пойти... И манит и страшно немного.
 Как расстанешься с домом?

И охота и нет.
 Почему-то всегда, как мечтам она выйдет навстречу,
 как бы ей далеко ни случилось зайти,
 всякий раз на родимое поле, на Мечу
 неизбежно приводят пути.

И видать отовсюду, куда б ни пошла ты,
 над совхозом — восходы, за кузней — закаты, —
 солнце ходит от края до края села.
 День проходит за чистыми окнами хаты,
 лёгкой поступью сердце твоё веселя.

Интересно подумать, что этот же самый
 день недели, отмеченный тем же числом,
 над Москвой,
 над испанским хребтом Гвадаррамой,
 над разбитым Дюнкерком,

над вашим селом...
 Над далёкими северными берегами
 незаметно вольётся он в белую ночь...
 А сейчас он пылает в некрашеной раме.

Мать вернулась, возню подняла с пирогами.
 Где ты, дочка?
 Скорее бежать ей помочь.

...Под плакучей берёзой столы накрыты.
 Будут милые гости и пьяны и сыты —
 десять классов окончила дочь.
 Десять классов! Такой молодёжи учёной
 до сих пор не бывало в семействе у нас.
 На широком столе пироги и драчёны,
 и московская водка, и квас.
 Всё обдуманно с толком. Никто не осудит.

Раз уж дожили мы до такого дня...
 За широким столом — хорошие люди,
 земляки и родня.
 Над широким столом наклонилась берёза,
 будто слушает чутко людской разговор...

Вот сидит у стола председатель колхоза,
 на сатиновой кофточке мелкий узор.
 Кое-где в волосах её нити седые,
 но ещё молодой завиток у виска,
 и ещё голубые, ещё молодые,
 озорные сережки, как два огонька.
 Надо думать, жених подарил их невесте
 четверть века назад, перед самым венцом...
 (На германской, на царской, он сгинул без вести,
 о рождении сына узнав перед самым концом...)
 Председатель сидит на почётном месте
 со спокойным, довольным лицом.

Пролетели года, и выросли дети.
 Помнишь, вьюга мела, — ни путей, ни дорог.
 Помнишь, как зазвенело окно в сельсовете,
 пролетел по бумагам пронзительный ветер,
 первый ваш председатель упал, головой — о порог.
 Только что он склонялся над графиком сева
 и наряды писал, на печатку дыша...
 Как же мы без него?

От обиды и гнева

содрогнулась душа.
 Пролегла возле губ непреклонная складка.
 Ничего! Ты осталась живой.
 Сирота деревенская, баба, солдатка,
 принимай его пост боевой.
 Так решил твою участь всем миром, на сходе,
 трудовой деревенский народ.
 И робела, и слёзы лила на народе,
 и своё назначенье не приняла вроде...
 А весна-то не ждёт.
 По утрам пригревает. Всё звонче капли.
 Сходят талые воды. Больше медлить невмочь.
 И однажды, уже на исходе апреля,
 проведя беспокойную ночь,
 вышла утром из дому, твердя по дороге:
 — Не могу я. Не буду я. Пусть и не ждут.
 Увидала; девушка стоит на соседском пороге
 и цыплята ей ножки клюют.
 Закивала тебе она, крикнула: — Здравствуй!
 Добрый день, скоро ль сеять начнём, тётя Настя?
 Я и то погляжу уж — пора! —
 У ножонок босых копошились цыплята...
 И тогда поняла ты:
 всё, что только в твоей человеческой власти,
 ты отдашь этой крохе для вечного счастья,
 и — как будто бы с сердца гора.
 На душе твоей стало покойно и ясно.

Люди ждут.

Никому не сказала: согласна,
позвала получать семена.
В том великом году весна была дружной и ранней.
Сталинградский завод в ту весну заложила страна.
...А девчущку соседскую звали Таней.
Нынче кончила школу она.

Поднимает стакан председатель колхоза,
морщит губы, по-бабьи, глоточками мелкими, пьёт.
Над её головою сияет берёза
и торжественный праздник идёт.
Под высокими перистыми облаками
он, как улей пчелиный, гудит.

В пиджаке и в рубашке, расшитой шелками,
Танин школьный учитель сидит.
Нынче он победитель! Началась его школа
с трёх классов,
стала десятилетней, колхозу пришлось по плечу.
Не об этом ли празднике плакал когда-то Некрасов?
И не этот ли праздник в Сибири светил Ильичу?
Не во имя его ль возводили завод в Сталинграде
и машины поили, трубя на подъёме крутом?

...Дали азбуку, доску, чернила, тетради
и просторный кулацкий дом.
Первоклассники пишут, стараются, первое слово,
третьеклассник читает басню Крылова,
рисование — во втором.
От некрашенных парт ещё пахнет сосною,
не побелен ещё потолок,
и учитель один на три класса.

Но первой весною
он провёл необычный урок.
Он собрал своё войско особенно рано.
Перед школой построились, как на парад.
За развёрнутым флагом, под дробь барабана,
зашагал пионерский отряд.
Как на праздник.

Ещё не пылила дорога
и народу на улице было немного, —
посевная в разгаре.
И заметил он вдруг:
золотая девчущка стоит у порога
и цыплята толкуются вокруг.
Запылала, зарделась. На вид ей, пожалуй,
и шести ещё не было лет.
Словно солнечный зайчик, она побежала
за ребятами старшими вслед.
Сразу понял учитель: она не отстанет,
за большими вослед семеня.

— Ты куда это?

— С вами.

— Как звать тебя?

— Таней.

— На-ка руку. Смотри у меня!

Большаком, большаком. По мосту через Мечу.
 Выше солнышко, ярче развёрнутый флаг.
 Пионеры грядущему вышли навстречу.
 Шире шаг! Шире шаг!
 Звонче, песня!

Навстречу колонне детской,
 красным галстукам,
 блеску весёлых глаз
 из районного центра шёл первый советский
 трактор
 в село

в первый раз.

И, впервые глотая дымок горячий,
 зашумели ребята, смешав ряды.
 Вёл учитель за руку самую младшую.
 Шёл тридцатый год. Зацветали сады.
 Почему он вспомнил об этом далёком?
 Первый трактор... Первый терпкий дымок...
 Этот день был для девочки первым уроком.
 А вчера у неё был последний урок.
 Завтра в новую школу вступает его ученица,
 не девчушка, а девушка, полная сил.
 Пусть на трудных уроках ей вспомнится
 и пригодится
 всё, чему он её научил.

Расправляет учитель широкие плечи.
 Хорошо! Ничего не пропало зря!
 Можно праздновать праздник.

Над Красивою Мечей

догорает заря.
 Словно красное знамя, над миром
 полыхает заката бессмертный багрец.
 И тогда знаменитый в округе кузнец,
 хлебосольный хозяин, Танин отец,
 со стаканом в руках вырастает над пиром.
 Он стоит, меднолицый, в рубахе просторной,
 озарённый закатом, как пламенем горна,
 и в прозрачных глазах зажжены огоньки,
 словно искры заката.
 Он видит, как солнце садится,
 но не видит того, как вдоль нашей закатной границы
 Гитлер строит полки.
 И орудия Круппа на праздник наш смотрят угрюмо...

Дочка кончила школу, сбылись ожидания отца.
 До войны ли ему?

Не о том его мирная дума.

Не на то ему сила и талант кузнеца.

Не на то ему эта река, это поле и небо,

и хорошие люди, и добрая чарка вина.

Но уж если он встанёт, исполненный правого

гнева,

хоть ценой своей жизни — тебя победит он, война.

Радости расплёскивать не надо,
лучше в сердце глубже приберечь.
Лучше пусть покойнее и ярче
станет материнское лицо;
лучше баньку истопить пожарче,
отобрать покрепче бельецо;
лучше тесто замесить покруче,
самовар — в который раз? — раздуть
и, как будто ненароком, лучше
слёзы набежавшие смахнуть.
Господи! Почти четыре года!
С лёгким паром! Время за обед.

А под вечер занялась погода,
старые картишки вынул дед...
Что уж тут, уважить старость нужно.
В подкидного... Мирный разговор.
Ты ведь дома. За окошком вьюжно.
Крести-kozyри. Ходи, сапёр!

Постучались,
и вошла дивчина
в ярком полушубочке овчинном:
— Добрый вечер... —
краской залилась.
Засмущалась? Или это ветер?
— Комсомольский пост при сельсовете...
Вы, конечно, извините нас...
Вы, конечно, здешний, местный житель,
да война ведь... вот и с нас ответ...
Так что документы покажите
или завтра сами в сельсовет...

Волосы, как будто клёны в осень,
родинка на вздёрнутой губе...
Пусть она смуглее и курносей,
чем мечталось, виделось тебе.
Но чудесней всех твоих мечтаний
серых глаз спокойный ясный свет...
Он стоит, немея, перед Таней,
и на помощь поспешает дед:
— Экой ты, Серёжа, сделал промах,
не узнал соседку! Вот беда!
Нет у нас в колхозе незнакомых...
— Сами понимаете, года...
Вы ещё, наверно, были дети —
я ушёл служить в сороковом...

Комсомольский пост при сельсовете
снег с лица стирает рукавом.
— Нет уж, разрешите, провожу я,
Поздний час... На улице метель... —
Надевает парень боевую,
с чёрными погонами шинель.
Двери перед гостьей раскрывает,
как слепой, идёт за ней вослед...

Недовольно карты собирает
 безнадёжно проигравший дед.
 — Эх, сержант, играешь несерьёзно!
 Видно, мне на печку путь один!

Хорошо вдвоём в ночи морозной.
 Непогода стихла. Небо звёздно.
 Дед был прав: сержант вернулся поздно,
 и его никто не осудил.

2. Первый путь

В сугробы наметённые
 позёмка улеглась.

...Притихшие, смущённые,
 бок о бок в первый раз,
 проходят узкой тропкою
 Татьяна и солдат.
 Порою — слово робкое,
 порой — несмелый взгляд.

Горят снега алмазами,
 зима стоит — краса!
 И с каждым словом сказанным
 знакомей голоса.
 И с каждым взглядом брошенным
 знакомей милый взгляд...
 По тропкам запорошенным
 проходят, не спешат.

Судьбы своей не ведая,
 проходят в первый раз,
 о том, о сём беседуя,
 не подымая глаз.
 О том, что мы — в Германии,
 к Берлину — все пути.
 О том — нельзя ли с Танею
 в совхоз в кино пойти?

Степенная, суровая,
 она бойцу в ответ:
 — Пойдёт картина новая,
 так почему бы нет...

А душенька упрямая
 волнуется, дрожит...
 — Живём мы вместе с мамою...
 Отец у нас убит...

Сказала правду жгучую
 и сразу осеклась.
 На миг суровой тучею
 зима заволоклась.
 Сказала правду грустную,
 и в горле встал комок,

и замолчал, сочувствуя,
весёлый паренёк.
К чему слова напрасные
и что уж тут сказать...

Но в небе звёзды ясные
затеплились опять.
Сверкающей порошею
заносит свежий след.
Стоит зима хорошая.
Прекрасен белый свет.

Идут они, беседа,
робѣя в первый раз.
— Скорее бы с победою...
— Уже недолог час!
— С полями бы управиться,
отсеяться бы в срок...

И так сержанту нравится
высокий голосок.
Его звучанья ясные
он слушал бы весь век...
Стоит зима прекрасная,
искрится лунный снег.
С войною бы управиться
на долгий, долгий срок...

И так Татьяне нравится
солдатский говорок.

«Как будто с ним знакома я
не вечер, — целый год...»

— Спасибо, вот и дома я...

Сугробы у ворот,
дымок над старой хатою...
И думает сапёр:
«Приду сюда с лопатою,
займусь, очищу двор.
Хозяйство их заброшено, —
хозяин ведь убит...»

— Пока всего хорошего! —
Татьяна говорит.

«Вернусь, так дом ей выстрою,
пусть лучше всех живёт.»

И варежку пушистую
большой ладонью жмёт.
Вопрос и обещание
во взгляде быстрых глаз.
И встреча и прощание —
всё это в первый раз.

Одна теперь дороженька,
 один в окошке свет,
 Серёженька, Серёженька,
 дороже в мире нет!
 И веселя и радуя,
 вся жизнь пошла вверх дном.
 За что теперь ни сяду я,
 а сердце об одном.
 На улице застыну ли,
 шинелькою одень...
 И две недели минули,
 как будто ясный день.

Горят снега алмазами...
 Красуется зима...
 А если что не сказано,
 додумайся сама.
 Снежок февральский сеется.
 Лети, снежок, лети!
 — Позвольте мне надеяться...
 — Счастливого пути!

3. Невеста

От Красивой Мечи низкий ветер,
 от цветущих яблонь светлый дым,
 всё, что есть хорошего на свете,
 называю именем твоим.
 Нет на свете никого дороже,
 ничего отрадней и родней
 моего хорошего Серёжи
 и любви девической моей.
 Пусть в колхозе будет всем известно, —
 от друзей я счастья не таю, —
 я теперь солдатская невеста,
 милому помощница в бою.
 Как присягу, пламенно и честно
 я тебя, любовь моя, пою.
 Я теперь солдатская невеста,
 милому соратница в бою.
 Милый мой за наше счастье бьётся,
 слышу каждый выстрел, каждый шаг...

Это только в песне так поётся,
 песня-птица в небо унесётся,
 песня что, а вот без песни как?
 А на деле, как оно на деле?
 Далека деревня от врага.
 Наступают тёплые недели,
 отступают снежные метели,
 оседают старые снега.

А на деле Таня ни полслова
 не проронит про любовь свою.
 Запевает громче... Что ж такого?
 Как не петь? Весна настала снова!

Светит солнышко в родном краю!
Светлый дым поднялся от проталин.
А закат ещё в другом дыму...

В это время сам товарищ Сталин
едет с Конференции в Крыму.
Светлая, как речка, автострада
вьётся и мерцает перед ним,
молодые лозы винограда
вдоль дороги расстилают Крым.
Сам товарищ Сталин едет, едет,
радуется солнечной красе,
и бежит, бежит, бежит к победе
праздничное крымское шоссе.
Слушает в пути товарищ Сталин
утренние птичьи голоса.
Думает в пути товарищ Сталин,
сколько нужно нам зерна и стали,
чтоб дома разрушенные встали,
край родной расцвёл и поднялся.
Верх машины задевают ветки
розовеющего миндаля,
картою четвёртой пятилетки
расцветает крымская земля.
Впереди в цветенье тополином
будущего мирные леса...

Фронт остановился под Берлином,
развернул для штурма корпуса.

«Милая, не дни считай, минуты», —
говорит родное письмецо.
Надо всей страной цветут салюты,
ветер наступленья бьёт в лицо.
Но тебя тот ветер не иссушит,
дорогая, добрая земля.
Выведем, девчата, волокуши,
подготовим к пахоте поля.
Скоро будем сеять яровые.
Точен график буден трудовых.
Слышишь, сердце, залпы боевые?
Это побеждает мой жених!

4. Рассказ о победе

Вы помните ту женщину, солдатку,
из первой части повести моей?
Когда бы речь вела я по порядку,
давно бы надо рассказать о ней.
Не знаю где, на полевом ли стане,
на утренней ли улице села
она впервые улыбнулась Тане
и в жизнь её решительно вошла.
Не знала Таня, по какой причине,
но только с детства думала она,
когда слыхала песню о лучине:

о тётке Насте песня сложена.
 Когда рассказывала мать о доле
 других бессмертных русских матерей,
 когда Некрасова читал учитель в школе,
 задумывалась девочка о ней.
 И перед ней тотчас предстала эта
 крестьянка из орловского села,
 когда она у русского поэта
 впервые слово «родина» прочла.
 Той женщины старинные приметы
 и устремлённый в будущее взгляд
 и в слове «Правда» на листе газеты
 и в слове «революция» горят.
 Разведывая путь вперёд идущим,
 обогревая мир живым огнём,
 она была и прошлым, и грядущим,
 и нынешним неповторимым днём.

Её считали каменной и чёрствой
 (ночных её никто не видел слёз).
 С каким-то бабым, истовым упорством
 вперёд, вперёд вела она колхоз.
 С почтением к порядкам деревенским,
 с решимостью разведчика в бою,
 с хозяйской хваткой и талантом женским,
 как добрый дом, как дружную семью.
 И зная всё — хорошее, плохое,
 за всех болела, всем рвалась помочь,
 свекровь ли не поладит со снохою,
 отца ли не послушается дочь.
 И за её суждением непреклонным,
 привычке многолетней вопреки,
 упрямые старухи шли с поклоном,
 сняв картузы, стучались старики.
 Её распоряжения и планы
 на свете утверждали для Татьяны
 колхозный строй и сталинский закон.

...И загорелся тот рассвет багряный
 на чистых стёклах утренних окон.
 И поднялась на подвиг наша сила,
 рукой благословенная твоей.
 Не одного ты проводила сына,
 что день — ты провожала сыновей.
 И, торопливо смахивая слёзы,
 упрямая, вперёд глядела ты.

Погнали мимо южные колхозы
 медлительные пыльные гурты.
 Увозят на восток заводы Юга
 станки и криворожскую руду,
 запасы свёклы и донецкий уголь,
 свою решимость и свою беду.
 Горят, горят недобрые закаты..
 И, как на грех, в жестокий этот год

на диво полновесны и богаты
взошли хлеба.

А кто их уберёт?
Как ждал колхоз такого урожая!
И дождался...

Тесней сомкнули строй
девчата, жёны — армия большая,
пришли в поля учитель с детворой...

Опять не счесть ухабов, ям и кочек.
Война, как глыба, на плечи легла.
Куда ни глянь, нехватка рук рабочих.
Стоят машины — трудно без тягла.
Куда податься? Но перед бедою,
как будто в сказке, став ещё сильней,
из-под Ельца, почти что с поля боя,
ты приводила раненых копей.
Отдышутся, подправятся немножко,
помогут нам — и сев окончен в срок.
Гудит война, но светит к нам в окошко
твой умный, твой душевный огонёк.

Хозяйки в доме тем и знамениты,
что в час невзгоды не жалеют сил,
чтоб, как-никак, а люди были сыты,
чтоб, что ни что, а дом стоял и жил.
А ты кормила не одних домашних,
а тыл и фронт, рабочих и солдат.
Полки, что отстояли Сталинград,
и детские сады благодарят
твоей заботой поднятые пашни.

Исполненная умною любовью,
переживая судьбы всех людей,
ты тихо приходила к изголовью
осиротевших жён и матерей.
В соседском доме уют и стужа,
тут надо жизнь наладить, жить помочь.
Тут женщина оплакивает мужа,
тут об отце убитом тужит дочь.
Входи, ты будешь гостьею желанной,
перед тобой отступит тишина,
заговорит умолкшая жена,
и девушка — её зовут Татьяной —
тебе навстречу кинется она.
Ты крепко обоймёшь её за плечи, —
заволокло лучистые черты,
как в ясный бочажок Красивой Мечи,
семнадцать лет в неё глядишься ты.
Глядишь, как будто видишь отраженье
той юности, что ты не прожила.
Гляди, гляди, какой бы ты была.
Движенья лет, как будто вод движенье...
Заволокло лазурь Красивой Мечи,
и на ветру качается камыш...

Ты гладишь, гладишь худенькие плечи,
ты что-то ей негромко говоришь.
Уж ты-то знаешь: заживают раны,
проходит горе — тем и жизнь красна.
Разгонит солнце серые туманы,
опять пройдёт по берегу весна...
Не потому ль открытый взгляд бесслёзен,
что устремлён он далеко вперёд?

...Почти что год не знал никто в колхозе,
что твой сыночек больше не придёт.
И низко-низко поклонились люди
величью материнской красоты.
Пошли вперёд советские орудья.
Враг откатился.
Победила ты,
твой строй,
твой вождь,
твой сын,
твои соседи,
твои односельчане и друзья.
По-моему, точнее о победе,
чем о тебе, и рассказать нельзя.
И вижу я, идя за Таней следом,
в день, осенённый майскою листвою,
когда народу вождь сказал: — Победа! —
пред девушкой раскрылся облик твой.
Слезами благородными твоими
тот день не омрачён, а озарён.
И хоть отлично мне известно имя,
название колхоза и район,
но если б люди у меня спросили,
где ты живёшь и как тебя сыскать,
я им сказала б:
ты живёшь в России,
тебя в народе называют Мать.

5. Опять весна

Тот первый год послевоенный,
с передовой пришедший год...
Ещё Сергей стоит под Веной
и только письма, письма шлёт.
И только Таня пишет, пишет,
старательно, строка в строку,
всё, что увидит и услышит,
из дома — милому дружку.
Какие свадьбы отыграли,
какие надо ждать зимой,
какой рассказ прочла в журнале,
какой солдат пришёл домой,
кто пьёт, а кто взялся за дело.

...Но Таня в сердце берегла
то, что почувствовать умела,
а написать бы не смогла.

Ну как опишешь день богатый,
 как объяснишь, чем он хорош —
 пронзённый солнцем дым над хатой,
 на красный лисий хвост похож —
 берёзку на лесной опушке,
 закат и снегирей в лесу,
 в чертах ровесницы-подружки
 вдруг проглянувшую красу.
 Ну как опишешь на бумаге
 между лозинами в овраге
 звучанье первого ручья
 и встречу первого грача.
 Ну как опишешь песни новой
 широкий звук, далёкий свет.
 Где взять единственное слово?
 Его ещё в запасе нет.

Всё то, чему душа дивится,
 в письме, попробуй опиши.
 Всё это бережно хранится
 в особом тайнике души,
 где радость то сильнее, то тише
 стучится, бьётся и поёт,
 где, что ни день, пышней и выше
 любовь, как деревце, растёт
 и тянет ветки, словно руки,
 на волю, к солнышку, до звёзд;
 растёт, и никакой разлуке
 не удержать тот буйный рост.

Вокруг в тот год послевоенный,
 в тот долгожданный мирный год
 всё с новой силою растёт:
 и скоростных строителей стены,
 и смелых планов разворот,
 и новые копры Донбасса,
 и возрождённый Днепрострой,
 растёт, как в сказке, час от часа,
 как озимь вешнюю порой.

В боях мечтавшая о мире,
 мир отстоявшая в боях,
 о, родина, что день — то шире
 народных замыслов размах.
 Возводит, ладит, строит, рубит
 мир заслужившая страна
 и вместе с Таней любит, любит,
 непобедимых сил полна.

С любовью новый день встречая,
 с любовью отходя ко сну,
 жила Татьяна, примечая
 ещё одну свою весну.
 ...Ещё мороз трещит ночами
 и тучи снежные низки,
 но днём, под яркими лучами,

зима чернеет от тоски.
 И даже странно, что когда-то
 мы низко кланялись снегам,
 что величавой и богатой
 их белизна казалась нам.
 Уже сквозь жалкие лохмотья
 сквозит иная синева.
 Весна пришла. Весна в работе.
 Весна на днях войдёт в права.
 И, никому не уступая,
 свою юбчонку подберёт,
 пойдёт, на пальчики ступая,
 между ручьями талых вод,
 почти что видимая глазу,
 почти что слышная ушам...
 Начнётся по её приказу
 возня и гомон, шум и гам.

Весна! Как жадно ждали люди
 её в сорок шестом году.
 Весна! Но кто её осудит? —
 она решила на беду
 быть неожиданно короткой,
 спешить — такой уж вздорный **нрав!** —
 прошла небрежною походкой,
 в одну неделю снег согнав.
 Прошла, черёмуху ломая,
 прошла, убралась со двора.
 И чуть что не с начала мая
 настало лето и жара...

6. Хлеба горят

Тебе с полночи снился дождь,
 упорный, мерный, как пехота,
 свою развёртывая мощь,
 он дрался, действовал, работал.
 Он продирался напролом,
 себе отлично зная цену,
 и, наконец, ворвался в дом,
 пройдя сквозь каменную стену.
 У изголовья твоего
 его потоки зашумели.
 Как благодатен шум его!
 И ты присела на постели,
 вокруг пошарила рукой...

Тяжёл и душен сумрак ночи.
 Дождя не слышно.
 За рекой
 ночной состав ещё грохочет...
 Уснуть скорее!

Так и есть!
 Сухое тело остужая,
 хороший дождь пророчит весть
 о долгожданном урожае.

Тебя и всех твоих девчат
он поливает что есть мочи...
...Одни лишь ходики стучат.
Тяжёл и душен сумрак ночи.

Дождя и не было и нет.
Редееет мрак. Из пыльной тучи
встаёт нерадостный рассвет,
сухой, горячий и горючий.
Умыться. Вот она, вода,
живая, чистая, из Мечи.
И сердце вздрогнет от стыда:
а полю и напиться нечем.
С рассвета зной... Когда б гроза...
Когда бы дождик... Хоть немножко...
Не глядя матери в глаза,
ты ешь горячую картошку.
Ни слова.

Так молчат теперь
во всех домах, по всей округе.
И ты распахиваешь дверь —
тебя за дверью ждут подруги.
Ты без улыбки им кивнёшь:
— Пошли! —

В полях, как неживые,
стоят овсы, пшеница, рожь,
рядочки редкие, сухие.
У встречных смутные глаза,
своя печаль, своя дорожка.
Когда бы ахнула гроза!
Когда бы дождик! Хоть немножко.

Туман от Мечи не плывёт,
на травах не играют росы.
Пылит дороженька... И вот
делянка ваша, ваше просо...
Стоят подруги и молчат,
стоят и слова не проронят;
Такие лица у девчат,
как будто близкого хоронят.
Над ними солнца красный шар,
подёрнутый горячей пылью,
и душит и бросает в жар
от горя, злобы и бессилья.
Что делать? Как сто лет назад,
бежать на площадь, бить в набат:
хлеба горят, хлеба горят!

И всё? И только-то? Как мало!
Выходит, что спасенья нет?
Но для того ль ты десять лет
училась, думала, читала?
Великий свет хороших книг
не для того, чтоб в трудный миг,
едва беда в дому настала,
перед отчаяньем людей, —

ну, что тут делать, нет дождей! —
 руками развести устало.
 Нет, я не этого хочу,
 на это не имею права,
 не в том клялась я Ильичу
 словами нашего Устава.
 Товарищ Сталин не о том
 спокойно говорил со мною,
 когда враги на отчий дом
 пошли жестокою войною.
 Когда к победе из огня,
 друзья мои, мы вышли с вами,
 когда поздравил он меня
 простыми добрыми словами.
 Он очень верил вам и мне,
 он нам во всём желал удачи.
 Мир наступил. Конец войне.
 Так что ж мы тут стоим и плачем?
 Меня такую бы Сергей
 не полюбил и не заметил.
 Неужто засуха сильнее
 работы и любви моей?
 Не верю ни за что на свете!

7. Битва

Поздний час, а лампа горит.
 Сколько раз ни проснётся мать,
 всё над книжкой дочка сидит:
 будто снова экзамен держать.
 Разве книжка может помочь?
 Сколько раз ни проснётся мать,
 что-то дочка пишет в тетрадь...

Коротка ты, летняя ночь.
 Трудный задали мне урок...
 Как на поле вдоль борозды,
 мысль упрямо бредёт вдоль строк...

Сорок тысяч вёдер воды!

Сколько нужно рабочих рук,
 чтобы поле наше полить?
 Три гектара. Восемь подруг.
 Сил нехватит... Должно хватить.

Солнце встало, берёт разбег.
 Нет спасенья ни на миг.
 Ты умней его, человек,
 ты добрей его, человек,
 ты сильнее его, большевик.
 Ярче сердце твоё горит,
 больше счастья людям дарит.
 Не жалея сил и труда,
 ты не только что топишь льды,
 ты во льдах разводишь сады,
 создаёшь в песках города.

Сорок тысяч вёдер воды!

Мы идём на тебя, сухмень,
мы решили земле помочь.
...Остывает рабочий день,
настаёт трудовая ночь.
Негорячий пламень звезды
ненадолго она зажжёт.

Сорок тысяч вёдер воды!

Только слышно: лошадь заржёт...
Только слышно: ведро скрипит.
Только слышно: земля кипит.
Только слышно: сердца стучат
у отчаянно злых девчат.
Впрочем, сердца упрямый стук
никому не слышен вокруг,
но, когда ты идёшь межой
со своим сто вторым ведром,
этот звук, как будто чужой,
этот звук, словно близкий гром.
Он гремит над тобой:

— Ложись!

Отдохни! Позабудь труды! —
Но ты шепчешь сердцу: — Держись!
Сорок тысяч вёдер воды!

Не сдавай! Отдыхать нельзя.
За свободу твоей земли
боевые твои друзья
не такие бои вели.
Партизанки, сёстры мои,
чтоб могла я на свете жить,
не в такие вы шли бои
и не так вам хотелось пить.

Верю, будет на свете час,
светлый день для моих девчат,
то, что делаем мы сейчас,
хитрый сделает агрегат.
Ты рукой повернёшь рычаг —
и в поля побежит вода...
Каждый сделанный нынче шаг
приближает к нам те года.

Ночь за ночью, как день за днём,
не сдаются восемь девчат.
Опалило их, как огнём,
стали суше, черней галчат.
Восемь девушек. Десять ночей.
Кровь в виски стучит горячей,
молотки колотят в ушах,
сердце чувствует каждый шаг,
на ногах как будто пуды...
Сорок тысяч вёдер воды!

Как делянка наша мала.
Курам на смех... Горько до слёз.
Все бы силы я отдала,
всех бы девушек подняла,
чтобы выручить весь колхоз.
Всем колхозам в краю родном
я бы рада была помочь.

...И раздумывая о том,
председатель не спит всю ночь.
Ну, воды они нанесут,
ну, подымут свои три га.
Рукопашные не спасут
от неистового врага.
Надо всем стоять заодно.

...И уже не одно звено,
всё как есть вокруг поднялось.
...И уже не один колхоз...
Говорят: соседи у нас
тоже начали в добрый час.
Наш почин, пригодился он.
...И уже не один район...
Погляди, за рекой огни,
люди встали на тот же путь.
Значит, мы теперь не одни.
Сразу стало легче чуть-чуть,
Не дадим горячим ветрам
Зло чинить на нашей земле!

...И товарищ Сталин в Кремле
не смыкает глаз до утра.
Ночь стоит за его окном,
стол покрыт зелёным сукном,
и лежит на этом столе
карта всех советских полей,
и товарищ Сталин в Кремле
знает, где прошёл суховей,
видит, где он посевы сжёг,
слышит, где он хлеба свалил,
и подводит большой итог
человеческих дружных сил.

Если силы живой души,
если силы людских бригад
увеличить силой машин,
миллионами киловатт, —
будут в наших степях леса,
будет в наших полях вода.
Не увянет твоя краса
от немислимого труда.

И одиннадцатая заря
поднялася во всей красе,
на земле политой горя,

как на свежей ночной росе.
 Над полянкой как дождь прошёл —
 ясно, зелено, хорошо.
 Это сделали мы с тобой.
 Хлеб народный пошёл расти.
 Это был рукопашный бой.
 Только мне домой не дойти...
 Не могу рукой шевельнуть,
 повернуться, ступить ногой...
 Я как будто выросла чуть,
 я как будто стала другой...
 Повалилась на берегу,
 и последняя мысль в мозгу:
 «Поглядел бы на нас Сергей,
 полюбил бы меня сильнее!»

8. Тихая минута

Провожая солнышко, вечеру навстречу,
 в час, пока не выпала роса,
 потекли по улице из села на Мечу
 молодые голоса.
 Есть между лозин хорошая полянка,
 там траву стоптала молодёжь.
 ...Ни тебе вечорка,
 ни тебе гулянка, —
 новое по-старому порой не назовёшь.
 Доброе словечко, ласковая шутка,
 изредка гармошки перебор...
 Тихая минута, редкая минутка,
 задушевный разговор.
 Уж какие тут гулянки да вечорки —
 ухажоров недохват...
 В лёгком лунном свете на крутом пригорке
 девушки колхозные сидят.
 Тихо посидеть над лунною рекою
 до сих пор им было недосуг,
 по какому ж случаю, что ж это такое
 собрало над Мечею подруг?
 (Помнишь, после боя, в тихий час привала,
 перед тем, как дальше выйти в путь,
 сам себе, бывало, не хитря нимало,
 удивляешься чуть-чуть.
 Сам в себе находишь после испытаний
 то, о чём не ведал до сих пор).
 Тихо и задумчиво начинает Таня
 этот очень новый разговор:

— Не могла решиться я, как училась
 в школе,
 кем я в жизни стану, где моя судьба.
 Тут война ударила, я осталась в поле
 поднимать из зёрнышка высокие хлеба.
 Что таиться, девушки, просто я глядела:
 проживу колхозницей, пока беда в дому.
 Откровенно думала: временное дело,

там ещё посмотрим, что к чему.
 Что таиться, девушки, разве эта доля
 виделась для дочки матери, отцу?
 Раз уж десять лет училась дочка в школе,
 ей сидеть в колхозе вроде не к лицу.
 Дело хлеборобное — небо голубое,
 синие, зелёные поля...
 Я и не заметила, как моей судьбою
 сделалась родимая земля.
 Школьное учение даром не пропало:
 поле пересохшее по нашей воле встало,
 мы большие, сильные... Но я хочу сказать:
 это очень трудно и ужасно мало —
 вёдрами делянку поливать.
 Дело хлеборобное — поле золотое!
 Надо смело пробовать, думать день и ночь,
 что-нибудь придумать самое простое,
 не одной делянке — всей земле помочь.
 И учиться дальше, чтоб земля родная
 стала плодородней и сильней...

Замолчала девушка,
 начала другая
 следом за подругою своей:

— А когда исчезнет всё, что нам мешает:
 недороды, засухи, непосильный труд,
 ах, какая жизнь, толковая, большая,
 красота какая развернётся тут.
 Если землю сделаем сытой и богатой,
 тёмной нам покажется длинная зима,
 тесной нам покажется дедушкина хата,
 светлые и новые построим мы дома.
 Раз такое дело, мы теперь в ответе
 не за три гектара, — за весь родной простор.

Умолкает девушка...

Начинает третья
 этот очень важный разговор...
 Этот разговор, раздумчивый и тихий,
 он, как путник ночью медленно бредёт,
 узкою тропинкой, овсами и гречихой,
 ещё не так уверенно, но всё равно вперёд.
 И с каждым твёрдым шагом редееет ночь густая,
 и рассвет всё ближе и скоро мгле конец...
 Звучат слова хорошие, почти перерастая
 в первую присягу молодых сердец:

Поля мои зелёные, ветрами опалённые,
 земля моя,
 судьба моя,
 любовь,
 дыши, моя полынная, цветы, моя хорошая,
 вовеки не покину я и никогда не брошу я
 моею жизнью поднятых хлебов.

Какую гору не свернёшь, когда возьмёшься
дружно.
Как стало ясно и легко на сердце в эту ночь.
Ещё не всё досказано, но это и не нужно.
Ещё не всё додумано, но тут легко помочь.
Возьмёмся крепко за руки, придвинемся друг
к другу,
пока не спряталась луна, не занялась заря...

Вольшие тихие слова
бегут, бегут по кругу,
и Меча лунная бежит
в далёкие моря.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1. Сорок шестой

Золотая пора обмолота,
дорогая для сердца пора,
неусыпная наша работа,
на токах золотая жара.
В жарком блеске массивов бескрайних,
где помех для движения нет,
в ярких фарах идущих комбайнов,
отражающих солнечный свет,
в негасимых румянцах девичьих,
в побелевших от солнца чубах,
в нескончаемых клёкотах птичьих,
в смелой шутке на ярких губах,
в бодром громе высоких бестарок,
в сытом ржанье горячих коней,
в том, как празднично звонок и ярок
синий свод этих пламенных дней,
в долго медлящих зорях заречных,
разлитых, как озёра окрест, —
что-то есть от великих и вечных
трудовых всенародных торжеств.

И на первом обозе крылатый
дорогой кумачовый флажок,
и светящий в ночи элеватор,
как маяк на скрещенье дорог, —
это праздник идёт повсеместно
в нашем хлебном, раздольном краю.
В эти дни женихи и невесты
проверяют друг друга в бою.
Этот праздник — советской отчизне
по размаху, по духу сродни.

Тот, кто видел когда-нибудь в жизни
эти дружные ночи и дни,
тот не станет корить, не осудит,
а душою глубоко поймёт,
что узнали колхозные люди
в тот засушливый гибельный год.

На корню погорела пшеница,
 чуть вошла небогатая рожь, —
 в ней и курице трудно укрыться,
 и соломы с неё не возмёшь.
 Где — ценой непомерных усилий
 бедный хлеб ухитрились взрастить.
 Что могли, на корма покосили,
 а чего и не стали косить.
 Убирали без песен и шуток,
 молотили с тяжёлой душой
 и закончили в несколько суток
 наш торжественный праздник большой.
 Будто хитрый, завистливый кто-то,
 обойдя нашу волю и власть,
 золотую красу обмолота
 у людей ухитрился украсть.
 Опалённые гневной печалью,
 затаили мы думу свою
 и всё больше молчали,
 словно полк, отступивший в бою.

Отходило недоброе лето
 по угрюмо молчащей земле,
 и наверно молчание это
 было Сталину слышно в Кремле.
 Всё он слышал и делал пометки
 на развёрнутой карте своей,
 словно данные первой разведки
 с осаждённых врагами полей.

И, пожалуй, в решенье народа,
 в том рывке на подъёме крутом,
 в знаменательном сорок шестом
 есть черты сорок первого года —
 в широте и размахе сраженья,
 в подготовке грядущих атак.

Никогда не бывать пораженью,
 если люди сражаются так.

...Из Восточной Сибири, с Алтая
 прибывают составы зерна.
 Всенародная дружба святая,
 вот что значит на деле она.
 Неразрывные, кровные узы,
 что связали советский народ;
 закровов государственных грузы,
 глаз хозяйский, контроль и учёт,
 наши общие тучи и зори,
 хлеб и золото, радость и горе,
 и одно устремленье — вперёд!

2. Утро

С осенней неяркою зорькою
 сливается сизый дымок...
 Управились быстро с уборкою

и озимь засеяли в срок.
Окошки дождём занавесило,
и Меча в тумане густом.
Уныло вокруг и невесело,
как будто бы в доме пустом.
Ах, это затишье осеннее,
сиротство остывшей земли,
как будто бы после сражения
в холодную избу вошли...
Но в долгие дни ожидания,
в течение бессонных ночей
ты встречу с любимым заранее
обдумала до мелочей.
Особо торжественным вечером
его почему-то ждала.
Ты даже по пунктам намеченным
с ним долгие речи вела.
Нарядное платьице справила,
не стала пока надевать...
Есть хитрое девичье правило:
не надо вперёд забегать.
Далёко заглядывать нечего,
всё то, что придумано вечером,
пойдёт по-другому с утра...

...Рассвет на окошках отсвечивал,
октябрь уходил со двора.
И сквозь петушиное пение,
пугая гусей, напрямик,
обляпанный грязью осеннею,
по улице шёл грузовик.
Добрались! Доехали! Дома я!
Окончился дальний транзит.
Уже перед хатой знакомою
попутный шофёр тормозит.
Тотчас же гостинцы богатые
из кузова гость поволок...
И сразу же пуще над хатую
пошёл завиваться дымок.
Наверно не менее весело
в доме завился разговор...
Куда же в осеннее месиво
пошёл беспокойный сапёр?
Какой это ветер погнал его?
Подумать! — в отцовском доме
он не был два года без малого,
чего ж не сидится ему?
Какое же в нём нетерпение?
У чьих невысоких дверей
в неяркое утро осеннее
негромко стучится Сергей?
Чья печка никак не растопится?
В чьей кухоньке утренний дым?
И кто это к двери торопится
и молча стоит перед ним,

забыв свои речи готовые,
напрасно учёный урок,
забыв погордиться обновой,
не чуя от радости ног.

3. Солдат

Не единожды пулей меченый
и не раз горевший в огне,
сын крестьянский с Красивой Мечи
на Отечественной войне
начал путь рядовым сапёром
в сорок первый памятный год
и прошёл по родным просторам
от Днепра и до волжских вод.
Шёл, как надо, команду слушая,
в снег и в пыль впечатывал шаг,
отступал, взрывая и руша
всё, к чему приближался враг.
Пыль развалин во рту горчила
и щипала глаза до слёз,
но война терпеть научила —
он терпел, учился и рос.
Много нужно было учиться,
чтоб навек наострился глаз,
чтоб ни разу не ошибиться.
Ведь сапёры, как говорится,
сшибаются только раз.

Он умел закладывать мины,
блиндажи и землянки рыть,
если надо, взрывать плотины,
если надо, опять возводить,
понимать земную породу,
настилать в болотах пути,
и в степях разведывать воду
и по трубам её вести.
Печку сложит, избушку срубит.
Добрый мастер! Таких народ,
как отец, бережёт и любит,
золотыми руками зовёт.
Видно, силу его кипучую
жизнь любила и берегла, —
не бывало такого случая,
чтоб недоброй к нему была —
даже девушку самую лучшую,
словно в сказке к нему привела.

Мир, окрашенный новой краскою,
показался лучше стократ,
обогретый девичьей ласкою,
стал ещё счастливей солдат.
Озарённый нашей победою,
белый свет стал куда светлей.

По пятам фашистов преследуя,
 до Берлина дошёл Сергей.
 Смолкли грозы артиллерийские,
 орудийный разговор,
 тёплой нежностью, встречей близкою
 полон был молодой сапёр.
 Каждой весточкой долгожданною
 волновался и жил Сергей.
 Поскорей бы рядом с Татьяною
 жить, работать, помочь бы ей.
 Таня, Таня! Какая у вас весна?
 Хорошо ли дожди прошли?

И когда написала ему она,
 как девчата поливку вели,
 он задумался:
 — Этаким тяжкий труд!
 Этих сил назад не вернуть.
 Эх, девчата, девчата, был бы я тут,
 я другой бы обдумал путь.
 Ведь и Меча-то рядом, — какой разговор!
 Долго ль воду поднять в поля?

Пересохшие степи вспомни, сапёр,
 бесконечный звон ковыля...
 Отступление. Жарко. Хочется пить.
 Притомился, устал народ.
 Надо воду добыть. Надо воду добыть.
 За работу, сапёрный взвод!
 Видишь, даже ковыль пожух и зачах.
 Дан приказ, разговору нет.

...Таня, Таня, на милых твоих плечах
 коромысла глубокий след.
 Я ещё не касался твоих плечей
 ни губами, ни рукой...
 Я за эти десять твоих ночей
 завуюю тебе покой.
 Я пойду как солдат на твою беду,
 и машины со мной пойдут.
 Я Красивую Мечу в поля приведу,
 пусть с народом разделит труд.
 Что ты вьёшься без дела? Работай на нас.
 Красоваться будешь потом.
 Таня, Таня...

Списали сержанта в запас
 только осенью в сорок шестом.
 Ехал парень к миру, к большому труду,
 к дому, к счастью, к любви своей,
 по местам, которые в том году
 потрепал, пожёг суховей.
 Днём и ночью катился, гремел вагон,
 возвращался домой боец без погон,
 путь-дорога прямо вела.
 И манили сержанта со всех сторон

замечательные дела.

И попутчики звали его кто куда:
на Камчатку и на Урал,
в незнакомые крымские города,
на Невинномысский канал.
Было всё интересно и всё по нём,
он за всё бы взяться непрочь,
но степенно он стоял на своём:
«Не могу. Надо дома помочь».
И с невольной гордостью думал о том,
как силён его победивший дом,
сколько новых дорог открыто ему,
как он нужен в родном дому.
Только он не пойдёт куда-никуда,
у него есть мечта своя.
Я люблю тебя, Таня!

Придёт вода

в золотые наши поля.
Я люблю тебя, Таня!

Скорей вперёд!

Путь-дорога не далека...

Год назад записал он себе в блокнот
адресок комиссара полка.
Как-то так получалось, что их не раз
жизнь сводила в особенно трудный час —
сколько тех часов на войне!
Замполит оказался его земляком:
«Попадёшь в Елец, не минуи райком,
гостем будь, заходи ко мне».

И пустился сержант с вещевым мешком
от вокзала в город пешком.
Изо всех окошек, со всех крылец
на него глядел городок Елец:
«Далеко ли ты ленивым шажком
держишь путь, без погон боец?»

Погружённый в строительные леса,
городок деловито жил,
повторяя на все лады голоса
топоров и электропил.
Возле каждой стройки вдыхал солдат
молодых тесин аромат.
Шла работа, проворна и горяча,
он стоял и взволнованно примечал,
как работал парень-мастак,
любовался кладкою кирпича:
«Я ещё не умею так.
Что я строил? Окопы да блиндажи.
Подучиться бы мне чуть-чуть.
Подойти к строителю: «Покажи».
Да не время...

И дальше в путь.

«Я сегодня думаю о другом, —

я в колхозе нужен пока.
Там посмотрим».

С тем и пришёл в райком
к своему комиссару полка.
Эти мысли и выложил начистоту
на расспросы его в ответ.

Тот подумал, привстал, отодвинул стул,
зашагал по комнате:

«Нет!

Нет. Неправильно. Ты это знаешь сам.
Нужно дальше глядеть, сержант.
Не годится на малое тратить нам
дорогой народный талант.
Три гектара... Вчера лишь невесте твоей
это трудно досталось, брат.
За труды мы сказали спасибо ей,
но ведь ты-то сегодня намного сильней,
победитель, советский солдат.
Не далёко же ты заглянул вперёд,
если выдумал строить водопровод,
чтоб полить гектар пятьдесят.
Нет, не этого ждёт от тебя народ,
ставший именно в этот тяжёлый год
и мудрей и сильней стократ.
Не для этого мы победили, брат,
научились, набрались сил.
Будем в области строить речной каскад,
сотни тысяч га оросим.
Для начала достаточно этой мечты,
но не меньше. И я хочу,
чтоб плотины и станции строил ты,
это, брат, тебе по плечу.
Чтобы ты привёл в поля и в дома
электрический умный свет.
У тебя для этого хватит ума,
а вот знаний, пожалуй, нет.
Стало быть, оставайся учиться тут, —
станешь техником в добрый час.

Понимаю, дружище, в колхозе ждут.
очень девушка заждалась.
Поезжай, объясни невесте своей,
и она полюбит тебя сильней,
вот увидишь, во много раз.
Потому что ночам быть светлее дня
и земле хорошесть — для вас.

Не смотри недоверчиво на меня.
Это — Сталин. Его приказ.
Понимаешь? О засухе думал он.
Что же светит нам впереди?

Ты когда-нибудь слышал про Волго-Дон?
Не слышал ещё? погоди!»

Говорил секретарь, словно думал вслух,
говорил, словно песню пел.
Свежий ветер подул... Захватило дух.
Волго-Дон по степи шумел.
И вчера ещё мёртвые берега
наливались соком, цвели,
сотни тысяч, тысячи тысяч га
новорождённой земли.

Проложить тебе путь, большая вода,
чтобы лучше жилось кругом,
не жалеть для этого сил и труда,
не жалеть свои молодые года, —
как я мог мечтать о другом?
Да, я буду учиться и строить канал,
я давно уже только об этом мечтал
и о том же мечтала ты.
В светлом мире, меж солнечных трав и хлебов,
видишь, как она выросла, наша любовь,
до какой добралась мечты!

4. Вечер

Первые нескладные минуты,
первые нелепые слова...
Первое смущение, как путы.
Сердце — птицей, кругом голова.
В комнате не продохнуть от дыма,
всё ещё не прибрано вокруг...
Ничего! Всё это поправимо!
Это всё не страшно, милый друг!
Он вернулся! Он живой! Он рядом!
Погляди смелее на него.
Он глядит таким покорным взглядом,
что уже не страшно ничего.
Он с тобой, твой жданный, твой любимый,
испытанье вынесший в бою,
он не видит копоти и дыма,
видит только молодость твою.

Утро вышло скомканным, нескладным...
Ничего! Ведь вечер впереди.

Вот сидишь ты в платьице нарядном,
новая косынка на груди.
Стол застелен скатертью цветастой,
в горнице торжественный уют.
Стук в окошко.

Таня встала.

Здравствуй!

Здравствуй, гость, тебя два года ждут.
Глянь в глаза мне.

Наконец, ты дома!

Хорошо тебе? Ты счастлив? Рад?

Как всё это ново и знакомо...
 За руки держась, они сидят.
 Как всё это и старо и ново...
 Беззащитных глаз счастливый свет...
 Хочется сказать такое слово,
 равного какому в мире нет.
 Хочется сказать такое слово
 одному, на целый белый свет,
 но, как на беду, как раз такого,
 именно такого слова нет.

Кажется, что на обычной ноте
 все слова звучат на этот раз:
 — Как вы тут, колхозники, живёте?
 Как вы управляетесь без нас?
 — А уж это вы судите сами.
 Вам видней, как люди говорят...

Только что им делать с голосами?
 Голоса ликуют и звенят.
 Но и голоса, пожалуй, тише
 частого биения сердец.
 — Я, Татьяна, про тебя слышан, —
 вот какой ты, значит, молодец!

Таня покраснела, помолчала,
 подняла глаза ему в ответ:
 — Ничего особенного нет.
 Это только самое начало.
 Мы ещё тут развернём такое...
 Хватит дел. Хватило бы ума!

Спутана взволнованной рукою
 скатерти цветастой бахрома.

Хочется сказать: работы хватит!
 Ты вернулся! Вместе, в добрый час!
 Но Татьяна оправляет платье
 и почти не поднимает глаз,
 а из них такое рвётся пламя
 и такая брызжет синева,
 пред которой меркнут все слова:
 ты пришёл, теперь ты вместе с нами!
 Кем ты станешь? В чём твоё призванье?

И как будто отвечая ей,
 приступает издали Сергей:
 — Начинаем жить в гражданском званье. —
 И в ответ на быстрый взгляд Татьяны,
 на вопрос нетерпеливых глаз:
 — Я хочу услышать ваши планы.
 Полагаю: встречные у нас?

Девушка смеётся:
 всё он шутит,
 и, не поднимая головы,

бедную бахромку снова крутит:
— Мы-то что... Рассказывайте вы...

И, решив договорить до точки,
прямо
напролом,
а не в обход,
через ямы, выбоины, кочки
парень смело ринулся вперёд.
Горячась и слов не выбирая,
поделился всем, чем был богат:
что в хозяйстве их родного края
будет строить он речной каскад;
что о судьбах всех полей России
думал самый мудрый человек
и решил послать в места сухие
синий ток больших и малых рек;
пусть они помогут нам в работе,
напоят хлеба, посветят нам.
Все родные речки на учёте. —
Сталин знает их по именам.

Говорил... И слов, казалось, мало
и не те... А лучших не нашёл.
До того, до главного канала, —
духу нехватило, — не дошёл.

Таня слушала и понимала:
до чего всё это хорошо!
Мы не станем ждать спасенья с неба,
нам не будет страшен суховей,
мы дадим намного больше хлеба
добрым людям родины своей.
Это ведь неслыханное дело!
Ах, какой Серёжа молодец!

Он умолк и вдруг спросил несмело:
а она поедет с ним в Елец?

Вместе с ним?
Ужасно захотелось
крикнуть: — Да! —
Но вспыхнула, зарделась...
Девушки... Колхоз... Уехать... Нет!
И куда-то вдруг решимость делась.
Где ж твоя уверенность и смелость?
Милая, какой же твой ответ?

5. Горько!

Не вспылил, не хлопнул дверью,
понимая и любя:
— Всё равно люблю и верю.
Снова буду ждать тебя.
Не согнуть меня разлуке...

Тихо взял в свою ладонь
 крепкие девичьи руки, —
 будто лёд вложил в огонь.
 Подержал, согрел, не бросил:
 — Ты подумай хорошо.
 Я поеду завтра в восемь.
 Путь не близкий... Грязно... Осень...
 Вроде снова дождь пошёл...
 Стало быть, спокойной ночи.
 Если что, пиши в Елец.

Ты накинула платочек,
 проводила из сенец.
 До калитки добежала,
 крепко-крепко руку сжала:
 — Будь здоров. Счастливый путь.
 Если можешь, не забудь.

Всю-то ночь на том же месте
 провела, как часовой,
 лишь на скатерть с бахромой
 повалилась головой.
 Снова врозь. Опять не вместе.

Ничего-то не забыто,
 всё-то вспомнилось опять,
 как богато, знаменито
 свадьбу думала сыграть,
 чтоб явился к ним на свадьбу
 без отказа весь колхоз,
 чтоб столы на всю усадьбу,
 чтобы пелось и пилось;
 чтоб невесте в платье новом
 поднимать стакан с вином,
 плодоягодным, бордовым,
 из совхоза «Агроном».
 Языки оно развяжет,
 и, храня серьёзный вид,
 кто-нибудь, конечно, скажет:
 — А вино-то ведь горчит. —
 И подхватят повсеместно:
 — Горько, горько! Вот беда!
 Что же вы, жених с невестой?
 Мёду-сахару сюда!
 — Горько! Горько! —

Надоели!

Не дают ни есть, ни пить...
 Горько! Горько!

...В самом деле,
 очень горько стало жить.

Золотую середину
 не найти в судьбе твоей.
 То ли в трудную годину
 бросить дело и друзей...

Позабыть тот тихий вечер,
 после памятной страды
 клятву ту над лунной Мечей,
 у её живой воды.
 То ль решить, что жить на свете
 вам в разлуке суждено...
 Выбирай себе одно..
 И горчат раздумья эти,
 словно горькое вино.

На кого ей быть в обиде?
 Виноват ли кто? Ничуть.
 Что Серёжа? Он увидел
 интересный, главный путь.
 Путь, который жить поможет
 всей земле, не ей одной...
 Бросить всё? Бежать к Серёже?
 Стать хорошею женой?
 Есть и в городе работа,
 много тропок и дорог...
 Как же быть?

Решил бы кто-то.
 Хоть бы кто-нибудь помог.

Горько!

Но она не плачет,
 сжала зубы — и молчок,
 и мечты свои не прячет
 в аккуратный сундучок.
 Не такой закон у Тани,
 для того она горда,
 слёзы лить она не станет,
 слёзы — горькая вода.
 Буду жить, с собою споря..

Мать тревожится о ней:
 говорят, сухое горе
 сушит молодость сильнее...

Как споткнулась по дороге —
 что-то вдруг оборвалось.

И судьбу её в тревоге
 обсуждает весь колхоз.

Семь девчонок, семь подруг
 всколыхнули всё вокруг:
 — Или вам её не жалко?
 Или розно мы живём?
 Почернела, словно галка,
 так и сохнет с каждым днём.
 Что ж вы смотрите, соседи?
 Что ж вы смотрите, друзья?
 Это бросить так нельзя.
 Пусть она в Елец поедет. —

Семь подружек, семь девчат
 к председателю стучат:
 — Что нам делать, тётя Настя?
 Таня тает, как свеча.
 Разве можно рушить счастье,
 словно дерево, с плеча.
 Мы в хвосте плестись не станем,
 мы управимся без Тани.
 Мы решили — и конец:
 отправляй её в Елец.
 Не пойдёт по доброй воле,
 увози её силком...

И бегут девчата к школе
 ближней тропкой, напрямиком.
 Новый флигель возле школы,
 будто чей-то глаз весёлый,
 ярко светится окно.
 Самый первый твой учитель
 дверь открыл, внакидку китель:
 — Я-то с вами заодно.

Семь девчонок, семь подружек
 по колхозу вьюгой кружат,
 из правленья в сельсовет
 протоптали свежий след...

6. Новая доля

Вечерами сходились у школы.

(В колхозе не было клуба).

Гармонист не жалел мехов, молодёжь не жалела
ног.

А то разольётся песня так, что послушать любо,
 а то забегут погреться к учителю на огонёк.
 В учительском доме людно, светлая зала большая.
 Так повелось в колхозе в первый военный год,
 как вернулся учитель раненый, — порядка не
 нарушая,
 почти что ежевечерне к нему приходил народ.
 Треугольные письма с фронта, радости и печали, —
 всё переживалось вместе, всё обсуждалось тут.
 Тёмной осенью сорок первого тут, бывало,
 подолгу молчали,
 тут в сорок третьем услышали первый салют.

... В этот осенний вечер, дождливый, длинный
 и ранний —
 на улице не погуляешь, — люди сошлись сюда.
 И так это, слово за слово, заговорили о Тане,
 о том, что она горюет, — вот ведь какая беда.
 Спрашивали подружек, как она там, здорова?
 Что ей Серёжа пишет? Часто ли письма шлёт?

Иные жалели Таню,
 иные судили сурово:

что ещё за капризы,
девичья блажь,
пройдёт.

Вздор!

Потакать не надо.

Дела — край непочатый.

Лучшая звеньевая — нам без неё не с руки.
Но на таких «ораторов» набрасывались девчата,
А их было очень много и все на язык бойки.

Золотые твои подружки,
родные твои сестрёнки,
заводилки и работяги,
непобедимый отряд.

Как за себя воюют...

А вдали от родной сторонки
у многих из них любимые в холодной земле лежат.
Иные другого встретят, иные не встретят другого,
но цену девичьему счастьем этим ли не понять?
Пусть Таня будет счастливой.

Какое же скажет слово
председательница колхоза, его справедливая мать?
Девчата заволновались, — ведь это слово решает.

Опустив полушалонок на плечи,
глядя поверх голов,
Тётя Настя стояла молча,
задумчивая,
большая,

немолодая,

седая,

вдова с двадцати годов,
в безымянной братской могиле похоронившая сына...
Девчата насторожились: как бы не сорвалось.
Сейчас как начнёт, как наладит:

порядок,

трудоцициплина...

Что тебе, комсомолке, дороже:

милёнок или колхоз?

Личные ли делишки, государственное ли дело?

Тётя Настя стояла молча, потом оглянулась кругом,
как будто припомнила что-то,

вспыхнула,

помолодела

и заговорила тихо

и совсем о другом.

Как будто не в людном месте, не перед народом
в школе,
а с верной своей подружкой, лет тридцать тому
назад,
она говорила тихо о собственной горькой доле,
о том, о чём на народе обычно не говорят.
Как мало она видала того, что зовут любовью.

Просватали,
 сговорили,
 в слезах под венец повели...
 Почти не побыв женою, надела повязку вдовью...
 Безрадостно и уныло, особенно издали.

— Ушли мои девичьи годы, повило их дальней далью.
 Пожалуй, что я на свете смолоду и не жила...

Слова её звучали такой человеческой печалью,
 как будто старую песню она не спеша вела.
 Была эта старая песня и трогательной, и грубой,
 казалось, она звучала на разные голоса.
 Бабы стирали слёзы,

 девчата кусали губы,
 мужчины крутили цыгарки и отводили глаза,
 как будто бы говорили:

 полно, родная, что ты?
 О том, что похоронила, на людях не говорят.

Но вдруг полетела песня на самые верхние ноты,
 но вдруг зазвучала песня на новый высокий лад.
 Как будто она рванулась на волю из душевного
 круга,
 как будто она увидела раздолье и высоту.

— Какое большое счастье, когда двое любят друг
 друга.

Я, старая, понимаю эту радость и красоту.
 Я, старая, понимаю:

 это великая сила.

Нет в молодые годы чище и ярче огня.

Я, старая, не позволю, чтобы горе его погасило.

Я хочу, чтобы Таня была счастливей меня.

Давайте прикинем вместе, управимся ли без Тани?

Пришли из армии люди, есть кем её сменить.

Год трудный, но мы сильнее.

 Ужель мы слабее станем,
 если Таня станет счастливей?

 Не может этого быть!
 Не навсегда расstaёмся, не далеко провожаем.

Город — наш,

 мы друг другу подмога,

 она нам и в городе дочь.

Этот год мы хлебнули лиха, через год нам быть
 с урожаем.

Будет нужно — пришлём телеграмму:

 приезжай, мол, помочь.

Пожелаем Тане удачи, жизни дружной, любви
 весёлой...

На этом и порешили, дорогая моя,
 твой комсомол, твоя партия, твоя колхозная
 школа,
 твоя большая, твоя трудовая семья.

7. Елец

Словно стая птиц, словно гурт овец,
ты раскинулся на холме,
городок Елец, городок-делец,
городок — себе на уме.
Не одну в старину ты видал войну.
У тебя, поди, расспроси.
Ты Москве служил, ты тревожно жил,
ты берёг границы Руси.
Не один удар крымчаков-татар
отразила твоя земля.
Отошли бои, и князья твои
распахали свои поля.
Городок на стыке больших дорог,
городок — не пахарь, не жнец,
сторговал что смог и продал что смог,
нажился городок Елец.
Городок-Елец, городок-купец,
городок — за так не отдам,
подоспел товар, зашумел базар,
погуляй, пройдишь по рядам!
От елецких кож аромат хорош,
хороши мастера в Ельце,
хороши торгоши, хороши барыши,
и хорош замок на ларце.
Наживай, купец, — одна живёшь! —
запирай под замок, что смог.
А для тех, кто беден, в Ельце хорош
дармовой казённый острог.
Но в острог не упрятать могучий труд,
не упрятать в острог твой рабочий люд,
мукомол и шорник, гончар и кузнец,
городок-умелец Елец.
Потому что он прав испокон веков,
трудолюбивый рабочий народ,
потому что партия большевиков
неуклонно его ведёт.
Есть на свете Питер, и Смольный есть!
Выше стяг борьбы и труда!
Понесли в Елец дорогую весть
телеграфные провода.
В твой кондовый быт входит новый лад.
В добрый час, дорожкой прямой
возвращается с фронта бывалый солдат,
разгромив беляков, домой.
Твой орловский обкатанный говорок
уберёт и в разлуке он.
Он вернётся хозяином в городок,
командиром придёт в район,
сговорится с крестьянскою беднотой,
не боясь кулацких угроз,
как поларок на праздник, пошлёт к посевной
первый трактор в первый колхоз.
Городок-рядовой, твёрдо вставший в строй
трудолюбивой семьи городов,

вместе с нами ладь, вместе с нами строй,
 непреклонно и чутко на страже стой,
 будь всегда на битву готов!
 И когда завыл над Сосной свинец,
 ты развёл её берега.
 Городок Елец, городок-боец
 не пустил на Москву врага.
 И в победный день зацвела сирень
 над твоею быстрой Сосной,
 городок Елец, городок-скворец,
 до чего ты хорош весной!
 Над тобою на разные голоса
 заливаются соловьи.
 Одевайся в строительные леса!
 Подымайся, расти, живи!
 Если сесть в самолёт и с весенних высот
 поглядеть на елецкий район,
 ты увидишь, как город дымит и растёт,
 чёрным морем полей окружён.
 Пусть шумит это море, пусть станет оно,
 как морская вода, зелено.
 Пусть белеет от солнечных ярких лучей,
 что ни час становясь горячеей.
 Пусть большие комбайны его уберут,
 без дождей,

без потерь,

побыстрей.

И — да здравствует сельскохозяйственный труд
 дорогих чернозёмных морей!

8. Любовь

Все пути открыты. Мир огромен.
 Всем колхозом участь решена.

Вот твой дом и ты хозяйка в доме,
 молодая женщина, жена!
 Муж тебя и балует и любит,
 бережёт и нежит —

по утрам

он в сарай идёт, дровишки рубит,
 на второй этаж таскает сам.

Ты учиться сразу бы хотела,
 да нигде набора нет — зима!
 Муж решил: покуда суд да дело —
 отдохни да подучись сама.
 Он хороший, — о твоей уступке
 никаких напоминаний нет.

... Первые весёлые покупки:
 репродуктор, зеркальце, буфет.
 Первые уютные безделки,
 не куда-нибудь, к себе домой.
 Собственные чашки и тарелки,
 белые с малиновой каймой.
 С непривычки любо было Тане

заводить хозяйство и уют.
Вот уже нарядные герани
на окошках празднично цветут.
В комнате всегда светло и чисто,
музыка и тиканье часов,
на стене любимые артисты:
Дружников, Марецкая, Чирков.
Что ни что сварить на керосинке,
ничего особенного нет.
С непривычки весело на рынке
выбирать картошку на обед,
молоко в казённой пол-литровке
покупать в молочной по утрам,
вспоминая о своей коровке, —
кто её теперь похолит там? —
Таню всё забавило сначала,
всё ей было весело и вновь.
Ни минуты сердце не скучало,
мир был полон: с каждым днём крепчала
дружная весёлая любовь.

Каждый раз неведомо откуда,
каждый раз неведомо когда,
ты приходишь, молодое чудо,
праздничная яркая звезда.
И земля становится богаче,
озарённая твоим лучом,
прозревает тёмный и незрячий,
делается слабый силачом.

А могла ведь не случиться встреча.
Страшно и подумать. Никогда!
Вы бежали, словно Дон и Меча,
для того, чтоб слиться навсегда.
Дон и Меча — два живых потока,
общая дорога и удел,
вместе вам бежать ещё далёко,
переделать много славных дел.
Дон и Меча — две могучих воли,
воедино слитые навек...

Милая моя, не для того ли
полюбить способен человек,
чтобы стать сильнее и богаче,
человечней, ярче и умней,
чтобы от любви его горячей
засветилось множество огней.
Жить на благо людям, словно реки.
Жить, не уставая ни на миг.

... Ты сидишь в большой библиотеке,
под зелёной лампой, среди книг.
И, глотая книжные страницы,
продолжаешь старый разговор:
ах, как много нам ещё учиться,
как мы мало знаем до сих пор.

как мы мало слушаем учёных,
 а у нас ведь общие дела...
 Побегать домой, собрать девчонок,
 рассказать им всё, что я прочла.
 Что, если посеять раньше срока?
 Взять на пробу северную рожь?
 Но девчата хоть и недалёко,
 всё же их сейчас не соберёшь.
 Как же быть?
 Ты увлечённо дышишь
 городской рабочею зимой.
 Лекцию хорошую услышишь, —
 не забыть бы — и до ночи пишешь
 длинное послание домой.
 Как прошло отчётное собрание?
 Как дела? Что нового у вас?

Почему опять строка в тумане?
 Что ты снова смахиваешь с глаз?

Не забудьте, в срок возьмите пробы.
 Не забудьте... Лучше б я сама!

Оседают снежные сугробы.
 Тронулась елецкая зима.
 Яркие февральские закаты
 горизонт заснеженный зажгли,
 и волнуют душу ароматы
 отдохнувшей за зиму земли.
 Дружно тает снежная водица,
 вволю напивается земля...
 Что-то мне над книжкой не сидится,
 тянет выйти, поглядеть поля.

Ходит Таня, места не находит,
 по ночам не спит...

А всё кругом
 поднялось, как речка в половодье,
 всё твердит о самом дорогом.
 Радио над городом грохочет,
 говорят полотнища газет:

«От колхозников отчизна
 ждёт решающих побед».

«Больше снега на полях —
 больше хлеба в закромах».

«Будь готов к весне, товарищ!
 Урожай ждёт страна!
 Подготовь к весне, товарищ,
 инвентарь и семена!»

Волны шума трудового
 высоки и горячи.
 Хлеб!

Пылает это слово
полевым костром в ночи.
Хлеб!

Горячий блеск металла,
тракторов трескучий строй.
Всё, о чём душа мечтала
нашей страдную порой.
Где вели мы рукопашный,
бой машины поведут.
Хлеб!

Твои родные пашни,
твой талант,
 призвание,
 труд.

Хлеб!
Ещё трещат морозы,
не слабеют холода.
но подмогу шлют в колхозы
трудолюбивые города.
Хлеб!

Кипеньем вдохновенным
всё охвачено кругом.
И гремит Февральский Пленум,
как весенний первый гром.
Будто чьё-то слушая веленье,
от листа не отрывая глаз,
ты прочла его постановление,
не один разок, а много раз.
Как письмо от друга дорогого
к самым тайникам твоей души,
ты его развёртывала снова
в напряжённой комнатной тиши.
И тебе сквозь полосы газеты,
в оснежённом полдне февраля,
занимались яркие рассветы,
зеленела тёплая земля.
Бороздами разбегались строчки
и меж ними возникали вдруг
бойкие, весёлые платочки
на земле трудящихся подруг.
Ранний час. Кругом играют росы.
Жаворонок песенку поёт.
Девушки высеивают просо,
только уж не так, как прошлый год.
Ленточный посев широкорядный,
как в совхозе обучали вас,
сделал пашню прибранной, нарядной,
домовитой, радующей глаз.
Ну а ты? Твои задор и доблесть?
Помрачнела, как денёк к дождю...
Шлёт письмо твоя родная область
нашему великому вождю.
Пишет Сталину твоя округа,
твой колхоз «Ударник» впереди,
подписалась за тебя подруга,
выбранный народом бригадир...

Мастера большого урожая
 обещают дать его стране.
 Господи, а я-то что, чужая?
 Где же можно подписаться мне?

Как на грех, Серёжи нету дома.
 Понял бы, утешил бы...

Но он
 выехал с бригадою райкома
 технику обследовать в район.
 Где их там мотало?

Что за сила
 из кюветов «виллис» выносила?
 Что они увидели, бог весть!
 Он вернулся грязный, обалделый;

— Если б ты, Татьяна, поглядела...
 Дай скорей умыться и поесть. —
 И, прихлёбывая чай горячий,
 говорил Серёжа:

— Всё иначе.
 Принялись за дело хорошо.
 Новые размахи и масштабы...
 Если бы ты с нами побывала бы... —
 выпил чай, собрался и ушёл.

Похудел, помолодел и ожил...
 Самый близкий, самый дорогой,
 если бы он знал, как растревожил
 помыслы, владевшие тобой.
 Ворвались в квартиру вместе с мужем
 полевые шумы и лучи...
 Поджидала, собирала ужин...
 Он вернулся запоздно, в ночи.
 День за днём припомнил многовёрстый,
 весь район исколесивший путь...
 Будто бы смолистую берёсту
 бросил в пламя, глевшее чуть-чуть.
 И уснул, с тобою рядом лёжа...
 Охраняя сон его, как мать,
 Про себя шептала ты:

— Серёжа,
 Как ты можешь спать?
 Разве ты не слышишь, как мне худо,
 что лежу я, не смыкая глаз?
 Разве я могла уйти оттуда
 в этакий-то час?
 Что ж ты спишь, как будто и не зная
 про мою беду?
 Там идёт не просто посевная
 в нынешнем году.
 Там такими сеют семенами...
 Там такие встанут зелёнью...
 Там такими заняты делами...
 Там такое начали... А я?
 Кто я есть теперь? Чего я стою,

разлучённая с судьбой своей?
 Ты, поди, среди большого боя
 не бросал друзей.
 Мне сегодня нужно быть на месте,
 ни за что не отступать назад.
 Верно ведь, Сергей? Скажи по чести?
 Что ж ты спишь, солдат?
 Этой знаменитою весною,
 на развилке всех моих дорог,
 я хочу, чтоб ты горел со мною,
 чтобы ты мне чем-нибудь помог.
 Что ж ты спишь, дружок?
 Или нет согласия между нами?
 Полно! Обними меня, согрей...

Сон нейдёт.

Клубится сумрак в раме...
 Дышит ночь весенними парами
 отдохнувших за зиму полей...
 Вздох короткий вырвался и замер:
 широко раскрытыми глазами
 на неё глядел Сергей.
 Будто он и впрямь не спал нисколько
 и родное сердце услышало
 всё, что в ней боролось и звучало;
 молча обнял и прижал к груди,
 очень тихо прошептал:

— Иди.

Я и то уж, говоря по чести,
 Ту же думу думаю, не сплю...
 Всё равно мы всюду будем вместе.
 Спи спокойно. Я тебя люблю...
 Я тебя люблю!

И окна настезь!

Шире дом! Препятствий в мире нет.
 Я тебя люблю!

Ничем не застишь
 этих слов неугасимый свет.
 Все противоречия решая,
 шла любовь, мужая каждый час,
 как берёзка, в небо поднялась,
 выросла красивая, большая
 и сумеет постоять за нас.
 Я тебя люблю —

и это значит:

выхожу я в справедливый бой,
 и моя любовь переиначит
 всё, что неуютно нам с тобой.
 Я тебя люблю, и не остудит
 смертный холод этого огня.
 Я тебя люблю!

Войны не будет.

Спи спокойно, милая моя.
 Спи спокойно, горестей не зная.
 Участь мира нами решена.
 Я тебя люблю, земля родная,

родина моя, моя жена.
Я тебя люблю, и всё на свете
верит мне.

Далёко ль до утра?

Спи, моя подружка, спи, мой светик...
Или нет, уже вставать пора.
Дрогнул сумрак предвесенней ночи.
Встала предрасветная звезда.
Здравствуй, завтра!

Здравствуй, день рабочий!

Здравствуй, праздник мирного труда!

9. Завтра

Вот и всё.

Но, говоря по чести,
разве можно так кончать рассказ?
Я хочу героев видеть вместе.
Так и будет, уверяю вас.
И разладить счастье человечье
жизнь сама, по правде говоря,
не позволит.

Над Красивой Мечей
занялась вечерняя заря.
Левый берег низкий и пологий,
луговой, а правый берег крут...
С опытного поля, по дороге,
над рекою девушки идут.
Поднялись на горку из низины,
потянулись мимо большака...
У моста кудрявые лозины,
под мостом певучая река.

— Что-то нас, подружки, меньше стало...
Где-то потеряли мы одну...
— Вы меня не ждите, я устала, —
я тут у водички отдохну.

Вот она сидит на низкой травке,
голову руками обхватив...
Чистый голос ястребиной славки,
песенки серебряный мотив
прозвенел и удивлённо замер,
ветерком провеял у лица...
Смотрит Таня светлыми глазами,
будто ждёт счастливого конца.
Но когда он, наконец, наступит,
ты его концом не назовёшь...

Он приедет, потому что любит,
он приедет, потому что ждёшь.
Он придёт во что бы то ни стало,
с ним придёт желанная пора:
ты увидишь, как легко и мало,
то, что было подвигом вчера.

Ты увидишь, как во всём едины
наши чувства, помыслы и труд.

Побеждая мели и глубины,
Дон и Меча вместе потекут.
Потекут в просторы Приазовья,
потекут в приволжские поля...
Вашей победившею любовью
озарится мирная земля.

И дыша вечерней тишиною,
травами и росами полей,
зашагают рядом муж с женою
общую дорогою своей.
Алый, точно флаг над сельсоветом
в дни больших революционных дат,
вечный, точно герб на флаге этом;
перед ними вымахнет закат.
Понесут они его, как знамя,
после демонстрации домой,
весело, широкими шагами,
с поднятой высоко головой.

Веет ветерок душистым летом,
сладкой пылью тает на губах,
и горит, горит зелёным светом
поля государственный размах.
Муж с женой идут, не поспешая, —
это жизнь сама их повела
улицей широкого села,
где Танюша маленькой была,
где Татьяна выросла большая.

Час заката в окнах отражая,
розовеют встречные дома...
Если б ты увидела сама
в этот миг, какая ты большая,
как близка твоя земная цель,
как она пряма, твоя дорога.
Веет тополиная метель, —
будто снег у каждого порога.

Вот и всё. Но верю неуклонно:
высоко приподымая нас,
где-нибудь в районе Волго-Дона
время продолжает мой рассказ.
Жизнь сама выводит нас в просторы.
...Может быть, совсем не Волго-Дон,
может, это Ленинские Горы
или Тимирязевский район?
Вечный свет народных академий...
Звёздочка Героя на груди...
Как река, шумит большое время, —
новые дороги впереди.

Маленькая Меча разве знала,
что её упрямая вода

руслом знаменитого канала
понесёт тяжёлые суда;
что её Цымлянская плотина
вскинет на такую высоту,
чтоб она впервые воплотила
древнюю народную мечту;
чтоб её девическая сила
в силы всенародные влилась,
свет зажгла и степи оросила
и широким морем разлилась.

Будь, моя хорошая, такую,
как того желает твой народ,
и води, води моей рукою,
и веди, веди меня вперёд.
Как река, несётся наше время,
увлекая встречные сердца
всё вперёд.

И нет конца поэме,
потому что жизни нет конца.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

И. ЖМЫХОВ

★

В НОВОМ КИТАЕ

Кандидат исторических наук И. Н. Жмыхов, воспоминания которого печатаются ниже, в течение года находился в Китайской Народной Республике. Он возглавлял группу преподавателей Высшей школы продвижения ВЦСПС, приглашённых Всекитайской федерацией профсоюзов для чтения курса лекций.

1. ПО ДОРОГЕ В ПЕКИН

Обновлённый край

Был полдень, когда мы заняли места в экспрессе «Маньчжурия — Пекин». Много, очень много событий должно было произойти, чтобы на пассажирских вагонах китайского поезда смогла появиться эта эмалированная табличка: «Маньчжурия — Пекин».

Прежде на пути от северной границы Китая до южной пассажир совершал четыре пересадки, четырежды, словно тюк с хлопком или мешок с рисом, его передавали из рук в руки иностранные железнодорожные компании: английская — бельгийской, бельгийская — французской, французская — японской, японская — снова английской.

Сегодня в Китае один хозяин — победивший народ. Двадцать девять тысяч километров китайских железных дорог принадлежит ему и только ему. Вот почему наш поезд, пренебрегая былыми кордонами, которыми так долго пытались расчленивать китайскую землю чужеземные поработители, сейчас свободно и без задержек идёт из Маньчжурии в Пекин, в столицу Народной республики. И другие поезда идут отныне напрямик сквозными тысячекилометровыми маршрутами: Шанхай — Пекин, Кантон — Пекин, Баотоу — Пекин... Новые времена настали в Китае: народ вернул, наконец, себе родную землю, её недра и воды, её железные дороги, порты, заводы, шахты.

За окном вагона медленно проплывают поля Маньчжурии. Как часто советские люди обращали свой взор к этому захваченному японцами северо-восточному форпосту китайской земли. Здесь в течение десятилетий точили свои мечи самураи, хунхузы готовили разбойничьи сотни для нападения на приамурские станицы, а белогвардейский атаман Семёнов инспектировал свои банды. Здесь в глубоких норах, одетых в железо и бетон, обосновалась «знаменитая» Квантунская армия — вооружённый кулак японского империализма. Отсюда японцы пытались грозить СССР.

И вот наш поезд пересекает освобождённую Маньчжурию. За окном — поля, едва прикрытые снегом. Время от времени видны серые пятна бетонированных дотов. Из их амбразур торчат железные трубы, над трубами выются низкие дымки — домашние, мирные. Китайские крестьяне-переселенцы приспособили эти некогда грозные японские сооружения для человеческого жилья.

Мы проехали от границы уже сотни километров, а железобетонные корпуса дотов попрежнему то и дело поднимаются над землёй, пробивая тонкий покров снега.

Чем ближе к населённым пунктам, тем гуще сеть укреплений вокруг. Нам объясняют: это укреплённые полосы, созданные японцами против партизан. Не в интересах врага было преувеличивать партизанские силы, но японцы признавали, что численность стряпов, действовавших здесь в разгар антияпонской войны, достигала трёхсот тысяч!

Сегодня Маньчжурия — всекитайская кузница и кочегарка. Пять маньчжурских городов — Мукден, Харбин, Фушунь, Беньсиху, Аньшань — дают восемь десятых всего добываемого в стране угля, чугуна, стали. Впрочем, северо-восточный Китай не только крупнейшая промышленная область — это одновременно и богатейший сельскохозяйственный район, северная житница Народной республики. 16 миллионов гектаров земли ежегодно засеваются здесь соей, кукурузой, пшеницей, рисом, гаоляном. А сколько ещё пустует целинных земель!

Именно этим вызван поток переселенцев, которые устремляются сюда из всех провинций Китая. Народное правительство, со своей стороны, способствует переселению на северо-восток как крестьян, так и рабочих. Мощная промышленность Мукдена, Харбина, Аньшаня, выросшая с приходом народной власти в два и даже в три раза, остро нуждается в рабочей силе, тогда как в Нанкине, Ханькоу и особенно в Шанхае ещё немало безработных. Но кроме того, на северо-восток — поближе к источникам сырья — перебазировались многочисленные предприятия из городов Центрального Китая, промышленность которых до последнего времени работала на иностранном сырье. Вместе со своими заводами и фабриками перебираются в Маньчжурию и многие рабочие.

Неслучайно этот край с его растущей промышленностью является ныне лабораторией передового опыта китайских рабочих-новаторов. Именно здесь был впервые воспринят пример советских шахтёров-стахановцев, а вслед за тем и почин наших металлостроителей-скоростников. Об этом с гордостью рассказывали нам наши соседи по вагону. А позднее на съезде Героев Труда в Пекине мы встретились с одним из прославленных мукденских рабочих — Чжао Го-ю, который завоевал уважение и почёт тем, что первым подхватил почин советских новаторов производства. Этот молодой рабочий — ему ещё нет и тридцати — произвёл подлинную революцию в технологии изготовления одной важной детали: метод Чжао Го-ю позволил сократить время её обработки с двадцати четырёх часов до пятидесяти минут.

Другой мукденский рабочий, Лю Ин-чан, прославился высоким трудовым подвигом ещё в тяжёлые дни освободительной войны. Войска Чан Кай-ши, отступая из Мукдена, взорвали турбогенераторы на всех электростанциях города и погрузили Мукден во тьму. Лю Ин-чан, использовав детали взорванных машин, ввёл в строй самый большой агрегат и дал городу электричество. Народное правительство присвоило патриоту звание Героя Труда, а после победы поручило Лю Ин-чану управление большой столичной электростанцией.

...Мы проезжаем Мукден рано утром. Поезд медленно ползёт через город. Подняв к небу законченные трубы, заводы стелют над окраинами и предместьями сизо-чёрные полосы дыма. Рядом со старыми почерневшими цехами уже громоздятся новые корпуса. Среди серых городских строений то здесь, то там ярко проступают радостные краски новостроек: сочные пласты нового кирпича, свежеекрашенное железо, тщательно ошпательное дерево... Наши спутники рассказывают, что враг, отступая из Мукдена, основательно разрушил его. Но трудолюбивые руки народа сделали за минувшие два года чудеса. Мы пересекаем город из конца в конец и не замечаем разрушений. Позднее сами мукденцы говорили нам, что восстановление города идёт успешно: в нём уже нелегко обнаружить следы войны.

Великая китайская стена

Когда поезд подходил к Шанхайгуэню, пассажиры прильнули к окнам: вдали показались очертания Великой китайской стены. Широкая, увенчанная зубцами, вздымающаяся тяжёлые громады прямоугольных сторожевых башен с узкими бойницами, древняя стена уходила на запад. Она уходила, величаво изгибаясь, то сползая в

ложбины, то взбираясь на холмы. Только когда мы подъехали совсем близко, стало видно, что это казавшееся монолитным сооружение представляет собою две параллельные стены, возведённые на расстоянии метров восьми — десяти одна от другой, промежуток между которыми заполнен землёй.

Великая китайская стена — один из самых замечательных памятников мировой архитектуры. Даже в наши дни, когда появляются такие грандиозные создания строительной техники, как многокилометровые каналы, гигантские гидростанции, высотные здания, Великая китайская стена поражает воображение своими размерами. Она остаётся одним из величайших сооружений, которые когда-либо знала история человечества, хотя ныне сохранилась лишь её четвёртая часть протяжённостью в полторы тысячи километров.

Лженаука колонизаторов Китая пыталась «объяснить» создание этой стены стремлением китайцев отгородиться от внешнего мира, уберечь свой «варварский мир» от влияния «культурного Запада». Такое толкование было призвано оправдать грабительское вторжение империалистов в Китай их «благородным» желанием «разрушить китайскую стену» и дать возможность отсталому народу вкушать прелести европейской «цивилизации».

История же говорит, что Великая китайская стена была создана в своё время с простою целью — обезопасить от нападения гуннов страну и её торговые пути в Индию, а позже в Византию и на славянский юг. Эта стена была возведена трудолюбивым народом, жаждавшим мира и спокойствия.

Современных гуннов — европейских и американских колонизаторов — уже не могла остановить древняя стена. Они вторглись в Китай, и их «цивилизаторский поход» явился беспримерным по своей жестокости опустошительным нашествием на чужую землю.

Хроника ратных подвигов англо-саксов пестрит событиями, о которых народ Китая никогда не забудет.

Кантон, 28 октября 1856 года. Командующий британской эскадрой адмирал Сеймур приказал подвергнуть Кантон жесточайшему артиллерийскому обстрелу. Канонада продолжалась в течение суток безостановочно. Большой город был сожжён дотла...

Пекин, 21 сентября 1860 года. Англичане и французы ворвались в Пекин. Прежде чем наброситься на богатства самого города, интервенты устремились к летней резиденции императоров — Юань Мин-Юань («Круглый светлый сад»). Это был городок дворцов, своеобразная сокровищница национального искусства. И не только потому, что он сам по себе являлся уникальным архитектурным созданием, но и потому, что служил хранилищем замечательных исторических и художественных ценностей. «Цивилизаторы» разорили дворцы, а затем, чтобы не оставить миру никаких свидетельств своего неслышанного преступления, до основания сожгли их.

Тяньцзинь, 14 июля 1900 года. В Тяньцзинь ворвались японцы, а вслед за ними англичане и французы. Город был разрушен и разграблен. Целые районы представляли груды камней, кирпича и угля, по которым бродили одни собаки, — свидетельствует наш соотечественник, журналист Д. Янчевецкий, бывший в это время в Тяньцзиньне. — Из-под золы и мусора выступали обожжённые кости скелетов, обгоревшие трупы, истлевшее платье, битая рухлядь. Тысячи и десятки тысяч семей были разорены, перебиты, сожжены и рассеяны. В городе сейчас же начался жестокий, неудержный и ненасытный рабёж...

Это только три эпизода из тысяч. Они достаточно красноречивы.

Каменное кольцо Великой китайской стены действительно было разрушено, но не для того, чтобы проложить дорогу «священному огню культуры», а для того, чтобы погрузить страну в дымное пламя грабежей и разбоя.

Наш поезд подходит к Шанхайгуэню, а мы ещё долго не можем оторвать взгляда от Великой китайской стены, которая всегда будет олицетворять стремление миролюбивого народа к труду и спокойствию.

Город на холмах

За Шанхайгуэнем начинается Северный Китай. Без задержек продолжая свой путь, поезд подошёл на рассвете следующего дня к Тяньцзиню — городу, который представлял для меня и моих спутников особый интерес. Здесь находилась Высшая школа профдвижения Китая, открывшаяся в 1949 году. По приглашению Всекитайской федерации профсоюзов я и мои товарищи, профсоюзные работники В. С. Галегин и И. П. Марков, должны были прочесть курс лекций в этой школе. После краткого пребывания в Пекине, куда лежал сейчас наш путь, нам предстояло вернуться сюда, в Тяньцзинь, и обосноваться здесь надолго. Вот почему так пылливо всматривались мы в предутреннюю мглу, стараясь разглядеть очертания огромного города, в пределы которого уже вошёл наш поезд.

Вставала утренняя заря, и мгла быстро редела. Перед нами вырос лес многоэтажных домов. Вздвигались к небу металлические фермы радиомачт. Одна выше другой поднимались трубы заводов. Город нам показался массивным, мощным, каким-то необыкновенно величественным. Потом мы поняли, что первое впечатление от этого и в самом деле промадного города усиливается ещё тем, что он расположен на холмах, которые как бы приподнимают его над окружающей равниной.

Городу придаёт особое своеобразие обилие воды в нём самом и вокруг него. В Тяньцзине множество каналов. И как мы убедились потом, они давно и прочно вошли в быт города: по каналам доставляют продукты на рынок крестьяне окрестных сёл, а горожане совершают загородные прогулки. Словом, каналы — это улицы и дороги.

Когда поезд уже вышел за пределы города и направился в сторону Пекина, мы увидели, как вдали бесчисленные водные артерии собрались в единое русло, устремившееся на юго-восток — туда, где к морю несла свои жёлтые воды великая Хуанхэ.

Хуанхэ

В народных поверьях Хуанхэ зовётся и родной матушкой, пекущейся о благе своих чад, и лютой мачехой, неукротимой в своём гневе. И действительно, в этих противоречивых образах есть свой смысл.

Географы говорят, что весь Китай расположен как бы на двух ярусах: верхний ярус — на западе, там, где высятся могучие вершины Тянь-Шаня, Нань-Шаня, Сычуанских Альп, нижний — на востоке, в пределах Великой китайской равнины. Самые большие китайские реки — Хуанхэ и Янцзы — берут начало на западе страны, в ледниках высочайших гор Китая, и с огромной силой устремляются на равнинный восток, прокладывая себе путь к морю. В своих обильных водах они несут на равнину плодородный лёсс. От этого воды Хуанхэ кажутся то серокоричневыми, то жёлтыми. Отсюда и её название — «Хуанхэ» или «Жёлтая».

125 миллионов китайцев, почти исключительно крестьян, живут в бассейне этой реки. Сельское хозяйство здесь почти сплошь поливное. В половодье Хуанхэ затопляет огромные пространства. Но река даёт полям не только влагу. Всё новые и новые отложения лёсса, приносимого с гор, как бы непрестанно обновляют почву, сызна и сызна обогащают её.

Но, как гласит китайская народная пословица, река-кормилица приносит нередко и «тысячу огорчений». Ил, оседающий на дно, меняет конфигурацию русла, и, в конце концов, эти отложения превращаются в такие препятствия, которые даже могучая река не в силах преодолеть. В поисках нового русла Хуанхэ выходит из своих берегов, и мощный поток её вод устремляется на равнину, сокрушая всё на своём пути, смывая с лица земли десятки, сотни деревень и даже городов, унося с собой тысячи и тысячи жизней.

И так — из столетия в столетие — кочует река по Великой китайской равнине. Годы её опустошительных набегов, когда Хуанхэ уходила на многие десятки, а порою и сотни километров в сторону от своего прежнего русла, особо отмечены в истории Китая. Историки свидетельствуют, что в давние времена река впадала в Чилийский

залив. В XIII веке она устремилась на юг, проложив себе новое русло южнее полуострова Шаньдун. В 1853 году, размыв земляные валы, которые до этого укрощали и сдерживали её воды, Хуанхэ бросилась на север. Вссокрушающий поток пронёсся 500 километров, прежде чем успокоился, найдя себе новое русло. С тех пор прошло почти сто лет, но крутой нрав реки так и не удалось обуздать. Ежегодно в половодье её разливы причиняют неисчислимый ущерб народному хозяйству Китая. Все попытки прежних китайских правительств укротить Хуанхэ ни к чему не приводили. Возникло даже фаталистическое представление, что человек не в силах справиться с Хуанхэ — он может лишь время от времени умерять её гнев...

Но так было прежде. А теперь китайские учёные уже технически разрабатывают идею — навечно заковать реку в каменные берега и заставить энергию её вод служить человеку. Уже начаты работы по укреплению её берегов.

Проблема Хуанхэ — одна из тех грандиозных проблем, которую поставил и несомненно решит народный Китай.

...Поезд идёт на запад от Тяньцзиня, в глубь китайской низменности, к Пекину, а мы ещё долго видим множество больших и малых каналов, питающихся водами великой реки.

Поезд ушёл на север

Я не рассказал, что из Тяньцзиня мы выехали с опозданием. Наш поезд почему-то задерживался. Мы вышли на перрон. Солнце всходило из-за холмов, освещая каменную громаду города, которая поднималась прямо перед нами.

Неожиданно до нашего слуха донёсся быстро нарастающий грохот колёс приближающегося состава. В следующую минуту мимо промчался пассажирский экспресс, состоявший всего из трёх вагонов. Мы ещё не знали, куда направлялся этот поезд и кто были его пассажиры, но в самой стремительности его движения, в торжественности, с какой встречали и провожали его глазами железнодорожники, было что-то такое, что необъяснимо взволновало всех, кто стоял на перроне.

Через три часа мы прибыли в Пекин. Нас встречали китайские друзья и работники советского посольства. Мы извинились, что заставили встречающих ждать себя, и объяснили опоздание непредвиденной задержкой в Тяньцзине.

— Вы опоздали по уважительной причине, — сказали нам. — Встречный поезд, о котором вы говорите, был действительно особым поездом. В нём уехал этой ночью в Москву Председатель Мао Цзе-дун... Да, да, товарищ Мао Цзе-дун уехал в Москву для встречи с товарищем Сталиным...

Вспомнилось: в тяжёлом для китайского народа 1939 году, когда землю Китая топтали полчища интервентов, в пещерах Яньани — этой колыбели нового Китая — Мао Цзе-дун говорил советскому журналисту:

— Я никогда не покидал Китая... Но вот уже двадцать лет как я мечтаю увидеть Москву. Сейчас мне нельзя уехать, но когда-нибудь я поеду в Москву. Поеду, чтобы повидать товарища Сталина...

2. В СТОЛИЦЕ СВОБОДНОГО КИТАЯ

Древний город

Было начало декабря, а в Пекине стояла чудесная погода, тёплая и безветренная.

Наши друзья из Всекитайской федерации профсоюзов сказали нам, что, прежде чем отправиться в Тяньцзинь, мы можем без всякого ущерба для дела провести несколько дней в столице. Они советовали побродить по городу, ознакомиться с его достопримечательностями, обещали показать нам всё, что мы захотим увидеть.

Поздно вечером после торжественного обеда, устроенного гостеприимными хозяевами, мы поднялись на плоскую крышу шестизэтажного здания гостиницы «Пекин». Ночь выдалась звёздная, ясная. Мгла, казалось, светилась слабым сумеречным сиянием. Город был виден далеко вокруг. Из тьмы выступал храм Неба с похожим на булавку шпилем, высоко вознесённым над лабиринтом улиц и площадей этого древнего города — одного из самых древних городов мира.

История Пекина уходит во тьму тысячелетий. Первое упоминание о нём в древних рукописях относится к XII веку до нашей эры, то есть ко времени, которое отделено от наших дней тридцатью двумя столетиями! Город много раз подвергался нашествиям чужеземцев. Его жгли и предавали опустошению варвары всех времён и народов. Но он жив и растёт.

В Пекине сейчас живёт около двух миллионов человек. Столица раскинулась вместе со своими пригородами на огромной территории в 700 квадратных километров. Пекин состоит из двух городов — внутреннего и внешнего. «Внутренний город», обнесённый крепостной стеной, служил резиденцией императора и его многочисленной челяди. Ядром этой резиденции был так называемый «алый город». В нём, окружённый озёрами и парками, находился императорский дворец.

Внешний город — город «простых смертных» — тоже окружён крепостной стеной. Длина её довольно внушительна: 24 километра. В пределах этой стены всегда и находился собственно Пекин с его рынками, магазинами, домами крупных и мелких купцов, особняками высокопоставленных чиновников и городской знати. Современный Пекин, естественно, давно вышел за пределы крепостных стен.

Подземные каналы

Прежде чем осмотреть пекинские памятники древней китайской культуры, посетить знаменитые храмы и дворцы, мы решили совершить обычную прогулку по городу, побывать в его центре и на окраинах, понаблюдать за обыденной жизнью горожан.

Странное, на первый взгляд необъяснимое, зрелище сразу же бросилось нам в глаза: город был весь иссечён только что проложенными траншеями, весь взрыт, будто искусный хирург прошёлся по его поверхности скальпелем и обнажил, сделав доступными глазу, внутренние органы города, сложную систему его подземных сооружений.

Пекинцы растолковали нам, в чём дело. В летние месяцы над Пекином льют ливни. Тёплые и обильные, они, словно туман, обволакивают город и длятся по нескольку дней кряду. Серебристая листва в городских парках становится чёрной. Неистощимые и неуёмные грохочут по городским проспектам и площадям потоки воды. Ливни были бы настоящим бедствием, если бы Пекин не имел широкой сети водоотливных каналов, построенных ещё столетия назад. Система подземных сооружений столицы справедливо считалась одним из выдающихся достижений строительной техники Китая, уровень которой всегда был высок. На протяжении многих десятилетий каналы действовали безупречно. Точно рассчитанная, безукоризненно спланированная и, что не менее важно, хорошо построенная сеть каналов, как гигантская губка, вбирала воду, не давая ей заливать город.

Но каналы так долго не ремонтировались, так обветшали и заросли илом, что пришли в негодность. Совершенная водоотливная система оказалась парализованной.

Строителей, которые занимались ремонтом подземных каналов и в последний раз обновляли их в начале прошлого века, давно уже не было в живых. Была утеряна и сама схема подземных каналов.

Прежних «отцов города» мало интересовала эта проблема, хотя над Пекином всё так же свирепствовали ливни, и потоки воды заливали город. Ведь «отцы города» жили не в бедных лачугах, вода не затопляла их жилищ даже в пору самых сильных июльских ливней. А зудьба бедняков, участь тысяч и тысяч людей, остававшихся без крова, не беспокоила их.

Приступив к генеральному благоустройству Пекина, Народное правительство решило в самые короткие сроки привести в порядок водоотводную систему столицы. Декабрь — один из немногих месяцев в году, когда здесь и тепло и сухо. И вот пекинцы спешат использовать благоприятное время для восстановления подземных сооружений. На работах занята трудовая армия — десятки тысяч бойцов. Им помогают горожане. Впрочем, на земляные работы пошло так много добровольцев из числа жителей Пекина, что трудно сказать, кто кому помогает: горожане — солдатам или

солдаты — горожанам! Нам рассказывали, что на работу вышло сто тысяч человек. Судя по тому, что за несколько дней в городе была обнажена вся система подземных труб, это похоже на истину.

Вдоль улицы, по которой мы идём, тянется траншея. Она ещё не закончена, над нею то и дело взлетают желтовато-серые комья земли, выбрасываемой снизу; они ложатся свежей мокроболезнивающей полоской по гребню уже довольно высокой насыпи: видимо, трубы уже недалеко. Время от времени из траншеи выбираются наверх рабочие, чтобы обменяться двумя-тремя словами, покурить, посмотреть на нежаркое, приветливое декабрьское солнце. Наш европейский костюм сначала настораживает их — в городе ведь всё ещё много англичан, есть и американцы... Заметив нас, люди, словно сговорившись, умолкают, лица их становятся хмурыми, взгляды откровенно неприязненными. Но вот до них доносятся звуки русской речи, знакомое русское слово, потом другое, и вновь ясная, доброжелательная улыбка появляется на потных лицах, кто-то протягивает жёсткую ладонь, кто-то приветственно машет рукой...

Мало-помалу завязывается беседа. В группе пекинцев нередко можно встретить человека, умеющего сносно объясняться по-русски: некоторые изучали русский язык ещё давно, другие — и их гораздо больше — стали заниматься им в наши дни.

— Вы удивляетесь, как быстро у нас идёт работа? Да, мы начинаем помаленьку привыкать к новым темам, — произнёс на хорошем русском языке человек преклонных лет, с бородкой, в очках — по виду старый учитель. — То, что прежде не удавалось сделать в течение многих десятилетий, теперь народ делает шутя в течение нескольких дней...

В торговых кварталах

Мы сворачиваем на главную магистраль Пекина. По обе её стороны тянутся здания европейской архитектуры, лишённые всякого национального своеобразия, — многоэтажные блоки, обитые неширокими полосками балконов, совершенно плоские, без лепных украшений. Над витринами многочисленных магазинов повисли матерчатые тенты — защита от солнца. У входа в магазин — фигура приказчика. Глазами высккивая в движущемся потоке прохожих возможного покупателя «посолдней», приказчик громко выкрикивает:

— Манчестерская шерсть! Настоящая манчестерская шерсть. Синяя в полоску...

— Парижские духи... Парижские духи... — слышится голос у дверей соседнего магазина.

— Последняя модель швейцарских часов «Омега».

Но за зеркальными стёклами витрин сумеречно и тихо: товары продаются частниками втридорога, и покупатели редки.

Народное правительство, привлекая к восстановлению страны частный капитал, допустило его участие и в промышленности, и в розничной торговле. И судя по тому, какое множество мануфактурных, обувных, галантерейных магазинов открылось во всех городах страны, у мелких и крупных китайских купцов нет двух мнений насчёт прочности народной власти. Всё, что было в своё время припрятано лавочниками и пролежало в надёжных местах долгие годы японской оккупации и смутное время гоминдановского режима, теперь извлечено на свет божий. Но, конечно, частный рынок, при относительной пока ещё слабости государственной торговли, старается поддерживать высокие цены.

Правительство изыскивает средства, чтобы всячески укрепить благосостояние рабочих, интеллигенции, крестьян. С этой целью в городах оно установило выдачу зарплаты натурой. Это мероприятие помогает борьбе со спекуляцией. В виде меры натурального обмена принят 1 дин риса (500 граммов). Такой расчёт рабочих устраивает. Правда, рабочий пока не может ещё покупать в нужном количестве необходимые ему промтовары, но зато он и его семья сыты. А это уже много значит: при гоминдановском режиме рабочие жили в такой жесточайшей нужде, что целыми месяцами голодали.

Правительство уже приступило к созданию государственных универсальных магазинов, где всё продаётся по твёрдым ценам. Мы побывали в одном из них. Магазины полны товаров: в нём можно найти всё — от зубной щётки до меховой одежды. Здесь можно приобрести китайскую шерсть, по качеству своему не уступающую английской, и чудесный китайский шёлк, который не может идти ни в какое сравнение с заменителями, привезёнными из-за океана. В магазине постоянно много покупателей. И веришь от всей души, что близок день, когда все эти товары станут доступны каждому гражданину свободного Китая.

Магазин советской книги

Каждый книжный магазин в Пекине — это своего рода клуб любителей книги. Присев на корточки у входа, опершись о ствол стоящего поблизости дерева, примостившись на каменных ступеньках соседнего дома, завсегда там книжных магазинов горячо обсуждают последние новинки. А ещё больше народу толпится внутри, у прилавков и полок с книгами. Здесь можно встретить людей самых разнообразных профессий, разного социального положения, разных возрастов. Характерно, что в книжных магазинах всегда много детей. Ребёнок может взять с полки любую книгу и не только перелистать её, но и прочесть от начала до конца, устроившись где-нибудь в уголке. Дети, у родителей которых нет средств на покупку книг, широко пользуются этой возможностью. Они занимают каждый свободный уголок магазина, и китайцы, с их трогательной любовью к детям, терпеливо сносят неудобства от этого постоянного наплыва юных читателей.

Магазин советской книги, который мы посетили во время первой же нашей прогулки по городу, ничем не отличается от прочих книжных лавок. Разве только тем, что в нём ещё больше посетителей и продавцами работают люди, хорошо знающие русский язык.

Всё лучшее, что издаётся в Советском Союзе, можно увидеть в этом пекинском магазине — будь то историческая литература или художественная, политическая или научная. Издательства не успевают издавать все советские книги, которые хотели бы видеть в переводах широкие круги китайских читателей. Поэтому местные журналы и даже газеты часто дают на своих страницах не только рецензии, но и подробные проспекты советских новинок с пространными выдержками из них.

В этом магазине часто можно увидеть посланцев из самых отдалённых провинциальных отделений Общества советско-китайской дружбы: крестьянина из Южного Китая в широкополой соломенной шляпе и даже ламу из Тибета в просторном балахоне с небрежно перекинутой через плечо длинной полой. Они не уйдут из магазина, прежде чем не отберут солидную пачку советских книг...

Но иногда здесь бывают и более дальние гости.

Пекин издавна был культурным центром для многих народов юго-восточной Азии. В китайской столице искали убежища политические эмигранты из Индии, Бирмы, Малайи, Вьетнама, Кореи. Но до последнего времени они и на китайской земле жили под постоянной угрозой. Они вздохнули вольно только после освобождения Китая.

Многие из них — частые посетители магазина советской книги. С благоговейной радостью берут они в руки каждую книгу, пришедшую из страны социализма. И кто знает, какой путь совершит томик со сталинскими работами о Китае, который сейчас унёс с собой старик с оливково-смуглым лицом? Может быть, будут штудировать этот томик в лесах Аннамского хребта, а может быть, его будут читать тайком на каучуковых плантациях Малайи?..

В один из дней нашего пребывания в Пекине магазин советской книги получил биографию товарища Сталина. Весть об этом быстро распространилась среди пекинецов. На следующее утро, задолго до открытия магазина, у входа уже выстроилась длинная очередь. Студенты, учителя, рабочая молодёжь, учёные и школьники с нетерпением ждали, когда попадёт в их руки долгожданная книга о великом друге китайского народа, о вожде трудового человечества.

Для читателей, систематически следящих за жизнью Советского Союза, — а их в Китае становится всё больше, — важно, что магазин аккуратно получает не только новые русские книги, но и советскую периодическую печать. Наши газеты и журналы появляются в Пекине через несколько дней после их выхода в Москве.

Два мира

Нам нужно было побывать в советском посольстве, и мы решили заодно хотя бы мельком взглянуть на посольский квартал Пекина.

Здание посольства стоит за нарядной каменной оградой в глубине двора, посреди которого раскинулись клумбы цветов, необычайно ярких и пышных не только для декабря.

Когда-то здесь помещалось старое русское посольство, которое, конечно, не желало ничем отличаться от дипломатических представительств других держав и расположилось тоже в этом особом «посольском» или международном квартале китайской столицы. В течение многих десятилетий селтльмент существовал на положении своеобразного «государства в государстве». Иностранная колония, в которой задавали тон англичане, французы и американцы, пользовалась всеми правами экстерриториальности.

«Селтльмент». Впервые это ненавистное для китайцев слово разнеслось по стране летом 1842 года, когда в Нанкине, едва ли не под дулами орудий, был подписан унижительный для Китая диктат, окончательно лишивший его независимости. Диктат узаконивал привилегированное положение иностранцев в стране. На родной земле китайский гражданин стал чувствовать себя отверженным. Всюду ему давали понять, что он — изгой, что человеческие права — не для него. Пароход: «Китайцам запрещается подниматься на верхнюю палубу!». Пассажирский поезд: «Вагон-ресторан не для жёлтых!». Театр: «Ложь только для господ иностранцев».

На территории селтльментов китайцы не имели права появляться, им угрожало суровое наказание.

Океаном ненависти были окружены эти островки западной «цивилизации» в китайских городах. Чтобы уберечь себя от народного гнева, обитатели селтльментов обнесли свои убежища каменными стенами, окопами, рвами. Они ввели на территорию своих карликовых «государств» войска, прорубили в стенах бойницы, поставили в них пулемёты. И всё-таки им трудно было уберечься от народного гнева. Когда народу становилось невтерпёж, он врвался в пределы иностранных городков, и за толстыми стенами селтльментов закипали бои, ожесточённые, кровопролитные.

Но разрозненные выступления не приносили народу победы. Интервенты подтягивали войска и подавляли восстания. Смертная казнь была единственной мерой наказания для всех «бунтовщиков». На старых стенах появлялись новые заплатки; там, где прежде маячил один солдат, иностранцы ставили двух.

Только после 1917 года простые люди Китая впервые получили право переступить порог международного квартала. Советская Россия отказалась от неравноправного договора с Китаем и отвергла постыдный статут селтльмента. И народ потоками шёл в советское посольство, шёл просто для того, чтобы пожать руку советским людям и сказать им одно слово: «Спасибо!»

Это стало традицией: в дни больших советских праздников к зданию нашего посольства устремляются толпы китайских граждан. Никогда за всю многовековую историю Китая не знал такого поистине всеобщего проявления любви к народу другой страны.

Мы не тратили времени на подробный осмотр бывшего селтльмента. До отъезда в Тяньцзинь оставались считанные дни, и, по совету наших друзей, мы решили использовать это время на ознакомление с достопримечательностями китайской столицы.

В мире не много стран, где бы общинами народа принимало такие катастрофические размеры, как в гоминдановском Китае. Здесь издавна существовали своеобраз-

ные корпорации нищих, насчитывавшие миллионы человек. В китайской столице такая корпорация объединяла сто тысяч «зарегистрированных» нищих.

А рядом в том же Пекине кучка земельных аристократов и сановников империи накапливала несметные богатства. Китайские историки рассказывают, что император Цянь Лунь, одержимый страхом потерять своё сказочное богатство, велел подданным пустить реку по другому руслу, соорудить в её дне каменные склепы, замуровать в них сокровища, а затем вернуть реку в прежние берега.

Нигде в Китае вековые контрасты богатства и бедности не были столь разительными, как в Пекине.

В этом городе десятки тысяч людей никогда не имели крова. Когда в Пекине случались морозы, их последствия бывали катастрофическими для бездомного населения столицы. Сохранилось известие, что в одну февральскую ночь 1796 года на пекинских улицах замёрзло более восьми тысяч человек.

Сотни тысяч бедняков из поколения в поколение ютились в жалких лачугах, которые трудно назвать домами. Это звучит парадоксально, но народ, который знал стекло ещё в седой древности и был создателем фарфора, до последнего времени в массе своей жил в хижинах с окнами, затянутыми бумагой. Нескончаемое море таких хижин обложило столицу со всех сторон. И рядом с их глинобитными стенами, ушедшими по самые окна в землю, раскинулся целый город дворцов, являющих собою беспримерный образец расточительной роскоши и сказочного великолепия.

Нельзя освободиться от мысли, что всё это ослепительное богатство возникло на крови народа, рождено многовековой чудовищной эксплуатацией миллионов людей. Но как ни горько сознание этого, китайские труженики, сегодня впервые входящие во «внутренний город» — город дворцов, счастливы, что он сохранился во всей своей красоте: они знают, что отныне эти создания труда и таланта их далёких предков будут принадлежать самому народу.

Пекинские дворцы

Ещё до того, как посетитель попадает в «алый» или «запретный» город, его поражает яркая, местами пронзительно резкая окраска окружающих построек. Стены дворцов красные, их черепичные крыши жёлтые. Террасы покрыты белой эмалью, деревянные колонны — алой, консоли расцвечены светлосиреневыми, синими, яркозелёными тонами. Краски не утратили своей свежести, не выцвели, не потускнели. Даже здешнее знойное солнце не в состоянии лишить их первоначальной яркости.

Императорский городок представляет собой сложный комплекс многочисленных дворцов. Когда переходишь из одного дворца в другой, создаётся впечатление, будто ты попал в лабиринт, повторяющий мудрёные начертания китайских иероглифов. Но это лишь первое впечатление. На самом деле, как ни сложна система дворцовых построек, она подчинена единому плану — строгому и точному. Дворцы неоднократно достраивались и модернизировались, но первоначальный замысел ансамбля не нарушался.

Императорский городок трудно охватить взглядом не только потому, что он обширен, но и потому, что разросшиеся парки заслонили собою стены дворцов. Однако если подняться на холм, господствующий над городом, то легко увидеть, что план городка основан на законах симметрии, и воображаемая ось ансамбля дворцовых построек пролегла точно с севера на юг.

Возраст пекинских дворцов сравнительно невелик — они были заложены в 1421 году. В Китае, где сохранились пагоды, сооружённые полторы тысячи лет назад, архитектурные памятники XV века и в самом деле кажутся принадлежащими к совсем недавнему времени. Автором архитектурного проекта пекинских дворцов был зодчий Юань Чжун-че. Его замысел претворялся в жизнь под руководством известных нанкинских строителей Лэй и Лян. Каждый из них был главой династии выдающихся инженеров.

Но пекинские дворцы представляют интерес не только как оригинальные произведения выдающихся китайских зодчих и строителей. Они ценны тем, что дают пред-

ставление о старых традициях в китайском строительном искусстве, унаследованных Лэйем и Ляном от предшествующих столетий, крупнейшие архитектурные создания которых были разрушены во время набегов кочевников на Китай.

Китайские зодчие славились своим умением композиционно сочетать контуры водного здания с окружающей природой. В тех случаях, когда естественный фон не соответствовал заданной архитектуре сооружаемого здания, менялся облик самой местности. Парки и сады, окружающие пекинские дворцы, представляют собою своеобразную коллекцию деревьев, редких, подчас уникальных видов. Парки изрезаны искусственными озёрами. Водяные лилии сиреневой и тёмнолиловой окраски и поля голубоватого лотоса сплошной мягкой скатертью покрывают гладь этих искусственных водоёмов.

Вход на территорию императорской резиденции был запрещён простому люду едва ли не под страхом смерти. Крепостная стена толщиной в одиннадцать метров отделяла дворцовый городок от внешнего мира, и многие китайцы составляли себе о нём представление только по английским и французским туристским справочникам. Дворцовые парки были единственным зелёным массивом города, его лёгкими, его аккумуляторами прохлады. Но простой пекинец мог прожить в столице от рождения до смерти, так и не увидев этих рош и садов.

Дворцовый городок оставался запретным для народа и при гоминдановцах. Со свойственной им способностью всё превращать в статью дохода гоминдановские чиновники обратили в средство наживы и пекинские дворцы. Они разграбили внутреннее убранство дворцов. Суммы, отпускавшиеся на уход за парками, растратились. Пруды заросли камышом, их затянуло илом, а водную гладь наглухо покрыла зелёная ряска. Запустение привело к тому, что успело вымереть лишённое пищи всё зоологическое царство парков, которое некогда было многочисленным.

Народ увидел пекинские дворцы только через пятьсот лет после того, как они были построены. Войдя в столицу, Народно-освободительная армия широко открыла ворота в «запретный город», убедительно показав, что в новом Китае народу принадлежит всё созданное им. Правительство решило превратить императорский городок в музей национального искусства, дворцовые парки с их лotosовыми прудами и протами — в большой Парк культуры и отдыха трудящихся китайской столицы.

Мы посетили внутренний город в самый разгар работ по восстановлению дворцов и приведению в порядок парков. Десятки тысяч людей были заняты на этой работе. Особенно много труда требует расчистка водоёмов. На территории парков производятся новые посадки. Одновременно меняется общая планировка, строятся новые здания. Уже построен летний театр на пять тысяч мест, созданы павильоны для постоянных выставок и библиотеки.

Мы пробыли во внутреннем городе до конца дня, когда голубовато-сиреневые, прозрачные сумерки застлали парки; вода в прудах потемнела, и лёгкая дымка повисла над её поверхностью. Сквозь густую листву деревьев проступили ещё неяркие пятна электрических огней; аллеи и дорожки начали наполняться народом.

— Вот это и есть новая история пекинских дворцов,— сказал наш спутник, товарищ из ВФП, в течение всего дня сопровождавший нас в этой экскурсии по бывшему «запретному городу».

Иероглиф, означающий долголетие

В Китае издавна высоко ценилось искусство каллиграфии. С самых отдалённых времён имена выдающихся каллиграфов упоминаются в истории китайского искусства рядом с именами лучших художников, актёров, архитекторов.

Проходя по нескончаемой анфиладе залов Пекинского музея искусств, мы заметили на гладкой поверхности одной из стен пространную иероглифическую надпись. Хорошо зная, как экономно письмо иероглифами, мы не могли не выразить удивления, когда услышали, что весь смысл написанного заключён в одном-единственном слове: «Долголетие!» Работники музея рассеяли наше недоумение. «Понятие долголетия можно выразить по-китайски посредством всего лишь одного иероглифа,—

сказали они. Именно этот иероглиф и воспроизведён на этой стене, но только он повторён сто раз во всех своих начертаниях...»

Мы вспомнили этот эпизод через несколько дней, когда вся страна взяла в руки перо, грифель, каломниковую кисть, чтобы изобразить примечательный иероглиф во всех его вариантах столько раз, сколько он никогда, за всю многовековую историю китайской письменности, наверняка ещё не писался.

Народ Китая отмечаёл 70-летие со дня рождения И. В. Сталина.

Это был один из тех чудесных дней поздней пекинской осени, какие бывают здесь только в декабре. Листья на деревьях ещё не облетела, но была уже жёлтой, и от этого золотисто-ясным казался воздух. Было солнечно, сухо, прохладно. И дома, и деревья очерчивались удивительно чётко, резко.

В пролёте широких окон нашей гостиницы, выходящих на улицу, мы увидели, как плывут высоко поднятые знамёна — их несли рабочие в синих комбинезонах. Потом залпескалось целое море весёлых флажков — прошли школьники. И снова тяжело и величественно заковыкались знамёна — шли рабочие железных дорог, металлургического завода, трамвая. Так и запомнилось это утро: ясное солнце, густосинее небо и блеск адых, будто омытых студёной свежестью осеннего дня знамён, движущихся медленно и торжественно к центру — туда, где расположились особняки посольского квартала... Колонны демонстрантов направляли свой путь к каменной ограде посольства Союза Советских Социалистических Республик.

Мы вышли на улицу. Шагали юноши и девушки в национальных костюмах: на юношах — голубые блузы, на девушках — яркobelые. Неожиданно девушки ударили в литавры, которые они несли, а юноши застучали в барабаны, и огромная колонна заколебалась в ритме танца. Девушки и юноши танцевали, не замедляя своего движения вперёд. Во всё более быстром и нарастающем темпе продолжался этот танец. И вторя его радостному воинственному ритму, звонкие голоса скандировали:

— Ста-лин, Мао Цзе-дун! Ста-лин, Мао Цзе-дун!

В этом ритмичном движении тысяч людей чувствовалась победная поступь народа, звающего свою силу.

Необычайное зрелище являл в это утро обширный двор посольства. Непрерывным потоком шли сюда делегации с приветственными адресами и подарками товарищу Сталину. Это было величественное в своей торжественности и глубоко волнующее шествие. Освобождённый Китай приветствовал вождя всех народов.

Китай славит Сталина

..Вот идут рабочие пекинского фарфорового завода, прославившиеся своими удивительными изделиями на весь мир. К нашему послу подходит один из самых старых рабочих завода, мастер художественной росписи по фарфору. На его высоко поднятых, вытянутых вперёд ладонях — большая чаша. На её поверхности — рисунок: пирамида сочных персиков, зрелых, тронутых красноватым румянцем. Персики — символ долголетия. Под рисунком надпись: «Желаем долго жить!» Вручив подарок, старик поочерёдно обходит всех работников посольства, всех советских людей, собравшихся здесь, и сердечно пожимает им руки.

Подходит большая группа юношей и девушек — студентов Пекинского института путей сообщения. Юноша в синей безрукавке протягивает послу фарфоровые фигурки белых аистов. Аист тоже символизирует долголетие. Окружив посла, молодые люди долго и воодушевлённо рукоплещут ему — представителю великой советской державы.

Идут девочки, ученицы второй пекинской школы. На них белые блузы и красные галстуки. Церемонно раскланявшись, они передают послу фарфоровые вазы работы мастеров прошлого столетия.

Подходит большая группа пекинских врачей. Они вручают серебряную вазу с приветственной надписью: «Да здравствует товарищ Сталин! Китайский народ шлёт Вам этот подарок вместе с поздравлениями по случаю великого дня 70-летия».

Многие пекинцы принесли свои личные подарки: картины и старинные книги, гобелены и драгоценные шкатулки, статуэтки из нефрита. А ученица пекинской гим-

назии Цзо Кэ-дзин попросила передать товарищу Сталину рисунок по шёлку известного китайского художника Ху Чуня.

Двадцать тысяч пекинцев побывали в этот день в советском посольстве. Казалось, наши китайские друзья вступили в молчаливое соревнование, стараясь превзойти друг друга в богатстве и красоте подарка, предназначенного вождем народов. И действительно, взглянув на всё это обилие замечательных художественных изделий из нефрита, фарфора, хрусталя, бронзы, красного лака, дерева, невозможно было решить, какое из них лучше..

Но была одна вещь, выполненная из целого куска слоновой кости, о которой я хочу рассказать подробнее.

Своеобразной пробой мастерства для китайских резчиков всегда была такая работа по кости, при которой не нарушалась цельность материала. А самой трудной всегда была мудрёная задача — в массиве одного изображения вырезать другое, вполне самостоятельное, не распиливая кости и не склеивая, а внутри этого второго — вырезать третье и так, в строгой последовательности уменьшая размеры, создать внутри одной вещи — несколько.

Среди изделий китайских резчиков часто можно встретить увитый драконами резной шар из слоновой кости и в нём — в зависимости от мастерства резчика — восемь-десять и даже больше шаров уменьшающегося диаметра. Чем больше шаров заключено внутри первого — тем выше искусство резчика, тем дороже ценится его создание. Такой шар часто служит своеобразным постаментом для разного рода скульптурных композиций из слоновой кости. Я видел шахматы, в которых каждая из тридцати двух фигур покоилась на шарике, заключавшем внутри себя ещё несколько шариков.

То, что китайские мастера преподнесли товарищу Сталину, было уникалом: в большом шаре из слоновой кости были вырезаны двадцать три других шара. Эту удивительную вещь создавали четыре поколения резчиков: отец, сын, внук и правнук. Они неустанно продолжали свой труд в течение многих десятилетий, и окончание его явилось настоящим праздником для династии прославленных мастеров.

Это уникальное даже для Китая творение человеческих рук пекинцы с величайшей любовью преподнесли товарищу Сталину.

«Сталин всегда был с нами, в самые тяжёлые годы он был с нами, в горе, в страданиях он был рядом!» — эти слова молодого рабочего в фуражке солдага Народно-освободительной армии долго звучали в наших ушах, когда поздно вечером мы возвращались из посольства домой, переполненные впечатлениями памятного дня.. Труден, очень труден был путь китайского народа к свободе. Но в самые трудные минуты люди с надеждой поднимали головы: «На земле существует Советский Союз, на свете живёт Сталин». И народ добыл свободу в беспримерно тяжёлой борьбе именно потому, что его вели к победе те, кто нёс в сердце слово Сталина, верил в правоту дела Сталина, — китайские коммунисты.

У металлургов Пекина

В течение тех нескольких дней, что мы провели в столице перед отъездом в Тяньцзинь, нам, конечно, не удалось увидеть всего, что мы хотели посмотреть в Пекине. В частности, нам не удалось побывать на одном из крупнейших промышленных предприятий Пекина — большом металлургическом заводе, расположенном в предместье города. Только гораздо позже, летом, во время каникул в тяньцзинской профшколе, когда уже немало наших слушателей разъехалось по местам и приступило к практической работе на своих предприятиях, мы сумели поехать на пекинский завод и познакомиться с его рабочими и руководителями. Однако рассказать о посещении металлургов Пекина мне хочется сейчас, когда я пишу о столице нового Китая.

Построенный ещё во время первой мировой войны, этот завод был доведён гоминдановцами до разрухи. Даже его домы и 76 коксовых печей не могли работать

на полную мощность — старое оборудование пришло в негодность, а о реконструкции никто не заботился.

Об этом впервые подумал новый хозяин Китая — освобождённый народ. Не прошло и года, как завод в два раза увеличил выпуск продукции. Началось строительство новой большой домны.

Директором возрождённого завода был назначен Чжо Тан-хуа — представитель той славной когорты китайского рабочего класса, которую после победы правительство поставило во главе крупнейших предприятий отечественной промышленности. Биография Чжо Тан-хуа очень типична и поэтому особенно интересна. Рабочий-металлург, он много лет тому назад ушёл рядовым бойцом в Народно-освободительную армию. Но когда командование узнало о прежней специальности Чжо Тан-хуа, молодого рабочего-коммуниста назначили начальником мастерских, изготавливающих оружие. Вместе со своими мастерскими Чжо Тан-хуа кочевал по фронтам. Это была опасная и очень важная работа. Маленькие оборонные заводы, созданные Народно-освободительной армией, передвигались вместе с боевыми соединениями по просторам китайской земли, располагаясь, как правило, в ближайшем тылу действующих войск. Не раз такой завод попадал во вражеское окружение. Но добыча врага всякий раз оказывалась ничтожной: когда положение становилось безвыходным, рабочие быстро разбирали станки и с помощью населения закапывали оборудование в землю, а сами пробивались через вражеское кольцо.

Эти полевые оборонные мастерские обычно работали на японском сырье, использовали разбитую вражескую технику. В дело шло всё: и подбитые танки, и исковерканные орудия, которые враг не успевал увезти в расположение своих войск, и неразорвавшиеся снаряды. Маленькие кочующие заводики, с виду неприметные, ютившиеся в хлебных амбарах бежавших помещиков, давали армии много вооружения и боеприпасов. Японский генеральный штаб часто высказывал недоумение: «Откуда такое обилие оружия, патронов, снарядов у частей Народной армии?» Вражеским генштабистам было невдомёк, что значительную долю боевого снаряжения производит сама армия на своих карликовых заводах.

И вот те, кто во время войны были руководителями или рядовыми рабочими — слесарями, литейщиками, фрезеровщиками походных оборонных предприятий, ныне возглавляют крупнейшие металлургические заводы, строят порты, возводят корпуса новых фабрик, ведут ирригационные работы гигантских масштабов. Верные сыны рабочего класса и коммунистической партии Китая, накопившие огромный организаторский опыт, научившиеся преодолевать любые трудности в годы борьбы за свободу своей Родины, они находятся сейчас на командных постах всюду, где проходит фронт мирных работ нового Китая.

Одним из таких людей и был Чжо Тан-хуа.

— Нам рассказывали, что количество рабочих на заводе после победы возросло почти вдвое. Откуда пришли эти новые люди? — спросил я у Чжо Тан-хуа.

— За последний год, — ответил директор, — мы приняли много безработных, прибывших в Пекин из Шанхая и Ханькоу.

— А как вам удалось обеспечить их жильём?

— В этом году мы построили много новых домов... — сказал Чжо Тан-хуа. — Но об этом вам лучше расскажет Сун И-шу. Профсоюзы оказали нам большую помощь в этом деле.

Сун И-шу повёл нас на строительство нового городка. На территории в несколько квадратных километров стояло 500 почти готовых коттеджей. Это были добротно построенные дома с кирпичными стенами, железной или черепичной крышей. Внутри коттеджей уже заканчивались отделочные работы: белили стены, шпаклевали и красили полы. В комнатах пахло олифой, свежооструганным тёсом, замазкой, клеем.

— У наших рабочих сейчас чудесное настроение, — сказал Сун И-шу, радостно улыбаясь, — многие из них уже знают, что через месяц получат новые квартиры, и готовятся к новоселью. Представляете, что значит для китайского рабочего, который всю жизнь ютился в глинобитных хижинах, нередко жил в джонках, а то

и просто под открытым небом, получить такую квартиру!.. Конечно,— продолжал Сун И-шу, — в нашем городке надо было бы одновременно с домами строить и поликлинику, и баню, и прачечную, и магазины, и небольшой клуб, и библиотеку... Вы не думайте, что мы это упустили из виду. Нет, мы построим всё, что необходимо, но только чуточку позже. На всё сразу нехватает сил и средств. Нам надо ещё провести хорошую дорогу, соединяющую городок с заводом, разбить возле каждого домика палисадник, озеленить улицы, а поблизости устроить небольшой парк. Мы всё это наметили, но осуществим немножко позже, немножко позже...

Мы слушали Сун И-шу и невольно дивились тому, как схож был рабочий городок, возникший в его воображении и уже в значительной мере построенный, с теми, какие строились при новых больших заводах у нас, в советской стране.

Когда сейчас я вспоминаю Пекин, я всегда думаю о таких людях, как Сун И-шу и директор Чжо Тан-хуа. Это подлинные строители будущего. Благодаря энергии таких людей нового Китая вокруг древней столицы скоро возникнет новый благоустроенный социалистический город, в котором сольются прекрасные рабочие городки, подобные тому, какой мы видели на Пекинском металлургическом заводе.

3. В ТЯНЬЦЗИНЕ.

Поездная бригада состоит из женщин

От Пекина до Тяньцзиня сто сорок километров. Если Пекин — большой университетский город, центр китайской национальной культуры, то Тяньцзинь — один из крупнейших торгово-промышленных центров Китая, важный порт. Тяготая друг к другу и дополняя друг друга, эти города, в сущности, представляют собой единый комплекс важнейших государственных, культурных и хозяйственных институтов страны.

Требуется всего два часа, чтобы попасть из Тяньцзиня в Пекин. Для тяньцзинца проще простого совершить поездку в Пекин только для того, чтобы провести час-другой в знаменитых антикварных или букинистических магазинах столицы, навестить друзей или родных, побывать в классическом театре и посмотреть игру Мэй Лань-фана — одного из самых больших актёров в истории китайского театра...

Очень чистые вагоны, окрашенные в темнозелёный цвет, принимают нас в потоке пассажиров на одном из вокзалов Пекина. Поезд хорошо оборудован, хстя и рассчитан на то, что пассажиры будут находиться в нём не больше, чем сто двадцать минут, то есть время, достаточное лишь для того, чтобы прочесть небольшую книжку или сыграть партию в шахматы. В вагонах просторно, едущие располагаются в больших вращающихся креслах, сильные вентиляторы освежают воздух и ровным своим гудением смягчают шум поезда, мчащегося со скоростью семидесяти километров в час.

Вскоре после отъезда из Пекина мы заметили, что наша поездная бригада состоит только из женщин.

— Да... — ответила на наш вопрос девушка-проводница, — это почти так...

— Почему «почти»?

— В нашей бригаде всё-таки есть один мужчина — машинист. Но, — засмеялась она, — мы и его скоро заменим... Скоро, скоро...

Так новизна жизни в сегодняшнем Китае даёт знать о себе на каждом шагу.

Улицы и площади Тяньцзиня

Когда попадаешь в Тяньцзинь, забываешь, что его отделяют от столицы всего два часа езды — так не похож он на Пекин. Город по-другому спланирован, его архитектурный облик совсем иной. Даже краски здесь другие, чем в Пекине. В красках столицы можно встретить и небесно-лёгкую голубизну, и густую зелень, и поразительно яркую киноварь. Как и во многих других старинных восточных городах, архитектура Пекина празднична, даже парадна. Тяньцзинь подтянут и строг. Его краски суровы и тусклы. Мало зелени, только камень и вода. Город строился по плану западных колонизаторов. Им ненавистно было всё китайское, и в облике Тяньцзиня оно почти отсутствует. Громоздятся большие и малые небоскрёбы, точь-в-точь

такие, как где-нибудь в Рэпид-Сити или Сиу-Сити — на родине американских резидентов, ещё недавно наводнявших Китай. На перекрёстках торчат бензиновые колонки правильной кубической формы...

И хотя внешне город не приобрёл ещё новых черт, сегодня это уже не тот Тяньцзинь, каким он был два года тому назад. В нём на каждом шагу чувствуется его истинный хозяин — китайский рабочий. Его умелые руки преобразуют жизнь города, который совсем недавно был цитаделью американских колонизаторов на китайской земле. В многоэтажные жилые блоки, где обитала продажная чиновничья аристократия Тяньцзиня, теперь вселяются рабочие семьи. В комфортабельных особняках, где подсчитывали барыши заокеанские бизнесмены, ныне разместились профсоюзные, молодёжные, спортивные рабочие организации, открылись клубы и народные библиотеки. Под ровным слоем новой краски безвозвратно похоронены и мрачные тона прежней расцветки фасадов, и крикливая изощрённость американских вывесок и реклам. Тяньцзинь превращается в мощный центр китайской индустрии, деятельно участвующий в техническом преобразовании всей страны. Он будет давать отечественной промышленности чугун и сталь, сельскому хозяйству — тракторы, разнообразный инвентарь и удобрения. Тяньцзинский порт становится центром оживлённой торговли свободного суверенного Китая со всеми миролюбивыми странами.

Переводчики и слушатели

Мы начали чтение лекций в Высшей школе профдвижения Китая сразу же по прибытии в Тяньцзинь. Когда я впервые вошёл в аудиторию, семьсот слушателей, заполнивших её, поднялись со своих мест. Мощной, неудержимой овацией приветствовали они мою великую Родину.

Это были люди разного возраста, разной судьбы. Рядом со старым, украшенным сединами рабочим, знавшим и шанхайские баррикады, и уличные бои в Ханькоу, сидел юнец, для которого все эти события были только историей, знакомой по книгам и рассказам старших. Подле старого солдата, отдавшего добрую половину своей жизни верной службе в Народно-освободительной армии, сидела молодая текстильщица из Шанхая, которой не было и года, когда её сосед являлся уже делегатом I-го Всекитайского съезда советов... Но светлосерая форменная куртка слушателя Высшей школы профдвижения как бы установила равенство между ними, и все они с прилежанием усердных учеников вели конспекты лекций.

Я читаю лекцию по-русски, молодой китаец Ян Мин-фу тут же переводит её на китайский язык. Он словно идёт вслед за мной спорой походкой, шаг за шагом, не допуская, чтобы между нами образовался интервал. Так создаётся как бы единый речевой поток, и у слушателей возникает иллюзия, будто лектор говорит на их родном языке. Ян Мин-фу умеет передать не только содержание речи лектора, ритмично идя за ним и не сбивая его с темпа, но ухитряется донести до слушателей и все элементы живого человеческого слова: пословицу, притказку, шутку или рассказ из жизни.

Ян Мин-фу помогали другие переводчики школы, среди которых особенно подружился с нами Фу Е-си. Ян и Фу, или, как они себя часто называли по-русски, Яша и Боря, работали с нами в течение всего учебного года и своей честной, безупречной работой во многом облегчили наш труд.

Яша был совсем молод — ему исполнилось только двадцать, но уже несколько лет он изучал русский язык. Яша поселился в одном доме с нами, и общение наше не ограничивалось подготовкой к лекциям и их чтением. Нередко мы проводили вместе всё свободное время — бывали за городом, ездили в Пекин, посещали театры и кино и часто подолгу беседовали о прочитанных книгах.

Яша был скромным и наредкость обаятельным малым. Нас иногда смешила и вместе с тем умиляла девичья застенчивость этого юноши, которого природа наделила огромным ростом и крепкими мускулами. Яша увлекался русской литературой и за время нашей совместной работы прочёл уйму книг. Его побуждала к этому не только любовь к искусству вообще — кстати сказать, он хорошо знал свою род-

ную, китайскую литературу,— но и желание неустанно совершенствоваться в русском языке. Вместе с тем чтение книг помогало ему изучать советскую страну, её народ: подобно многим китайским юношам Яша готовил себя к поездке в Советский Союз.

Боря был старше Яши лет на пять. Он происходил из крестьянской семьи, рано начал трудовую жизнь, служил в армии. Ему пришлось пережить немало трудностей. Долгие годы он с трудом выкраивал время на чтение, но упорство помогло ему стать образованным человеком. Он хорошо знал историю, читал труды классиков марксизма-ленинизма, был вполне зрелым коммунистом.

Боря переводил весь курс лекций по истории профессионального движения в СССР и делал это с большим увлечением и знанием дела. Он готовился к каждой лекции, которую ему предстояло переводить, с той же настойчивостью и тем же сознанием ответственности, с какими готовился к встрече с аудиторией сам лектор. У него постоянно были под рукой русские и китайские тексты сочинений Ленина, Сталина, последние издания работ Мао Цзе-дуна.

Боря хорошо знал китайскую действительность, много размышлял над судьбой родной страны. Мы ценили в нём и то, что он глубоко понимал смысл нашей миссии в Китае, ясно представлял себе, чего ждут от наших лекций слушатели. Вот почему он был для нас не просто переводчиком, но и вдумчивым советчиком, мнение которого для нас было очень авторитетным, когда речь заходила о своеобразии и сложности политической и экономической жизни Китая.

Наши переводчики были дружны и между собой. Для нас же совместная работа с ними представляла тем больший интерес, что в строе их характеров, в их внутренних устремлениях мы узнавали духовные черты людей нового Китая, его молодой, подлинно народной интеллигенции.

Хозяева большого города

В первый день нашего приезда в Тяньцзинь после окончания лекций мы побывали в клубе тяньцзинских профсоюзов, где происходила городская профсоюзная конференция.

Ещё два года назад в помещении этого клуба находился фешенебельный игровой дом. Но тяньцзинская аристократия тут не только предавалась азартным играм — казино служило местом «деловых» встреч; здесь было заключено немало преступных сделок, за которые расплачивался своим потом и кровью простой народ.

Как только во главе городского управления стал первый народный мэр — коммунист Хуан Цин, старый подпольщик, один из командиров Народно-освободительной армии, прошедший с нею весь её долгий и героический путь, игровой дом был закрыт. Хуан Цин передал помещение казино тяньцзинским рабочим, которые оборудовали здесь свой профсоюзный клуб. Это здание выглядит теперь скромнее, чем прежде, его внутреннее убранство стало красивее и проще, но самое главное — оно наполнилось светом, дыханием новой, настоящей жизни. Рабочие Тяньцзиня, для которых эта шестизэтажная глыба раньше была чем-то чужим, враждебным, ненавистным, теперь с радостью идут сюда. Их голоса и смех оглашают анфилады малых и больших залов — лекционного, спортивного, концертного, танцевального.. Да мало ли залов в городском рабочем клубе, под который отдано одно из самых вместительных зданий огромного города!

— Слово имеет мэр Тяньцзиня товариш Хуан Цин! — объявил председатель, и в Большом зале клуба, вмещающем две тысячи человек, наступила тишина.

Из-за стола президиума поднялся и направился к трибуне человек средних лет в полубоевой форме. Он шёл быстрой и чёткой походкой, по которой без труда угадывается строевой командир, и, поднявшись на трибуну, без промедлений приступил к делу. Его доклад был посвящён самым насущным вопросам, которыми жили в те дни рабочие Тяньцзиня. Он говорил об успехах тяньцзинской промышленности и ходе восстановительных работ в городе, о трудовой дисциплине и предотвращении подрывной деятельности врага, о создании новых рабочих клубов и ликвидации неграмотности...

Он говорил в течение четырёх часов. На кафедре перед ним лежал конспект доклада, но он редко обращался к своим записям. Чувствовалось, что готовый текст скрывает Хуан Цина. Наоборот, когда он, отходя от строгого стиля доклада, принимался рассказывать о своих личных впечатлениях, речь его становилась живой и увлекательной.

— 15 января прошлого года,— сказал Хуан Цин,— в Тяньцзинь вошли войска Народно-освободительной армии, и рабочие в тот же час из рабов превратились в хозяев. Это значило, что отныне рабочие взяли на себя ответственность перед всем народом за настоящее и будущее Китая.

— **Главное** для нас сегодня,— говорил мэр,— сберечь мир. От революционного **детства Маркса** — I Интернационала — до Великого Октября прошло 50 лет, от Великого Октября до Свободного Китая — 30 лет, а до полного освобождения человечества осталось, быть может, и того меньше. Чтобы сохранить мир, мы должны растить свою силу. Мы должны увеличить выпуск продукции в пять, восемь, даже в десять раз. Сделаем это — тогда каждый у нас будет есть пельмени, а кто захочет есть рис — будет есть рис.

— Мы достаточно сильны,— продолжал Хуан Цин,— и не боимся ничьих угроз— ни гоминдановцев, ни их хозяев. То, что у нас в руках, мы сумеем удержать!

Конференция закончилась поздно вечером. Перед её закрытием мы стали свидетелями волнующей церемонии. На сцену были приглашены двадцать пять лучших рабочих Тяньцзиня. Председатель профсовета Хуан Хо-тин преподнёс каждому из них большой пакет с подарками. Затем четверо из премированных рабочих вышли на авансцену, и под долгие аплодисменты и одобрительные возгласы присутствующих к груди каждого из них была прикреплена большая красная роза — отличительный знак Героя Труда Китая.

Мы возвращались домой по ночным улицам Тяньцзиня вместе с товарищем Хуан Хо-тином. Как и народный мэр Тяньцзиня, Хуан Хо-тин принадлежал к тому поколению китайских коммунистов, которые вынесли на своих плечах всю тяжесть долготной борьбы за освобождение Китая. Почти двадцать пять лет он в партии, и ему отчётливо ясны перспективы и трудности огромной созидательной работы, к которой приступил сейчас его народ. Он произвёл на нас впечатление волевого руководителя. Говорил он темпераментно, вдохновенно.

Речь зашла о культурной революции в Китае.

— Китайскую грамоту нелегко познать,— сказал он в ответ на наш вопрос, скольким иероглифам нужно научить неграмотного человека, чтобы он смог читать газету.— Газета будет понятной при знании тысячи иероглифов. Но свободно разбираться в ней может тот, кто знает не меньше полутора тысяч знаков... Мы понимаем, что от ликвидации неграмотности зависят наши успехи в народном хозяйстве. Без решения этой трудной задачи нельзя решить важнейшую проблему подготовки кадров из народа. Поэтому наша главная задача сейчас — нести грамоту в массы. Но об этом трудно рассказать... Лучше, если вы увидите своими глазами, как это происходит на наших предприятиях. Вот хотя бы на здешнем сталеплавильном заводе. Выберите время — и давайте-ка съездим туда...

Молодая учительница и её питомцы

В один из ближайших дней нам удалось совершить эту поездку.

Пока наша машина пересекала город, пробираясь к окраине, где за однообразно унылыми красными корпусами построенных японцами военных складов расположился Тяньцзинский сталеплавильный завод, Хуан Хо-тин рассказывал нам об этом предприятии и о людях, работающих на нём. С нами был Боря, поэтому разговор шёл легко и непринуждённо.

— Это один из самых больших наших заводов,— говорил Хуан Хо-тин.— В прошлом году дирекция пригласила для технической помощи советского специалиста. В течение двух недель он консультировал рабочих и инженеров завода, и результаты

работы вашего соотечественника скоро дали знать о себе — уже в январе производство стальных блоков и проволоки возросло на 62 процента. Для нас этот завод — кузница новых кадров, передовая школа квалифицированных рабочих и не только рабочих, но и командиров производства. Я уверен, что отсюда выйдут начальники цехов, мастера, бригадиры для новых заводов Большого Тяньцзиня, которые сегодня проектируются или уже строятся. Вот почему мы стремимся поскорее сделать всех рабочих этого завода грамотными, научить их читать техническую литературу, разбираться в чертежах... Однако всё это не так просто... Это большое и сложное дело. Вы ведь знаете, какое наследство оставил нам императорский и гоминдановский Китай — 80 процентов населения нашей страны не умело ни читать, ни писать. Даже в таком большом городе, как Тяньцзинь, только треть населения владела грамотой. Партия намерена ликвидировать неграмотность в ближайшие три-пять лет. Вы понимаете, как это трудно!..

В заводском клубе, несмотря на то, что час был полуденный, во всех уголках, в каждой комнате, как в школьных классах, шли занятия. Мы вошли в один из таких импровизированных классов, где занимался человек двадцать — двадцать пять взрослых учеников — рабочих и работниц сталеплавильного завода. Девушка, одетая в темносинее платье (в Китае очень любят носить платья этого цвета), вела урок. Она не сразу справилась со смущением, которое вызвал в ней наш приход. Но ученики, очевидно, поняли, какого труда стоит их учительнице продолжать занятия в присутствии посторонних, и они отвечали наредкость старательно, словно желая помочь ей победить робость. И сразу стало ясно, что эти взрослые люди и их молодая наставница связаны друг с другом отношениями гораздо более серьёзными и глубокими, чем те, какие возникают обычно между учительницей и школьниками, — это была солидарность людей, стремящихся к одной цели и сознающих великую важность своей совместной работы.

Во время перемены мы долго беседовали с учительницей.

— Вы уже, наверное, знаете, — сказала она, — что на нашем заводе 500 неграмотных рабочих. Мои ученики (она произнесла «мои ученики» не без гордости) занимаются пять раз в неделю, каждый раз по два часа. Если они будут продолжать заниматься в таком же темпе, то полторы тысячи знаков будут освоены ими в течение года. Сделать так много в столь короткий срок — дело нелёгкое, да к тому же большинство моих учеников, как вы видите, люди почтенного возраста. Однако работа идёт успешно — мы занимаемся пять месяцев, и многие уже знают по 600 знаков. У нас есть ежедневная норма: четыре-пять новых иероглифов. Мы часто пишем их на большой классной доске и вывешиваем её в самом цехе: в течение рабочего дня каждый ученик нет-нет да и взглянет на доску... Нередко взрослым рабочим помогают осваивать иероглифы их дети. Эта система называется у нас «системой маленького учителя» — дети обучают своих родителей тому, чему они сами сегодня научились в школе... Конечно, нам хотелось бы двигаться вперёд ещё быстрее, но и те скромные успехи, которых мы уже достигли, радуют нас. Вот диктанты моих учеников, посмотрите... Вы, очевидно, знаете, что в китайской школе принята столбчатая система отметок. Мои ученики, как правило, получают не меньше семидесяти баллов! А это значит, что они пишут диктанты хорошо и даже отлично...

Пока девушка беседовала с нами, поодаль стояли её «пчёмцы» и молча, почтительно наблюдали за нею. Только когда она кончила свой рассказ, один из учеников — старый рабочий — счёл себя вправе подойти к нам.

— Это письмо написал я сам, — произнёс он несмело и протянул лист бумаги, старательно разделённый стройными столбиками иероглифов. — Понимаете, я сам написал это письмо брату! Он у меня служит в армии, в Мукдене.. Сам написал брату... первый раз в жизни!..

Мы смотрели на аккуратные столбики иероглифов. Никто из нас не понимал их сложной вязи, но волнующий смысл письма был нам понятен.

4. МОГУЧАЯ СИЛА.

Помощь друга

Однажды, направляясь рано утром в школу, мы обратили внимание на большую толпу, стоящую у репродукторов на углу улицы Рузвельта. До начала лекций оставалось ещё минут сорок, и я попросил шофёра Лю остановить машину. Как это бывало и прежде, горожане, приняв нас за англо-саксов, отпустили по нашему адресу несколько обидных словечек. Видимо, слова эти пришлись по душе всей толпе, так как она ответила на замечания шутников дружным хохотом. Мы почувствовали, что люди настроены празднично, но причина их радостного возбуждения стала ясна только когда мы узнали, о чём говорил диктор... Радио передавало, что вчера в Кремле в присутствии Сталина и Мао Цзе-дуна состоялось подписание Советско-Китайского Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи.

Мы стали поздравлять друг друга. Яша не мог сдержать своих чувств, и мы обнялись. Теперь люди поняли, что они приняли нас не за тех, кем мы были на самом деле. Начались, как всегда, сердечные рукопожатия. К нам протянулись сразу десятки рук:

— Поздравляем!

— Вашингтон может объявить этот день траурным...

— Теперь нас семьсот миллионов!

В школе — снова рукопожатия. Буря аплодисментов в честь исторического договора. В перерыве между лекциями — стихийно возникший митинг. Чтение тяньцзинской газеты с шапкой на первой полосе: «Новая эпоха Советско-Китайской дружбы».

В течение многих дней — в трамваях на городских улицах, в лодках на городских каналах, в ресторанах и фойе театров, дома и на работе — тяньцзинцы говорили только об этом событии, обсуждали каждый пункт договора, строили планы на будущее, радовались широким перспективам, открывшимся перед экономикой Китая, перед международным движением борцов за мир.

Мы разговаривали обо всём этом со многими тяньцзинцами из самых различных социальных слоёв, но особенно запомнилась мне беседа с одним видным литератором, книги которого можно найти в семье каждого грамотного китайца. Он с восторгом говорил о преобразовании Китая в мощную аграрно-индустриальную державу и считал, что договор с Советским Союзом во много раз ускорит этот исторический процесс. При этом он ссылаясь на подсчёты китайского экономиста Цзинь Вэй-чжана, согласно которым кредит, предоставленный Советским Союзом по договору, даст возможность Китаю оснастить современной советской техникой сто машиностроительных заводов, электростанцию мощностью в 770 тысяч киловатт и приобрести оборудование для железных дорог протяжённостью в 22 226 километров!

Подписание договора состоялось в середине февраля. Вскоре было получено сообщение об отъезде Мао Цзе-дуна из Москвы. И в то время как поезд с китайской правительственной делегацией пересекал заснеженные просторы нашей страны, подолгу задерживаясь в больших уральских и сибирских городах, по всему Китаю прокатилась могучая волна собраний, посвящённых подписанию исторического документа. Она поднялась с новой силой, когда делегация вступила на землю Китая. Народ приветствовал своего вождя здравицей, которая звучала, как клятва на верность республике:

— Пусть вечно живёт и крепнет советско-китайская дружба!

Мао Цзе-дун — вождь нового Китая

В середине марта мы получили пригласительные билеты на конференцию по вопросам труда, которая открывалась в Пекине в день возвращения из Москвы китайской правительственной делегации. Мы тайне надеялись, что Мао Цзе-дун примет участие в работах конференции, и мы сумеем увидеть его и услышать.

Легко понять наше волнение, когда мы думали об этом...

В истории Китая не было другого имени, которое бы так полно и ярко выражало духовное могущество великого народа, энергию и революционное упорство его рабочего класса, ум, опыт, мужество его коммунистической партии. Мао Цзе-дун безраздельно отдал свою жизнь борьбе за лучшую долю родного народа, за его счастье. Гигантский труд, труд почти трёх десятилетий, который предшествовал созданию независимого Китая, был проделан под руководством этого человека.

Люди моего поколения, все те, чья ранняя юность совпала с годами революции, а пора возмужания — с годами становления социалистического общества в СССР, помнят, с каким глубоким участием, с каким напряжением следил наш народ за борьбой китайских коммунистов. Нам было радостно от одного сознания, что где-то далеко на востоке есть островок земли, на котором, так же как у нас, развевается красное знамя свободы. И с неослабевающим вниманием мы следили по скучным газетным сообщениям, как, окружённый сплошным морем вражеских армий, то сужаясь, то расширяя свои пределы, плывёт этот островок свободы по необозримым китайским просторам. И в нашем сознании всегда жил образ человека, который стал кормчим китайской революции.

Вечерами в Тяньцзине, после конца лекционных занятий, мы часто с помощью наших друзей-переводчиков читали и перечитывали маленькую книжку с изображением развевающегося красного знамени на титульном листе. Это была автобиография Мао Цзе-дуна — одна из самых популярных книг в современном Китае. Мао Цзе-дун рассказывает в ней о своей юности, о своих первых шагах революционера, о друзьях-коммунистах.

В мае 1951 года Мао Цзе-дуну исполнилось 58 лет. Он родился в семье крестьянина в хунанской деревне Шаошан. Провинция Хунань расположена в среднем течении Янцзы, на правом её берегу. Это одна из самых плодородных и экономически развитых провинций Китая. Хунанские крестьяне всегда были известны в Китае своим свободолюбием и бесстрашием. Мощные крестьянские восстания, которыми полна история Южного Китая, начинались обычно на земле вольнолюбивой Хунани.

Восьмилетнего Мао отдали в начальную школу. Мальчику приходилось много работать в хозяйстве отца, но он находил время для чтений и прочитывал книгу за книгой. В 13 лет он уже хорошо знал китайских классиков, хотя отец Мао полагал, что увлечение сына книгами — дело пустое, и считал полезной только одну книгу — «Аналекты» Конфуция; потому что человек, с которым ему пришлось однажды судиться, искусно оправдывался на суде, пользуясь конфуцианскими изречениями, и выиграл тяжбу.

Мао Цзе-дун был ещё подростком, когда в Хунани произошли события, взволновавшие весь Китай. В провинции свирепствовал голод. Толпы голодных людей стекались в Чанша — столицу Хунани. Голодающие направляли своих посланцев к губернатору, прося помощи. «Не знаю, — ответил губернатор, — почему вам нечего есть? В городе достаточно еды. По крайней мере я не замечаю в ней недостатка...» Этот ответ посеял в народе ярость. Голодающие атаковали резиденцию губернатора и изгнали его из Чанши. Но восстание было подавлено, вожаки схвачены и обезглавлены. Головы их, на устрашение всем недовольным, были выставлены в городе на шестах.

— Я чувствовал, — пишет Мао Цзе-дун, рассказывая в своей автобиографии о событиях того времени, — что встали такие же люди, как и те, среди которых я вырос, и что с ними поступили несправедливо и жестоко.

Вскоре он приезжает в Чанша, чтобы поступить в городскую школу.

Близилась революция 1911 года. Маньчжурская династия, стоявшая у власти, продала англо-американским промышленникам право на постройку железнодорожных магистралей между важнейшими центрами страны. Внушительная, неудержимо нарастающая волна протеста прокатилась по Китаю. Юный Мао присоединил к ней свой голос. Он написал статью о происходящих событиях, тщательно переписал её от руки и вывесил на видном месте в школе. «Это было моё первое открытое политическое выступление», — говорил впоследствии Мао Цзе-дун.

Возбуждение, охватившее народ, овладело и сверстниками Мао.

— Первым проявлением наших антиманьчжурских чувств было восстание против кос, — пишет Мао Цзе-дун. — Я и один из моих друзей срезали свои косы, но другие ученики, обещавшие последовать нашему примеру, испугались и не сдержали своего слова. Тогда, вооружившись ножницами, мы потихоньку напали на них. Больше десятка насильно обрезанных кос были нашими первыми трофеями...

Мао Цзе-дун отправился в Ханькоу и стал солдатом революционной армии, готовившей решительно выступить против маньчжурской династии.

— Моё солдатское жалование равнялось 7 долларам в месяц, — рассказывает Мао Цзе-дун. — Из этих денег 2 доллара в месяц я расходовал на пищу, а остаток своего жалования тратил на газеты, страстным читателем которых я стал к тому времени. Среди других газет, писавших о революции, была «Сяньцзяньжибао». В ней печатались статьи о социализме. Именно на столбцах «Сяньцзяньжибао» я впервые в жизни прочёл это слово. Я говорил о социализме (по существу, о социал-реформизме) со студентами и солдатами и с энтузиазмом писал на эту тему письма некоторым моим школьным товарищам...

Но солдату Мао не пришлось тогда сражаться за свободу — революционная армия не выступила. Её руководство оказалось неспособным к решительным действиям.

Скоро Мао Цзе-дун поступил в учительскую семинарию. Именно здесь впервые проявились его организаторский талант, неукротимая революционная энергия, воля к победе.

— В семинарии я постепенно сгруппировал вокруг себя близких мне по духу и идеям студентов, — рассказывает Мао Цзе-дун. — Так образовалась ячейка, из которой впоследствии выросла организация, оказавшая большое влияние на дела и судьбы Китая. Эта небольшая группа состояла из серьёзно настроенных людей, и вся наша деятельность имела определённую цель. На любовь, на романтику времени у нас не оставалось. Мы старались закалить себя и зимние каникулы использовали для путешествий по родной земле. Мы ходили по полям, пробирались вдоль городских стен, переправлялись через ручьи и реки. Мы спали на открытом воздухе даже в заморозки и купались в ноябре в холодных реках. Всё это закалило и укрепило меня, что очень пригодилось позднее и, в особенности, во время северо-западного похода Красной армии...

Мао Цзе-дун окончил учительскую семинарию в 1918 году и отправился в Пекин искать работу. В Пекине он встретился с Ли Да-чжао — профессором пекинского университета. Настоящий революционер, глубоко убеждённый в победе великих принципов коммунизма, Ли Да-чжао был подлинным властителем дум революционного студенчества и одновременно боевым руководителем рабочих. Вместе с Мао Цзе-дуном он заложил основы коммунистической партии Китая. Враги видели в лице Ли Да-чжао талантливое вожака народных масс и искали случая свести с ним счёты. В апреле 1927 года Чжан Цзо-лин казнил выдающегося китайского революционера.

Мао Цзе-дун встретился с Ли Да-чжао, когда тот заведывал университетской библиотекой. Познакомил их профессор Ян Чан-дзи, знавший Мао Цзе-дуна по учительской семинарии.

Под впечатлением встречи с Ли Да-чжао, Мао Цзе-дун отправляется вскоре к себе на родину и деятельно берётся за организацию революционного студенчества. Он становится во главе хунанской студенческой газеты, которая в тот момент пользовалась значительным влиянием в Южном Китае. В то же время он создаёт общество по изучению современных культурных и политических проблем. Мао Цзе-дун часто бывает в Пекине и ещё чаще — в Шанхае, куда в то время переехал Ли Да-чжао. Вместе с хунанскими друзьями Мао готовит создание «Лиги реконструкции Хунани». Встречи с пекинскими и шанхайскими рабочими способствовали формированию революционных взглядов молодого Мао.

— Я много читал о событиях в России и жадно разыскивал коммунистическую литературу, которой было очень мало в это время на китайском языке, — вспоминает Мао Цзе-дун. — Особенно взволновал меня «Коммунистический манифест» — первая

марксистская книга, вышедшая на китайском языке. Эта книга родила во мне веру в марксизм, как единственно правильную революционную теорию. Став сторонником марксизма, я в дальнейшем не уклонялся от него... С огромным интересом следил я за событиями в Советском Союзе. В 1920 году я уже основательно ознакомился с марксизмом, продолжая искать и поглощать марксистскую литературу. Под влиянием марксистской революционной теории и опыта Великой Октябрьской социалистической революции в России я создал зимой 1920 года в Чанша первую политическую организацию рабочих. С этого времени я и считаю себя марксистом.

В начале 1921 года Мао Цзе-дун основал в Хунани, на своей родине, коммунистическую организацию. А в июне 1921 года в Шанхае состоялся первый съезд китайской компартии.

— На этом историческом съезде, — пишет Мао Цзе-дун, — кроме меня, был ещё один хунанец. Всего делегатов было 12 человек.

Глубокая тайна окружала съезд, собравшийся в предместьях Шанхая. Для обсуждения важнейших вопросов повестки дня все 12 делегатов покинули Шанхай на лодках и встретились в камышовых зарослях пустынного озера в отдалении от города.

Воспоминания участников съезда рисуют необычную картину этого исторического заседания: тусклая вода озера, заросли жёсткого, высушенного солнцем камыша, несколько лодок, стоящих нос к носу, люди в широкополых соломенных шляпах и рослая фигура Мао Цзе-дуна, который, выпрямившись и торжественно подняв руку, как бы провозглашает создание партии!..

Трудный, бесконечно трудный и славный путь прошла коммунистическая партия Китая, созданная 30 лет тому назад в предместьях Шанхая и превратившаяся с годами в могучую силу.

— Мы — партия трудящегося народа, жестоко угнетаемого, — писал Мао Цзе-дун, — мы — партия революции, которая сметёт всю гниль с этой земли. Смерть — это только физический уход из жизни. И если человек, а тем более коммунист, может своей смертью, умом, храбростью принести пользу, то он не должен задумываться... Такая партия, которая живёт ради интересов народа, страдает вместе с ним и борется за его счастье, — несокрушима. Нет такой силы, которая могла бы победить партию коммунистов — боевой авангард трудящихся масс..

Рукопожатие

«Удастся ли нам увидеть Мао Цзе-дуна, примет ли участие в работах конференции вождь китайского народа, основатель нового китайского государства?..» — десятки раз задавали мы себе этот вопрос, пока экспресс мчал нас из Тяньцзиня в Пекин.

20 марта в назначенный час мы находились в том самом зале пекинского дворца, где год назад была провозглашена республика... Заседание уже началось, когда по рядам вдруг прокатилась волна оживления. В то же мгновение могучая овация потрясла своды дворца. Мы увидели прямо перед собой на сцене знакомую по портретам фигуру Мао Цзе-дуна. Он не успел сесть, застигнутый этой бурей аплодисментов, и словно в нерешительности переминался: ноги на ногу, улыбаясь делегатам доброй открытой улыбкой. Овация всё ширилась и росла. Мао Цзе-дун неторопливо снял с себя тёмное штатское пальто и, положив его на спинку стула, сел за стол президиума.

Председатель Мао был одет в свой обычный полувоенный костюм защитного цвета. Лицо его казалось бледным. Вспомнилось, что друзья юности Мао Цзе-дуна называли его «бледнолицым студентом». Высокий лоб, чистый и ясный. Одухотворённый глубокой мыслью, спокойный взгляд...

Рядом с Мао Цзе-дуном сидел его друг и сподвижник — главнокомандующий Чжу Дэ, человек с обветренным, обожжённым солнцем лицом солдата, которому хорошо знакомы и тысячекилометровые переходы по горячей степи, и неспокойный сон у потухших костров в горах. Да и само слово полководца было по-солдатски крепким, простым, полным юмора... В тот день мы слушали Чжу Дэ. Он поздравил

участников конференций с успехами в работе и сказал несколько напутственных слов хозяйственникам и профсоюзным работникам, съехавшимся с разных концов страны. Речь была короткой и ясной, как обращение командира к солдатам перед выступлением в новый поход. Такая речь укрепляет в людях веру в свои силы, воодушевляет на подвиги. Делегаты долго, восторженно аплодировали Чжу Дэ.

Незадолго до конца заседания нам сообщили, что Мао Цзе-дун и Чжу Дэ хотели бы видеть нас. Мы поднялись со своих мест и в некотором замешательстве направились к сцене. Не успели мы сделать и нескольких шагов, как увидели, что Мао Цзе-дун и Чжу Дэ идут нам навстречу... Навсегда мне запомнился открытый, полный радушия взгляд Мао Цзе-дуна. Улыбаясь и пожимая нам руки, он сказал по-русски:
— Спасибо...

Перед закрытием конференции вице-председатель Всекитайской федерации профсоюзов сделал подлинно историческое сообщение:

— Правительство прекратило выпуск денежных знаков и, таким образом, кладёт конец инфляции. Отныне основные расходы оно будет покрывать доходами государства!

Делегаты встретили ликованием эту весть. В самом деле, трудно было переоценить значение этого государственного акта. Впервые за многие десятилетия в Китае обретала силу национальная валюта — юань. Это означало решительное поражение американского доллара в Китае, который систематически дезорганизовывал китайские национальные финансы и подрывал благосостояние народа.

Новый Китай быстро шёл в гору, и событие, о котором мы узнали только что, убедительно свидетельствовало об этом.

Литературная обработка С. Артемьева.

(Окончание следует)



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ГОВАРД ФАСТ

★

ПИКСКИЛЛ, США

Полю Робсону

ПРЕДИСЛОВИЕ

С 27 августа по 4 сентября 1949 года мне довелось быть участником весьма странных и, я бы сказал, зловещих событий, которые ныне уже стали немаловажным этапом послевоенной истории Соединённых Штатов.

Многие поколения будут не раз вспоминать пикскиллский инцидент и размышлять о нём, но только историкам, с их широким кругозором и всесторонним подходом к явлениям, предстоит сделать окончательные выводы о значении того, что произошло в Пикскилле. Я лично настолько тесно связан с этими событиями, что, возможно, подхожу к ним несколько субъективно.

В Пикскилле впервые широко и открыто выступил американский фашизм, что я не знаю, было ли это выступление частью какого-то заранее намеченного плана, пробой возможностей или просто кульминацией событий, определяющих эпоху, в которую мы живём. Только время даст ответ на эти и многие другие вопросы, связанные с Пикскиллом.

Первоначально моё участие в происшедшем определялось чистой случайностью, хотя потом, когда события, связанные с инцидентом в Пикскилле, развернулись, оно уже носило далеко не случайный характер. Не часто писателю выпадает удача — или судьба — быть непосредственным участником таких событий, о которых он должен писать. Когда же это случается, наблюдательный писатель получает все возможности дать такое верное описание событий, которое впоследствии может приобрести чрезвычайно важное значение. Именно потому, что я держусь такого мнения, я предлагаю Вашему вниманию этот отчёт о восьми днях пикскиллского инцидента. Я, однако, не рассматриваю мой отчёт как исследование социальных проблем или как полное отражение всех имевших место фактов. Я рассказываю, главным образом, о том, что происходило рядом со мной, о том, что я видел собственными глазами. Там же, где я выхожу за рамки виденных фактов, я делаю это ради связности и последовательности изложения событий; там, где я делаю выводы, — это мои собственные выводы, основанные, в своём большинстве, на моих личных наблюдениях. Я стремлюсь прежде всего воссоздать точную картину событий.

Мы живём в такое время, когда всякое заявление, сделанное представителями левого лагеря, встречает подозрительное отношение или даже прямое недоверие. Поскольку средства информации в своей массе находятся в руках американской реакции, трудно ожидать, что этот отчёт будет встречен одобрением и признан объективным свидетельством того, что случилось в Пикскилле.

Но, откровенно говоря, я никогда не претендовал на блинныйскую «объективность». В течение многих лет я считал себя сторонником определённой идеи и никогда не делал из этого тайны. В Пикскилле мне было трудно сохранить такую «объективность» — объективность не для тех, кто борется за свою жизнь. Тогда я имел определённую точку зрения, этой же точки зрения придерживаюсь сейчас и считаю, что приверженность к определённой идее не только не мешает, а, наоборот, помогает прийти к истине.

О пикскиллском инциденте написано уже много — со всем этим могут познакомиться исследователи, и я не ставлю своей задачей ревизовать написанное. Моя задача — рассказать о событиях так, как они представлялись мне.

Тем, кто может выразить удивление, почему я так долго ждал, прежде чем приняться за работу, я отвечу: чтобы дать последовательное и связное изложение таких событий, как пикскилские, необходима известная перспектива. Кроме того, я был занят другой литературной работой, а позже мне помешало федеральное правительство, которое сочло, что я должен отбыть трёхмесячное тюремное заключение в наказание и устрашение всем тем, кто может прийти к выводу, что существование полицейского государства — нетерпимое явление.

Ещё находясь в тюрьме, я узнал, что коллегия присяжных Уэстчестера, заседавшая по пикскилскому делу в течение многих месяцев, выработала, наконец, два обвинительных заключения. Вспоминаются беспокойные дни, когда я ожидал подтверждения того, действительно ли, — как об этом ходили слухи, — эти обвинительные заключения направлены против Поля Робсона и меня. Узнав, что это не так, я одновременно почувствовал и облегчение и удивление потому, что с самого начала и до конца пикскилский инцидент был подстроен с тем, чтобы создать «дело» или, как говорят юристы, — «устроить ловушку». В то же время я не убаюкиваю себя надеждой, что последняя глава пикскилской истории уже написана.

Глава 1

Спокойное начало

Случилось так, что в августе 1949 года я и моя жена смогли предоставить себе долгожданные каникулы. Она отправилась в Европу. Я снял домик в Кротоне на Гудзоне, — примерно в шести милях от Пикскилла, — для себя, своих двух детей и няни.

Я тогда работал над монографией об отношениях литературы и действительности¹, и мне казалось, что провести месяц за творческой работой, с детьми, в стороне от политических событий, занимавших такое большое место в моей жизни, будет для меня полезным во всех отношениях отдыхом.

В этом я не ошибся. В тот год август выдался ясный и прохладный: было много солнечных дней и приятных вечеров. Для меня эта перемена обстановки была особенно желанной. Уютный домик, который мы сняли, стоял на склоне холма среди деревьев, и из окон его верхнего этажа открывался вид на Гудзон. Это было прекрасное место для отдыха.

По утрам я работал над своей монографией, а дети играли на лужайке. Днём я занимался ими: обычно мы ходили купаться в находившийся неподалёку бассейн. Потом вместе ужинали, а после того как дети ложились спать, я проводил время за чтением или за беседой с друзьями, которые иногда навещали меня.

Как я уже сказал, неделя-другая прошли очень спокойно, с пользой для дела; моя работа подходила к концу.

Как-то, в середине месяца, зазвонил телефон, и когда я снял трубку, молодой женский голос спросил Говарда Фаста. Получив подтверждение, что у телефона Фаст, тот же голос спросил меня, не соглашусь ли я быть председателем на концерте, который должен состояться в округе через пару недель.

— Я хотел бы знать, что это за концерт?

— Мы его устраиваем ежегодно.

— Кто это «мы»? — спросил я.

— «Мы» — это «Народные артисты». В концерте будут выступать Пит Сигер и Поль Робсон. Вы знаете, кто такие «Народные артисты»?

Я слышал о «Народных артистах». Многие из них были мне симпатичны лично, и я с уважением относился к тому, что они делали. Эти артисты, в большинстве своём молодые люди, раскопали огромное количество американских народных песен и, вооружившись гитарами, выступали с этими песнями перед простыми людьми. Их можно было видеть повсюду — на профсоюзных собраниях и массовых митингах, в сельских местностях, в небольших посёлках и в курортных городках. Они писали новые слова к старым мелодиям, продолжали и развивали лучшие музыкальные традиции Америки, начиная от эпохи революции до наших дней.

¹ См. «Новый мир» № 12 за 1950 год. (Прим. ред.)

Было очень трудно отказаться от участия в концерте, который они устраивали, но меня удерживало твёрдое решение прожить этот месяц спокойно и уединённо.

— Я знаю, кто такие «Народные артисты», — сказал я, — но, право, я не могу...

— Послушайте, — продолжала моя собеседница, — я знаю, что ваша девочка любит пение Поля Робсона. Концерт устраивается на прелестном лугу в загородном парке, всё будет, как на пикнике, и в 10 часов кончится. Ну почему вы отказываетесь? Пожалуйста, приезжайте!

Было приведено ещё много таких же веских доводов, и, в конце концов, я сказал, что согласен.

Она обещала сообщить мне в письме все подробности относительно моего участия в концерте и повесила трубку. Только потом я сообразил, что даже не узнал её фамилии.

Через несколько дней пришло обещанное письмо, в котором сообщалось, что концерт состоится в загородном парке Лэйклэнд Эйкрс, в нескольких милях к северу от Пикскилла, и что было бы хорошо, если бы я приехал к семи, чтобы иметь достаточно времени для уточнения программы.

В письме также говорилось, что это будет четвёртый концерт Робсона в этой округе. Первый состоялся в 1946 году в расположенном неподалёку посёлке Мохеган Кэлони, второй — на год позже на пикскилском стадионе, третий в 1948 году, в Кромпонде, близлежащей деревне.

Следует отметить, что весь этот район, расположенный по берегам Гудзона от Кротона до посёлков в дюжине миль от Пикскилла, уже в течение многих лет служит любимым местом летнего отдыха тысяч рабочих, занятых в швейной промышленности; они построили здесь летние посёлки и лагеря, в которых не признают расовые различия, и негры, вырвавшись из своих городских гетто, могут несколько летних недель пожить здесь спокойно и с удобствами. Рабочие строили свои домики тщательно, с любовью; их посёлки, рассыпанные по склонам невысоких холмов и в тенистых долинах, стали неотъемлемой частью естественного живописного пейзажа. Пикскилл — единственный город в этой местности — скорее торговый, чем промышленный центр. Большинство его жителей — мелкая буржуазия. Тут скопление лавок, заправочных станций, бильярдных, закусовых, контор по продаже недвижимости. Когда-то преуспевающий речной порт, Пикскилл отстал от стремительного промышленного развития Америки. Это город, оставшийся за бортом, город забытый, дряхлеющий и смрадный, как гноящаяся рана.

Вот так, совершенно случайно, я был вовлечён в пикскилское дело. Не имея ни малейшего представления о том, что может произойти, я решил взять с собой свою маленькую дочь Рэчел, чтобы она послушала Поля Робсона. Вечер предстоял быть интересным и приятным. Приняв решение, я вернулся к своим обычным занятиям и до утра субботы 27 августа не думал о концерте.

В это утро мой старый друг Дж. Н., одно время бывший редактором «Нью Мэссис», а теперь очеркист нью-йоркской «Дэйли уоркер», позвонил мне по телефону и спросил, собираюсь ли я взять с собой дочку. Я сказал, что намереваюсь, и он предложил мне поехать на концерт вместе. Он жил тогда примерно в четверти мили от дома, который я снял, и сказал, что заедет за мной. Повесив трубку, я заметил, что миссис М., няня моих детей, прислушивается к нашему разговору.

Благоразумная и по-матерински мягкая, она по временам умела быть очень настойчивой. Такой именно она была сейчас.

— Я бы не брала с собой Рэчел, — решительно сказала она.

— Почему?

— Просто не брала бы, и всё.

— Почему? Она любит Поля, и его пение в такой необычной обстановке доставит ей огромное, незабываемое удовольствие. Мне кажется, будет очень хорошо, если она поедет со мной.

— А я считаю, что будет хорошо, если она останется, — возразила миссис М.

— Почему?

— Может быть потому, что я негритянка, а вы белый.

— Бог мой! Какое отношение, хотел бы я знать, это имеет к поездке?

— Просто не берите Рэчел, и всё,— сказала она твёрдо.

И я уступил ей.

— Хорошо, я не возьму Рэчел, но если вы думаете, что может что-либо произойти, вы ошибаетесь. Ничего не случится.

Это было утром. В полдень, когда я, сидя на лужайке, наблюдал за тем, как мой маленький сын играл со своей пластмассовой ванночкой, к дому незаметно подъехала машина, и два человека — негр и белый — вышли из неё. Они представились. Негр был членом группы «Народных артистов»; белый — одним из общественных деятелей округа.

— Я решил, что будет полезно побеседовать с вами до концерта,— сказал негр. — Вы, конечно, в курсе того, что происходит?

— Происходит? Что вы хотите этим сказать?

— Вы разве не видели пикскиллских газет?

— По правде говоря, не видел; я даже не видел нью-йоркских газет за последние несколько дней.

— Тогда очень хорошо, что мы имеем возможность поговорить, потому что, кажется, будут неприятности.

Я не поверил. После месяца в деревне, месяца хорошей и спокойной жизни, я стал сомневаться в том, что вообще где-нибудь существуют неприятности, а если и существуют, то во всяком случае не здесь, не в этих тихих долинах. И потом, кому захочется причинять нам неприятности? Это не политический митинг, не демонстрация, а концерт в загородном парке летним вечером. Неприятности так не начинаются. Всё это я и сказал устроителям концерта.

— Тогда вы ошибаетесь, Фаст,— ответили они мне.— Вы чертовски ошибаетесь.

— Не думаю.

— Тогда послушайте вот это...— И негр прочитал мне: «...Повидимому, Пикскилл будет удостоен ещё одного концерта Поля Робсона, известного негритянского певца-баритона. Было время, когда эту честь мы приняли бы охотно, очень охотно. При нынешнем же положении вещей мы, как большинство американцев, которые ставят прежде всего Америку, считаем эту честь сомнительной».

И далее в том же роде.

— Теперь это,— сказал он.— Послушайте теперь вот это: «...Прошло время терпеливого молчания, молчания, которое означает одобрение». — Это из «Пикскилл иннинг стар» за прошлый вторник,— пояснил он.— С того времени они взвинтили себя до предела. «Американский легион»¹ собирается устроить парад, а местные парни накачивают себя спиртным с самого утра. С другой стороны, некоторые из окрестных жителей направили телеграмму протеста Д. А. Фаннелли (прокурор округа Уэстчестер.— *Перев.*), в которой просят его на всякий случай держать наготове достаточное количество полицейских и местные войска. Может быть, он их пришлёт, а может быть, нет. Так или иначе, главное для вас — держать ухо востро.

«Вуду держать ухо востро»,— думал я. Но в то же время я не придавал этому значения: мне приходилось уже не раз слышать такие угрозы в связи с разными событиями на протяжении многих лет, и я знаю, что джентльмены, угрожающие насилем, хотя очень много говорят, гораздо менее решительно переходят к действиям.

— Не думаю, чтобы что-нибудь произошло, просто не думаю,— сказала я.

Устроители концерта условились встретиться со мной в семь тридцать и уехали, оставив мне полдюжины выпусков «Пикскилл иннинг стар». Я перелистал эти газеты, останавливаясь лишь на некоторых образчиках той глупой и порой почти патологической ненависти и предубеждения, которыми так обильно были уснащены их страницы.

¹ «Американский легион» — фашистская организация в США. Создана в 1919 году реакционно настроенными ветеранами мировой войны. Членами Легиона являются (по данным 1949 года) 45 сенаторов из 96, 205 конгрессменов из 435, 8 верховных судей из 9. (Прим. перев.)

Там были угрозы насилия и рядом с ними опровержения, отрицающие причастность к насилию. Отовсюду торчали плохо спрятанные колючки антисемитизма и ненависти к неграм. В миниатюре эта тупая и крикливая газетка повторяла все хвастливые напыщенные тирады послевоенного антикоммунизма и антигуманизма. Вё попытки прикрыть свою мерзость личиной «хорошего тона» были смешны, *впрочем* не более, чем подобные же уловки её собратьев — крупнейших нью-йоркских изданий.

Вот пример:

«К сожалению, некоторые из наименее устойчивых могут поддаться этому ложному учению (они подразумевали под этим коммунистическое учение), если лойяльные американцы в нашем округе не примут необходимые меры.

Несколько лет назад подобная организация, Ку-Клукс-Клан, появилась в Верпланке (соседний посёлок) и получила заслуженное возмездие. Нет нужды говорить, что она больше не возвращалась сюда. Я не подстрекаю к насилию, но я считаю, что мы должны серьёзно обдумать этот вопрос и стремиться найти лекарство, необходимое в обстановке, подобной той, которая создалась в Верпланке, лекарство, после которого они больше никогда не появятся в нашем округе».

В том же духе писала «Пикскилл ивнинг стар» и дальше.

Для того чтобы отдать должное такому весьма оригинальному применению английского языка, нужен сатирический талант Марка Твэна, я же почувствовал, что геряю некоторую долю своего, навеянного безмятежными днями отдыха, ощущения безопасности. Передо мной был образец чудовищного ханжества и невежества, порождённого людьми, которые склоняются невежеству как божеству, достойному стоять в одном храме с долларом.

Поразмыслив над всем этим, я пришёл к выводу: необходимо обязательно и вовремя попасть в загородный парк. Поэтому я решил выехать в 6.30. До парка было не более 20 минут езды. У меня не было своей машины, но я нанял на месяц «плимут» образца 1940 года с четырьмя дверцами — старый, но лёгкий на ходу автомобиль, который сыграл значительную роль в моих злоключениях в течение следующей недели.

Прежде чем уехать, я сказал миссис М., что могу вернуться поздно, так как трудно рассчитывать, что всё пройдёт нормально.

— Когда придет Дж. Н., — сказала я ей, — передайте ему, что я уехал и увижусь с ним на концерте.

Глава 2

Первый вечер ужасов

Я очень отчётливо помню золотой вечер 27 августа. Это был такой ласковый, такой светлый вечер, какие можно увидеть только на полотнах Джорджа Иннеса¹. Но даже ему удавалось так живо передать ощущения родных росистых полей только тогда, когда он изображал уголки чудесной долины Гудзона. Я выбрал узкую окольную дорогу, которая вилась по тенистой долине между невысокими холмами. Объехав старый деловой район Пикскилла, я выехал на шоссе, идущее к северу от города. Мне никогда прежде не приходилось бывать в загородном парке Лэйклэнд Эйкрс, и поэтому ехал я медленно, отыскивая въезд в него, находящийся по моим сведениям на трёхмильном отрезке дороги Дивижн-стрит, соединявшей Пикскилл с аллеей Бронкс-ривер-паркуэй.

Но оказалось, что я никак не мог бы проехать мимо, не заметив въезда. Уже за сотню ярдов от него я увидел стоявшие по краям шоссе пустые запертые автомашины. Это меня удивило, так как до начала концерта оставалось ещё более часа. У самого поворота стояла беспорядочная толпа мужчин. Они, однако, не пытались остановить мою машину, а лишь проводили меня насмешливыми криками и жестами. После меня они дали проехать в парк всего лишь одной машине.

¹ Джордж Иннес (1825—1894) — американский художник-пейзажист. (Прим. перев.)

Въехав в парк, я сразу же остановил машину. Здесь, в нескольких ярдах от дороги, стояла пруппа подростков. Их было человек пять. Они приехали из Нью-Йорка, чтобы проверять билеты у входа. Их очень напугали насмешки и крики улюлюкавшей на дороге толпы, но они всячески старались скрыть своё волнение. Увидев меня и узнав, кто я, они обрадовались. Но такое начало всё же очень тревожило их.

— Что мы будем делать? — спросили они.

— А кто здесь распоряжается?

Они сказали, что не знают. Ещё очень рано, и они не думают, чтобы кто-либо из устроителей уже был здесь, но, может быть, всё-таки там, дальше, кто-нибудь и есть.

— Хорошо, — сказал я им, — не впускайте сюда никого, кто пришёл не на концерт. Держитесь спокойно, сохраняйте хладнокровие, и ничего не случится.

Я, кажется, повторял, как припев, эту фразу — «ничего не случится, ничего не может случиться».

— Сейчас я подъеду туда и поншу кого-нибудь, кто здесь распоряжается, — продолжал я.

Для того чтобы понять, что произошло, начиная с этого момента, вы должны ясно представить себе расположение Лэйклэндского парка и того места, где должен был состояться концерт.

Въезд в парк находится влево от главной дороги, по которой вы едете из Пикскилла. Въезд двойной, он сходится в форме буквы «У» и ведёт на узкую просёлочную дорогу. Примерно в 80 футах от въезда по обеим сторонам дороги начинается крутая насыпь, высотой около 20 футов, за которой находятся неглубокие канавы с водой. Таким образом, около 40 футов дороги огорожено; затем, на протяжении около четверти мили, она спускается в долину. Эта дорога — уже часть загородного парка и принадлежит его владельцу. Она кончается в неглубокой, поросшей травой просторной ложбине — своеобразной естественной арене, скрытой от взоров тех, кто едет по шоссе, грядой небольших холмов.

В этой ложбине было подготовлено всё необходимое для концерта: большой деревянный помост-эстрада, две тысячи деревянных складных стульев и несколько прожекторов, питающихся от передвижного генератора.

Прежде чем спуститься в ложбину, я посмотрел на часы: было точно без десяти семь. Съехав вниз, я поставил машину у группы деревьев в стороне от помоста, вышел из неё и стал бродить вокруг.

Эстрада была в полном порядке, стулья расставлены, прожекторы установлены. Неподальку стоял длинный стол, на котором лежала целая груда песенников и брошюр.

Когда я подошёл к эстраде, из большого автобуса, приехавшего передо мной, вышли последние пассажиры — юноши и девушки, в большинстве негры, которые тоже прибыли сюда пораньше, так как должны были стоять на контроле. Автобус развернулся и уехал, оставив за собой клубы пыли.

Юноши и девушки пересекли луг; они шли медленно, как бы окунаясь в золотое сияние вечера. На лугу было ещё человек 120, главным образом женщины и маленькие дети. Они чувствовали себя, действительно, как на пикнике. В ожидании начала концерта одни удобно растянулись на траве, другие устроились за грубо сколоченными столами, некоторые сидели на стульях.

Юноши и девушки из летнего лагеря Голден Бридж, приехавшие вслед за мной, расселись на эстраде, свесив ноги. Все они были не старше пятнадцати лет. Некоторые были даже моложе.

Кое-кто из собравшихся на лугу приехал на машинах, большинство же пришло в парк с близлежащих дач. Ребята из Голден Бриджа прибыли на большом грузовике, который стоял теперь рядом с моей машиной. Как выяснилось позже, грузовику предстояло сыграть немаловажную роль в событиях этого вечера.

По счастливой случайности среди собравшихся оказался человек шесть моряков торгового флота, проводивших свой отдых поблизости и решивших прийти сюда

пораньше до начала концерта. У меня были все основания благодарить судьбу за это и за то, что на лугу были ещё четыре профсоюзника. Но ни один из них не знал, к сожалению, кто именно занимается организацией концерта; впоследствии выяснилось, что его устроители вовсе не попали в парк.

Потратив некоторое время на попытки что-либо разузнать, я оставил затем эту мысль, забрался на один из столов и решил терпеливо ждать. Было семь часов, но в нашей ложбине не было заметно ни малейших признаков, которые давали бы мне повод для беспокойства.

Весть о грозящей беде принёс нам прибежавший сверху подросток. Он появился вдруг из-за поворота дороги и бежал к нам вниз как сумасшедший. Мы сгрудились около него, и он сказал нам, что начались неприятности, и пусть кто-нибудь из нас пойдёт туда, ко входу в парк, потому что неприятности, кажется, будут большие. Мальчик был очень испуган.

Мы направились ко входу вместе с ним. Нас было человек 25—30. В такой момент не считаешь, хотя потом я пересчитал всех, кто был с нами.

Наша группа состояла из мужчин и юношей — почти всех мужчин и юношей, бывших на лугу. Было с нами и несколько девушек. Мы бежали по пыльной дороге, и я всё ещё думал тогда, что ничего, кроме грязных ругательств и оскорблений, нам не грозит, потому что мне никогда не приходилось видеть, чтобы люди такого сорта, как те, которые стояли там на дороге, проявляли храбрость, если только кто-нибудь не попадался им в одиночку или перевес в силах не был двадцать против одного в их пользу.

Так мы добежали до входа. Как только мы появились, толпа, стоявшая на дороге, ринулась на нас. Их было не менее трёхсот человек — в фуражках «Американского легиона», с дубинками, медными кастетами и камнями, зажатými в руках. Внезапная яростная схватка сразу же развеяла моё неверие в возможность неприятностей.

Такие схватки не длятся долго. Эта продолжалась три или четыре минуты, и так как дорога была узкой, нам удалось заставить легионеров отступить. Но они заполнили всё пространство перед входом; за ними стояли сотни, а дальше вдоль подъездной дороги теснились ещё и ещё сотни людей.

Если вы никогда не попадали в ловушку и не видели перед собой сотен людей, охрипших от злобных воплей и ненависти, вам трудно представить, на что это было похоже.

Теперь я понял, почему никто больше не приходил на концерт. Одна из развилок дороги, ведущей ко входу, была завалена камнями, там высилась огромная баррикада. Поперёк другой стоял пустой грузовик, принадлежавший Легиону.

Выходило, что легионеры заперли нас и мы не могли уйти. Их было по двадцать на каждого из нас — как раз столько, сколько им было нужно, чтобы отважиться напасть.

Как я уже сказал, после первой схватки мы заставили их отступить, и теперь начало дороги было за нами. Разгорячённые, пропылённые и потные, мы пока ещё не получили серьёзных увечий. Но толпа снова двинулась бы на нас, если бы на наше счастье не появились три помощника шерифа. Эти три человека, держась за кобуры своих пистолетов, прокладывали дорогу сквозь толпу, сквозь стену спиртных испарений. Их позолоченные значки блестели в лучах заходящего солнца.

Они поворачивались из стороны в сторону, умиротворяюще простирая руку.

— Вот что, ребята, — уговаривали они, — вы не волнуйтесь, потому что с таким же успехом мы можем сделать всё это по закону, а если делаешь по закону, всегда получается лучше.

— Дайте нам пять минут, и мы уничтожим этих чёрных ублюдков, — отвечали «ребята».

— Не волнуйтесь, ребята, не спешите и не волнуйтесь, потому что не стоит навязывать себе неприятности, когда можно обойтись без них.

Затем три помощника шерифа обратились к нам и выразили желание узнать, какого чёрта мы здесь торчим и почему устраиваем беспорядок?

Я всё время следил за часами. Было десять минут восьмого. Теперь мы получили возможность разглядеть «ребят» в фуражках «Американского легиона» — они менее всего казались ребятами. Им было лет по тридцать, сорок, пятьдесят, а многим даже за пятьдесят. Причём это были вовсе не «подонки» общества, в прямом смысле этого слова. Большинство из них, упитанные, хорошо одетые, имели вид вполне обеспеченных людей — владельцев недвижимости, бакалейщиков, официантов из закусочных, служащих заправочных станций и т. п. Посмотрите на посетителей любого увеселительного заведения в Пикскилле или в Шраб Оук — и вы получите представление об этой толпе.

Прибавьте сюда сотню «порядочных» граждан, сотню подростков, у которых голова забита мусором антикоммунистической пропаганды; присоедините к ним сотню ревностных прихожан местной католической церкви, полсотни учащихся, приехавших домой на каникулы, сотню отсталых рабочих и прибавьте ещё две-три сотни сброда со всей прилегающей к Гудзону округи, — и вы получите довольно полное представление о тех, кто стоял перед нами в этот вечер.

Напоите их спиртным для храбрости, предоставьте им численное презосходство — двадцать против одного, поставьте на их сторону полицию — и вы дополните картину всеми недостающими деталями.

Вот каковы были «ребята», которых помощники шерифа задержали ровно настолько, сколько понадобилось, чтобы сохранить в тот момент нашу жизнь. Но вряд ли помощники шерифа хотели именно этого: тогда ведь всё только начиналось, подобного прецедента ещё не было в Уэстчестерском округе штата Нью-Йорк, и три представителя власти с позолочёнными значками не знали точно, какую роль они должны играть. Поэтому они удерживали «ребят» и спрашивали нас, какого чёрта мы здесь торчим и почему устраиваем беспорядок.

Тогда я стал говорить от имени всех. Так случилось, главным образом, потому, что я был старше тех, кто был со мной, и потому, что моряки и профсоюзники, когда нужно было отвечать, указывали на меня.

Что делать — я согласился быть председателем на концерте «Народных артистов», а выходило так, что нам предстояло услышать совсем иной концерт — престелные народные мелодии Америки в исполнении Поля Робсона и Пита Сигера, а музыку особого рода, мелодии которой уже прозвучали в Германии и Италии. Как бы то ни было, роль председателя, повидимому, сохранялась за мной.

Поэтому я сказал помощникам шерифа, что мы не помышляли причинить кому-либо неприятности, а собрались сюда для того, чтобы послушать концерт, и спросил, почему они не очистят дорогу, чтобы люди, приехавшие на концерт, могли попасть в парк и мирно слушать музыку.

— У меня начинает зудеть в... от таких разговоров, — сказал деликатно один из помощников шерифа.

Остальные стояли рядом и глядели на нас. Я помню их очень ясно, хотя у нас в Америке все помощники шерифа сделаны по одному шаблону — живот у них вываливался из брюк, распухшие лица были полны неприязни и злобы. Опасались они только ответственности за то, что происходило в этот вечер, и хотели, чтобы всё произошло помимо них.

Поэтому они заявили:

— Сейчас же прекратите беспорядок. Мы не хотим никаких беспорядков и нам не нужны те, кто их устраивает.

Я снова старательно стал разъяснять положение вещей. Я доказывал им, что не мы устраиваем беспорядки и не мы заманили сюда три сотни этих невинных патриотов, чтобы они напали на нас. Я говорил, что мы хотим только одного: власти должны очистить дорогу и дать возможность людям пройти на концерт.

— Как, чёрт возьми, мы можем очистить дорогу? Посмотрите-ка туда, — сказали они мне.

— Скажите им, чтобы они ушли, и они уйдут, — возразил я.

— Не учите меня, что я должен им говорить.

— Послушайте, мистер, — сказал я, — мы будем считать вас ответственным за всё то, что здесь произойдёт.

— Идите вы... — сказал страж закона.

— Ладно, мы поговорим с ребятами, — добавил другой.

Они начали говорить с «ребятами», и мы получили ещё на пять минут передышку.

Я не слышал, что они говорили. Мне становилось ясно, что у этих представителей власти не было никакого намерения принять меры против «ребят». А когда я бросил взгляд на дорогу и увидел завал и сплошную массу легионеров, я начал понимать: не только очень мало вероятно, что кто-нибудь из наших войдёт в парк, но вовсе непохоже на то, что кто-либо из нас, уже находящихся внутри, выйдет отсюда.

В осознании этого было начало прозрения, но только начало. Полностью значение происходящего я осознал значительно позже.

Было ещё светло. Долина Гудзона, весь заключённый в ней мирок ещё купался в золотом сиянии. И мы всё ещё оставались людьми, пришедшими послушать концерт. К мысли о смерти не привыкнешь сразу. Она тягостна и трагична, тем более что в Соединённых Штатах Америки до сего времени смерть никогда не приходила таким образом.

«Да, конечно, будут неприятности, но никаких драматических событий, ничего угрожающего быть не может», — продолжал я убеждать себя.

Как только шерифы отвернулись от нас, чтобы говорить с толпой, толпа вдруг расступилась, и показался человек. Почти как видение прошёл он через это скопище и подошёл ко мне. Именно потому, что он шёл так спокойно и был совсем не от мира сего, они пропустили его. Ему было лет 25. Он был высок ростом, с бородкой. Одетый в свободный, яркого цвета комбинезон и берет — он, казалось, сошёл с пожелтевших от времени страниц Леонарда Меррика¹. Как он очутился вместе с нами, я так и не знаю.

Я спросил его, кто же он, чёрт возьми, и откуда, чёрт побери, пришёл.

— Я любитель музыки, — ответил он.

Ни один уважающий себя писатель не осмелился бы выдумать такое, но так было в действительности.

— Вы умеете драться, Любитель музыки? — спросил я его.

— Не умею и не буду. — В его голосе звучали гнев и отвращение.

— Нет, вы умеете и будете драться, Любитель музыки, — сказал я. — Иначе отправляйтесь назад. На этот раз они разорвут вас в куски.

Те, кто был со мной на дороге, помнят эту сцену и могут подтвердить то, что я рассказываю. В тот же вечер, несколько позже, я ещё раз разговаривал с этим человеком. Я так и не узнал его имени — для меня он остался Любителем музыки. Но когда я разговаривал с ним второй раз, он уже потерял свой берет, его комбинезон был разорван в клочья, он был весь в крови, а в глазах его горел отблеск битвы.

— Ей-богу, я умею драться, — сказал он торжествуя.

Он узнал это так же, как многие из нас в тот вечер, как и негритянский паренёк лет шестнадцати.

Когда мы стали организовывать отряды, этот паренёк сошёл с дороги и хотел прокрасться через поле. Я позвал его, и он остановился, полный стыда и страха, полный страшных воспоминаний о нечеловеческих муках негров, которых линчевали, которых обмазывали дёгтем, вываливали в перьях, избивали до бесчувствия, убивали.

— Я не могу драться, мистер Фаст, — проговорил он. — Я не могу и я должен выбраться отсюда, я должен...

— Если они захватят тебя в поле, ты знаешь, что они с тобой сделают?

— Я знаю, но я не могу драться.

— Ты можешь драться, — спокойно сказал я. — Ты можешь драться, сынок, так

¹ Леонард Меррик (1864—1939) — английский писатель. Автор коротких рассказов, популярных в США в начале сороковых годов.

же, как и я. Правда, и я дерусь не очень-то хорошо, но мы оба можем драться. Поэтому давай останемся здесь и будем драться.

Я снова разговаривал с ним позже. На макушке у него зияла кровавая рана в 6 дюймов длиной, и кровь ручьём бежала по лицу. Какая сила удерживала его на ногах — я не знаю, но он сказал мне очень спокойно:

— Я ранен, мистер Фаст, и если вы найдёте, что я ранен сильно, я хотел бы немного прилечь. Но если вы считаете, что это ничего, я ещё могу драться.

Это только два эпизода из многих событий того вечера. Они показывают, что не сразу свыкаешься с мыслью о возможности близкой смерти, которая всему конец, но всё же свыкаешься...

Помощники шерифа уговаривали «ребят», а внизу в ложбине были женщины и маленькие дети, и я стал думать о том, что станет с ними, если эта буйствующая толпа сметёт нас с дороги и прорвётся туда. Мужчины и юноши, негры и белые, сгрудились вокруг меня во время этой короткой передышки и ждали от меня каких-то действий — ведь я написал много книг, в которых люди действовали в подобных обстоятельствах.

— Ладно. — сказал я. — У нас очень плохое положение, но не будем терять головы. Скоро придут настоящие полицейские и положат конец этому безумию. Пока же мы должны сдерживать натиск толпы здесь — на узком и высоком участке дороги. Во всяком случае, защищаться тут удобнее всего. Мы должны удержать их во что бы то ни стало, потому что там, внизу, много детишек и женщин. Вот вся наша тактика. Согласны?

— Согласны, — сказали они.

— Хорошо. Ещё одно условие. Позвольте мне вести переговоры и принимать решения единолично, когда это потребует сделать немедленно. Ведь может случиться, что не будет времени для обсуждения. С этим согласны?

Все ответили:

— Да.

Тут наше время истекло. События начали нарастать. Прежде всего, я велел девушкам бежать назад в ложбину, собрать всех женщин и детей на помост и держать их пока там, а всех физически крепких мужчин и подростков прислать к нам. Затем я сказал, что нужен доброволец.

— Необходимо, чтобы кто-нибудь пробрался через эти заросли на дорогу, нашёл телефон и сообщил обо всём в полицию, в «Нью-Йорк таймс», в «Дэйли уоркер» и губернатору. Кто может это сделать?

Такой человек нашёлся. Я не знаю, что о нём сказать, кроме того, что он проявил огромную изобретательность и большую силу воли. Он был небольшого роста, с ясными глазами, и его имя — А. К. — надолго останется в моей памяти. С того вечера я больше не видел его. Трижды он пробирался туда и обратно сквозь воющую толпу и сделал всё, что нужно было сделать.

Пришли мужчины, оставшиеся внизу, и я подсчитал наши силы. Всего, вместе со мной, было 42 человека. Примерно половину составляли негры, около половины были подростки. Я быстро разбил их на 7 отрядов по шесть человек и назначил в каждом отряде старшего.

Три цепочки, каждая из двух отрядов, иными словами, три цепочки по 12 человек, преградили дорогу там, где начиналась земляная насыпь.

Все три цепочки упирались в деревянную ограду. С флангов мы были защищены канавами с водой. Седьмой отряд — резервный — находился у нас в тылу.

Я снова посмотрел на часы. Было 7 часов 30 минут.

Три помощника шерифа исчезли, и мы больше не видели их в этот вечер. Толпа снова катилась на нас. Начиналась вторая атака.

Это была самая жестокая из всех атак нашего сражения. Во-первых, было ещё светло. Позже, когда стемнело, ощущение того, что мы — организованный коллектив, помогало нам гораздо больше. Сейчас же было ещё светло, и вся эта орава двигалась на нас, размахивая колыями, выломанными из заборов, дубинками, бутылками

и складными ножами. Их главари продолжали прикладываться к фляжкам до тех пор, пока они не кинулись на нас. И теперь, вклинившись в нашу цепь и нанося нам удары, вся эта банда изрыгала потоки непристойных слов и площадной брани.

Их толкала вперёд тень Адольфа Гитлера. Для них он был богом, и они истошно вопили:

— Мы гитлеровские молодцы, гитлеровские молодцы! Мы закончим то, что он начал.

— Благослови бог Гитлера! Мать вашу... негритянские ублюдки, еврейские ублюдки.

— Линчевать Робсона! Выдайте нам Робсона. Мы вздёрнем этого здорового негра. Выдайте его нам. Эй, ублюдки!

Помню, я молил тогда бога о том, чтобы Поль Робсон не был поблизости, чтобы он не оказался на пути сюда и нигде в окрестностях.

— Мы dokonчим то, что начал Медина, — орала толпа.

— Мы перебьём всех коммунистических ублюдков в Америке, всех до одного!

О! Они хорошо осознавали, что делали, очень хорошо!

Я не помню, сколько длилась эта вторая схватка. Казалось, что она продолжалась вечность. Однако на самом деле она не могла длиться дольше пятнадцати минут. Но за это время солнце опустилось за холмы и сгустились сумерки. Мы всеми силами стремились удержаться, не дать разорвать нашу цепь.

Основная тяжесть атаки приходилась на первую цепочку, на неё обрушилась вся сила ударов дубинками и камнями. Вторая и третья, образуя живую стену, удерживали толпу.

В этой схватке четверо из первой цепочки были тяжело ранены. Когда они выбывали из строя, мы перемещали их в задние ряды, а те, кто стоял во второй цепочке, занимали их места.

Все вели себя замечательно организованно; это было в своём роде чудо организованности. Сорок два человека — мужчины и подростки, — которые большей частью впервые встретились здесь, действовали, как хорошо слаженный механизм, и натиск трёх сотен вопящих от бешенства негодяев не мог посеять панику в их рядах или прорвать их строй. Под натиском этой оравы нам приходилось отходить назад фут за футом, но им так и не удалось прорвать нашей линии обороны.

И тогда они откатились назад. На некоторое время с них было довольно. Они отошли, очистив пространство примерно в двадцать футов между их передними рядами и линией нашей обороны. Их теперь стало больше, гораздо больше. Сплошная масса их лиц и тел заполняла всё пространство от входа в парк до главной дороги и вдоль неё.

У нас были раненые, но нельзя было сказать, что многие из нас вышли из строя. Мы перенесли наиболее пострадавших назад, снова взялись за руки и стали ждать.

«Теперь всё в порядке, — сказал я себе. — Мы живы и так не может долго продолжаться. Сюда должна прибыть полиция».

Сколько раз я убеждал себя в этом на протяжении вечера! Но полицейские не показывались. Вместо них снизу прибежала задыхающаяся девушка и, истерически рыдая, проговорила:

— Они перебрались через холмы... Нам нужно туда несколько человек.

— Сколько их там?

— Не знаю, я насчитала десять или пятнадцать.

Я отправил туда наш седьмой отряд, и нас осталось тридцать шесть человек, чтобы защищать дорогу.

Но прежде чем седьмой отряд ушёл, я велел шофёру большого грузовика, который привёз ребят из Голден Бриджа, пригнать машину к тому месту, где начиналась насыпь, развернуть её и поставить поперёк дороги. Я решил сделать так потому, что в ходе схватки мы были оттеснены больше, чем на 20 футов. Ещё несколько футов — и мы бы оставили насыпь, а тогда противник смог бы окружить нас, и всё было бы кончено. Но с грузовиком за спиной мы могли защищать насыпь в течение долгого времени.

С наступлением темноты в толпе фашистов произошли какие-то изменения, они стали организованнее.

Вперёд выступили три вожака; одного из них, подвижного, сухопарого, хорошо одетого мужчину средних лет, наши люди узнали — это был один из преуспевающих маклеров по продаже недвижимости. К ним присоединился четвёртый, и они, повидимому, стали о чём-то спорить. В это же время машины, стоявшие на дороге, развернулись, и мы оказались в свете их фар.

Хотя пешая и конная полиция явно отсутствовала, на месте происшествия присутствовали представители прессы. Сновали фоторепортёры, непрерывно щёлкавшие аппаратами. корреспонденты, пригнувшись, чтобы попасть под свет фар, делали записи о ходе событий.

Моё внимание привлекли три хорошо одетых, располагающей внешности молодых человека, которые невозмутимо стояли у начала насыпи. Двое из них держали в руках блокноты, в которых они непрерывно и методично делали стенографические записи. Когда я увидел их впервые, я решил, что это газетчики, и перестал обращать на них внимание. Но они снова и снова попадались мне на глаза. Позже я выяснил, что они были сотрудниками министерства юстиции. Были они посланы сюда, чтобы присутствовать на «лебом» концерте или же при попытке к массовому убийству — я не знаю. Они были спокойны, нейтральны, держались в стороне и под конец событий того вечера даже оказали нам помощь, как вполне порядочные люди. Но они всё время оставались только нейтральными, хотя видели перед собой покушение на массовое убийство, на зверское, варварское убийство.

Четверо во главе толпы прекратили спор, и один из них, мужчина лет тридцати с приятным лицом, направился к нам. На нём была белая рубашка с закатанными рукавами. Руки он держал в карманах. Он подошёл к нам и довольно дружелюбно спросил:

— Кто у вас руководит всем?

— Я буду говорить с вами, — последовал мой ответ.

Рассказав мне, что он — железнодорожник, житель Пикскилла — оказался втянутым в эту историю только потому, что состоит в местной организации Легиона, он признался:

— Я не люблю коммунистов так же, как и другие. Но от того, что делается тут, меня тошнит. Я попал не в тот лагерь. Мне следовало бы быть с вами, ребята. Вот что я хочу знать: если мы прекратим всё, вы тоже прекратите?

— Мы не начинали, — ответил я.

— Ну ладно, кто-то же начал... А теперь вы согласны прекратить?

— И что сделать?

— Убраться отсюда.

— Если вы очистите дорогу и дадите нам возможность дожидаться полицейской охраны, мы уйдём отсюда. Там, внизу, у нас полторы сотни женщин и детей, и мы не собираемся оставить их на расправу этой волчьей стае.

— Давайте я попробую, — сказал он.

— Хорошо. Ведь мы не хотим всего этого.

Он вернулся к толпе и снова начал шептаться с тремя вожаками.

В это время за нашей спиной появился грузовик, и я отошёл назад, чтобы помочь поставить его поперёк дороги. Пока мы его ставили так, чтобы он загородил дорогу, я на ходу совещался с двумя профсоюзниками. Мы решили оттягивать время — делать всё, чтобы оттянуть время; товарищи убеждали меня продолжать переговоры с железнодорожником.

Так как ни пешие, ни конные полицейские не показывались и ниоткуда не было видно никакой подмоги, один из профсоюзников предложил попробовать ещё раз пробраться через фронт противника, чтобы вызвать помощь по телефону. Когда он незаметно перебирался через насыпь, толпа снова напала на нас.

Эта атака была более продуманной. Бандиты надвигались всей массой, медленно, вынуждая нас отступать до тех пор, пока наши три цепочки не оказались **плотно**

прижатыми к грузовику. Большой урон нанесли они нашей передней линии. Особенно досталось высокому, мускулистому рабочему-негру, который уже успел показать, что умеет хорошо драться. Как свора тьякающих шавок, окружили они его, а он отталкивал и отбрасывал их назад ударами сильных кулаков. Запомнился этот эпизод и ещё какие-то обрывки, но главное внимание было сосредоточено на том, что стояло прямо передо мной. Я не дрался так уж лет пятнадцать, с тех пор, как уехал из трущоб, где вырос, с тех пор, как перестал участвовать в мальчишеских драках на улицах Нью-Йорка. Но теперь мы защищали свою жизнь.

Всё время вспыхивали блиц-лампы, и репортёры фиксировали каждый удар, чтобы вы могли прочитать в ваших утренних газетах, как кучка красных была линчевана в Уэстчестере. Но мы не хотели быть линчеванными, и мы отбросили всю эту грузную, истошно-кричащую отвратительную громаду назад, и снова перед нами было свободное пространство.

Наступила полная тьма. Теперь я вполне ясно ощущал настроение этой банды и по-настоящему понял: очень похоже на то, что все мы погибнем здесь сегодня.

Наши цепочки вытянулись, прижатые к грузовику. Половина из нас была окровавлена, все мы задыхались, одежда наша была изорвана, головы разбиты, лица покрыты ссадинами. Нам казалось, что это кошмарное побоище длится вечно.

— Сколько же ещё? — спросил кто-то из нас.

А они снова орали, объятые яростью, — их приводило в бешенство сознание своего бессилия. Бандиты просто обезумели, почуяв запах смерти.

— Вы не выйдете отсюда, — вопили они.

— Все негритянские ублюдки околеют здесь! Все еврейские ублюдки околеют здесь!

А репортёры бесстрастно наблюдали и делали записи. Тем же занимались и сотрудники министерства юстиции.

Я посмотрел на часы: мне казалось, что прошла уже вечность, а было только начало девятого. Не более полутора часов прошло с тех пор, как я поцеловал дочку и сказал ей, что послушаю, как поёт Поль, и потом всё расскажу ей. Она спросила: «А он споёт ту песенку для меня?» Рэчел имела в виду «Водоноса», песню, которую Поль однажды пел, укачивая её на своих сильных руках. Прошло только полтора часа, и я оказался в окружении обезумевшей толпы, которая хотела убить его и нас.

Теперь не верится, что сознание неизбежности гибели было тогда у всех нас — тридцати шести, — но было именно так. Выйти мы не могли, мы понесли большие потери, и силы наши могли иссякнуть. Я отдавал себе тогда полный отчёт в этом. Казалось нелепым умереть в таком уголке Уэстчестера, но разум понимал логичность этого, и я знаю из бесед с другими, что они чувствовали тогда то же самое...

К нам прибежали из ложбины три молоденькие негритянки. Внизу всё в порядке, сказали они, всё в порядке, потому что шестеро наших отбили нападение хулиганов и прогнали их в темноту. Но они окаменели и глаза у них расширились от ужаса, когда увидели, что происходит на дороге. Толпа снова готовилась напасть на нас.

— Ложитесь в грузовик, — крикнул я им. — Всё в порядке! Всё в порядке, и здесь, и там, внизу. Но сейчас вы не можете идти обратно. Ложитесь в машину.

Затем мы снова бились, и снова они вцеплялись в большого негра-рабочего из нашей передней линии. Они шли на нас с камнями, кольями и ножами, и снова мы отбросили их назад. Их было много, но они были трусливы, и мы теснили их назад до тех пор, пока перед нами не оказалось больше 30 футов свободного пространства, и мы, задыхаясь и утирая кровь, снова отошли назад, чтобы прислониться к грузовику и передохнуть.

Но теперь трое из нас уже не могли больше держаться на ногах; мы помогли им забраться в грузовик, и они улеглись там.

Мы не могли оказать никакой помощи нашим раненым — у нас не было ни лекарств, ни бинтов и не было времени, чтобы ими заниматься.

Вдруг всё вокруг озарилось ярким светом, и слева от нас на желтоватом фоне неба выступила из мрака чёрная гряда холмов. На мгновение все замерли в молчании, потом один из наших вскочил на грузовик и крикнул:

— Они зажгли крест!

Мы видели только зарево — его символическое значение было понятно каждому из нас.

Итак, круг замкнулся: горящий крест — символ всего гнусного, прогнившего, отвратительного в нашей стране, благословил нас! Этот вечер открыл нам всё, и нам оставалось только встать на колени перед «новыми патриотами».

Мы не встали на колени. Мы крепче взяли за руки, чтобы лучше поддерживать друг друга, и когда вся огромная толпа — теперь фашистов было больше тысячи — снова двинулась на нас, мы закричали:

Нет, мы не отступим, нет!
 Нет, мы не отступим, нет!
 Как дуб, стоящий у реки,
 Мы не отступим! Нет!

Представьте себе эту сцену. Нас уже только тридцать два человека. За нашей спиной грузовик. Мы и небольшое пространство перед нами залиты слепящим светом фар. Всё остальное погружено во мрак. И вот из толпы, скрытой тьмой, выходят на свет «новые американцы». Пстригая кольями, выданными из забора, огораживающего парк, размахивая ножами и дубинками, они сплошной лавиной заполняют пространство до главной дороги и скатываются вниз к нам, чтобы учинить побоище, чудовищное массовое линчевание. Они знают: они имеют на это право в стране, которая гарантирует свободу всем, кроме тех, кто не во всём согласен с джентльменами из Вашингтона.

Прошло уже целых полтора часа с тех пор, как началась первая схватка. За это время сообщение о том, что происходит в Пикскилле, можно было передать по телеграфу во все уголки страны. Здесь была пресса, чтобы запечатлеть массовое линчевание — суежливые репортёры и фотографы всех нью-йоркских газет присутствовали тут. Но здесь не было ни одного полицейского — ни одного!

Толпа надвигалась, чтобы убить нас, но когда она приблизилась вплотную, наше пение остановило её. Вам нужно было быть там, с нами, чтобы понять всё это. Те, кто был там, поняли. Нас теперь ничто не удивляло, а всё представлялось логичным и естественным. В тот момент, мне кажется, все мы утратили чувство страха и перестали молиться о том, чтобы для нас нашёлся выход из этой дьявольской долины. Мы стояли тремя цепочками, крепко взявшись за руки, и пели хорошую старую песню, которая стала сейчас гимном демократических сил Америки.

Много, много раз с тех пор, как я себя помню, я слышал этот старый гимн, но никогда я не слышал, чтобы его пели так, как в ту ночь. Дружные и сильные голоса горстки людей, которым угрожала смерть и которые так хорошо сражались, неслись над дорогой, холмами, покрывая рёв безумствующей толпы.

Для «героев» Легиона это было непостижимой загадкой. Они видели перед собой цепочку негров и белых — в разорванной одежде, окровавленных, которые, взявшись за руки, спокойной стояли и пели. Это поколебало их решимость, они остановились в дюжине футов от нас, их вопли прекратились. Они стояли молча, глядя на нас, слушая нашу песню и пытались понять, что мы за люди, — им всегда было трудно понять это. Потом один из них бросил первый камень.

Они теперь не хотели или не могли драться врукопашную и взяли за камни, отступив немного назад, чтобы удобнее было бросать. Сначала камни падали редко — то там, то сям, потом их стало больше и, наконец, их частые удары о металлический борт грузовика зазвучали, как барабанная дробь. Мы продолжали петь. Камень, величиной с грейпфрут, попал в живот негру, стоявшему рядом со мной, тому самому,

¹ Сожжение креста — ритуал Ку-Клукс-Клана — фашистской расистской организации. Перед нападением на избранную ими жертву ку-клукс-клановцы сжигают крест, танцуя вокруг него в своих балахонах. (Прим. перев.).

который так хорошо дрался. Он согнулся и упал на землю, и мы помогли ему влезть в грузовик.

Негритянскому парнишке лет семнадцать большой камень — с бейзбольный мяч — угодил прямо в лицо. В мгновение оно превратилось в сплошное кровавое месиво. Белому, стоявшему рядом со мной, камень попал в висок, и он упал как подкошенный, даже не вскрикнув.

Когда мы слышали глухие звуки ударов камней о тело, треск ломающихся костей и раздраемой кожи, мы знали, что кто-то ранен и стало меньше ещё одним бойцом, способным отражать натиск толпы. Обстрел камнями скоро превратился в сплошной каменный дождь. Просто чудо, что множество их пролетало мимо, не задевая нас, и разбивалось о грузовик за нашей спиной. Сначала я считал, сколько среди нас раненых, потом перестал, отошёл назад к грузовику и, нагнувшись к уху одного из моряков, прошептал:

— Ещё минут пять — и они покончат с нами...

Удар камнем пришёлся ему в пах, и он стоял, скорчившись, с искажённым от боли лицом.

Вдруг у меня возникла мысль — собственно, это было скорее воспоминание военного времени, — и я тут же сказал ему о нём.

Нам важно сохранить жизнь женщин и детей, находящихся в ложбине. Мы будем бесполезны для них, если превратимся в кучу героических трупов. До тех пор, пока мы были в силах удерживать эту часть дороги, было правильно и необходимо, чтобы мы оставались здесь. Но теперь стало совершенно очевидно, что мы не можем больше держаться здесь, и долг тех из нас, кто ещё стоит на ногах, спуститься в ложбину, где, быть может, мы сумеем ещё некоторое время сдерживать натиск толпы. Каждое мгновение очень много значило для нас — мы всё ещё надеялись, что с минуты на минуту появятся полицейские. В то же время, если мы нарушим цепь, они сомут нас, и мы не будем иметь возможности уйти.

— Попробуем, — предложил я, — использовать грузовик как движущийся щит. Применим тактику, обратную тактике наступления за танком — встанем перед грузовиком и будем медленно отступать назад, а шофёр поведёт машину на малой скорости вниз, в ложбину.

— Попробуем, — согласился моряк. — Всё равно мы не можем оставаться здесь.

Пока я объяснял наш замысел водителю, моряк шёпотом передал его по цепочке. Взревел мотор.

— Очень хорошо, теперь пошли.

В наших рядах человек двадцать или немного больше ещё держались на ногах. Мы бежали вокруг грузовика, пока он, кренясь, подвигался вперёд, отъезжая задним ходом до насыпи, и затем развернулся, чтобы выехать на дорогу.

Затем, оттого, что водитель забыл включить фары — забывчивость вполне понятная в этих условиях, — он, повидимому, съехал с дороги. И вот, совсем потеряв её, машина, кренясь с боку на бок, помчалась через луг в ночной мрак.

Это было последней каплей, окончательно превратившей в кошмар этот вечер. Ещё мгновение назад грузовик — наше прикрытие — был с нами, а теперь мы стояли ничем не защищённые на дороге, перед буйствующей толпой, которая снова катилась на нас.

Мы бросились вниз, в ложбину. До конца дней своих не забуду этого. На бегу я следил глазами за силуэтом грузовика, который, переваливаясь с боку на бок, мчался через выбоины и кочки, очень похожий на тяжёлый танк. Как водителю удалось удержать машину на колёсах, как ему удалось сохранить в целостности рессоры — я не знаю, но позже он сумел на этом грузовике доставить в местную больницу раненых, лежавших в нём, а также двух сильно пострадавших фашистов, которых он подобрал.

Теперь мы бежали вниз, держась по возможности вместе. Когда мы выбежали из-за поворота дороги, я опять, как и тогда, когда только приехал сюда на машине в начале вечера, увидел мост, на котором теперь находились женщины и дети,

и две тысячи пустых стульев, так и не узнавших слушателей, которые не попали и не могли попасть сюда, стол с песенниками и брошюрами — и всё это в ярком, почти дневном свете прожекторов.

Когда мы спустились на дно ложбины, мы увидели, как толпа ревущих, бешеных от ярости фашистов покатилаcь вслед за нами вниз на освещённое пространство.

На мгновение мы остановились, стараясь перевести дыхание и придвинуться плечом к плечу, чтобы ощутить локоть друг друга и товарищескую поддержку. Не знаю, что думали другие, но, наверное, все мы думали примерно одно и то же. Для меня это означало конец, ощущение неизбежности которого не покидало меня весь этот вечер, и мне теперь уже было всё равно.

Я чувствовал только жгучую ненависть и отвращение к этим лишённым рассудка человекоподобным существам, которые с такой патологической настойчивостью жаждали нашей смерти. Они искали нас здесь, подстрекаемые грязными вымыслами, которыми начиняли их головы радио, печать и церковь. «Неужели, — думал я, — у них нет семьи, дома, нет хотя бы капли порядочности, доброжелательности, хотя бы капли человеческого тепла? Почему замыслили они это чёрное дело?»

Что ещё я думал тогда? Я думал, что пока мы в силах держаться, мы должны не допускать их до женщин и детей, и, очевидно, другие уцелевшие члены нашей группы думали то же самое — ведь мы знали, что надо делать, и делали это, не совещаясь.

Крепко держась за руки, как живая стена, мы врзались в толпу, и уже ни о чём не думая, прокладывали себе путь в глубь неё — до самого её сердца. Это была наша минута, наша единственная минута!

До сих пор мы защищались, мы принимали то, что навязывали нам они, но теперь мы были так же полны ненависти, как и они; ненависть захватила нас. Хотя их была тысяча против двадцати одного, вы, читатель, ободритесь, если будете иметь в виду, что храбрость этих скотов улетучивается мгновенно, когда у них нет в руках огнестрельного оружия и когда они не под крылышком полиции. Через две или три минуты толпа распалась на части. Им не понравилось, что наступаем мы, а не они. И хотя перевес в силах был у них велик, они стали разбегаться — все присутствовавшие там видели это и могут подтвердить.

Что до меня самого, то я видел лишь то, что происходило рядом со мной. Один из молодчиков, изрыгая ругательства, швырнул в меня кол, выломанный из забора. Тот самый негр, который стоял в нашей первой цепочке до тех пор, пока камень, угодивший ему в живот, не согнул его пополам, теперь снова был с нами, и он поймал кол на лету и отшвырнул его в сторону. Потом я схватился с этим типом врукопашную, мы упали, на нас навалились другие; мы слишком тесно сплелись, чтобы наносить друг другу удары. Когда мне каким-то образом удалось выбраться из этой свалки, я услышал крик:

— Убивают Фаста, будь они прокляты!

Они не убили меня, но я потерял очки. Я выбрался оттуда в разорванной рубашке, весь покрытый кровью. Толпа стала рассеиваться, и в эти несколько коротких минут мы почувствовали, как прекрасно наступление даже в крохотных масштабах той войны, которую мы сейчас вели. У некоторых из нас хватило присутствия духа, чтобы крикнуть:

— Назад, назад, к эстраде! — Мы подбежали к помосту и снова взялиcь за руки; мы были очень утомлены и измучены, — среди нас не было ни одного, кто не был бы ранен. Окровавленные, мы шатались от изнеможения, но мы стояли плотным полукругом, за которым были женщины и деги.

Женщины и девушки, думая, что мы всё же имеем дело с существами, созданными по образу и подобию человеческому, начали петь «Звёздное знамя». Но «патриоты горящего креста» не питали особого уважения к этой пёсне, и пока девушки пели, они снова стали храбрыми и опять ринулись на нас.

¹ «Звёздное знамя» — государственный гимн США. (Прим. перев.).

В ту же минуту погасли прожекторы — кто-то перерезал кабель от генератора, и это ещё более усилило черноту ночи.

В полном мраке отбивали мы их атаку. А бандиты, совсем потеряв рассудок, в бессильном бешенстве ринулись на стулья. Мы не могли их видеть, но мы слышали, как в темноте они неистовствовали, расшвыривая, разбивая и ломая в щепки стулья.

Это было не только бессмысленно — в этом буйстве, как и во многих других действиях толпы в тот вечер, было что-то патологическое, страшное, болезненное.

Кто-то из фашистов зажёл костёр футах в тридцати от нашей линии обороны, прикрывавшей эстраду. В костёр полетели стулья — один, другой, третий, потом целая гора стульев, которые принадлежали вовсе не нам, а пикскиллскому коммерсанту — владельцу этого загородного парка. Затем они обнаружили стол с книгами. И вот наступило то, что должно было достойно завершить этот вечер: повторение чудовищного нюрнбергского представления — сожжение книг, ставшее для всего мира символом фашизма.

Повидимому, природа фашизма всюду одинакова и его воздействие на людей всегда вызывает одни и те же патологические проявления. Стоя здесь, крепко взявшись за руки, мы видели, как оживали тени Нюрнберга.

Снова бушевало пламя, и защитники «американского образа жизни», схватив пачки наших книг, плясали вокруг костра. Кривляясь, они бросали книги в огонь. Мы были в полумраке, но их освещало пламя горящих книг. Казалось, что перед нами театральные подмостки, на которых исполняется тщательно подготовленный танец, символизирующий гибель цивилизации.

Мы до конца досмотрели это представление. Потом костёр погас, и снова ступила тьма. Вдруг со стороны дороги в небо взлетела военная ракета; она вспыхнула и превратилась в огненный шар, который, повисев немного в воздухе, медленно и легко соскользнул на землю.

Волпи замерли. Брань прекратилась. Вокруг нас в темноте воцарилась необыкновенная тишина, и эта тишина длилась и длилась.

Я взглянул на часы. Было без четверти десять.

А тишина длилась, прерываемая изредка полуистерическими всхлипываниями женщин и хныканьем маленьких детей — четырёхлетних, пятилетних, шестилетних, которых привели сюда пораньше, чтобы они не пропустили ни одной из тёплых песен Поля Робсона.

Потом из темноты послышался голос:

— Эй, кто там есть? — Это был наш разведчик А. К., возвратившийся из третьего похода через толпу.

— Что случилось? — спросил я его.

— Не знаю. Я следовал за ними, чтобы пробраться сюда, и вдруг все стали разбегаться. Они передавали что-то шёпотом друг другу и потом побежали отсюда, все до одного — луг пуст.

— Где наш грузовик? Вы его видели?

— Да. Он вернулся туда, где у вас была большая схватка; там лежали два сильно покалеченных фашиста. Мы положили их в машину вместе с нашими ранеными, и теперь водитель пытается проехать через завал на дороге, чтобы доставить их в больницу. Я сказал ему, что не стоит пробовать, но он боится, что кто-нибудь из наших ребят может умереть, поэтому он хочет заставить этих бандитов разобрать завал и выпустить его.

А. К. добавил:

— Он думает, что они пропустят его, потому что в машине двое их людей.

(Позже я узнал, что легионеры отказались пропустить машину. Тогда шофёр повёл грузовик на малой скорости прямо на груды камней, перевалил через неё и, расшвыривая фашистов в стороны, проложил себе путь к главной дороге и затем к больнице. Мы больше не видели водителя этого грузовика в ту ночь, но он рассказал мне всё это через неделю).

— Что это за ракеты? — спросил я А. К.

— Не знаю.

— Вы дозвонились в Албани до губернатора, до полиции, до газет?

— Я звонил с половины восьмого,— сказал он.— Я говорил со всеми ними по три-четыре раза. Они знают, они знали весь вечер.

— Вы уверены в этом?

— Конечно, уверен. Я сам говорил с полицией и рассказал им всё подробно. Они обещали приехать. Но судя по тому, как они говорили, я убеждён, что они знали обо всём ещё раньше.

— Очень хорошо,— сказал я.— Очень хорошо. Вы сделали большое дело. Теперь передохните.

Несколько наших товарищей начали в это время совещаться, как теперь быть? Было нелегко сидеть здесь в темноте и в неведении. Некоторые из женщин стали упрашивать нас отпустить их, позволить им увести отсюда детей. Напряжение нервов достигло предела. Нам приходилось быть неумолимыми и даже суровыми с людьми. Мы решили, что никто не уйдёт до тех пор, пока сюда не придут какие-нибудь гражданские или военные власти. Мы остались живы только благодаря дисциплине и единству, и мы твёрдо решили не ломать этой дисциплины и единства, что бы ни случилось. Помню, там была одна женщина, муж которой ушёл с нами ко входу как раз перед началом первой схватки; теперь его не было с нами, и она умоляла меня позволить ей, пользуясь темнотой, пойти на его поиски...

Вдруг нас ослепили две яркие фары. Медленно, ощупью, прямо на нас съезжала вниз по склону машина. В нескольких футах от нас она остановилась. Это был небольшой закрытый автомобиль. Из него вышли три человека. Фары освещали им дорогу и всю нашу группу. Приблизившись к нам, они остановились, кивнули в мою сторону и с минуту постояли на месте молча. Теперь я узнал их. Это были те самые хорошо одетые молодые люди с блокнотами, которые наблюдали, как мы билась на дороге.

— Вы отлично дрались, чёрт возьми,— сказал один из них.— Здорово пришлось вам поработать там, наверху. Я восхищён вами. И притом у вас всё время была чертовски хорошая дисциплина.

— Какого чёрта вам нужно здесь? — спросил я.

У меня не было настроения рассыпаться в любезностях перед кем бы то ни было.

— Мы думали, что сумеем вам кое в чём помочь. Среди вас ведь есть тяжело пострадавшие, если хотите, мы можем отвести нескольких человек в больницу.

— Идите к чёрту,— сказал я.

Но в это время кто-то из наших потянул меня за рукав, отвёл назад и зашептал:

— Я знаю их. Это чиновники из министерства юстиции, им можно довериться.

— Почему?

— Потому что в данный момент они совершенно не заинтересованы в этой истории. Разве вы не заметили их ещё в начале вечера? Они нейтральны. Для них это просто большой эксперимент, но они нейтральны. У многих ребят большая потеря крови, а у одного, возможно, разбит череп. Если они говорят, что отвезут их в больницу, они это сделают.

— Откуда вы знаете их? Откуда вы знаете, кто они? — добивался я.

— Я довольно долго работал в этой местности и знаю их. Я разговаривал с ними раньше и знаю, что они сотрудники министерства юстиции. Так или иначе, нам придётся рискнуть, потому что ребята сильно изранены.

Я вернулся назад к трём чиновникам, которые мирно стояли там, где я их оставил. Это были три самых спокойных и невозмутимых человека на протяжении всего этого вечера; теперь они стояли, заложив руки в карманы, и разглядывали нас — измученных и избитых.

— Сколько человек вы можете взять?

— Трёх.

— Вы сможете проехать?

— Об этом не беспокойтесь. Мы сможем проехать и отвезём ваших людей в больницу.

Тогда я обернулся к нашим и сказал:

— Мы можем отправить в больницу троих из тех, кто больше всего пострадал. Теперь уже всё в порядке и вам не о чем беспокоиться. Поэтому тот, кто чувствует, что ранен тяжело,— шаг вперёд!

Сначала никто не двинулся с места. Все стояли неподвижно, молча глядя на этих хорошо одетых хладнокровных джентльменов. Первым нарушил молчание молодой негр. Он отстранил двух мужчин, поддерживавших его, и подошёл ко мне:

— Чертовски болит,— сказал он негромко, пошатываясь от слабости.

Кровь текла по его лицу, и весь перёд рубашки был пропитан ею. Он нагнул голову — на ней зияли две раны. Одна, глубокая, тянулась от лба до уха, другая была около двух дюймов длиной. Я кивнул, и ему помогли сесть в машину.

Затем вышел вперёд второй негр. Он поднял распухшую, кровоточащую губу и показал мне дыру на месте зубов. Я снова дал знак, и он вслед за первым влез в машину. Третьим был белый подросток. У него было что-то с плечом.

— Я думаю, что оно сломано,— сказал он.

Три чиновника министерства юстиции сели в машину, развернули её и уехали. А мы снова погрузились в тихий мрак ночи. Я вернулся к нашей оборонительной линии и встал рядом с другими. Меня не оставляла мысль о том, как изувеченные люди — со сломанным плечом, проломленной головой — продолжали сражаться, не жалуясь на боль.

Ещё три ракеты взлетели в небо, залив его белым светом, и лениво опустились на землю. Но ни одна из них не осветила нас. И всё ещё в темноте мы ждали, и минуты текли одна за другой.

Внезапно наша безмолвная ложбина ожила — в мгновение наполнилась движением и шумом. Сначала съехала, ревя мотором, санитарная карета с истошис воющей сиреной и красными фарами, бросавшими вокруг зловещие отблески. Затем одна за другой скатились машины, набитые местными войсками и уэстчестерской полицией. В одну минуту перед нами оказалась дюжина машин, и вся ложбина кишела теперь солдатами и полицейскими...

При нормальных обстоятельствах это должно было означать конец событий того дня. На деле же оказалось далеко не так. Не говорю уже о том, что полиция примчалась нам на выручку отнюдь не тогда, когда она была больше всего нужна, как это всегда бывает в детективных рассказах, а как раз наоборот. Мы и тогда знали, а позже узнали достоверно, что полиции уже давно было известно о происходящем в загородном парке. Она находилась совсем близко, но была нарочно задержана, чтобы трагедия разыгрывалась без помех. Лишь когда стало совершенно ясно, что тщательно продуманный план массового линчевания сорван, она решила явиться на место действия. Но, несмотря на это, мы считали, что сейчас всё прекратится.

И мы ошиблись. Нам предстояло сыграть ещё один акт в трагедии этого вечера ужасов, и он начался с того, что к нам чеканным шагом подошёл полицейский офицер и грубо спросил:

— Кто, чёрт побери, главный в этом представлении?

«Всё позади,— успокаивал я себя.— Он разговаривает так потому, что это манера полицейских, но всё уже позади». И я сказал ему, что он может говорить со мной.

— А кто вы такой, чёрт побери?

— Моя фамилия Фаст, Говард Фаст,— ответил я, стискивая зубы.

Наша цепь распалась. Впервые за этот вечер не стало дисциплины, и люди столпились вокруг офицера и меня. Тогда полицейские оттеснили их назад, а тот, который разговаривал со мной, рывкнул:

— Проклятие! Держите их на месте! Пусть они сядут.

— Сядьте,— заорал другой полицейский.— Все сядьте. Не смейте двигаться!

— В чём дело?— спросил я офицера.— Вы собираетесь вывезти нас отсюда или нет?

— Задавать вопросы буду я!

— Псслушайте, нам здесь было нелегко!

— Вам будет ещё тяжелее, если вы, чёрт подери, не будете делать то, что вам говорят. Кто вы такой?

Я сказал ему, что должен был председательствовать на концерте, который не состоялся.

— Кто устраивал этот концерт?

— Устроителей не допустили сюда.

— Вы что здесь, главный?

— Не больше, чем другие.

— Хорошо,— сказал он.— Держите своих людей на месте. Если кто-нибудь попытается двинуться или уйти отсюда, будет плохо. Понятно?

— У нас здесь маленькие дети. Разве вы не понимаете, что мы здесь пережили сегодня?

— Вы что, хотите нарваться на неприятности? — спросил офицер.

— Я не хочу никаких неприятностей. У нас их уже было достаточно. Мы хотим уйти отсюда.

— Делайте то, что я говорю, и держите их на месте, иначе будет чертовски плохо. Тогда я собрал наши огряды и, переходя от одного к другому, говорю:

— Ещё немного выдержки. Мы хорошо держались до сих пор, я думаю, мы сможем продержаться ещё немного. Не нужно только нервничать.

Это была, пожалуй, самая тяжёлая часть вечера ужасов. Не так тяжело было находиться под конвоем дюжины полицейских, которые стояли, широко расставив ноги и держась за дубинки, как трудно было оставаться на месте после того, как я узнал, что за всем этим крылось. А узнал я это довольно скоро. Мне дали знак встать и подойти к одному из уэстчестерских полицейских, который хотел говорить со мной. Он сказал мне, что один из фашистов (как потом выяснилось, Вильям Секор) был тяжело ранен ножом, попал в больницу, и только что пронёсся слух, что он умер.

«Видимо, только из-за этого слуха,— подумал я,— полиция и приехала к нам в ложбину». Но у меня не было доказательств. Во всяком случае, если Секор умер, каждому из нас, оборонявших дорогу, угрожало обвинение в убийстве и суд. Так вот почему нас здесь держали! Получив подтверждение из больницы, они могли, если это понадобится, запутать нас в дело об убийстве!

Я вернулся к нашим и рассказал об этом.

— Не понимаю,— сказал я.— Ни у кого из нас не было ножа.

— Ножи были у фашистов. Полно ножей.

— Нас могут всерьёз запутать в дело об убийстве?

— Если очень захотят, я думаю, могут подстроить всё что угодно.

— После того, что случилось здесь сегодня, разве можно судить нас, сорок человек, за убийство?

— Они могут, если захотят, и если захотят — могут засудить нас. Разве всё это не подстроено?

Я сам не хотел этому верить. Весь вечер мы боролись против попытки чудовишного линчевания, самого невероятного во всей истории Северных Штатов Америки — не просто против стихийного бунта или ярости толпы, а против преднамеренного, предумышленного убийства двухсот человек. И потому, что мы держали высоко голову и сохранили мужество, мы сорвали эту попытку и остались живы. А ведь никто из нас всерьёз не надеялся сохранить жизнь. И вот с нами полиция и солдаты, словом, та надёжная защита закона, которую американский гражданин вправе ожидать от демократической республики. Но они не защищают, а держат нас под охраной для того, чтобы обвинить в убийстве, чтобы сфабриковать против нас судебное дело и устроить ещё одно зрелище для тех же зоологических типов, которые организовали события сегодняшнего вечера.

Этому трудно было поверить тогда, но этому не трудно поверить теперь. Уродливое стало обычным. Угроза ложных обвинений сопутствует сегодня жизни каждого прогрессивного американского гражданина, а бессовестные провокаторы занимают

в судах страны свидетельские места, и их жгильные бессвязные речи текут, как слюна с губ кретины. Но тогда всё это было ещё ново — ещё сочилась кровь из ран, полученных в сражении, и трудно было поверить, трудно было принять это.

Так прошло долгих двадцать минут, и каждая из них была наполнена болью. Я стоял в ожидании и сравнивал события этого вечера с тем, что читал и слышал о Германии.

Я говорил себе: «Вот как всё происходит. А по всей стране люди спят, и ничего не знают, и им всё это безразлично». У нас даже честные люди не умеют извлечь уроков из опыта, когда такие же события происходят где-то в другом месте. А всё потому, что рабочих пичкают обветшавшей, изъеденной мышами, доктриной антикоммунизма; потому, что бизнес стал новым богом страны; потому, что уже готовится нечто ужасное и людей хотят утратить, чтобы они приняли его как неизбежное явление жизни...

Машины теперь то приезжали, то уезжали; ложбина была полна движения и света, мелькали голубые и серые мундиры, и рослые парни в солдатских сапогах из личной охраны Томаса Дьюи важно расхаживали по лугу, демонстрируя свои тонкие талии и красивые профили; большое начальство свалившейся на нас маленькой армии держало военный совет.

Потом местный полицейский — провинциальный полицейский из маленького городка, в котором сохранилось ещё что-то человеческое, — кивнул мне; я подошёл к нему, и он зашептал:

— Теперь всё в порядке. Парень не собирается загнуться. Оказалось, что ему немного распорили брюхо, но они не знают, кто это сделал, так что можете больше не бояться. (Позже было доказано, что Секора ударил в пьяном бреду кто-то из его же банды).

Я вернулся к своим, рассказал им эту новость, и мы снова начали улыбаться. Отношение полицейских внезапно переменилось: они стали вежливыми, добрыми, внимательными, весёлыми, как раз такими, как о них пишут в книжках, — настоящими «серыми стражами» закона и народа суверенного штата Нью-Йорк. Потом подошёл ко мне их начальник. Он был мил, ласков и дружелюбен. Положив руку мне на плечо, он сказал:

— Послушайте-ка, Фаст. Мы хотим помочь вашим людям выбраться отсюда, мы собираемся сделать всё так, чтобы ни у кого не упал ни один волос с головы. Я знаю, у вас был тяжёлый вечер, но теперь всё позади, и вы можете перестать беспокоиться. Я хочу, чтобы вы разбили их на группы в зависимости от места жительства, и мой ребята развезут их по домам в наших машинах.

Интересно знать, какой приказ они получили теперь? От подстроенного обвинения в убийстве до такой любезности! Но, быть может, кое-кто в Албани начал понимать, каким смрадом повеяло из Пикскилла?

Я сделал так, как сказал офицер. Наши люди устали и измучились, но дух их не был сломлен. Женщины оказались очень стойкими и терпеливыми; малыши дремали на руках у матерей.

Первая часть пикскилльского кошмара подходила к концу.

Действие развивалось быстро, и мы увидели, как оперативно может быть полиция, когда она получает приказ действовать именно так. Одна за другой уезжали по дороге машины с пассажирами. Меньше чем за час ложбина опустела, а мужчины, женщины и дети, пережившие ужас первого вечера в Пикскилле, были или дома или на пути домой.

Вскоре здесь остались лишь несколько полицейских, я, негритянка — жена моего старого друга, и две белые женщины. Так как этим троицам нужно было попасть в Крогон, они ждали меня, и я попросил полицейских побыть с ними пока я проверю, цела ли моя машина. Она была цела, — между прочим, это была одна из немногих машин, которая в этот вечер не была исковеркана до неузнаваемости.

Мы сели в машину и выехали из ложбины. Ехать приходилось медленно, потому что я потерял очки, но всё же я мог вести машину, и вскоре женщины были дома.

(Стоит отметить, что, выезжая из парка, мы видели полицейских, которые шарили в придорожных кустарниках в поисках жертв, потому что со всех концов Уэстчестерского округа приходили сообщения о пропавших — о тех, кто поехал на концерт и не вернулся. Тогда же я увидел вдоль дороги изуродованные, исковерканные автомашины и понял, что те, кто приехал на концерт и вынужден был повернуть обратно, не уехали невредимыми).

Только глубокой ночью я добрался к себе, поставил машину в гараж и вошёл в дом. Миссис М. не спала; телефон звонил весь вечер — всё время спрашивали обо мне — где я, жив ли я. Миссис М. лишь произнесла:

— Славу богу, вы живы!

Она не спрашивала меня, что случилось, потому что в этот вечер телефон дал ей достаточное представление о том, что произошло, и она спросила только о Поле Робсоне.

— Думаю, что у него всё в порядке, — сказал я. — Я ещё точно не знаю.

(Потом выяснилось, что его машина не могла подъехать даже за милю до парка; он был жив и невредим).

Миссис М. посмотрела на меня, на кровь, запёкшуюся на рубашке, на моё окровавленное лицо и руки. Потом вдруг сказала мне «спокойной ночи» и ушла к себе наверх. В ту ночь в долине реки Гудзон особенно нерадостно было знать, что ты негр.

Я налил себе стакан виски, но выпить не мог. Немного посидев у кухонного стола и глядя на стакан, я снова попробовал выпить, но опять не смог.

Зазвонил телефон. Это был Дж. Н. Меня немного удивила радость в его голосе, когда он услышал мой. Он рассказал мне о том, что происходило в этот вечер с ним: он был всё время вместе с моим другом — негром, жена которого уехала из парка в моей машине; они поехали в парк, чтобы найти хотя бы наши тела; они объездили все близлежащие больницы и нашли там восьмерых наших, но не сумели узнать их имена; они проезжали мимо парка, когда фашисты выбегали оттуда — очевидно, по предварительному сговору с властями; когда же внизу стало темно, они решили, что все мы ушли, а потом всё-таки снова вернулись туда, но уже после того, как мы действительно ушли.

Я всё ещё был под впечатлением того чувства одиночества, ощущения нашей оторванности от мира разумных человеческих существ, которое не покидало нас, когда мы боролись у входа в парк.

Я спросил его, широко ли известно о том, что случилось в Пикскилле?

— Об этом знают все, — ответил он.

И всё же происшедшее казалось мне невероятным.

Я поднялся наверх и посмотрел на детей. Ночник горел в комнате моей девочки. Она открыла глаза, когда я вошёл, улыбулась мне, сказала: «Здравствуй, папа» и снова заснула.

Я разделся и стал под огненно горячий душ.

«Ну ладно, дело сделано, — сказал я себе. — Сегодняшний вечер позади. Что бы ни случилось дальше, сегодняшний вечер позади. Я уже пережил Пикскилл».

Я очень устал и хотел только поскорее заснуть.

Глава 3

В воскресенье

На следующее утро около 8 часов зазвонил телефон, и я почти сквозь сон слушал сообщение одного из участников вчерашнего события о том, что в десять часов на лужайке перед его домом в Мохеган Колони состоится собрание. Он спросил, буду ли я.

— Буду, — ответил я.

Рэчел и Джонни завтракали; светило солнце, и всё было прекрасно в этом мире, а то, что случилось вчера вечером, теперь казалось дурным сном. Дурные сны быстро блёкнут и забываются. Казалось совершенно невероятным, что в этом солнечном,

безмятежном мире хороших домиков, милых людей и ласкового летнего тепла могло произойти то событие, участником которого я был. Оно могло случиться где-то в другом месте, оно могло случиться в гитлеровской Германии, но не здесь. Здесь была та Америка, которую я знал и любил, о которой писал с благовоением и нежностью. Раны и распухшее запястье казались недопустимым противоречием в этом солнечном мире.

Миссис М. говорила мало; то, что произошло, было старым горем её народа и её глубоким личным горем, и хотя она не много знала о вчерашнем вечере — только какие-то отрывочные путаные сведения, — он, вероятно, представлялся ей реальнее чем мне.

Когда я сказал, что возьму с собой Рэчел, миссис М. спросила:

— Больше беспорядков не будет?

— Сегодня нет. Разве взял бы я её с собой, если бы считал, что беспорядки возможны?

— Но вы хотели взять её вчера вечером.

— Никто не мог предвидеть того, что произошло вчера вечером, — запротестовал я. — Вчера произошло то, что не может и не должно случаться.

— Но оно случилось.

— Да, случилось.

Рэчел и я поехали в Мохеган Колони. Она была одета в розовый пляжный костюмчик, как принято одевать маленьких девочек жарким летом. Я сидел рядом и всё время думал: что же произошло и почему? Мы проезжали по тем же дорогам, по которым я ехал вчера, через те же тенистые долины, и Рэчел мило щебетала обо всём, что только приходило ей в голову, быстро переходя от одного к другому. «Хорошо ли пел Поль? А что пел Поль? А держал ли он девочек на руках, когда пел?». Она говорила о Пикскилле, но только о своём собственном Пикскилле, который означал для неё, что Поль Робсон — такой большой и важный — поёт где-то там свои песенки.

Когда мы приехали в Мохеган, там в назначенном месте собралось уже человек двадцать пять — тридцать. Все говорили о том, что случилось несколько часов назад, хотя казалось, что оно произошло тысячу лет назад. Это были коренные жители и приезжие дачники из Мохегана, Шраб Оука, Пикскилла, Кротона, Йорктауна, а также жители окрестных деревень — в большинстве люди свободных профессий и мелкие предприниматели. Среди них находилось несколько рабочих, женщин и детей, которые вчера вечером были вместе со мной в парке, а также несколько молодых людей, жизни которых уже с самого детства угрожал приход фашизма. Все они сидели на красивой лужайке, окружённой массой цветов. Я присоединился к ним и прислушался к их разговору. Рэчел уже сняла свои туфельки и бегала по лужайке, пытаясь поймать котёнка.

Они говорили с тревогой и волнением, стараясь разобраться во всём, понять смысл происшедшего вчера. Что-то решительно изменилось со вчерашнего дня, теперь они должны выяснить, в чём же состоит это новое. Они были напуганы, и это вполне понятно, ибо по мере того как они вспоминали подробности происшедшего в загородном парке, ими овладевал страх.

Я слушал так почти час, стараясь постигнуть чувства этих людей. Не мой, а их дом был здесь. Все они имели очень скромные доходы, но мне достаточно было взглянуть вокруг, чтобы понять, сколько любви, заботы и терпенья отдали эти люди родным местам. И мне казалось — все они, без исключения, ощущали, что надвигается что-то новое, такое, которое никогда не остановится, если они отступят. Ко всем ужасам вчерашнего вечера примешивалось воспоминание о смрадных печах и газовых камерах лагерей смерти — кошмарное воспоминание, вызванное другим, не нашим миром. Всплывали в памяти и более мелкие события. Выставка в Нью-Йорке несколько месяцев тому назад, на которой были показаны ничем не примечательные зеленоватые куски мыла. Но это мыло, как оказалось, было сделано в Германии из человеческого жира и пепла.

Итак, равновесие нарушено. Правда, газеты будут печатать тошнотворные передовые о том, что инциденты, подобные пиксвиллскому, хотя и достойны похвалы по своим целям и вполне оправданы в свете действий коммунистов и т. д. и т. п., тем не менее не представляют собой «американского способа» разрешения подобных вопросов и что лучше, мол, предоставить их решение Эдгару Гуверу и К°. Но такие передовицы не сгладят тягостного впечатления. Трудно убедить честных, хороших, нравственных людей в том, что они нечестные, плохие и аморальные. Мужчины и женщины, собравшиеся здесь, кажется, поняли, что мир утратил равновесие и готов опрокинуться, и чтобы не оказаться внизу, они должны быть смелыми. Однако героические поступки совершаются отнюдь не так просто, как нас стараются уверить кинофильмы, выпускаемые «Метро-Голдвин-Мейер».

Меня спросили, что я думаю обо всём этом. Я был близок многим из собравшихся той особой близостью, которая возникает у людей, участвующих в общей борьбе со смертью, и я ответил:

— Думаю, что мы сегодня должны созвать митинг. Мы не можем позволить им так бесчинствовать. Пусть даже небольшой митинг, но мы должны провести его сегодня и, может быть, завтра и послезавтра, иначе нас загонят в глухие, тёмные неры.

Большинство присутствующих сами придерживались такого же мнения, но высказать его было трудно, а ещё труднее было провести его в жизнь. Рабочие согласились со мной, но, как и я, они рисковали меньше, чем коренные жители этого округа, у которых здесь были дом, семья. Один за другим высказывались люди. Выдвигались различные возражения, которые в конце концов отпали. Они говорили: у нас нет возможности организовать через несколько часов большой митинг. Да и где его можно провести? Кто даст нам помещение? Кто станет рисковать, кто не побоятся повторения вчерашнего?

Я вошёл в дом и позвонил своей приятельнице, очень смелой и принципиальной женщине, жившей неподалёку в Маунт Киско, где у неё была прелестная небольшая летняя дача с огромной зелёной поляной перед домом. На этой поляне можно было бы уместить, если нужно, и десять тысяч человек. Приятельница моя была дома. Она уже знала о событиях минувшего вечера.

— Известны ли вам какие-нибудь подробности? — спросил я.

— Я знаю, что это было непередаваемо, — ответила она.

— Да, это было ужасно, и можете судить сами, насколько, если уже сейчас в Мохегане собралась большая группа людей и решила провести сегодня же митинг протеста. Но мы не знаем, где это сделать. Что, если я попрошу вас предоставить нам поляну перед вашим домом?

Наступило продолжительное молчание. Затем она спросила:

— Как вы думаете, сколько соберётся народу?

— Не имею понятия. Может быть, сто человек, может быть, пятьсот. У нас очень мало времени, мы лишь успеем уведомить людей по телефону — и только.

— В какое время?

— В три часа, — ответил я.

— Сейчас одиннадцать. Неужели вы сможете созвать митинг за четыре часа?

— Не знаю. Но если вы позволите воспользоваться взшей поляной, мы постараемся.

— Разрешите, я поговорю с мужем, — сказала она.

Минуту или две я прождал у телефона. Затем она вернулась и сказала:

— Хорошо.

Она отнюдь не была рада этому решению.

— Не думайте, что мы не боимся, — продолжала она. — Просто, совестно жить только для самих себя.

Я вернулся на лужайку и сообщил, что место для митинга есть. Один местный профсоюзный организатор тут же предложил план, как лучше оповестить людей о митинге. Весь округ Уэстчестер разбит на участки, нужно распределить их между

людьми, которые по телефону будут оповещать деревню за деревней, посёлок за посёлком. Добровольцы один за другим брались за это. Два певца из группы «Народных артистов», присутствовавшие на собрании, заявили, что будут петь. Решено было пригласить для выступления руководителя местной организации Американской рабочей партии. Митинг должен был состояться в любом случае.

— Фаст, если мы попросим вас организовать охрану митинга, согласитесь ли вы? — спросил меня профсоюзник.

Соглашусь ли я? Уже с десяток лет я выступаю на многих собраниях, за моими плечами большая литературная жизнь. Такое предложение для меня не только приемлемо, но и весьма почётно.

— С большим удовольствием, — ответил я.

— Что вам нужно?

— Мне нужно тридцать крепких рабочих парней, которых, конечно, можно найти в Уэстчестере. Пусть они будут у меня в Кротоне к двум часам.

— Они будут у вас, — сказал он.

Через несколько минут собрание закончилось, и мы разъехались.

Приехав с Рэчел домой, мы позвтрикали, а час спустя уже пришли две первые машины с рабочими. Когда собрались все, мы отправились в Маунт Киско. Здесь я расставил охрану прежде всего на главной дороге, затем на боковых дорогах, ведущих к месту митинга, и затем при въезде на территорию дачи. На этот раз было известно, что поблизости находится с десяток вооружённых солдат, но у нас не было уверенности в том, что они станут на нашу сторону, и потому мы сделали всё необходимое, чтобы организовать собственную защиту. Митинг прошёл спокойно, а единственная попытка десятка молодых хулиганов из Пикскилла сорвать его была легко отбита нашей охраной.

По всей вероятности, к этому времени я уже был не единственным, кто понял, что атаки фашистов на прогрессивное движение могут быть легко отражены, если только они не поддерживаются вооружённой силой. Это поняли и признали не только прогрессивные граждане, но и власти округа Уэстчестер и правительство штата Нью-Йорк. Следствием этого и явилось второе кровопролитие и именно оно известно миру как пикскиллское событие, а не наша первая, ещё слабая оборона в Лейклендском парке. Я остановлюсь на этом позже, а теперь упоминаю только для того, чтобы объяснить, почему наша маленькая, но организованная группа отбила единственную атаку на Маунт Киско.

Посёлок Маунт Киско расположен на самой вершине холма, с которого на несколько миль вокруг открывается прекрасный вид на окрестности. Недалеко от дома, где начинается спуск, мы поставили стол, который должен был служить трибуной для оратора. Поскольку стульев не было, решили, что все, кто придёт, будут сидеть на поляне, а так как она расположена на склоне холма, то оратор будет виден каждому. Рассчитывая на большее, мы оставили два акра для стоянки машин, выделили для её организации двух молодых людей и стали ждать.

Не забывайте, что мы хотя и находились в гуще событий, но не имели представления о том, как воспринято внешним миром вчерашнее столкновение. Газет мы не видели и не имели возможности послушать радио. Борьба вчера вечером, потом сон и организация митинга заняли всё наше время. Мы не могли представить себе поэтому, каковы же будут результаты наших телефонных приглашений гражданам Уэстчестера собраться на митинг. Мы дважды недооценили события в Пикскилле — в тот момент и ещё раз, несколько позже.

Машины начали прибывать вскоре после трёх часов — сначала одна, потом ещё несколько, ещё несколько... Затем машины потекли непрерывным потоком и, наконец, насколько хватало глаз, вереница машин заполнила дорогу — сотни машин.

Собралось более тысячи шестисот человек, несмотря на то, что мы оповестили людей лишь за несколько часов и митинг должен был состояться в совершенно уединённом месте Уэстчестера, которое трудно отыскать и к которому трудно добраться. И всё же собралось более тысячи шестисот человек. По-моему, именно тогда я начал

понимать, что Пикскилл — нечто большее, чем просто привидевшийся мне кошмар; что это первый осязаемый признак оживления тех сил, которые хотят создать на земле ад не только для народа Соединённых Штатов, но и для народов других стран. И даже более чем это, потому что инцидент в Пикскилле, теперь и позже, вызовет новые события, которые будут пробой сил фашизма (американского образца) и испытанием для антифашистских сил.

Серьёзными, озабоченными и гневными были люди, съехавшиеся в Маунт Киско. Они плохим кольцом расселись вокруг стола — море лиц на поляне, по склону холма. Звукоусилителей у нас не было, и люди напряжённо слушали рассказ о вчерашних событиях. И им становилось ясно, что официальные власти округа — прокурор, местная полиция, войска — сделали практически осуществимым массовое убийство. Они слушали рассказ о битве на дороге и в ложбине, о попытке сфабриковать обвинение в убийстве. Они выслушали всё сурово и сдержанно.

На митинге был создан Уэстчестерский комитет в защиту закона и порядка, который сразу же внёс предложение пригласить Поля Робсона выступить в Пикскилле ещё раз.

Затем все спели «Мы не отступим» и приняли резолюции относительно инцидента. Так закончился второй пикскилльский день.

О Маунт Киско следует сказать ещё одно: трудно переоценить поступок людей, которые, рискуя очень многим, предоставили нам для митинга свой дом и поляну. Это могло обойтись им дорого. Многие «неизвестные» (именно поэтому и «храбрые») звонили им по телефону, угрожая и оскорбляя их — так же, как это делают и авторы грязных анонимок. Терроризирование по телефону долго не прекращалось. Однако поведение моих знакомых лишь укрепляет веру в то, что есть ещё тысячи хороших, честных людей в наших Соединённых Штатах.

Глава 4

Загородный парк

В понедельник утром я вернулся к своей работе о литературе и действительности. Уже много лет назад я понял, что смогу решить для себя проблему литературного творчества только в том случае, если не позволю — насколько это в человеческих силах — ничем отвлекать себя от ежедневных литературных занятий. Я никогда не знал и до сих пор не знаю, что такое благоприятные, располагающие к творчеству условия, которые необходимы для литературного труда в самом широком смысле этого слова. Тем не менее я умудрился написать большую часть своих произведений при далеко не блестящих обстоятельствах, и именно в таком состоянии я радовался теперь над своей монографией.

Помню, как-то, просматривая Эмерсона¹, я заметил у него одно место, где говорилось о литературном труде как о благородном деле. Будучи не в состоянии в точности воспроизвести это место, я попросил на днях Дж. Н. привезти мне имеющийся у него сборник произведений Эмерсона. Всё утро мне хотелось, чтобы он выполнил мою просьбу именно сегодня, и был поэтому очень обрадован, когда увидел из окна его машину, — перерыв в работе был мне просто необходим. Моё критическое обозрение проблем литературы и действительности всё время отодвигалось воспоминаниями о людях, с дикими воплями кривлявшихся вокруг костра, в который они бросали предметы, тающие в себе столько зла и называемые книгами.

Я сошёл вниз и поблагодарил Дж. Н. за сборник.

— Чем вы заняты сейчас? — спросил он.

— Пытаюсь писать.

— А я поставил себе задачу дать серию статей о пикскилльском инциденте и поэтому решил прежде всего начать с осмотра поля битвы днём, в спокойной обстановке. Хотите проехаться?

¹ Эмерсон Р.-У.— американский критик и поэт прошлого века. (Прим. перев.)

Я никогда не любил остывших полей сражения, хотя и видел их не раз, но это было первое, на котором я потерял очки стоимостью в тридцать долларов. Я согласился:

— Конечно, поеду.

В машине сидели сын и дочь Дж. Н.— подростки, которые, пока мы ехали к Лэйклэндскому парку, рассказали нам о настроении местной молодёжи. Большинство юношей и девушек, находившихся в тот ужасный вечер на дороге, немного испуганы и теперь стыдятся происшедшего. Они не думали, что всё так получится. Но много есть и таких, которые не испытывают стыда и жаждут продолжения событий.

Дж. Н. сказал, что объездил бары и закусочные в Пикскилле и в речном порту Верпланк. Население этого городка, который так же как и Пикскилл постепенно утратил своё былое значение, находится в состоянии морального разложения, среди него много типичных люмпенов. Недаром большая часть бандитов, принимавших участие в субботнем нападении, была именно оттуда. На Дж. Н. произвело странное впечатление их упорное молчание — никто не говорит, что он присутствовал там, никто не высказывает своей точки зрения на случившееся. Да и во всей округе ощущается что-то мерзкое, какой-то моральный упадок. То, что вышло на поверхность в тот вечер, нарывало годами. Нарыв увеличивался при попустительстве так называемого «порядочного общества», старавшегося смотреть на всё сквозь пальцы. Он не был виден сразу, но он существовал. По крайней мере так воспринимал обстановку Дж. Н., и последующее изучение действовавших социальных факторов подтвердило правильность его выводов.

Подъехав к Лэйклэнду, мы поставили машину поперёк дороги и, оставив ребят сторожить её, направились в парк. В это утро здесь было пустынно, спокойно и мирно, но всё свидетельствовало о субботнем происшествии. Мы шли мимо искалеченных машин, всё ещё находившихся там, и вдоль сломанной ограды, колья из которой фашисты использовали как оружие против нас. Мы спустились вниз к тому месту, где происходило главное сражение, тщательно осмотрели траву, но очки так и не нашли. Мы порывались в золе от костра, на котором были сожжены книги, и насчитали вокруг него по меньшей мере сорок блиц-лампочек. Значит, сожжение книг и безумное представление, которым сопровождалась эта процедура, были зафиксированы примерно на сорока фотографиях! Не помню, чтобы я где-нибудь увидел хотя бы один опубликованный снимок сожжения книг. Что случилось с этими фото? Может быть, плёнка уничтожена? Или всё же они появятся когда-нибудь как молчаливое свидетельство бесславного начала американского фашизма?

На склоне ложбины вблизи дороги мы нашли остатки сгоревшего креста, а свернув затем в сторону канавы и насыпи, которые были тогда избраны нами для защиты, мы обнаружили большое количество пустых бутылок из-под спиртного; часть их валялась в стороне, другие же были разбиты на мелкие куски, повидному их хотели использовать как оружие.

Здесь было загадочно пустынно, как всегда на месте преступления. Попытка этого позорного преступления закончилась провалом, и потому о ней хотели срочно забыть. Бедь это всего лишь мелкий, незначительный инцидент на берегах реки Гудзон.

Глава 5

Голден Гейт

Но Пикскилл нельзя забыть.

Мы, американцы, народ необыкновенно ограниченный пределами своей страны, и её особенности усугубляют эту нашу черту. Всё прекрасно в мире прибрежных полей и лесов нашего Востока; природа создала здесь всё совершенным и поэтому нелогичное, ненормальное воспринимается у нас с трудом. В понедельник утром я с детьми отправился купаться, и вновь мир дышал спокойствием. Именно это ощущение обособленности и покоя — одна из причин поразительного нежелания простых людей нашей страны поверить неопровержимым фактам, поверить тому, что происходит насаждение

и усиление американского фашизма. Мы просто не хотим верить в это. Наш народ, очевидно, уже не так политически сознателен теперь, как прежде. Мы живём в обособленных маленьких мирках, и хотя в этом есть кое-что хорошее, но много и плохого. Мы отделяем себя от большого мира завесой невероятного равнодушия, которое в свою очередь порождает в нас безразличие к тому, что думают о нас люди других стран. «У нас это невозможно» — вот что ещё глубоко сидит в нашем сознании и усыпляет нас. Если мы не слышим криков детей, умирающих в Корее, люди, обладающие совестью, объясняют это тем, что Корея находится слишком далеко; но истина заключается в том, что мы всё измеряем только собственной меркой и слышим только то, что хотим слышать.

Я пошёл с детьми купаться — и Пикскилл поплёк, стал сном, всем деталям которого уже не доставало реальности. Но всё же нелегко изгладить из памяти костёр из горящих книг.

В полдень, спустя несколько минут после того, как я вернулся домой, раздался телефонный звонок. Звонил из Нью-Йорка Вильям Паттерсон, президент Конгресса защиты гражданских прав, неутомимый мужественный руководитель борцов за гражданские свободы.

— Как вы себя чувствуете? — спросил он.

— Прекрасно. Только что выкупался.

— Тогда обсыхайте и приезжайте завтра в Нью-Йорк. В Голден Гейте состоится большой митинг в знак протеста против ликскиллского инцидента.

— Неужели он вызвал такой интерес?

— Вызвал ли он интерес? Друг мой, это же событие мирового значения, первостепенной важности! Да вы понимаете, что означает массовая организованная попытка линчевать Поля Робсона? Да вы понимаете, что означает массовая организованная попытка убить две сотни людей? Вы видели газеты?

— Я считал, что понимаю значение этого события. Но газет я, действительно, не видел.

— Тогда просмотрите их.

— Ладно. А что я должен делать в Голден Гейте?

— Быть одним из ораторов.

Я ответил:

— Хорошо. Приеду.

Однако только на следующий день, подъезжая к Голден Гейт в Гарлеме, я понял значение слов Паттерсона.

Голден Гейт Болрум, расположенный на углу 140 улицы и Ленокс-авеню, — помещению, самая большая публичная аудитория Гарлема. Это помещение, пожалуй, может вместить даже больше пяти тысяч человек, но в тот вторник зал его был особенно переполнен. Ещё не доезжая за квартал, я оставил машину. Перед входом в Голден Гейт стояла толпа негров, они же заполняли прилегающие кварталы Ленокс-авеню и боковых улиц. Сколько людей в это время собралось на улице, я не знаю, но думаю, что не меньше трёх тысяч, а возможно, и все шесть. Трудно сосчитать людей в такой толпе, но я уверен, что там было не меньше трёх тысяч. И, что особенно любопытно, — нигде не было видно полиции.

Нужно знать положение в Гарлеме, чтобы оценить действительное значение такого факта, как огромное собрание людей при полном отсутствии полиции. Помните, какие жестокости на протяжении года одну за другой чинила полиция в Гарлеме, избивая и убивая негров при малейшем поводе или даже вовсе без повода; помните, что Гарлем на протяжении года, с лета 1948 и до лета 1949 года, был превращён в вооружённый лагерь и оккупирован нью-йоркской полицией, и вы поймёте то необыкновенное впечатление, которое производила эта толпа и отсутствие полиции, даже вдалеке.

Но мне предстояло ещё пробраться в здание. Чтобы пробить себе дорогу, я толкался, изгибался и упорно протискивался вперёд. Толпа внешне была спокойной, но чувствовалось, что здесь собрались суровые, ожесточённые люди, дисциплинированные

тем справедливым гневом, который идёт от самого сердца. Через эту толпу, состоявшую почти из одних негров, я проталкивался до тех пор, пока не оказался в небольшом полукруге свободного пространства непосредственно перед зданием. И вот тут я увидел полицейских; их было около ста человек. Зажатые между массой народа, находившейся в помещении, и толпой на улице, они, казалось, пришли сюда вместе со всеми и стояли как гости.

Это было необыкновенное зрелище, действительно необыкновенное. Никогда раньше в Нью-Йорке я не видел и не увижу ничего подобного. Около сотни полицейских в Гарлеме среди тысячной толпы, и таких смиренных, таких вежливых, таких молчаливых... Каждый из них скромно стоял на своём месте, опустив глаза, судорожно сжимая дубинку, и всей позой как бы говорил: «Не могли бы вы не замечать нашего присутствия, ведь мы здесь по обязанности, вы же знаете! И всё же Нью-Йорк — прекрасный город! Кто переводит ваших детей через улицу и находит их, когда они заблудятся?».

Это зрелище напомнило мне картины Франции в то время, когда её рабочий класс во всей своей мощи выходит на улицы. В таких случаях французская полиция, обязанная присутствовать при демонстрации, стоит смиренно опустив глаза, предпочитая соблюдать нейтралитет.

Выбравшись на свободное место, я увидел, что одновременно происходят два больших массовых митинга. Из зала слабо доносились голоса, а на улице, где также была установлена трибуна для ораторов, шёл свой митинг. Всё это время полицейские только спокойно наблюдали, причём с таким видом, как будто они никогда не позволяли себе вмешиваться в подобные дела или препятствовать им. Как будто никогда шесть-семь полицейских не нападали на людей, разбивая им дубинками головы, свидетелем чего я был так много раз, что уже потерял счёт. Как будто никогда не топтали они сапогами рабочих, если их было несколько против одного; как будто никогда не таскали они женщины за волосы? Люди часто говорят, что человеческую натуру изменить нельзя. Я бы хотел поэтому, чтобы они присутствовали в Голден Гейте в тот вечер и видели, как три-четыре тысячи разгневанных негров изменили натуру нью-йоркских полицейских. И если можно изменить природу полицейского, я утверждаю, что нет предела воздействия на человеческую натуру.

Неподальёку я заметил своего друга, жена которого покинула вчера загородный парк в последней машине. Когда я сказал ему, что никогда в жизни ничего подобного не видел, имея в виду прежде всего поведение полицейских, он усмехнулся:

— Им, вероятно, неприятна мысль, что Поль Робсон мог погибнуть там. Они всеми силами стараются изобразить это.

На улице в это время выступал перед толпой Бен Дэвис¹.

— Пусть они только попробуют тронуть хоть один волос на голове Поля Робсона, — заявил он твёрдо, — они дорого заплатят за это.

Пронёсся гул; толпа не была шумной, и гул этот был низкий и глухой.

Вслед за Беном Дэвисом выступил я. Потом мы вошли в здание. Зал был переполнен до отказа. Видно, смысл Пикскилла и его значение проникали до глубины сознания людей. И ещё мне стало ясно, как много значит для его народа этот большой гордый человек, который был как-то крупнее, сильнее всех других людей, когда-либо виденных мною.

Внимание собравшихся в Голден Гейте было обращено к нашей бурной схватке в Лэйклендском парке. Но в сознании этих людей совершённая там подлость, распространявшая по всей земле глетворный дух американского линча, усугублялась тем, что была направлена прежде всего против большого человека, который порвал путы, связывающие их, которого нельзя дискриминировать, который не склонит своей головы и не станет пресмыкаться, которого нельзя подкупить долларами и дешёвыми подачками запятого себя кровью правительств.

¹ Бенджамин (Бен) Дэвис — один из членов Национального комитета компартии США, приговорённый ныне федеральным судом США к пяти годам тюремного заключения и к десяти тысячам долларов штрафа. (Прим. перев.).

Когда он вошёл в зал, шум утих, как будто растворился в мрачном гневе тысяч людей. Он вошёл гордый и взволнованный. Много раз я видел его с тех пор, как наши пути встретились, но я никогда не видел его таким гордым и таким взволнованным. Ему было открыто будущее, в которое он смотрел с надеждой и вызовом.

В тот вечер стояла сильная жара и оттого, что старый, отделанный золотом, бальный зал был набит до отказа, не становилось прохладнее. Хотя мужчины сидели без пиджаков, пот лил с них ручьями. Испарения сгустились в тяжёлые облака под потолком, но никто не покинул зала. Один за другим выступали люди и говорили о Пикскилле, о том, что случилось в субботу вечером, говорили о внутреннем смысле этого события. Наблюдая множество серьёзных, встревоженных лиц — лиц людей, которые, кроме горя, мало что знали другое, — нельзя было не понять: в США рождается что-то новое — в горечи и страдании люди приобретали зрелость.

— Вы не даёте жить спокойно нашему народу, а сейчас вы преследуете человека, которого мы любим и почитаем, потому что он живое доказательство огромных возможностей нашего народа, — говорили они.

К этому времени я уже прочитал газеты.

Как можно писать такое? Говорят, что в жизни каждого человека бывает такой момент, когда ему необходимо освободиться от подступающей к горлу тошноты, чтобы получить облегчение. Однако у людей, пишущих в наших «больших» газетах, видимо, такой момент не наступает. «Нью-Йорк таймс» «сожалела», что у нас произошли столь неамериканские события. «Нью-Йорк геральд трибюн» добавляла, что такие проявления народной грубости «понятны», хотя и могут рассматриваться, как предосудительные. Будет ошибкой, писала газета, делать красных страдальцами, потому что именно этого они добиваются. Презрение Робсону, дважды презрение Говарду Фасту. «Есть более приемлемые способы для проявления недовольства», — вздыхала «Нью-Йорк таймс». А откровенный хлам — «Ньюз», «Миррор» и «Джорнэл» ликующе завывали: «Началось, можно держать пари, что мы сделаем это лучше, чем сделал Адольф!» Из всей прессы только газета «Нью-Йорк пост» высказала некоторый страх при мысли, что на каждого коммуниста, пострадавшего при пикскилском «auto da fé», приходится сотня «честных» некоммунистов, принимавших участие в этом происшествии.

Все эти заявления прессы пришли мне на память, когда я, выступая, смотрел на встревоженные, обращённые ко мне лица, и вновь, когда слушал выступление Робсона.

Прошло немного более года с тех пор, и совесть, если так можно сказать, «Нью-Йорк пост» уже умерла; с нею вместе умерли последние колебания «Нью-Йорк таймс». Они открыто приветствовали пятого всадника Апокалипсиса, имя которому фашизм. Мы теперь знаем, что фашизм легко уживается с долларом, что любое правительство с долларом в одной руке и с оружием в другой может принудить к молчанию граждан своей страны.

Люди, собравшиеся в тот вечер в Голден Гейте, очень мало сталкивались с долларом, что же касается оружия, то оно всегда было направлено на них. Правда, они не так уже внимательно читали передовицы «больших» газет и потому, вероятно, не вполне поняли, что Поль Робсон — «послушное орудие» Москвы — «обманут» коммунистами. Они «не поняли» и того, что он отказался от крупных доходов и золотого венца славы, отверг признание авторов этих передовиц для того, чтобы по уши увязнуть в «иностранным заговоре», чтобы рисковать своей жизнью, жить под вечным страхом тюрьмы и смерти, не зная минуты, свободной от мысли о гуверовском гестапо. И всё это только потому... что он «орудие» и хочет быть эгим «орудием» и ему, повидимому, приятно быть этим «орудием».

Именно так говорилось в передовицах. Но даже откровенная глупость должна иметь свои пределы, а спорить по вопросам этики и морали с людьми, которые не придерживаются ни этики, ни морали, — невозможно...

— Да, я хочу петь там, где народ желает меня слушать. — сказал Поль Робсон. — Я пою о мире, свободе и жизни.

Я слышал не раз выступления Гарри Трумэна, и никогда я не видел при этом слёз на глазах слушателей и никогда не видел выражения любви на их лицах.

Когда митинг закончился, народ хлынул на улицу. Толпа увеличилась, и вся эта бурлившая масса народа смела полицию. Она именно смела её — просто и без всякого насилия. Затем люди свернули за угол, построились в ряды и массивной колонной двинулись по Ленокс-авеню. Подъехала конная полиция, «славная» конная полиция на своих гнедых, но в этот вечер конные полицейские не могли разогнать демонстрацию: их тоже смела огромная масса народа, двигавшаяся по Ленокс-авеню...

Я вернулся в Крогэн поздно и ещё позднее заснул.

Есть у нас немало людей — или невежественных, или лицемерных, — которые скажут вам, что в Америке нет никаких классов и никакой классовой борьбы. Это люди из породы тех, кто уверяет, что негры совершенно свободны в нашей «самой свободной» стране и что вообще никакого угнетения в краю стиральных машин и рефрижераторов нет. По их мнению, Пикскилл — дело рук группы хулиганов, несколько «чрезмерно» выразивших своё негодование против «антиамериканских элементов». Однако никто из них ещё толково не объяснил, почему «американизм» или то, что разумеется под этим словом в наши дни, становится знаменем самых мерзких и разложившихся элементов в стране — негодяев в солдатских сапогах, отвратительных дегенератов, которые испытывают удовольствие, когда раскраивают людям головы кастетом или бьют женщин в живот!

Я начал избавляться от остатков каких-либо иллюзий. Пикскилльский инцидент произошёл не случайно, и не случайно полиция штата и округа не вмешивалась до тех пор, пока не представилась возможность свалить на нас вину за организованное убийство.

Нет, это не было локальное событие, совершённое местным сбродом; не простое совпадение и то, что агенты ФБР отправились на вечернюю прогулку именно в этот час и в этот уголок долины Гудзона. Не случайно помощники шерифа ушли как раз в ту минуту, когда были особенно нужны. Происходившее ни в коей мере не было стихийным проявлением настроения местных хулиганов. После митинга в Голден Гейте я нашёл многие недостающие детали, которые мешали мне правильно увидеть картину событий раньше. Я понял: с одной стороны, существует негритянское освободительное движение, существует Поль Робсон; с другой стороны, где-то разрабатывается план превращения Америки в полицейское государство — план, почти осуществлённый в дни, когда я пишу эти строки. Шаг за шагом дело становилось всё яснее, но всё ещё не хватало некоторых деталей, чтобы получить полную картину происходившего. Они были найдены — притом самым ужасным образом — через несколько дней.

Глава 6

Второй вечер ужасов

С чувством удовлетворения прочитал я в «Нью-Йорк компас», что губернатор Дьюи потребовал от Фанелли — прокурора округа Уэстчестер — подробный отчёт о том, что случилось в Пикскилле. Прокурор округа заявил, что он «ничего не знает о беспорядках, но уверен, что нападали не ветераны и хулиганы, а слушатели концерта». Губернатор выполнил свой долг и успокоился. Всё в порядке в штате Нью-Йорк. И будет всё в порядке. Да и зачем осуждать маленького человека — губернатора, когда вступает в силу новый федеральный закон, гласящий, что убийство коммуниста или сочувствующего коммунистам не только не считается уголовным преступлением, но, в известном смысле, не является преступлением вообще...

— Всё же мы собираемся организовать концерт, — сказал я миссис М., — и Поль будет петь.

Это был вторник.

— Когда?

— Днём в воскресенье.

— Я думаю, он будет петь, если он этого хочет, — сказала миссис М. спокойно. — Я думаю — каждый, кто хочет петь, должен петь.

— Я хочу сказать вам, что я снова согласился быть председателем.

— Это может превратиться в беспокойную привычку. Вы уже были раз председателем. Разве с вас недостаточно?

— Нет, почему же. Мы намеревались провести концерт и мы проведём его. При создавшихся обстоятельствах нельзя спастись бегством.

— Может быть, вам нельзя, но Рэчел, Джонни и мне — можно. Мы не собираемся переживать здесь ещё один Пикскилл.

— Второго Пикскилла не будет.

— Вам ещё многое предстоит узнать, мистер Фаст, — сказала она. — Вы знаете очень много об очень многом, но о белых и их поведении я знаю больше вас.

— Что вы подразумеваете под белыми?

— Вы отлично знаете, что, — ответила миссис М.

На следующий день она начала упаковываться. Я не стал возражать и даже испытал чувство облегчения при мысли, что дети вернутся в город. Мы переехали в субботу утром, открыли дом и привели в порядок рефрижератор. Затем я позвонил своему близкому другу Б. Р., ветерану бригады им. Линкольна, и спросил его, не хочет ли он сегодня вечером поехать со мной в Кротон, чтобы завтра пойти на концерт?

— Через полчаса приеду, — ответил он.

Вечером мы вместе отправились в Кротон, и по дороге Р. прочитал мне длинную лекцию о том, что здравый смысл требует осторожности.

— Но никто ещё не умер пока, — отметил я.

— В том и беда, — сказал Р., — что вы по-своему так же слепы, как и ваши друзья из средних слоёв, которые утверждают, будто в Америке нет и не может быть фашизма.

— Я готов допустить мысль, что он надвигается. Бог знает, может, действительно следует быть осторожным. Но никто не собирается убивать меня.

— А почему бы и нет?

— Потому что получилось бы убийство в стиле второсортных голливудских картин. Какая в том польза? Если агенты ФБР решат от меня отделаться, они сделают это тонко, «законно».

— Так вам кажется потому, что для вас нет ничего страшнее ФБР. Но увидите, когда трубы протрубят сигнал, — всякая нечисть повывлечет из нор, чтобы убивать, потому что путь фашизма лежит через смерть, и сдержать фашизм невозможно, если дать ему волю вначале. Я знаю. Я был в Испании и видел, как эти мерзавцы действовали там.

— Вы преувеличиваете, — не сдавался я, — и завтра вы убедитесь, что у нас всё пройдёт спокойно. Эта нечисть, как вы их называете, пасует перед твёрдой решимостью, и теперь перед нами задача — показать, насколько мы непоколебимы.

— Возможно. Завтра увидим, — согласился он.

По пути к дому мы остановились у Дж. Н. и пили чай с ним и его очаровательной женой. Я задал Дж. Н. тот же вопрос, который поднял Р., и спросил его мнения.

— Я думаю, — сказал Дж. Н., — у нас будут неприятности, но считаю, что мы в состоянии будем противостоять им. Мы обратились к профсоюзникам с просьбой организовать охрану слушателей концерта и, кажется, получили положительный ответ. Правда, пикскилльская банда, со своей стороны, призвала тридцать тысяч ветеранов принять участие в демонстрации, и радиостанции штата Нью-Йорк подхватили этот призыв и передают его весь день, чтобы помочь Легиону. Я лично считаю, что они могут собрать тысячи три, но даже и три тысячи могут причинить уйму неприятностей. (На самом деле, на следующий день собралась примерно тысяча хулиганов и головорезов. Остаётся лишь догадываться, сколько среди них было ветеранов).

— Каково ваше мнение об этих местах?

— Это странная местность, — сказал Дж. Н. — Здесь фактически нет никаких промышленных предприятий, за исключением железной дороги. В этих речных городках дети растут, не имея ни работы, ни будущего. По своим взглядам это типичные отпрыски прогнившей, сбившейся с пути мелкой буржуазии. Они пристраиваются работать на заправочную станцию, в бакалейный магазин, передвижную закусную, в пожарную команду или вообще не работают, а попрошайничают всюду и живут на раздобытые таким путём доллары. Горечь и безысходность жизни озлобляет их, но они не знают, что порождает эту безысходность и как от неё избавиться. Они всё ненавидят. Их слепую ненависть легко использовать Легиону. И он уже использует её в настоящее время. Легион объявил, что перед местом, где будет проходить концерт, он организует демонстрацию. Мы добивались у властей приказа, запрещающего эту демонстрацию, но, видимо, большинство должностных лиц заинтересовано в том, чтобы она состоялась. Легион угрожает также людям, живущим на холме, так что сегодня вечером надо быть настороже.

— Когда вы собираетесь выехать завтра?

— В восемь утра. Может быть, позавтракаем у меня?

— Не очень ли это рано?

(Концерт предполагалось начать в два часа дня).

— На этот раз я хочу попасть на концерт, — сказал, улыбаясь, Дж. Н.

Условившись встретиться у него в семь тридцать, мы уехали. Мой дом находился неподалёку. С нелёгким чувством вошли мы в тёмное, опустевшее помещение. Прежде чем лечь спать, Р. выключил всюду свет. Затем мы тихо постояли в гостиной, прислушиваясь.

— Я чувствую себя ужасно глупо, — прошептал я.

— Ещё никто не умер оттого, что чувствовал себя глупо.

— Чего вы ждёте?

— Если бы я знал, чего нужно ждать, я не стоял бы здесь в такой позе. Я потому и стою, что не знаю, чего ждать. Если вам придётся ударить кого-нибудь, ударяйте покрепче. Ударить слегка — очень опасно.

— Я никого не собираюсь бить, — ответил я, чувствуя себя ещё более нелепо.

— На прошлой неделе вы, кажется, тоже не собирались?

— Тогда было совсем другое дело.

Мы простояли так минут двадцать, а затем под испытанным руководством Р. совершили обход по дому. Я не играл в индейцев с тех пор, как вырос, и всё это время думал о том, какие идиотские поступки совершают люди, когда наступают сумерки цивилизации. Однако оказалось, что предосторожность Р. не была лишена основания. В тот вечер в нашем районе было совершено несколько налётов на жителей. Правда, в нашем доме было всё спокойно. Мы хорошо выпались и рано утром, весёлые, приехали к Дж. Н. завтракать.

Когда сборы были закончены, Дж. Н., взяв с собой сына Дэнни, предложил ехать всем в одной моей машине. Как только мы въехали в Пикскилл, мы увидели на его главной улице плакат, который, повидимому, выражал умонастроение пикскиллцев в то воскресенье. Натянутый поперёк улицы, он призывал: «Проснись, Америка! Пикскилл проснулся!» И хотя было ещё очень рано, немного более 8 часов, этот лозунг мелькал повсюду. Он свешивался с домов, его наклеили на телеграфные столбы и налепили на ветровые стёкла автомашины, проезжавших мимо нас.

Р. задумчиво повторил немецкий вариант этого призыва: «Проснись, Германия!». Его так часто выкрикивали на улицах Франкфурта, Нюрнберга, Гамбурга и Берлина, его горланили коричневорубашечники, когда, исполняя «божественное предначертание», избивали евреев и коммунистов и сжигали произведения Манна, Гейне и Вассермана; он стал боевым кличем при захвате власти нацистами. Меня заинтересовало тогда и интересует до сих пор, было ли это совпадение симптомом начала одной и той же болезни, развивающейся вне зависимости от географических условий, или же штурмовые отряды Пикскилла сознательно перевели гитлеровский лозунг на английский язык. Если даже было бы справедливо второе, я бы не уди-

вился, ибо, как я уже отмечал во время первого нападения, наши фашисты избрали своим героем Гитлера и беспрестанно выкрикивали его имя. Было бы ошибкой думать, что фашисты — хорошие от природы, но грубые люди, которые действуют под влиянием внезапно вспыхнувшей ненависти, не ставя перед собой каких-либо целей.

Занятно, хотя и горько, созерцать мир, в котором Адольф Гитлер становится образцом всего американского, а Робсон и Фаст объявляются «антиамериканским элементом»!

Вскоре мы добрались до места, намеченного для проведения второго концерта.

Как уже говорилось на митинге в Маунт Киско, был создан Уэстчестерский комитет в защиту закона и порядка. Комитет обратился к «Народным артистам» с просьбой устроить как можно быстрее второй концерт с участием Поля Робсона. Все собранные деньги решено было передать отделению Конгресса в защиту гражданских прав в Гарлеме. Профсоюзы Нью-Йорка и близлежащих городов обратились к своим членам с призывом организовать охрану народного концерта, и я расскажу позже, как люди откликнулись на этот призыв.

Но одно дело — решить устроить концерт, другое — найти для него удобное место. Владелец Лэйклэндского парка, где развернулись события прошлой субботы, хорошо и дружественно относился к нам, но он отказал на этот раз, вполне справедливо ссылаясь на разгром, который фашисты учинили в его владении. Он не мог riskовать повторением этого, не говоря уже об угрозах и мести, которые навлечёт на его голову сотрудничество с нами. Десятки владельцев других загородных парков и земельных участков говорили то же самое.

Наконец нам предложили подходящее место, и мы с благодарностью приняли это предложение. Оно принадлежало бывшему беженцу из фашистской Германии, человеку, который на собственном опыте понимал, что означает Пикскилл, и с ужасом следил за повторением зрелищ, уже виденных им ранее. Он знал, чем рискует, помогая нам, знал, какие последствия его ожидают (потом фашисты не раз пытались поджечь его дом, простреливали стены и т. д.), и всё же решил предоставить принадлежащий ему участок для концерта, рассматривая это как свою помощь борьбе за право народных собраний и свободы слова.

Как ни странно, Холлсу Брук Каунтри-Клуб — так называлось это место — почти точно повторяло по своему расположению парк в Лэйклэнд Эйкрс. Оно расположено почти так же в стороне от дороги, и въезд в него находится только на полмили дальше от Пикскилла, чем въезд в первый парк. Даже топография местности такая же, за исключением подъездной дороги, которая несколько короче, да открытого пространства на дне ложбины, которое больше и ровнее, что увеличивает его площадь по сравнению с парком в Лэйклэнде по крайней мере в четыре раза. Когда-то здесь был загородный клуб, теперь же просторные лужайки заросли травой, и это место было просто частным владением, которое впервые за много лет было предоставлено для публичного пользования.

Мы рассчитывали, что, приехав туда так рано, будем первыми. Оказалось же, что и многие другие сделали то же самое, боясь, как бы им не помешали добраться до места концерта. Уже более ста машин зрителей и профсоюзников стояло в парке, хотя в тот час ещё не было заметно никаких признаков фашистской демонстрации.

Въехав в парк, я выбрал самое безопасное место в стороне и поставил там свою машину — хотя концерт в округе Уэстчестер угрожает меньшими бедами, чем война, но я всё же кое-чему научился. Мой старый «плимут» честно служил мне, и я хотел бы, чтобы он ещё продолжал служить.

Поставив машину, мы обошли всё кругом, наблюдая за приготовлениями, которые предпринимались для охраны парка. Именно этот день ещё раз показал, что я не напрасно восхищался дисциплинированностью, силой и храбростью рабочего класса.

День выдался такой же, как неделю тому назад, и только это напоминало о том, что случилось тогда. Небо было голубым и чистым, утро — свежим, прохладным. Всё вокруг было необыкновенно красиво, а живописные холмы, высшие над

долиной, казались такими зелёными и мирными. На одном из них, расположенном слева у входа в парк, откуда была видна вся местность, Леон Строс из Национального союза рабочих меховой и кожевенной промышленности установил командный пункт. В его распоряжении находились представители пяти других профсоюзов, а также группа членов его профсоюза.

Там, на вершине холма, царил порядок, дисциплина и организованность. Всё было предусмотрено. Оборудован даже пункт для оказания первой помощи: под большим тентом аккуратно были разложены медикаменты, большие фляги с водой. В распоряжении штаба находились шесть добровольцев — связанных, готовых по первому приказу отправиться в любой уголок предоставленной в наше распоряжение территории. Люди, поставившие перед собой задачу сделать всё, чтобы сегодняшний концерт не был повторением первого, составляли детальный план обороны. Это должна была быть единственная в своём роде оборона — оборона без оружия, оборона, если это будет возможно, без нанесения ответного удара, оборона, которая достигнет цели только благодаря железной дисциплине и самообладанию. О том, как была организована и осуществлена оборона, ещё не рассказано подробно, а она заслуживает этого. В ней ярко, хотя и своеобразно, нашли своё выражение потенциальные возможности американского рабочего класса. Тогда, насколько мне известно, впервые наш рабочий класс предпринял массовые и единодушные действия, чтобы защитить народного певца и народного героя, которого он любит и почитает.

Мне легко описать оборону, так как в течение нескольких часов я находился на склоне холма и видел, как она создавалась, как Леон Строс руководил ею, являясь её душой и центром. Может ли быть большая похвала Стросу, чем рассказ о том, что он сделал, возглавляя оборону! Он показал себя как человек больших и разносторонних способностей.

Как я уже сказал, группа рабочих под руководством Строса первым делом занялась оборудованием командного пункта, и к нашему приезду он уже был готов. Вслед за нами непрерывным потоком стали съезжаться профсоюзники, вызвавшиеся охранять концерт. Они прибывали в собственных машинах или в автобусах (в автобусах в основном приезжали организованные партии профсоюзников). Затем стала прибывать публика. В парк непрерывно въезжали машины и выстраивались по сторонам стройными рядами. Они продолжали прибывать даже после долгожданного начала концерта. Публика спускалась по дороге вниз — к естественной открытой арене.

Арена эта, расположенная ниже командного пункта, позади него, была прикрыта с дороги отвесным склоном холма. Снабдить всех стульями не представлялось возможным. Сколькo соберётся народу — было неизвестно, поэтому решили, что публика рассядется на траве и устроится как может.

В течение двух часов прибыло несколько тысяч профсоюзников. Каждую прибывающую группу встречал один из связанных Строса, который устанавливал, откуда они, и оставался с ними до тех пор, пока им не отводили участок линии обороны. Теперь трудно определить, какой длины была эта линия, а фотографии, которые у нас сохранились, изображают только отдельные её участки. Во всяком случае, линия охватывала огромную площадь, на которой находилось 25 тысяч зрителей, стоянка более чем тысячи автомобилей, а также пространство, немногим более четверти мили, между этим своеобразным концертным залом и линией обороны; следует учесть при том, что в охране люди стояли плечом к плечу, буквально касаясь друг друга. Считалось, что в обороне участвовало две с половиной тысячи профсоюзников. Вполне понятно, сколь сложно было организовать такую непрерывную сплошную линию и расставить людей на всём пространстве. Следует отдать должное Стросу и его помощникам.

Сам процесс размещения сил и возникновения сплошной линии обороны был волнующим зрелищем. Группы людей, получив назначение, направлялись в разные стороны, пересекая поляны и лесок, и на несколько минут пропадали из поля зрения. Вскоре стали возникать пунктирные контуры обороны — сначала появились от-

дельные её частички, одна, другая, наконец, целые участки; разрывы становились всё меньше, и вот уже сплошная плотная стена человеческих тел опоясала всю огромную территорию парка.

Внизу, в середине естественной арены, где одиноко стоял высокий дуб, была создана вторая линия обороны, охватывавшая территорию примерно с половины акра, отведённую для зрителей.

Пока устанавливалась эта линия, съехалось уже много зрителей; но за это же время стали прибывать и фашисты. Количество людей у нас увеличилось с невероятной быстротой. Мы рассчитывали на пять, самое большее — десять тысяч человек; но уже приехало десять тысяч, пятнадцать, двадцать, и люди ещё продолжали прибывать. Автобус за автобусом приходил из Гарлема. Ещё и ещё автобусы — из Бруклина, Бронкса и Манхэттена, из Джерси-Сити и Нью-Арка. Каждая машина была переполнена до отказа, за что, как вы увидите позже, мы ужасно поплатились.

Нас становилось всё больше и больше, а фашисты никак не могли собрать людей для своего «парада», который они решили провести на главной дороге. Легионеры не только сами убеждали всех в том, что по их команде все тридцать тысяч ветеранов явятся выполнить свой долг — сорвать концерт, а все радиостанции и газеты штата кричали об этом и призывали ветеранов не останавливаться перед насилием. Но, как оказалось, в их «параде» участвовало никак не больше тысячи человек, и нет никакого сомнения в том, что на каждого ветерана войны, участвовавшего в их демонстрации, приходилось десять ветеранов в наших рядах.

Наши защитники могли оказать достаточное сопротивление на любом участке линии обороны собравшейся тысяче хулиганов. Однако на этот раз полиция появилась на горизонте очень рано: штат и округ направили сюда тысячу полицейских, тысячу хорошо вооружённых и проинструктированных полицейских, прекрасно знавших, зачем их послали.

Но вот публика съехалась, приготовления, связанные с обороной, закончены, и под руководством Строса выстроилась стена из людей, которые, стоя под палящим солнцем в течение нескольких часов, сохраняли свою первоначальную позицию, не поддавшись никаким провокациям. И вот тут-то полиция всеми своими действиями объявила нам цель своего присутствия.

Её роль надо описать подробно; вновь и вновь возвращаться к ней, по мере того как раскрывались различные эпизоды этого дня; полицейская дубинка — могучее оружие; на стороне человека, который размахивает ею, — закон, суды, судьи, поэтому обвинить его в чём-нибудь так же трудно, как трудно поймать угря, когда ладоны смазаны вазелином.

Когда Строс и его люди составляли план защиты, они знали, что действуют в соответствии с законом. Оборона была организована безупречно, и участники её не имели оружия. Поскольку нами была арендована вся территория парка — мы считали своим правом использовать её так, как хотим, не нарушая при этом закона. Но когда полиция увидела сплочённую, объединённую одной волей линию обороны, она немедленно предприняла попытки нарушить её.

В одиннадцать часов в парк вошли около трёхсот полицейских, тут же рассевшихся по его территории. В час дня полицейский надзиратель Гаффни подошёл к Леону Стросу и потребовал, чтобы он переместил всю линию защиты ближе к центру на четверть мили, придвинув её вплотную к публике. Это ослабило бы нашу оборону и дало бы возможность фашистам прорваться в парк и сорвать концерт.

Строс отказался. Гаффни кричал и угрожал, но Строс указал ему, что территория арендована нами и что мы можем расположить линию защиты там, где пожелаем, и уступать никому не намерены. Он указал также Гаффни, что в любом месте наша линия защиты отстоит от главной дороги не менее, чем на двадцать ярдов, и поэтому непонятно, как могут возникнуть неприятности, если только на нас не нападут. Тогда Гаффни объявил ультиматум: или мы отодвинем линию защиты назад, или он уведёт всех своих полицейских.

— Мы в них не нуждаемся, — улыбаясь ответил Строс. — На этом месте насилья не будет.

Немного спустя триста полицейских покинули парк и разместились вдоль дороги. До этого момента фашисты старались делать вид, что проводят организованную демонстрацию, хотя, по существу, они представляли собой беспорядочное скопище мерзкого сброда: они поносили всех находившихся в парке, осыпали их площадной бранью. Эти апостолы «христианства» и «американизма», чтобы оскорбить людей, употребляли выражения не только нецензурные, но и такие, которые нормальному человеку просто не могут прийти в голову. Теперь полиция подала сигнал — и жалкие попытки фашистов изобразить демонстрацию прекратились.

Начался обстрел камнями. Чувствуя за собой поддержку сотен посмеивающихся полицейских, герои из «Американского легиона» выстроились вдоль дороги и стали забрасывать камнями нашу линию защиты. Так продолжалось довольно долго, и часто булыжники попадали в наших людей. Несколько из них получили тяжёлые повреждения, но ни разу наша линия не нарушилась и не отступила. Это было ярким проявлением мужества и решимости.

Со своей стороны, полицейские, действуя по испытанной традиции американской полиции, решили, что и для них пришёл случай развернуться и показать себя во всём блеске. Вход на территорию, где шёл концерт, уже был блокирован фашистами, когда прибыло несколько запоздавших машин. Фашисты задержали эти машины и выволокли из них нескольких негров. Когда те стали сопротивляться и отстаивать своё право пройти на концерт, вмешались полицейские (если Луис Буденц¹ стал синонимом чести в современной Америке, то нападение десятка полицейских на одного негра можно считать синонимом храбрости). Они стали избивать негров дубинками с невероятной жестокостью и озлоблением. Всё это происходило на дороге, и эти отдельные столкновения были сфотографированы и засвидетельствованы последующими заявлениями потерпевших, поэтому нельзя поставить под сомнение или считать небеспристрастными мои свидетельства. Это было жестокое, зверское избиение, но в то время мы не знали о нём. Топография места была такова, что даже линия защиты не видела этого, не говоря уже о публике, расположившейся ниже.

А в это время около двадцати пяти тысяч человек, собравшихся внизу слушать концерт, рассаживались на поляне, большинство прямо на земле, по линии внутренней обороны. Напоминаю: эта линия была установлена для того, чтобы сделать невозможным проникновение через нашу оборону даже небольших банд фашистов, намеревавшихся убить Поля Робсона. Хотя это звучит несколько мелодраматично, но последующие события показали, что Леон Строс весьма реалистически представлял себе ход событий.

Робсон приехал около полудня. Певцы и музыканты из группы «Народные артисты» прибыли немного раньше. Поскольку нужно было составить программу, мы сели все вместе обсуждать её около громкоговорителя. По совету людей из охраны, Робсон остался в машине.

На концерт приехали Пит Сигер, Сильвия Кан и много других; был среди них известный молодой талантливый пианист. Их всех приятно взволновало такое стечение народа, это море людей. Разве представлялась им когда-нибудь возможность петь перед такой огромной массой народа?

— И всё это ваше, — сказал я им. — Всё, что должно быть сказано сегодня здесь, за исключением моих объяснений, вы должны будете сказать музыкой и песнями.

— Об этом мы всегда мечтали, — улыбнулся Пит Сигер. — Высказать всё в песнях...

— Да, именно так вы и будете делать. Начнём, пожалуй, через полчаса, с певцов. Вы будете первым. Потом фортепьянные номера, потом Поль, потом мы проведём сбор денег, потом опять вы и, наконец, Поль закрывает программу.

¹ Луис Буденц — ренегат, ставший главным информатором Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. (Прим. перев.).

— Звучит внушительно.

— Тогда запишите названия ваших номеров, чтобы я мог объявлять их.

Я подошёл к машине Поля и поздоровался — с позапрошлой субботы мне представилась в первый раз возможность говорить с ним. Я был взволнован столь очевидным контрастом между двумя концертами, и чувство гордости за организованную профсоюзниками живую стену, которая окружала всю территорию парка, наполняло меня.

— Небольшая разница, — помнится, сказал я Полю.

Он сдержанно кивнул головой в знак согласия, но был встревожен: он понимал, что надвигается; я же был полон ощущения нашей силы, нашей дисциплинированности и полон отвращения к тварям, буйствующим на дороге. Случиться ничего не могло — это был наш день!

Я подошёл к звукоусилительной установке и, стоя там, разговаривал с техником; в это время к нам подошёл человек, ответственный за охрану в центре, и отозвал меня в сторону.

— Говард, — сказал он, — я хотел бы, чтобы вы поставили звукоустановку под большим дубом, тут же под ним.

(Я уже упоминал, что в центре арены стоял огромный одинокий дуб).

— Как же это возможно? Если мы поставим звуковую установку под деревом, нашим артистам придётся петь сквозь ветви. Это бессмысленно.

— В этом есть смысл!

— Какой?

— Мы ещё с утра разослали наших разведчиков в ближайшие окрестности, и только сейчас стало известно, что они обнаружили двух местных «патриотов», устроившихся в дозоре на дереве, с которого просматривается эта долина. При них дальнобойные ружья с оптическим прицелом. Другими словами, они хотят убить Поля и, чтобы сделать это, они ни перед чем не остановятся.

...Интеллект, культура, мораль, здравый смысл — чужды фашизму. Я убедился в этом. При фашизме невозможное делается возможным, невероятное — вероятным. Зло становится повседневным явлением, неотъемлемой частью фашизма.

Я попросил переместить звуковую установку под дерево. Потом взял программу, подошёл к микрофону и объявил начало концерта. Поверьте мне, я не чувствовал себя ни хорошо, ни спокойно: ветви образовывали весьма слабое прикрытие, и у меня не было никакой уверенности в том, что стрелки с дальнобойными ружьями и с оптическим прицелом не решатся поразить свою цель. Когда Пит Сигер начал петь, я спустился вниз, подошёл к начальнику охраны и обратился к нему:

— Я думаю, Поль не должен петь, — сказал я, — чёрт с ним, с концертом. Стоя там, чувствуешь себя беспомощным и беззащитным.

— Он намерен петь. Он решил. Всё будет в порядке. Уже приняты кое-какие меры. Приняты меры...

Пятнадцать рабочих решились на очень смелый и самоотверженный поступок: когда Поль Робсон вышел петь, они стеной окружили его, прикрыв собой от снайперов, засевших на холме. Они не проявили ни колебания, ни волнения и сделали это очень просто. Белые и негритянские рабочие окружали Робсона; он стоял среди них, этот большой человек, один из очень немногих интеллигентов в нашей стране, не перебежавший на сторону врага, не предавший, не уползший в нору; он стоял среди них, как скала, невозмутимый и непоколебимый. Слова не в силах передать эту картину, и я никогда её не забуду.

Итак, наш концерт прошёл довольно гладко, и, несмотря на все трудности, в тот день мы слушали хорошую музыку. Могучий голос Поля далёким эхом повторялся на холмах. Исполнялись произведения Генделя и Баха. Пит Сигер и его товарищи пели прекрасные старинные песни тех времён, когда предательство, ненависть и тирания ещё не считались наиболее достойными добродетелями американцев.

Полиция же делала в это время всё, что было в её силах, чтобы помешать нам. Когда стало ясно, что сорвать наш концерт невозможно, они пустили в ход геликоп-

тер, который беспрестанно летал над нашей звуковой установкой, пытаюсь заглушить звуки музыки шумом мотора. В какой-то степени им это удалось, но мы радовались тому, что мотор вертолёта не такой шумный, как мотор самолёта. Важно было, что концерт состоялся.

Всё было отлично организовано, и в этом проявились черты новой Америки, той Америки, от имени которой тысячи рабочих и их союзников боролись за жизнь негритянского певца, за то, чтобы донести его искусство до народа, который хотел его слушать. И эта победа новой Америки была одержана во имя американского народа, только лишь во имя американского народа и в соответствии с лучшими традициями американского народа.

А день ещё далеко не кончился — была только вторая половина его, и вечер страха и ужаса, несравненно большего страха и более жуткого ужаса, чем неделю назад, был ещё впереди. После окончания концерта я нашёл своего друга Р., и мы с ним бродили среди народа. Наступило время разъезда, но, хотя машины подъехали к самому входу и заняли дорогу, ведущую к нему, движения не наблюдалось. Мы все, находившиеся внизу, не знали, почему задерживается движение. Мы считали естественным, что для освобождения территории, где скопилось так много машин, потребуется изрядно времени и терпения. Мы не знали, что фашисты блокировали дорогу, что наши люди из отряда обороны убеждали полицию очистить путь или разрешить им самим заняться этим. Не знали мы и того, что полиция сама готовилась нарушить порядок и выработывала свой злодейский план того, что потом случилось. Мы ещё ничего этого не знали.

В долине реки Гудзон наступал вечер, солнце садилось всё ниже, и тени становились длиннее, но огромная масса людей попрежнему пребывала в весёлом праздничном настроении; никто не проявлял нетерпения, каждый испытывал удовольствие от того, что народ осуществил своё право на собрание.

Люди приехали сюда целыми семьями, как это и должно быть в летний день. Было очень много женщин, по-моему, больше женщин, чем мужчин, потому что несколько тысяч мужчин были на линии обороны, огромное количество подростков, огромное количество совсем маленьких детей и даже несколько сот грудных младенцев. Вы, возможно, удивитесь, почему так много людей привезли с собой детей и младенцев после того, что случилось на предыдущей неделе, но я должен объяснить, что в общем народ не был ещё готов к тому, чтобы поверить в то, что произошло неделю назад; даже умные, прогрессивно настроенные люди, которые знают, что такое фашизм, не могли поверить этому. И ещё одно обстоятельство: до этого отчёта, который вы читаете, о первом инциденте в Пикскилле в печати не было никаких подробностей. Ни я, ни кто другой не успели обо всём рассказать, и хотя о беспорядках было известно, никто ясно не представлял себе их. Люди говорили себе:

— В первый раз беспорядки произошли случайно, Полиция прибыла слишком поздно, и «они» бесчинствовали. Но на этот раз весь мир следит за Пикскиллом, и никаких беспорядков быть не может. Губернатор не допустит этого. Полиция штата не допустит этого. Полиция округа не допустит этого; у окружного прокурора Фанелли уже достаточно неприятностей, и он, конечно, тоже не допустит этого. Так что концерт пройдёт спокойно и весело, возьмём с собой детей и проведём хорошо время.

Как бы невероятно это ни звучало, именно так говорили люди себе и другим, и поэтому они привезли маленьких детей и грудных младенцев; то, что произошло на самом деле, было ещё более невероятным.

Пока мы ожидали начала движения машин, к нам приблизились два человека из охраны, сопровождавшие молодого хулигана, прокравшегося через линию обороны. Он сел на траву, озираясь вокруг. Лицо парня, которому на вид было лет восемнадцать, пылало злобой, а глаза его были полны страха. Но никто не ударил его и даже не пытался ударить. Р. и я наблюдали, как две женщины старались объяснить ему смысл его поступков. Он не слушал. Его переполняла ненависть, и когда защитники разрешили ему уйти, он опрометью бросился прочь.

Машины начали двигаться. День подходил к концу. Р., который прошёл через две войны и был профсоюзным деятелем, умел лучше распознавать опасность, чем я, и теперь он неодобрительно покачивал головой.

— Не нравится мне это, не нравится мне это, — твердил он.

Мы сели в машину. Двое мужчин попросили подвести, и мы посадили их на заднее сиденье. Я завёл мотор и въехал в вереницу автомобилей, направлявшуюся к выходу. Вдруг машины остановились, и я заглушил мотор. Псевдимоу, предстояло томительное ожидание.

Двое из нашей охраны шли вдоль линии машин и предупреждали:

— Как только выедете, закройте окна. Они, кажется, что-то кидают.

Положение осложнялось: ни «форды», ни «плимуты», ни «пontiаки» не приспособлены для ведения военных действий. Но поскольку там что-то бросали в машины, казалось абсолютно разумным, в целях самозащиты, закрыть окна, тем более, что все водители машин, без исключения, с детской наивностью верят в прочность широко рекламируемого небьющегося стекла. Никто поэтому не усомнился в правильности совета охраны.

Вереница машин, проехав несколько футов, остановилась снова. Простояв минут пять, она опять двигалась несколько футов и снова останавливалась. Управлять моим старым «плимутом» в таких условиях было сложно, я боялся перегрева и потому каждый раз выключал мотор. Но вдруг мы псехали быстрее и без остановок, подкатили к въезду и выехали за пределы парка. И тут уже сразу начался кромешный ад: полицейские, обезумев от злости, колотили по машинам — уже не людей, а машины били они своими длинными дубинками, ломая крылья, разбивая ветровые стёкла. Как бешеные, набрасывались они на каждый выезжавший из парка автомобиль. Даже через закрытые окна доносилась изрыгаемая ими брань, гнусные шовинистические словечки. Грязь и накипь расовой ненависти, сокрытая в этих американских «блюстителях» порядка, теперь прорвалась наружу; их стояло при въезде человек тридцать и они стегали проходившие мимо них автомобили так, как будто эти машины были живым предметом их ненависти.

(Между прочим, их нападению подверглась и машина, которая везла Поля Робсона. Полицейские изо всех сил колотили по ветровому стеклу, по самой машине, стремясь добраться до пассажиров).

Но это было только начало. Покидая территорию, где проходил концерт, отъезжающие должны были выбрать одну из трёх дорог. Прямо впереди, пересекая главную дорогу, шёл узкий просёллок, который вёл к аллее. Главная дорога уходила на север и на юг, образуя с просёлком как бы букву «Т». Наскок разъярённой полиции требовал принятия быстрого решения от водителя каждой машины; я решил свернуть направо, поскольку не знал двух других дорог и предпочитал вести машину по знакомой местности.

И вот что случилось и что я видел. Рассказанное мною может подтвердить Р., сидевший рядом в машине. Я мог бы добавить также, что на двух других дорогах людям было много хуже, чем нам, особенно на узкой дороге, которая ведёт к аллее. О том, что случилось на этой дороге, свидетельствуют многочисленные фотографии.

На то, чтобы всё это произошло, потребовалось времени меньше, чем на то, чтобы рассказать, ибо рассказывать медленнее. Всё началось, когда я свернул направо и проехал по главной дороге ярдов тридцать. По левой стороне дороги стояли два полицейских. Они находились на расстоянии примерно двадцати футов друг от друга, а между ними перед огромной кучей тяжёлых булыжников стояли шесть или семь легионеров. Когда моя машина приблизилась, легионеры начали бросать камни. Полицейские не бросали камней — они наблюдали, одобрительно улыбаясь. Стало ясно, что эти два полицейских охраняли тех, кто бросал.

Я останавливаюсь на этой детали потому, что она не случайна — так было со всеми другими организованными группами легионеров, бросавшими камни. К каждой из них были приставлены один или два полицейских, — я говорю «приставлены», потому что не могу поверить, чтобы полицейские просто расхаживали вдоль дороги. Правда,

дальше мы видели много хулиганов, которые в одиночку забрасывали камнями проезжих — они были без полицейской защиты, но там, где собиралось несколько фашистских бандитов, образуя организованную группу, полицейские охраняли их.

Иногда бывает замедленная реакция — я понял, что происходит, только тогда, когда первый булыжник ударил по машине. Этот первый попал в дверную раму между передним и задним окнами, второй ударил в раму ветрового стекла, ещё два камня попали в кузов. Полицейские весело гоготали, засунув руки за ремни.

К счастью, передо мной оказался кусок свободной дороги, и я мог дать газ. Через сорок или пятьдесят ярдов стояла вторая группа фашистов, но на этот раз, уже разъярённый, я направил машину прямо на них, и она с рёвом промчалась по обочине дороги со скоростью сорока миль в час. Бандиты рассыпались в разные стороны, а полицейские, спотыкаясь, побежали к укрытию. Третья группа, однако, захватила нас как кур на насесте, и ещё раз на машину посыпался град булыжников. Но опять, по счастливой для нас случайности, камни попадали в кузов и в рамы, минуя окна (наша машина была одной из немногих, которая вырвалась из-под обстрела без разбитых стёкол и окровавленных пассажиров). Подъехав к следующей группе, на этот раз с левой стороны дороги, я применил испытанную уже тактику, пересёк дорогу и прямо по обочине двинулся на бандитов, которые, как и предыдущие, разбежались. Вот так, как в страшном кошмаре, пробирались мы вперёд.

Вдруг мне пришлось замедлить ход. Машина, шедшая впереди, видимо, серьёзно пострадала: все стёкла, даже задние, были разбиты.

Помню, я сказал Р.:

— На дороге следы какой-то жидкости. Они, должно быть, попали в бак с горючим или в радиатор.

Из машины, шедшей впереди нас, действительно вытекала какая-то жидкость тёмного цвета. И вдруг мы поняли, что это кровь, широкая струя крови стекала из машины прямо на дорогу.

Снова съехали камни, и я снова продолжал свои манёвры. Так мы проехали с милей. Машина впереди вдруг свернула в сторону. Водитель её сидел, свесив голову на руль. Голова его была залита кровью.

Здесь, в полутора милях, уже не было больших организованных групп бандитов. Но случайный оглушительный удар напомнил нам о хулиганах-одиночках. Дальше, в трёх, четырёх, пяти и десяти милях от Пикскилла, организованные группы снова стояли на всех мостах и виадуках и забрасывали камнями машины, проходившие внизу. (Многие из них даже не проезжали вблизи места концерта, но были серьёзно повреждены, а их пассажиры ранены).

К бензиновой колонке, примерно в двух милях от парка, где проходил концерт, подъехала машина. Эта машина, как и многие другие, оставляла за собой кровавый след. Из неё вышли пять взрослых и ребёнок. Все они были с головы до ног залиты кровью. Ребёнок тихо плакал, а взрослые стояли как пришибленные. Всего в нескольких футах от них группа молодых хулиганов продолжала осыпать булыжниками проезжающие машины. Мы подъехали к бензиновой колонке, чтобы выяснить, чем можно помочь раненым, но постовой полицейский с руганью набросился на нас и стал колотить дубинкой по машине. Когда он стал вытаскивать револьвер, мы отъехали. Подъехала другая машина, и Р., обернувшись, увидел, что полицейский одной рукой бил дубинкой по ветровому стеклу их машины, а другой снова хватался за револьвер. Ничего подобного я никогда не наблюдал, хотя много раз в прошлом видел разъярённых полицейских.

Я должен подчеркнуть, что такие инциденты не были единичными, ибо, остановившись некоторое время спустя на перекрёстке, мы увидели ещё одного полицейского, который колотил дубинкой по машине, замешкавшейся в выборе дороги.

В Пикскилле, в Буканане и в Кротоне мы продолжали свой путь под градом камней, а вдоль дороги всюду виднелись кровавые следы, валялись осколки стекла. Никогда ещё я не видел так много крови, не видел так много порезанных стёклами окровавленных людей.

У другой бензиновой колонки мы увидели три залитые кровью машины и людей, которые тщетно пытались остановить кровотечение.

Мы высадили в Хармоне двух пассажиров, которых везли, там они собирались сесть на поезд, шедший на север к их дачам. Мы задумались, не вернуться ли нам назад в Холлоу Брук Каунтри-Клуб, но был уже вечер, и мы решили, что это предприятие бессмысленно. Безусловно, все машины теперь уже в пути, а что касается происшедшего на дороге кошмара, то прекратить его мы были не в силах. Мы подъехали к дому. Было тихо и мирно в эти летние сумерки. Я позвонил к Дж. Н., но к телефону никто не подошёл. Я забеспокоился — где вся семья?

— Поедем в Нью-Йорк? — спросил я Р. Он кивнул головой. Мы сели в машину и спустились к холму, и нас вновь у Хармона осыпал град булыжников. Но теперь окна были опущены: я предпочитал булыжник осколкам стекла. Мы свернули в аллею. Машина, шедшая впереди нас, была встречена у первого виадукта градом крупных камней. Чтобы избежать такой же участи, я сманивировал. У машины позади нас разбились стёкла, и её пассажиры были окровавлены. Весь остаток пути до Нью-Йорка мы видели вокруг себя машины с погнутыми крыльями, с разбитыми стёклами и окровавленными пассажирами. Казалось, что в город возвращались люди после бомбёжки или после боя.

Я отвёз Р. домой и вернулся к себе. Был уже поздний вечер, и дети готовились ко сну. Миссис М. разогревала для меня ужин. Я снова был в мире тишины и порядка — в мире многих американцев, в мире благоразумия, покоя и цивилизации. Это был мир, в котором люди издали, равнодушно взирали на уродства немецкого, итальянского, испанского, японского, греческого, венгерского и румынского фашизма и с детским упрямством повторяли: у нас это невозможно!

Я поел сколько мог, включил радио и стал слушать отрывочные сообщения о покушениях на человеческую жизнь, человеческое достоинство, которое было снова совершено в Пикскилле. Все больницы Уэстчестера переполнены ослепшими, окровавленными, искалеченными людьми с рваными ранами на лицах и проломленными черепами, маленькими детьми с осколками стекла в глазах, избитыми мужчинами и женщинами, изувеченными неграми — все эти люди так тяжело пострадали только потому, что они собрались послушать музыку...

В нервном возбуждении ходил я взад и вперёд по комнате; ведь всё это ещё не кончилось, и я задавал себе вопрос: «Кончится ли это когда-нибудь?»

Раздался телефонный звонок. Звонил один из моих городских друзей; он рассказал мне, что произошло к концу разъезда. Около тысячи профсоюзников оставались до самого конца, чтобы не допустить нападения легионеров на парк. Я думаю, что они в то время даже не знали, что творилось на дорогах. Их автобусы уже давно уехали, но они остались и постепенно группами стали расходиться. Полиция загнала их обратно в парк. Размахивая дубинками, полицейские — сотни полицейских — набросились на этих людей и избили многих из них до бесчувствия. Они угрожали им оружием, арестовали двадцать пять человек и повели их с поднятыми руками, как военнопленных, а остальных обыскали, рассчитывая найти оружие, но ничего не нашли. Полицейские с оружием в руках окружили арестованных профсоюзников. И только когда стало совсем темно, сказали им:

— Ну, ладно, убирайтесь отсюда!

Потом мой друг сообщил, что получил известие от одной группы, которая застряла близ Голден Бриджа. Не смог ли бы я поехать за ними?

И я поехал обратно. Когда я проезжал через Пикскилл, мимо моей машины просвистела пуля, дополнившая события этого дня. И они предстали передо мной во всей своей чудовищности.

Я точно следовал указаниям моего друга, но когда добрался до места, все уже ушли. Небольшой магазин, где должны были быть люди, был закрыт и погружён в темноту. Вернувшись домой и выпив бренди, я лёг спать.

Восемь дней Пикскилла закончились.

Глава 7

Моя точка зрения

В дни, когда пишутся эти строки, исполнилось пятнадцать месяцев со времени пикскиллского дела, и события, устремившиеся вперёд с ошеломляющей быстротой, сделали те два вечера ужасов эпизодами прошлого. С тех пор закон Маккарена легализовал в США полицейское государство, и страну всё больше заражает фашистская чума. С тех пор война в Корее и широкая военная пропаганда, которой она сопровождается, привели к введению суровых наказаний за любые формы протеста или недовольства, а тысячи «либералов» и «прогрессивных» уползли в свои норы. Во время Пикскилла в американских тюрьмах почти не было политических заключённых, теперь их очень много. Во время Пикскилла шёл судебный процесс над лидерами коммунистической партии Соединённых Штатов, после него их признали виновными и засудили, а коммунистической партии предъявили обвинение в соответствии с законом Маккарена. Во время Пикскилла ещё не было массовой депортации иностраннорождённых и не начал ещё действовать концентрационный лагерь на острове Эллис, как это происходит сегодня. Во время Пикскилла США ещё не стали страной, где присягают в лояльности, ведут «охоту за ведьмами», где преследуются те, кто ненавидит войну, любит мир и демократию. И, наконец, во время Пикскилла ещё не созрел план раскола американского рабочего движения и предательства интересов рабочего класса.

В наше время история развивается так быстро, что, когда будут напечатаны эти строки, может произойти так много новых и, конечно, ещё более значительных событий, что те, которые описаны здесь, могут показаться делом прошлого. Но даже и в таком случае пикскилльские события не потеряют своего значения. Пикскилл был решающим моментом в подготовке американского фашизма и пробным камнем для многого, что наступило потом.

К сожалению, мы ещё многого не знаем о пикскилльских событиях и не скоро, видимо, узнаем. До сих пор ещё не установлено, в какой степени в Пикскилле были замешаны высокие должностные лица штата и округа, но мой отчёт содержит достаточно доказательств того, что они были замешаны. Какие тайные переговоры, заговоры и соглашения породили Пикскилл, я не знаю, но несомненно то, что такие переговоры, заговоры и соглашения имели место. Я хотел бы знать, например, каким образом три сотрудника министерства юстиции оказались в Пикскилле; я хотел бы знать, что случилось с тремя внезапно исчезнувшими помощниками шерифа; я хотел бы знать, что удерживало полицию штата, которая, очевидно, находилась поблизости задолго до момента своего вмешательства в происходившее, и что помешало ей спуститься в ложбину в Лэйкленд Эйкрс и не допустить насилия; я хотел бы знать, кто отдал полиции приказ выступить, когда, наконец, появилась возможность устроить судебную инсценировку; я хотел бы знать, кто были те два стрелка, вооружённые дальнобойными ружьями с оптическим прицелом, и действовали ли они сами по себе или по указке других.

Весьма уместно также задать ряд вопросов, касающихся роли полиции в целом. Почему зачинщики первого нападения не были арестованы, хотя их имена известны всем в округе? Почему в субботу вечером, когда начались беспорядки, поблизости не было никакой полиции, за исключением трёх помощников шерифа? Почему полиция так настойчиво требовала во время второго концерта отодвинуть линию охраны на территорию, где происходил концерт? Почему и согласно чьим указаниям полиция считала своей обязанностью оборонять группы легионеров, забрасывавших камнями публику? Почему полиция после того, как концерт закончился и публика разошлась, напала на участников обороны и арестовала многих из них?

Задавая эти вопросы, я не касаюсь жестокости полиции, избития негров, злобных нападений полицейских на автомобили и пассажиров, свидетелем которых я был. Это уже стало настолько распространённой формой обращения полиции с участниками прогрессивных демонстраций и выступлений рабочего класса, что такие действия

можно считать естественной (или противестественной?) обязанностью полиции в Америке.

Такого рода вопросы можно задавать без конца, но я думаю, что ответы на многие из них следуют из моего отчёта. Я думаю, что важно понять место Пикскилла в развитии внутренних и международных событий, которые уже последовали за ним и ещё последуют. Все, кто принимал какое-нибудь участие в одном из двух инцидентов в Пикскилле, не могут не поражаться тому, насколько различно было поведение двух лагерей — фашистов, с одной стороны (только фашисты — будет единственно правильным и подходящим для них определением, с каким бы упорством они ни называли себя легионерами, ветеранами, патриотами и т. д.), и людей, сплотившихся вокруг Робсона, с другой.

Необходимо отметить, что прогрессивные граждане не совершили ни одного акта насилия; необходимо отметить, что все беспорядки были спровоцированы фашистскими элементами; необходимо отметить, что только фашисты обращались к силе. Поведение каждой из сторон было продиктовано, — что признаёт каждый мыслящий человек, — теми силами, которые они представляли, и их идеологией.

Всё это приобретает особенное значение, если иметь в виду, что в период этих двух концертов одиннадцать руководителей коммунистической партии США находились под судом за пропаганду идей «силы и насилия», и даже сегодня, когда я пишу эти строки, передо мной лежит передовая «Джорнэл америкэн», которая призывает американский народ признать, что коммунизм не идея, а «сила и насилие», преподносимые под видом идеи, — если так вообще можно сказать.

Я достаточно хорошо знаю, что теперь слишком поздно призывать к логике и разуму. И всё же я думаю, что так следует делать, даже если те, кто будет делать это, потерпит поражение. Такие люди поддерживали слабый огонёк культуры в Германии с 1933 по 1945 год, и, что бы ни случилось сейчас, история безусловно восстановит истину.

Пикскилльские события были значительным этапом в процессе фашизации Соединённых Штатов и в подготовке благоприятных условий для развязывания третьей мировой войны. Это было открытое проявление силы и насилия со стороны бесчестных заправил и исполнителей воли американской реакции. Они, без сомнения, преследовали две цели: во-первых, подстроить «дело» против группы прогрессивных граждан, вызвав их на акты насилия и свалив на них вину за это, и, во-вторых, поднять подонки общества по всей Америке на совершение актов насилия по фашистскому образцу. Именно в этом смысл пикскилльских событий, если их рассматривать с точки зрения целей американской реакции, и ни один мыслящий человек поэтому не может не поставить их в связь с процессом коммунистов в Нью-Йорке.

Дисциплина и чувство собственного достоинства, присущие прогрессивным американцам, помешали осуществить первую цель. Решение второй было сорвано отношением к событиям основной массы американского народа. Американский народ оказался до такой степени плохо подготовленным для восприятия того месива из крови и грязи, которое так широко популяризировал Адольф Гитлер, что правящие круги Соединённых Штатов начали серьёзно сомневаться в том, можно ли достаточно быстро подготовить народ для принятия государства такого образца. Поэтому мы стали свидетелями резкого поворота в сторону узаконения «полицейского» фашизма, о чём свидетельствуют закон Маккарена и массовые приговоры по политическим мотивам. Поскольку «день насилия» не достиг своей цели, они пробуют теперь «день суда».

Пикскилл был одним из многих актов «силы и насилия», совершённых против левых, а не левыми. Изучение любого из сотни таких же провокационных инцидентов дало бы те же самые результаты. Так, например, «История события на Хэймаркете»¹ Генри Давида иллюстрирует это положение столь же хорошо, сколь и мой отчёт о

¹ Хэймаркет — название площади в Чикаго, на которой 1 мая 1886 года проходила 600-тысячная демонстрация бастующих рабочих, требовавших 8-часового рабочего дня. Чикагская полиция учинила тогда жестокую расправу над ними.

событиях на Рипаблик Стил. В обоих случаях тщательное изучение материала подтвердило, что сила и насилие были применены не левыми, а правыми. В подтверждение этого следует отметить, что и в прошлом нет ни одного случая насилия, в котором можно было бы обвинить лагерь левых. Даже в результате самого тщательного расследования и изучения этого дела министерством юстиции с использованием его поистине огромных финансовых возможностей, не удалось найти ни одного факта применения силы и насилия левыми. А ведь пикскиллские события совпали по времени с процессом одиннадцати лидеров компартии США, обвиняемых в «защите учения» или определённой философской концепции, которая, если говорить языком обвинительного заключения, приводит к «силе и насилию». С каким торжеством прокурор привёл бы на процессе пример Пикскилла как доказательство правильности обвинения. И какими внушительными свидетелями могли бы стать тогда три «бесстрастных» нейтральных агента ФБР!

Мне кажется, что лично я сейчас питаю меньше иллюзий, чем во время Пикскилла. Мои книги по истории Америки, написанные с любовью к моей стране и гордостью за неё, запрещены как «ложные», «порочные» и «предательские». За отказ сыграть роль Луиса Буденца я был вознаграждён тюремным заключением. А моё нежелание отречься от всего хорошего, благородного и честного в своём прошлом и в прошлом моей родины было встречено кампанией клеветы в печати и отказом правительства выдать мне заграничный паспорт. Однако я всё ещё твёрдо верю, что если американский народ узнает правдивые факты, он будет действовать во имя этой правды. А факты, как известно, упрямая вещь. Правда, люди, которые придерживаются фактов, считаются в наши дни опасными людьми. Мне очень трудно считать себя опасным человеком, но если приверженность к фактам требует этого, я согласен считать себя таковым.

*Перевод с английского
И. Кулаковской и В. Крючковой.*



ПРОБЛЕМЫ НАУКИ

Академик В. А. ОБРУЧЕВ

★

НАСТУПЛЕНИЕ НА ПЕСКИ

Советский народ приступил к осуществлению грандиозных сталинских строек — Куйбышевской, Сталинградской, Каховской и Цимлянской гидроэлектростанций, Главного Туркменского, Южно-Украинского, Северо-Крымского и Волго-Донского каналов.

Исполнинские гидротехнические сооружения на Волге, Днепре, Аму-Дарье и Дону комплексно решат ряд важнейших народнохозяйственных задач. Будет создана новая мощная энергетическая база, разрешена проблема наиболее эффективного использования водных богатств важнейших рек, миллионы гектаров пустынных и засушливых земель получают в изобилии драгоценную влагу.

Стройки коммунизма — дело всего народа. Советские учёные призваны разрешить десятки сложнейших проблем, деятельно участвовать в величественном строительстве. Уже сейчас множество наших научно-исследовательских институтов напряжённо и плодотворно работает над вопросами, связанными со сталинскими стройками. Многочисленные научные экспедиции находятся на месте будущих каналов и электростанций.

Стройки коммунизма требуют активного творческого участия учёных самых различных «профилей»: биологов и почвоведов, географов и физиков, механиков и агрономов, ботаников и климатологов.

В настоящей статье я коснусь одной проблемы, связанной с широко развёртывающимися работами на трассах великих строек. Известно, что эти стройки потребуют проведения огромных земляных работ. При строительстве одного лишь Каховского гидроузла, например, будет выполнено 20 миллионов кубометров земляных работ, что значительно превосходит объём работ, выполненных при сооружении Днепровской гидроэлектростанции — самой крупной в Европе.

При прокладке каналов для орошения во многих местах будут вскрыты большие площади с песчаной почвой и поэтому ветер получит широкий доступ к обширным пространствам легко развеиваемого материала. Чтобы обеспечить успешное проведение работ, надо принять меры к скорейшему закреплению обнажаемых песчаных площадей.

Но для того, чтобы избрать эффективные методы закрепления песка, надо знать, что собой представляют пыль и песок, как современная наука объясняет их происхождение и их роль в сложном «хозяйстве» природы.

В тёплое время года и в сухую погоду в густо заселённых странах, изобилующих пашнями, огородами, дорогами, в воздухе всегда появляется некоторое количество пыли. Она представляет собой мельчайшие частицы органических и минеральных веществ, которые даже слабый ветер поднимает в воздух и несёт до какого-нибудь препятствия, где эти частицы, повинувшись силе тяжести, оседают.

Но кроме этой, почти незаметной, пыли воздух городов и селений по временам затмевается пылью другого происхождения. В сухую погоду сильно пылят немощёные грунтовые дороги, на которых под копытами лошадей, под колёсами машин и

подвод раздробляется верхний слой почвы; пылят огороды и распаханые поля, не покрывшиеся ещё растениями, пылят летом обсыхающие отмели и берега рек, плоские берега озёр и морей. В сухих степях с редкой растительностью пылит вся поверхность почвы, сильно высыхающая летом и осенью, пылят оголённые русла временных потоков, солончаки, голые и слабо заросшие склоны холмов, обрывы, скалы и утёсы.

Пылят — и тем больше, чем сильнее ветер, — голые поверхности песков. Резкие колебания температуры — накалывание песка днём и остывание ночью — постоянно образуют новую пыль в виде мельчайших частиц, опадающих от зёрен песка; а последние при перекачивании ветром трутся друг о друга, обтираются, округляются и также отделяют мельчайшую пыль. Поэтому пески при ветре всегда пылят и тем больше, чем дольше были промежутки тихой погоды, в течение которых шло накалывание и остывание зёрен.

Следовательно, пески вообще представляют собой «фабрики пыли».

Выйдите в жаркий летний день за город. Даже в тихую погоду нетрудно заметить, что время от времени то тут, то там внезапно возникает столбик пыли, который быстро несётся, спирально крутится и расширяясь. Эти маленькие смерчи или вихри движутся как по ветру, так и против ветра. Пробежав некоторое расстояние, вихрь исчезает постепенно или внезапно и в последнем случае складывает поднятую пыль крошечной конической «сопкой».

В пустынях и полупустынях Средней и Центральной Азии в жаркие летние дни такие вихри появляются сразу в нескольких местах горизонта и мчатся вдаль, крутятся и поднимаясь часто высоко в воздух. На равнинах столбы пыли иногда стоят прямо как мачты, вращаясь на одном месте. Их описывали многие путешественники, отмечая обилие и высоту поднятия пыли. Изображение разных форм песчаных вихрей можно найти у Пржевальского. Венгерский геолог Лочи утверждает, что вихри создаются вертикальными движениями воздуха, сильно нагретого у поверхности земли, что диаметр их достигает 5—10 метров и что они вытягивают с земной поверхности большое количество пыли в верхние слои атмосферы, где пыль долго плавает и уносится ветром на большие расстояния.

Обилием пыли, выносимой вихрями вверх, объясняется слабая прозрачность воздуха в летнее время в Средней и Центральной Азии, а также на юге Европейской России. В Азии пыльные туманы — их называют мглой — нередкое явление. Я наблюдал в разных местах Азии, как надвигаются эти туманы, постепенно захватывая весь горизонт и закрывая солнце.

Пыльные туманы не следует смешивать с пыльными бурями, которые возникают в пустынях и носят разные названия, в зависимости от своего цвета и силы. Китайцы различают жёлтый ветер «хуан-фын» и чёрный ветер «хый-фын». В Африке известен мощный «самум», налетающий из песчаных пустынь в виде сплошной клубящейся стены песка и пыли, и «хамсын», дующий из Сахары на север и приносящий красную пыль через Средиземное море в страны Южной Европы и даже в северную Германию и Англию.

На кораблях, шедших по Атлантическому океану мимо северной Африки, не замечали выпадение красной пыли на палубу; её приносил из Сахары пассат. В США на так называемых дурных землях (bad lands) — в пустынных штатах северо-запада — часто возникают пыльные бури, которые уносят пыль далеко на восток, достигая Атлантического океана. В связи с хищническим земледелием и пастбищным скотоводством эти пыльные бури в последние десятилетия сделались подлинным бедствием. Пыль поднимается до семикилометровой высоты и застилает дневной свет настолько, что приходится зажигать лампы. При этом на каждый гектар выпадают тонны, а иногда и десятки тонн пыли.

Во время пыльной бури сильный ветер, иногда доходящий до степени урагана, поднимает вверх не только пыль, но и песок на высоту 10—30 метров. По рассказам очевидцев, пыльные бури в глубине Азии опрокидывали гружёные телеги, уносили огромные тюки и людей.

На территории Советского Союза пыльные бури возникают в Туркмении, Кара-

Калпакии, Узбекистане, Таджикистане и Казахстане. Отсюда эти бури, известные под названием суховеев, проникают на северо-запад за Каспий и Волгу в Башкирию, Астраханский край, даже на Кубань и в восточную Украину. Чаще всего суховей бывают в весеннее время. Они губят молодые всходы, приносят большие бедствия.

Иногда пыль выпадает зимой вместе со снегом. Это даёт возможность собрать и исследовать пыль. Мне пришлось заняться этим вопросом в январе 1911 года, когда в Змеиногорском уезде выпал жёлтый снег. Пыльная буря со снегом пришла с юга. Пыль, придававшая снегу желтизну, выпала на площади не менее 16000 квадратных километров.

Количество пыли, выпадающей во время бурь в разных странах, как показали подсчёты, достигает нескольких тонн на гектар. Поэтому давно уже возникло предположение, что из пыли могут создаваться значительные толщи, которые, уплотнившись и слежавшись, способны к превращению в особый вид горной породы. Эта мягкая горная порода, представляющая собой вместе с тем весьма плодородную почву, получила название лёсс.

Мне пришлось в своё время специально изучать проблему происхождения и распределения лёсса. В сентябре 1892 года с экспедицией Географического Общества я отправился в Центральную Азию. Из Кяхты на границе Забайкалья я проехал через Восточную Монголию в Пекин и в течение двух лет обследовал Северный Кяхтай, Ордос, Алашань, Наньшань и закончил исследование в Кульдже на границе Туркестана, подробно ознакомившись с разными странами Центральной Азии.

Лёсс играет огромную роль в жизни Северного Китая. Он представляет собой не только плодородную, но и легко обрабатываемую почву. Лёсс, кроме того, даёт строительный материал в виде кирпича и черепицы. В лёссе легко выкапывать хорошие пещерные жилища. Они имеют большое распространение в области лёсса Северного Китая, где не менее 30 процентов населения пользуется ими.

Пылевая — лёссовая — почва имеется не только в Китае, но и в Западной Европе, Северной Америке, Аргентине, а у нас — на Украине, в Средней Азии и в южной Сибири. Но естественен вопрос: если лёсс — пылевая почва, принесённая ветрами из пустынь Центральной Азии, то где же на Украине и в Западной Европе те пустыни, из которых ветра приносили эту пылевую почву?

Дело в том, что лёсс образуется не только в современных пустынях; он образовывался и прежде в пустынях, которые когда-то существовали и на Украине и в Западной Европе. Поэтому он представляет собой почву не современную, а ископаемую, сохранившуюся с давно минувших времён.

В начале текущего века геолог П. А. Тутковский защитил в Московском университете докторскую диссертацию, в которой доказал, что украинский лёсс, местами перекрытый чернозёмом, приносился ветрами в виде пыли из пустыни, которая окаймляла с юга огромный ледник, покрывавший в начале четвертичного периода всю северную половину Европейской России, Финляндию и Скандинавию. Холодные ветры, спускавшиеся с обширной площади этого ледника в виде антициклона на юг, поднимали пыль с полей песка, ила, гальки, отложенных ледниковыми водами вдоль южной окраины льдов, и уносили её дальше на юг, где расстилась степи Украины и где эта пыль отлагалась под защитой растений и наращивала почву в виде лёсса. Следовательно, и этот лёсс является продуктом пустыни, но не современной, а древней. С окончанием ледникового периода, когда ледник севера растаял, климат и на Украине сделался более влажным и тёплым и вместо лёсса на степях стал образовываться чернозём, перекрывший лёсс.

Итак, пылеобразование и осаждение пыли имели большое значение во время ледниковых эпох, когда эти процессы резко усилились в связи с крайним осушением климата и когда из пыли образовывались толщи лёсса. Эта почва покрыла большие площади в Западной Европе, Украине, южной Сибири, Северной и Южной Америке, особенно же в Средней Азии, по южной окраине Центральной Азии и в Северном Китае. В настоящее время образование, перенос и отложение пыли, конечно, продолжается, но не в таком размере, как во времена ледниковых эпох.

Вторым продуктом процессов выветривания и развевания является песок — родной брат пыли. Представление о пустынях обычно связано с обилием песка, хотя далеко не все пустыни покрыты песками. Всего больше песчаных пустынь в Азии и Африке, на других материках их немного.

Хотя процессы выветривания и развевания создают не только пыль, но и песок, в образовании песчаного материала важнейшую роль играет не ветер, а движущаяся вода. Можно утверждать, что большая часть материала песчаных пустынь создана водой. Ветер обычно только перевевает песок, сооружая холмы, которые называют дюнами, если они расположены на берегах морей, озёр и рек, и барханами¹, если они находятся вдали от них.

Плоские берега морей и озёр (их называют «пляжем») сложены из мелкого песка, обработанного прибоем волн и выброшенного им на сушу, где он быстро обсыхает. Пляж обыкновенно лишён всякой растительности, так как его часто заливает вода и обрабатывает прибой. Волны прибоя, набега одна за другой, перекатывают взад и вперёд песчинки, а если пляж состоит из более грубого материала — гравия и гальки, даже валунов, — то перекатываются и они. При этом они трутся друг о друга, округляются, полируются.

На песчаном пляже ветер, дующий днём обычно со стороны моря или озера, подхватывает обсохшие песчинки и переносит их вверх по полого поднимающемуся откосу, пока не встретит какое-нибудь препятствие в виде крупного камня или кустарника. Кустик задерживает песчинки и постепенно за ним образуется холмик песка. Куст или камень является только временным препятствием, пока созданные им песчаные косы гребешком не поднимутся до их верхнего края; тогда песок начинает накапливаться впереди куста.

Затем куст и камень превращаются в двустороннюю косу с более крутым уклоном в наветренную сторону и более пологим в подветренную. Эта коса быстро нарастает со стороны ветра. Уклон её становится всё более пологим, песчинки переносятся вверх по нему и уже скатываются по подветренному, а другие обтекают косу с боков и удлиняют её с обеих сторон в форме косичек. Песчаная «сопка» получает типичную форму бархана, сравниваемую с копытной костью лошади: пологий наветренный склон, крутой подветренный с двумя рогами, вытянутыми по ветру.

Так как на пляже препятствий в виде камней и кустов множество, то маленькие барханы образуются вдоль пляжа во многих местах, постепенно растут вверх и в ширину и начинают соединяться друг с другом, превращаясь в длинный вал вдоль берега моря или озера с повышениями, соответствующими вершинам отдельных барханов (или дюн) и понижениями между ними.

Этот вал называется передовой дюной. Но он постоянно нарастает. Вал растёт вверх и вместе с тем перемещается по ветру в глубь суши — медленно, но неустанно; песчинки переносятся с наветренного склона на подветренный, засыпают имеющиеся впереди передовой дюны препятствия в виде деревьев, полей, зданий, и наконец дюна отходит на такое расстояние от воды, что на пляже очищается место для создания ещё одного вала песка, который в свою очередь становится передовой дюной.

Так вдоль плоских морских берегов, пляжи которых дают постоянно возобновляемый прибоем песчаный материал для переноса ветром, возникает несколько рядов дюн одна за другим, разделённых продольными долинами. Высота их зависит от обилия песка и от частоты и силы ветров: на берегах Балтийского моря высота дюн — 20—30 метров, на берегах Атлантического океана во Франции — 50—100 метров, и на южном берегу Средиземного моря — 155—200 метров.

В СССР речные дюны известны в дельтах Волги, Урала, Днепра, Дона, Оби, Лены, Колымы, Амура. Речные дюны встречаются в отдельных местах и выше — на берегах Селенги, Чикоя, Иртыша, Лены.

¹ Бархан — тюркское слово, обозначающее песчаный наносный холм в степи. У нас этот термин обозначает холмы сыпучего песка вообще. Следовало бы называть дюнами только все приморские песчаные гряды, а барханами — все материковые (речные, озёрные и пустынные песчаные скопления).

Значительная распространённость дюн на берегах морей, озёр и, местами, рек объясняется тем, что озёра и моря на плоских берегах, а большие реки в дельтах, а иногда и выше по течению, отлагают в большом количестве мелкораздробленный песчано-глинистый нанос, создаваемый работой текучей воды. Этот наносный материал не скреплён никаким «цементом» и поэтому при высыхании под лучами солнца и под влиянием ветра быстро приходит в движение.

Но мы встречаем скопления сыпучего песка — дюны — и очень далеко от берегов морей, озёр и рек. Эти скопления и принято называть барханами, с тех пор как русские путешественники исследовали их образование в странах, населённых племенами тюрков. Наибольшее распространение барханы имеют в пустынях.

Пустынями называют области земной поверхности, в которых ежегодно выпадает меньше 200 мм атмосферных осадков в виде дождя и снега, а воздух в среднем содержит менее 35 процентов относительной влажности. Из-за недостатка влаги почва пустынь на огромных площадях совсем лишена растительности.

Полупустыни, занимающие на земной поверхности значительные пространства, обладают растительностью, но весьма скудной.

Во всех пустынях и полупустынях процессы выветривания образуют бесчисленное множество мелких частиц, отделившихся от общей массы горных пород и наносов. Эти песчинки и пылинки подхватываются и уносятся ветром. Встречая на своём пути препятствия в виде кустика или камня, они оседают и создают такие же косы впереди или позади препятствий, как и на пляже. Эти косы превращаются затем в барханчики с пологим наветренным, крутым подветренным склонами и двумя рогами. В дальнейшем всё зависит от количества мелкозёма, образуемого в пустыне процессами выветривания и развевания. Если его немного — барханчик может долго существовать отдельно в своей типичной форме, только перемещаясь в зависимости от направления господствующих ветров. Отдельный бархан может передвинуться за год на расстояние до 15 метров. Одиночные барханчики встречаются порознь или группами во всех пустынях. Я видел в Южном Ордосе близ города Дин-бянь цепь из барханов — одиночных и двойных — высотой в 12—15 метров, примыкающих к зоне «больших песков».

Но если песка достаточно, одиночные барханчики вырастают и соединяются в целые группы, занимающие большие площади пустыни. На неровной местности они поднимаются вверх или вниз по склонам, преодолевая даже обрывы и крутые откосы.

Большинство обширных площадей сыпучих песков на земле созданы не пустынями, как таковыми, а реками, протекавшими некогда через пустыню или вдоль неё. Можно утверждать, что песчаные пустыни — продукт совместной работы воды и ветра. Сначала проточная вода рек и стоячая морей и озёр создала своей работой мелкораздробленный и отшлифованный минеральный материал из разнообразных горных пород, а затем ветер переносил и обрабатывал его, слагая дюны и барханы песчаных пустынь.

Справедливость этого положения можно подтвердить на таких убедительных примерах. В восточной половине северной Африки с севера на юг тянется песчаная Ливийско-Нубийская пустыня, которую считают наибольшим скоплением песка на Земле. Длина этой пустыни — около 1400 км, ширина около 600—700 км. При преобладании в северной Африке пассатных ветров вытянутость этой пустыни по меридиану кажется странной. Но, взглянув на карту, мы увидим, что с востока пустыню окаймляет долина реки Нил. Эта река отлагает много ила, который перерабатывается ветром и уносится пассатом на запад. Так образовались пески большой пустыни; а более лёгкая пыль унесена пассатом ещё дальше на запад, в Атлантический океан.

Пустыня Кара-Кум, занимающая большую часть Туркмении, рождена работой реки Аму-Дарья. В начале четвертичного периода эта река, выйдя из отрогов Алая, поворачивала на запад и текла по широкой впадине между горами Копет-дага на юге и плато Мангышлака на севере, принимая слева в качестве притоков реки Мургаб и Теджен. Эти реки на равнине не раз меняли своё русло, разливались и отлагали свои песчано-глинистые осадки. Келифский Узбой — русло, протягивающееся до

пустыни. К местному материалу речных песков присоединяется ещё песок, приносимый восточными ветрами из полупустынь Бейшаня. При перевеивании песков получаются массы пыли, которые покрывают склоны гор, окружающих впадину, образуя толщи лёсса Такла-макан — ещё один поучительный пример создания толщ песка и лёсса процессами выветривания и развеивания.

Ливийско-Нубийская пустыня, Кара-Кумы, Казахстан, Такла-макан — во всех этих четырёх районах песчаные пустыни образованы силой ветра, перерабатывающего речные песчано-глинистые отложения.

Песчаные и лёссовые отложения имеют тесную территориальную связь между собой.

Упомянутая уже река Или на юге замыкается хребтом Заилийский Алатау, северный склон которого покрыт мощным лёссом, недавно изученным сотрудником Академии наук Казахской ССР М. И. Ломоновичем при моей консультации. В покрове этого лёсса от равнины реки Или до склонов хребта на высоте более двух тысяч метров можно было проследить постепенное уменьшение величины зерна с постепенным переходом от барханных и бугристых песков озера к грубому песчаному лёссу на предгорной равнине и более тонкому на склоне хребта. Высокие отвесные обрывы на берегах реки Малой Алматыки и пылеватость почвы живо напомнили мне лёссовые пейзажи Украины и Китая. Генетическая связь между песками и лёссом и в этой местности весьма наглядна.

Пыль, уносимая ветром из песков пустыни Кара-Кум на юг, отлагается в виде грубого лёсса — почвы Обручевской степи и в виде более тонкого лёсса южнее на северном склоне хребта Парамиз у границ Афганистана, где в нём имеются пещеры древних христиан, подобные пещерам китайцев, но совершеннее их.

В пустыне Такла-макан мы встречаем очень близкое соседство огромных, вероятно единственных в мире по массе и высоте, накоплений сыпучего песка в форме сложных этажированных барханных гор, отвеянных ветром из песчано-глинистых отложений нескольких рек и толщ лёсса, поднимающегося на северные склоны цепей Куэн-луня. На расположенные здесь человеческие селения угрожающе надвигаются пески, которые засыпают поля, заносят русла горных речек и заставляют людей отступать от окраины пустыни к подножию гор.

Ливийско-Нубийская пустыня как будто служит примером отсутствия пылевой части продуктов развеивания. Она создана пассатными ветрами, которые развеивали глинисто-песчаные отложения вод Нила, сложили из песка барханы этой пустыни, а пыль унесли далеко на запад в Атлантический океан, лишив человека возможности использовать её. Но и в этой пустыне имеются оазисы, пальмовые рощи, поля, поселения; следовательно, часть пыли всё-таки осталась и закрепилась в почве оазисов. Откуда она взялась? Почему пассаты не унесли её далеко на запад?

Дело в том, что пески сами производят пыль — постоянно, с утра до вечера, изо дня в день.

Все, кто бывал в песчаных пустынях в ветренную погоду, хорошо знают, что пески пылят; с наветренных склонов, по которым проносится порыв ветра, поднимаются струйки пыли в воздух, и вскоре после начала ветра воздух над песчаными гребнями сплошь заполняется пылью. Естественен вопрос: ведь пески постоянно перевеиваются, освобождаясь от частиц пыли, уносимой ветром вдаль, — откуда же берётся эта пыль, почему пески пылят при каждом дуновении ветра, словно в них неиссякаемый источник пыли?

Оказывается, источник этот действительно неиссякаем, потому что пыль в песках образуется непрерывно. В барханах, бугристых и грядовых песках верхние слои изо дня в день накаляются солнцем до 50—70 градусов, а ночью остывают до 15—20 градусов. Зимой накаливание меньше, но остывание сильнее, до 30 градусов и больше, а в общем колебания температуры продолжают круглый год, действуя на каждую песчинку; в ней образуются трещины, от неё отделяются мелкие частицы. Это и есть пыль. Новособранный минеральная пыль имеет такой же состав, как и пыль, из

сих пор через восточные Кара-Кумы западнее г. Керки далеко на северо-запад, — является одним из старых русел Аму. Обширная равнина, оставленная Аму, но получавшая и продолжающая до сих пор получать глинисто-песчаные отложения в дельтах Мургаба и Теджена, преобразовалась ветром в песчаную пустыню.

В русле Аму-Дарьи песок, переносимый рекой, имеет не жёлтый, а серо-стальной и иногда голубовато-серый цвет. Этот своеобразный серый песок Аму-Дарьи, перепесённый ветром, я видел при поездке в лодке вниз по реке от Керки до Чарджоу и в барханах, расположенных между Чарджоу и Репетек. Но, попав в барханы, этот серый песок быстро желтеет. Серый цвет речного песка Аму обусловлен тем, что он содержит много блёсток чёрной слюды, зёрен чёрных и серых минералов; на воздухе они скоро окисляются и становятся жёлтыми. Поэтому в большинстве пустынь перевеиваемый ветрами песок — серовато-жёлтый.

Отлагавшиеся Аму-Дарьёй в её руслах и разливах принесённые из Памира и Алая серые песчинки перевеивались ветром, становились жёлтыми, и мало-помалу вся впадина между Копет-дагом и Мангышлаком покрылась сыпучими песками жёлтого цвета — барханскими, переходившими постепенно в бугристые и грядовые.

Эти названия — «бугристые» и «грядовые», ныне общепринятые, были предложены мною в 1890 году после изучения Кара-Кумов и здесь нужно их объяснить. Барханские — голые пески, слагаемые ветром из свежего речного песка, — мало-помалу захватываются растительностью — кустами караганы, белой акации, чёрного и белого саксаула, и ветер уже не может с лёгкостью переносить их, передвигать с места на место в виде барханов. Типичные формы барханов с их пологими наветренными и крутыми подветренными склонами сменяются буграми, защищаемыми кустами, травой, деревьями. Вот такие отчасти заросшие пески, представляющие собой бугры высотой от одного до трёх метров, разделяемые маленькими седловинами и впадинами, я предложил в отличие от барханских называть бугристыми.

Грядовыми же я назвала зарастающие пески, имеющие распространение в западной части Кара-Кумов, где они слагают прямолинейные гряды с кустами и травой на вершинах и склонах и разделяются продольными долинами, в которых также разбросаны кусты и деревья. Отмечу, что и морские дюны при зарастании переходят в тип грядовых песков.

Итак, в Кара-Кумах мы видим второй пример, доказывающий, что пески создаются ветрами из материала, приготовленного долговременной работой воды.

Третий пример. В Казахстане пески Сары-ишик-атрау занимают почти всё южное побережье озера Балхаш, в которое впадает река Или. На низменности к югу от озера эта река прежде дробилась на рукава и отлагала в разных местах свои песчано-глинистые осадки. Северные ветры развеивали их и превращали в барханские и бугристые пески, постепенно покрывшие всю низменность. Немного западнее к Голодной степи Бетпак-дала примыкают с юга большие пески Муюн-Кум, ограниченные с юга рекой Чу. Из песчано-глинистых отложений этой реки северные ветры и создали песчаный Муюн-Кум. И здесь мы видим явную связь между речными отложениями и образованием сыпучих песков.

Самым убедительным примером, подтверждающим эту связь, является обширная пустыня Такла-макан, занимающая западную половину большой впадины между Южным Тянь-Шанем и Куэнь-лунем. Такла-макан имеет 1 000 километров в длину и 300—400 километров в ширину. Реки, текущие с гор — с юга и с севера, — на дне впадины образуют реку Тарим, которая известна тем, что иногда кочует с севера на юг и обратно. Заполнив своим илом русло, она начинает отступать и образует новое озеро на северной окраине, а южное тем временем зарастает и исчезает. Затем река вновь прорывается на юг, восстанавливает южное озеро, а северное начинает зарастать. Пржевальский в 1876 году видел это озеро на юге, а в начале XX века оно уже возрождалось на севере.

Развеиваемые издавна песчано-глинистые наносы в разливах рек, перевеиваемые ветрами, создали на дне впадины огромные барханские пески, гряды которых достигают 150—200-метровой высоты; они засыпали уже ряд селений южной окраины

которой образуется плодородный лёсс. Необходимая растениям для их роста и развития, она обладает частицами полевых шпатов, извести, калия, фосфора.

Но в барханных песках, часто перевеиваемых, эта пыль не накапливается, а, наоборот, уносится ветром, тогда как в бугристых и грядовых песках кое-где поросших растительностью, часть пыли сохраняется. А так как и в участках, защищённых растениями от перевеивания, пыль продолжает образовываться, то количество пыли, содержащейся в них, должно увеличиваться. Эта пыль, как уже было указано, необходима растениям, и если количество её увеличивается, несмотря на перевеивание, то это должно способствовать развитию растений, то есть закреплению песков.

Как только густая растительность покроеет песок и он будет защищён от солнечных лучей, колебания температуры в поверхностных слоях песка уменьшатся, резко сократится отщепление пылинок от песчинок, пылеобразование ослабеет. Но так как песчаная почва на глубине всё-таки останется, то стоит подумать, не полезно ли будет для некоторых культур оставлять поверхность песка в промежутках между стеблями растений и стволами деревьев обнажённой, чтобы там попрежнему происходили температурные колебания и, следовательно, пылеобразование (конечно, при условии, что эта пыль не будет вздыматься с поверхности почвы и уноситься). Этот вопрос должны решить агрономы, которым вообще будет принадлежать ведущая роль при выполнении великого плана орошения и закрепления песков в связи с сооружением грандиозных гидроэлектростанций на реках юга и юго-востока СССР.

Теперь, познакомившись с процессами образования песчаных пустынь, можно рассмотреть, что уже сделано у нас в отношении закрепления песка и освоения пустынь.

Борьба с подвижностью песков начата человеком с тех пор, как он стал проникать в пустыню не как кочевник, а с намерением освоить, покорить её. До этого кочевые народы пасли здесь скот, вырубали деревья и кусты и таким образом помогали ветру вздымать песчаные волны, заносить ими растительность, убивать жизнь.

Укрепление сыпучих песков временными защитами от ветра и путём насаждения растительности ведётся людьми издавна и прежде всего на берегах морей. Здесь человек впервые увидел образование подвижных песчаных скоплений из материала, создаваемого прибоем. Песок заносил населённые пункты, и это вынуждало человека искать средства самозащиты.

Велись укрепительные работы и на реках. Ещё в XVIII веке были сделаны в России первые шаги в этом направлении. В начале XIX века — с 1804 по 1818 годы дед известного русского писателя Данилевского вырастил в песках реки Северный Донец до тысячи десятин сосны. В дальнейшем наиболее обширные работы по закреплению песков велись в низовьях Дона и Днепра.

Но всё то, что делалось для борьбы с песками в дореволюционное время, было мизерно и жалко. Достаточно сказать, что за два десятилетия — с 1898 по 1917 годы — в среднем закреплялось ежегодно лишь девять тысяч гектаров, в то время как прирост песчаных площадей достигал двадцати трёх тысяч гектаров.

Только в наше, советское время борьба с песками приняла государственный размах и ведётся с нарастающей силой и всё с большим успехом.

Борьба с песками и их укрепление сводится в основном к двум мероприятиям: остановке передвижения частиц песка по ветру и к насаждению на поверхности песков растений. Первое имеет сугубо временный характер, ибо в конце концов скопления песка увеличиваются, наращиваются. В этом я убедился, наблюдая меры защиты, применявшиеся при постройке Закаспийской железной дороги в 1886—1888 гг. Не имея ещё опыта борьбы с подвижными песками, строители применяли употреблявшиеся издавна при защите от снежных заносов щиты двух типов — сплошные и решётчатые.

Сплошной щит, задерживая песчинки до своей высоты с наветренной стороны, создаёт целый вал песка, примыкающий подветренным подножием к самому щиту и протянутый вдоль него на всю длину. Но когда острый пребень вала поднимается до

верхнего края щита и ветер начинает переносить песок через него, звенья щита нужно поднимать и переставлять на гребень вала.

Решётчатый щит задерживает песчинки почти поровну с обеих своих сторон и создаёт два параллельных вала вдоль себя. Когда гребень валов поднимается до половины высоты щита, его нужно откапывать и поднимать, так как потом сделать это будет очень трудно.

Так как защита от снежных заносов нужна только зимой, а с таянием снега необходимость в ней отпадает, установка щитов обоих типов происходит из года в год на одном и том же месте на небольшом расстоянии от железной дороги. При песчаных же заносах нагромождённые валы не исчезают, а с каждым годом растут всё выше и выше. И если щиты поставить слишком близко от полотна, через два-три года пески начнут засыпать железнодорожный путь.

Как сплошной, так и решётчатый щиты не препятствуют перевеиванию песка, то есть освобождению его от частиц пыли, помогающей развитию растительности на песке и его закреплению.

Таким образом, щиты не являются эффективным средством борьбы с песчаными заносами. Они допустимы лишь в случае необходимости быстро остановить передвижение песка на короткий срок. Главное внимание должно быть обращено на постоянные защитные устройства, гарантирующие прочное закрепление песков, действенную борьбу с «жёлтой стихией».

Первым долговременным мероприятием является посадка в песках грубостебельчатых злаков и трав — тростника, рогозы, эриантуса, колосняка. Пучки этих растений закапываются в песок вертикально, параллельными рядами друг возле друга на расстояниях от двух до четырёх метров; пучки поднимаются над песком на 25—30 сантиметров. Они предохраняют песок в промежутках между рядами от далёкого переноса. При переменных ветрах устраивают поперечные ряды пучков, и в общем получается клеточный тип защиты, который препятствует перевеиванию и создаёт постепенное накопление песка в промежутках между клетками.

Защитив песчаную площадь от перевеивания этими щитами или клетками пучков, производят посадку или посев растений внутри клеток, выбирая те сорта трав, кустов или деревьев, которые пригодны для разведения на песчаном грунте в данной местности.

Упомянем ещё, что поверхность песка можно предохранить на некоторое время от развеивания, поливая песок солёной водой из буровых скважин (или, например, рапой из Карабугазского залива Каспийского моря). На песке при этом образуется прочная солёная «закрепляющая» корка. Способ этот дорогой и применим лишь на Карабугазе, на берегах горько-солёных озёр. В районах нефтегазодобычи используется для той же цели битумная эмульсия, сильно разбавленная водой.

Растёт, ширится наступление советского человека на пустыни. Развёртывается, в частности, строительство большого канала, который прорежет пески Кара-Кумов от Аму-Дарьи до Каспийского моря и превратит их в обширный оазис.

На мысе Тахия-таш в низовьях Аму-Дарьи будет возведена большая плотина, которая поднимет уровень воды на шесть метров и позволит пустить её как в сеть каналов правобережья для орошения полей Кара-Калпакии и песчаной пустыни Кызыл-Кум, так и в главный Туркменский канал левобережья для орошения Хорезмского оазиса и песков Кара-Кум.

Туркменский канал обойдёт древнее русло Аму-Дарьи, которое приносило воду в обширную Сарыкамышскую впадину, заполняя её и в значительной части тратя воду на испарение в этом ненужном озере. Канал пройдёт прямо к началу старого русла Балханского Узбоя, который является стоком из этого озера в Каспийское море.

Русло Балханского Узбоя начинается вблизи караванной дороги из Хивы в Кызыл-арват у колодца Балла-ишем и представляет вначале незначительную впадину, похожую на один из такыров, то есть впадин с ровной глинистой почвой, гладкой, как паркет. Такыры встречаются часто в Средней Азии и представляют собой высохшее ложе временных озёрков, заполняемых весной дождевой водой. С востока эта

впадина Узбоя ограничена крутым откосом песчаных холмов, высотой до десяти метров, а на западе постепенно сливается с каменистой степью Устюрта.

Ближе к колодцу Куртыш русло Узбоя становится шире и несколько глубже. Здесь и на дальнейшем протяжении оно представляет либо площадки такыров, либо плоские впадины, занятые озерами горько-солёной воды. Озера окаймлены крупными кристаллами белого гипса, а иногда чёрной солончаковой рыхлой почвой. Иногда встречаются в берегах русла и колодцы с пресной или солёной водой в виде простых ям, окаймлённых зарослями тамариска, камыша, тростника или же закреплённые стволами саксаула; таковы колодцы у Куртыша и Игды.

В нескольких местах в русле Узбоя имеются уступы из сарматских известняков, представляющих сбросы высотой от двух до шести метров. В тот период, когда по руслу протекала вода, они представляли собой водопады с отвесным или нависающим обрывом вверх и глубокими ямами, вымытыми силой воды у подножья. Эти ямы заполнены горько-солёной водой и устланы кристаллами гипса. Такие водопады прежнего времени имеются ниже колодца Куртыш и у колодца Н. Игды, а ниже Средней Игды дно представляло порог из нескольких ступеней. В этих местах от главного канала, вероятно, будут отходить ответвления на юг для орошения песчаной пустыни Кара-Кум и будут построены шлюзы.

На берегах Узбоя кое-где имеются развалины зданий, сложенные из обожжённого кирпича, и могильные плиты, вытесанные из сарматских известняков. Это подтверждает, что по Узбою некогда располагались поселения оседлых жителей. Водопады Узбоя свидетельствуют, что сплошное судоходство по Узбою из Хивы через Сарыкамышское озеро до Каспия было невозможно. Поэтому приходится думать, что поселения на Узбое были связаны с необходимостью перегрузки товаров с судов на верблюдов, которые везли их на протяжении порожистой части; ниже порогов товары опять перегружали на суда для следования дальше к Каспию. Пороги на Узбое обусловлены геологическими сбросами, которые разбили почти горизонтальную плиту Устюрта и наклонили пласты в разные стороны, что и вызвало две большие извилины реки между Куртышем и Н. Игды, созданные Аму-Дарьёй, когда она пролагала своё русло.

Размеры русла Узбоя показывают, что по нему никогда не протекала вся вода Аму-Дарьи, а только часть её. Она и отложила серые слоистые пески, обнажающиеся в берегах, тогда как подстилающие их красноватые глины с остатками арало-каспийских моллюсков оставлены ещё третичным морем, покрывавшим некогда всю Туранскую низменность между Каспием и Аралом.

Плотины и шлюзы, которые в соответствии со Сталинским планом будут устроены на канале, дадут возможность установить сплошное судоходство из Хорезма в Красноводск. Ветви канала прорежут Кара-Кумы далеко к югу и превратят пески в цветущие поля. Обширная площадь, которую пра-Аму-Дарья, то есть древняя Аму, когда-то перекрыла своими песчано-глинистыми осадками и дала ветрам материал для создания песчаной пустыни, станет обширным оазисом, который раскинется от подножья Копет-дага на юге до каменистого плато Устюрта на севере.

Так в наши дни будет осуществлено покорение пустыни, созданной ветрами из наносов Аму-Дарьи в начале четвертичного периода.

Укрепление барханных песков является серьёзной задачей строителей канала через пустыню Кара-Кум. Эти пески тянутся полосой в 40—50 километров шириной вдоль левого берега Аму-Дарьи на всём протяжении его от афганской границы до Хорезмского оазиса.

Борьба с подвижностью песков здесь представляет особенную трудность. Аму-Дарья во время половодья весной и особенно летом, когда тают снега Алая и Памира, снабжающие её главной массой воды, заливают берега и многочисленные острова и покрывает их своими осадками — глинистым песком. К концу лета вода сбывает, берега и острова обнажаются, просыхают, и ветер начинает развеивать глинистый песок осадков, уносит пыль, а перевеянный песок остаётся, ничем не закреплённый, образуя барханчики. Ветры, дующие с ноября по апрель преимущественно с юга и

юго-востока, уносят пыль, передвигают барханы на север и северо-запад, то есть вверх по долине реки и на левый склон долины, присоединяя к поясу старых барханов новые.

В весенне-летнее полугодие в долине реки возникают новые отложения глинистых песков, а ветры, дующие в это полугодие преимущественно с севера и северо-запада, удерживают барханную полосу вдоль левого берега. В осенне-зимнее полугодие обсохшие отложения реки развеиваются ветрами противоположного направления, их пыль уносится далеко, а песок присоединяется к барханной полосе. Покончить с этой полосой барханных песков в Кара-Кумах путём посадок растительности, поливки молодых речных отложений битумом и т. д. — дело огромной важности.

При работах по сооружению самого канала по реке Узбой и её ответвлениям на юг, в глубь песков, реку надо будет местами расширять, выпрямлять. При этом будут вскрыты, конечно, большие площадки, частично представляющие собой известняки сармата, красные глины арало-каспийских плиоценовых отложений и серые песчаные глины и илы самого Узбоя. Сармат негрудно будет закрепить посадками. Опаснее будут глины и ил, которые нужно укреплять немедленно, чтобы не дать ветрам материала для создания барханов.

Наибольшую трудность представляют места, где борта и дно канала вскроют старые песчано-глинистые наносы пра-Аму-Дарьи и позднейшие, уже слежавшиеся грядовые и бугристые пески Кара-Кумов. Здесь придётся сразу вести закрепление откосов посадками, бровками и квадратами, описанными выше, чтобы не было голых площадей вскрытого песка. Поливка битумом также, вероятно, получит здесь большое применение. Кроме того, при углублении русла Узбоя будет добыто немало гипса, в изобилии имеющегося на дне реки. Этот материал можно будет в виде щебня применять для посыпки и укрепления песчаных откосов.

Боковые ветви канала вскроют, конечно, большие откосы свежих грядовых и бугристых песков, которые нужно будет укреплять немедленно.

Только систематическое планомерное закрепление вскрытых поверхностей песка предотвратит возникновение новых барханных площадей вдоль каналов. Здесь должна получить большое распространение поливка битумом и посадка трав и кустов, закрепляющих песок. Превращение этих зарослей в сады, поля, бахчи и парки будет происходить позже, но устройство «растительной защиты» является неотложной задачей, чтобы нигде не допустить возникновения барханных песков.

Советский человек победоносно покоряет пустыню. И недалеко то время, когда на месте песчаных барханов возникнут шумные селения, зацветут сады, заструятся живительные реки и каналы. Это чудесное преобразование природы явится новым замечательным свидетельством силы и могущества советских людей — строителей коммунизма.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Е. СУРКОВ

★

ТЕМА БОЛЬШОЙ РОДНИ

(О новых произведениях трёх украинских прозаиков)

1
В романе Александра Гончара «Злата Прага» есть эпизодический персонаж Ягодка. Мы знакомимся с ним накануне форсирования Моравы. В эти часы сурового воодушевления, охватившего всех бойцов, один только он кажется подавленным и растерянным. Лейтенант Черныш пытается допытаться у него, почему он так грустен:

— А потому, что как стукнет вот здесь, на Мораве, так никто жалеть не будет. Никому и не икнётся, — отвечает Ягодка.

Черныш пробует рассеять этот расслабляющий пессимизм, но Ягодка настаивает на своём.

— Скажете — не так? — упорствует он. — Это только для виду каждый хочет показать, что ты ему нужен.. А я, товариш гвардий лейтенант, уже давно знаю, что никому не нужен. Напьюсь вот навеки моравской воды, так никто и не заметит. И ничего тут не поделаешь.. Кому же по-настоящему болит — есть такой Ягодка на свете или нет его?..

И тогда Черныш произносит, один из тех ярких, стремительных публицистических монологов, которые составляют такую привлекательную особенность трилогии Гончара:

— Всё это чепуха.. Безродный, ненужный.. Чепуха, товарищ Ягодка. Давайте подумаем так: вот вы скоро выйдете на тот берег. Что он сейчас представляет собой? Чужая опасная земля, начинённый фашистскими войсками клочок австрийской территории. Место, где только предполагается создать плацдарм. Но как только ты, Ягодка, ступишь туда своей ногой, сразу

всё изменится. Тот загадочный берег перестанет быть просто берегом, он уже станет плацдармом. Произойдёт на земле событие, пусть небольшое, пусть не решающее, но оно вызовет немедленно сотни других событий, повлияет на них, внесёт изменение в судьбу многих людей. И если сейчас, пока ты сидишь в этих кустах и изливаешь мне свою хандру, о тебе, может быть, и в самом деле мало кто думает — то тогда о тебе подумают все. Для противника ты станешь большой опасностью. Другьям ты будешь крайне нужен, не только нужен, а просто-таки необходим и дорог. Тогда ты увидишь, какая у тебя родня! Весь полк, вся армия с молниеносной быстротой узнает, что у неё на таком-то участке за Моравой появился плацдарм. Откуда, каким образом? Очень просто: ведь там уже встал своей ногой гвардии рядовой Ягодка. Поддержать его немедленно! Помочь ему во что бы то ни стало! Можешь представить себе, сколько людей будет тогда за тебя тревожиться? Все взгляды обратятся к тебе, все мысли будут о тебе, тысячи людей будут работать для тебя. А как же? Для тебя где-то на Урале дивчина целые сутки не выйдет из цеха. Из-за тебя Верховная Ставка даст кому-нибудь добрый нагоняй, чтобы лучше о тебе заботились, чтобы случайно не погиб там, не пропал там этот гвардии рядовой Ягодка! В высоких штабах, недосыпая ночей, будут вырабатывать самые лучшие маршруты. Для тебя сапёры будут строить мосты. К тебе по всем путям-дорогам потянутся обозы. А кто о тебе, рядовом Ягодке, забудет в это напряжённое время, тот, чего доброго, и под трибунал пойдёт. Тут не до шуток. Как же ты

можешь после этого сказать, что ты безродный, ненужный? Да какой отец, какая мать вложит столько сердца в своего Ягодку, сколько вложит в тебя Отчизна?!

Этот эпизод невольно приходит на память, когда думаешь о книге Михаила Стельмаха «Большая родня». В нём, как растение в зерне, заключена основная мысль этого талантливого произведения. И дело тут, разумеется, не в том, что Стельмах сознательно стремился продолжить мысль, высказанную Гончаром, — никакой намеренной переклички со «Златой Прагой» в «Большой родне» нет, — а в том, что идея всенародного братства советских людей, которую раскрыл перед новым советским гражданином, вчерашним румынским батраком Ягодкой, лейтенант Черныш, глубоко коренится в почве нашей действительности. Естественно поэтому, что эта мысль послужила творческим стимулом для ряда советских художников.

«...Поэту принадлежит форма, а содержание — истории и действительности его народа», — говорил Белинский. Понятие формы тут надо толковать расширительно: в смысле художественной концепции — той индивидуальной творческой интерпретации, которую каждый поэт сообщает в своём произведении содержанию действительности. Его задача, следовательно, состоит не в том, чтобы измышлять содержание своего искусства, черпая его где-то в сфере произвольных субъективных фантазий, а в том, чтобы открывать это содержание в самой действительности, находить всё новые и новые способы («формы») для всё более и более глубокого и всеохватывающего постижения исторического опыта народа.

Не приходится поэту удивляться общности содержания, связывающей всё многообразие лучших, передовых литературных явлений, порождённых каким-либо одним историческим периодом. Тем более, что такая общность ни в какой мере не ведёт к умалению богатства художественных индивидуальностей, проявляющих себя в этом общем процессе творческого познания действительности. Способы («формы») её художественного постижения столь же неистощимо многообразны, сколь многообразна и многостороння сама действительность.

А это, в свою очередь, означает, что бесконечно разнообразно и само содержание искусства...

В романе М. Стельмаха много точек соприкосновения с предшествующим опытом советской литературы. Жизненный материал, использованный писателем, в значительной своей части не нов. Первая книга его романа посвящена истории борьбы за создание и укрепление колхоза в одном из сёл Побужья. Эта книга закономерно вызывает немало ассоциаций с «Поднятой целиной», «Брусками». Во второй книге Стельмах рассказывает о могучем партизанском движении, охватившем Побужье в дни Великой Отечественной войны, — и тут на память читателю приходят «Белая берёза», «Люди с чистой совестью», «Мы — советские люди», «Чайка».

И всё же роман Стельмаха оставляет впечатление своеобразия и новизны. В нём есть эпизоды, действительно просто повторяющие то, что уже было увидено и воспроизведено другими писателями, — такие страницы, естественно, несколько ослабляют общее впечатление от книги. Но в целом общие идейные мотивы, связывающие «Большую родню» с рядом других, уже известных читателю произведений, отнюдь не помешали проявиться творческой самостоятельности писателя.

У М. Стельмаха в «Большой родне» есть свой особый угол зрения на отражённый им жизненный материал, есть своя особая тема, организующая воедино весь комплекс его жизненных наблюдений и раздумий.

«Большая родня» задумана как роман эпический. Территориально замкнутый в границах одного колхоза, во времени он развёрнут очень широко. Гражданская война, борьба с кулачеством, первые попытки бедняков организовать совместную обработку земли, затем создание колхоза, ликвидация кулачества, заботы колхозников об организационно-хозяйственном укреплении колхоза, торжество нового колхозного строя; во второй части книги — Великая Отечественная война, размах партизанского движения на Побужье, изгнание оккупантов, возвращение к мирному созидательному труду — таковы основные этапы в развитии сюжета книги, отражающие основные этапы истории всего советского крестьянства за более чем два-

дцатилетний период 1920—1944 годы — вот хронологические рамки, в пределах которых движется сюжет «Большой родни», и оттого, что величественный опыт, накопленный колхозным крестьянством за этот срок, раскрывается в романе через историю одного села, одного колхоза, — задача автора ни в какой мере не стала легче. Историю этого села Стельмах должен был насытить содержанием, выражающим самые основные черты четвертьвекового опыта всей страны, всего народа.

К сожалению, решая эту задачу, писатель допустил несколько существенных промахов. Как раз в недочётах общей исторической концепции — основные недостатки книги.

Чем дальше следуем мы за течением сюжета, тем яснее становится для нас ошибка, которую сперва можно воспринять как чисто композиционную, но которая на самом деле является ошибкой содержания, замысла.

Удивительно замкнут мир этого романа! За пределами села, описанного Стельмахом, ещё чувствуется ближайшая округа — два-три соседних колхоза, районный центр, куда герои романа ездят за помощью, когда им почему-либо приходится плохо. Но все остальные связи — со всей страной, с Москвой, с индустриальным городом, с тысячами других, в особенности русских, колхозов, с их неисчислимым опытом, — оборваны в романе. Характерная подробность: на протяжении более чем двадцати лет никто из героев романа никуда не ездит (кроме Леонида Сергиенко, занимающего, впрочем, в романе одно из самых незначительных мест) — не только в Москву или Киев, но даже в свой областной город. Воюют герои романа и то исключительно на своей территории, в своих родных местах. Весь мир как бы сузился для Стельмаха до границ одного села, одного колхоза — и хотя процессы, происходящие в нём, имеют много общего с теми, что происходили во всей стране, печать областнической замкнутости лежит на книге.

Стельмах упустил в ней одну из характернейших сторон советской действительности: небывалое богатство связей, соединяющих в нашей стране каждый данный коллектив, каждое данное селение со всем великим социалистическим народом.

И, повторяю, дело тут совсем не в случайном недосмотре. Стельмах потому и нарушил в этом частном моменте правду жизни, что у него не возникло повода для того, чтобы проложить своим героям пути из родного села в большой мир советской действительности.

Товарищ Сталин указывает, что переход от буржуазного, индивидуально-крестьянского строя к социалистическому, колхозному строю совершился «...не путем взрыва, т. е. не путем свержения существующей власти и создания новой власти, а путем постепенного перехода от старого буржуазного строя в деревне к новому. А удалось это проделать потому, что это была революция сверху, что переворот был совершен по инициативе существующей власти при поддержке основных масс крестьянства».¹

Тягу основных масс крестьянства к колхозному строю, неисчислимы преимущества этого строя, любовь колхозников к своему колхозу М. Стельмаху удалось передать с увлекательной искренностью и изобразительной силой.

Но направляющая роль партии, государства прочувствована и понята им, как художником, ещё недостаточно глубоко.

Успехи колхозного строительства в селе, описанном Стельмахом, выступают перед нами почти исключительно как результат социалистической самодеятельности самих колхозников. Районная партийная организация в романе — это преимущественно верный заступник и помощник сельян. В райкоме партии они находят поддержку против кулаков и троцкистских недобитков, находят опору своей передовой новаторской инициативе. Однако райком на протяжении всего романа ни разу не выступает как инициатор нового, как организатор движения масс, словом, как руководящая и направляющая сила в жизни села. Даже в самые напряжённые, самые кризисные моменты, даже в трудные дни коллективизации!

Вполне закономерно поэтому, что Стельмаху не удалось образы ни одного из трёх секретарей райкома, сменяющихся в районе на протяжении романа. Выступающие только в роли наперсников и со-

¹ И. Сталин. Марксизм и вопросы языковедения. Издательство «Правда», 1950, стр. 24.

ветчиков основных героев, лишённые сколько-нибудь определённой роли в сюжете книги, они охарактеризованы чисто описательно, хотя и довольно подробно. Но их причёски, усы, глаза, манеры быстро забываются читателями. Приемы, которые в образах других персонажей оказываются такими выразительными и необходимыми, совершенно не достигают цели в данном случае, так как самая детальная портретная зарисовка мертва, если она не соотносится с образом живого, действующего — и в этих действиях раскрывающего свою внутреннюю сущность — человека.

В образе же двадцатипятилетнего Недрёмного нет даже и таких чисто внешних примет. У Шолохова в «Поднятой целине» фигура такого двадцатипятилетнего была поднята до образа Давыдова, поставлена в центр всех событий, на скрещении всех основных сюжетных и идейных линий романа. В «Большой родне» Недрёмный — только фамилия, только безличный «некто», изредка напоминающий о себе читателям.

И дело здесь опять-таки не в недостатке изобразительного дара у Стельмаха. Мы увидим дальше, что как раз в искусстве пластической лепки характеров — лучшая черта его таланта. Образ Недрёмного он не увидел в его человеческом своеобразии потому, что не увидел, не понял его места в жизни своих героев, в их борьбе за коммунизм, другими словами — не сумел раскрыть значение социалистического города для коренных преобразований деревенской жизни.

Всё это — серьёзные недостатки идейной концепции романа. В нём есть подлинная правда жизни, есть поэзия и красота высокой человечности, — упрекать Стельмаха в незнании современной деревни, в непонимании души советского колхозника нет оснований. Но писателю явно не хватало ещё умения осмыслить материал своего романа во всех исторических связях и опосредствованиях, во всей совокупности важнейших политических и исторических проблем, из этого материала вытекающих. Этим и объясняется то, что в первой части книги оказались нарушенными пропорции: организация ТСОС'а там описана с большим подъёмом и тщательностью, чем коллективизация, с которой

мы узнаём лишь ретроспективно, из воспоминаний Дмитро Горишвита. Этим же объясняется и то, что во второй части книги действия отряда того же Дмитро даны в отрыве от областной партийной организации, в отрыве от развития событий на фронтах.

Искусства мыслить исторически, поднимая изображение частных человеческих судеб на высоту идейных обобщений, наиболее полно охватывающих закономерности жизненного процесса, — вот чего недостаёт Стельмаху в «Большой родне». И это ограничило идейную и художественную силу книги. Но писатель достиг больших успехов в раскрытии характеров своих героев, в воплощении их нравственного мира, освещённого светом великих патристических идей. В его романе превосходно передана красота колхозной нови, высокая и чистая поэзия новых общественных отношений, утвердившихся в социалистическом селе.

И всё это передано через человека, через судьбы простых, типичных для современной колхозной деревни людей. О них Стельмах умеет рассказывать проникновенно-искренно и сердечно. У писателя есть особая чуткость к хорошему в человеке: чистые, благородные душевные движения он передаёт особенно точно и убеждающе. Об одном из своих персонажей М. Стельмах пишет: «Всё молодое, задорное, весёлое глубоко радовало Варивона». Но это справедливо и по отношению к самому писателю. А между тем в романе много тяжёлых, даже трагических сцен. И все они — и казнь Виктора Сниженка, и сожжение семьи Григория Шевчика и, особенно, смерть Докии — написаны захватывающе сильно, глубоко, без какого бы то ни было специального стремления «ужаснуть» или «разжалобить».

У Стельмаха есть дар, который вернее всего можно было бы определить как «дар сопереживания». Он любит своих героев не отвлечённо-умозрительно, не только как носителей определённых идей, как иногда бывает у иных писателей, а во всей их плоти, во всей неповторимой конкретности их мечтаний, чувствований, во всей определённости их внешнего облика. Это и помогает ему добиваться подкупающей простоты и истинности переживаний в боль-

шинстве лирических и драматических эпизодов романа. Эти эпизоды прежде всего верно почувствованы самим художником, и человеческие переживания, иногда очень сложные и противоречивые, проявляются в них поэтому безукоризненно естественно и верно. И эта же любовь к своим героям, хорошим советским людям, помогает писателю в другом: в преодолении трагического. Рисуя горестные переживания своих героев, он неизменно ведёт их к свету, к предстоящей победе, в будущее, и делается это не декларативно — грош цена была бы таким декларациям, — а убеждённо и подкупающе просто. Жизнь побеждает в романе Стельмаха горе и смерть потому, что таков закон, потому, что такова правда нашей социалистической действительности.

Отсюда и волнующая эмоциональность повествования, придающая особое обаяние книге. Она поэтична.

Впрочем, сам М. Стельмах иногда не совсем верно представляет источник этой поэтичности, полагая, видимо, что поэтичность — это сложная метафоричность в картинах природы, нарочито взвинченная лирическая интонация. Отсюда манерновычурные, искусственные, подчас слащавые описания, встречающиеся в романе. Эта условная «поэтичность» делает совершенно невидимым то, о чём рассказывает автор. Когда он, например, пишет, что «невидимые трудолюбивые кузнецы словно торопились к концу дня выковать из солнечного слитка россыпь звёзд, закалить щит месяца и протянуть серебряную лунную дорожку, которая вот-вот появится на пруду», — то плохо в этом описании прежде всего то, что подобное нагромождение вычурных, претенциозных метафор заслоняет от нас словесным часоколом живую картину наступающей летней южной ночи. А таких условных «поэтических клише» не так уж мало в книге. Губы своего любимого героя, мужественного, сурового парня, Стельмах сравнивает с «калыми лепестками». Потом эти же лепестки служат ему для описания ноздрей Марты и (даже!) горбатого носа того же Дмитро. Всё это результат наивного стремления к механическому «внесению поэзии» в повествование. Вместо показа писатель в таких случаях начинает украшать свой рассказ, и тогда облака превращаются

в «белые астры», а волосы — «в виноградную гроздь». Герои же (к счастью, довольно редко) начинают изъясняться с абсолютно несвойственной им велеречивостью.

Всю эту шелуху олеографической «эстетности» надо беспощадно счистить с книги. «Изысканность выражения всегда может служить верным признаком отсутствия поэзии», — предупреждал Белинский. Стельмаху следует ясно понять это, так же, как необходимо ему понять, что подлинная поэтичность его романа в другом: в чуткости к внутреннему миру советского человека, в отзывчивости на действительные красоты украинской природы, в умении просто и сильно передать то, чем светла и радостна жизнь советского народа.

У автора «Большой родни» зоркий и меткий глаз. Там, где писатель не впадает в ложную «красивость», он видит то, что описывает, не общим планом, не в приблизительных очертаниях, а точно, детально. Во многих его описаниях есть та побеждающая читателя точность подробностей, когда описываемое становится зримым воочию. И эта зоркость дорога читателю не только потому, что она сообщает подлинность описанному автором, но прежде всего потому, что за нею чувствуется огромное увлечение художника описываемым, его любовь к миру благодатной и щедрой украинской природы, к миру мыслей и чувств советского человека.

Писателю близки чувства его героев, хорошо знающих радость работы на земле. Основной персонаж романа, Дмитро, «любил землю, казалося, даже слышал, как прорастает семя, ходил за несколько вёрст любоваться на первые всходы». Но не только Дмитро — сам Стельмах «внимательными глазами читает живую книгу полей». И эта его любовь полногласно звучит в многочисленных картинах плодоносящих садов, тучных нив, сельскохозяйственных работ. Контраст нищей, убогой, замученной земли в старой дореволюционной Украине и земли цветущей, неистощимо богатой, чудесно преображённой умелыми руками советских людей, — это один из важнейших художественных и — одновременно — идейных лейтмотивов книги. Два процесса слитно проходят в ней: процесс непрестанного подъёма и улучшения жизни героев романа, их благосостояния, культу-

ры, обогащения их внутреннего мира, и процесс украшения природы, невиданно расцветающей под заботливыми руками советских колхозников.

Любовь М. Стельмаха к жизни, к природе, следовательно, не созерцательна, а активна, целеустремлённа. Внимательная зоркость его художественных наблюдений идёт не от праздности досужего соглядатая, коллекционирующего мелочи окружающего от «нечего делать». Нет, её основа совсем иная. Советскому человеку в высокой степени присущи богатство и полнота восприятия мира, который впервые в советскую эпоху стал доступен миллионам во всех своих бесцётных и радостных возможностях. Истинно человеческие способности каждого индивида впервые высвободились в советском обществе из-под гнёта извращающих, бесчеловечных собственнических «законов» и «норм». Никогда взгляд человека на самого себя и на окружающий его мир не был поэтому так ясен, истинен, свободен! Никогда искусство не постигало действительность более полно и всесторонне!

Выше мы говорили, что у Стельмаха в «Большой родне» есть своя тема, поособому организующая и окрашивающая жизненный материал романа. Сейчас мы можем охарактеризовать эту тему.

Общий процесс роста колхозного села Стельмах раскрывает прежде всего через рост людей. Как бы ни была широка общая картина нового, утвердившегося в колхозном селе, которая нарисована в романе,— всё же сама эта картина служит писателю поводом для того, чтобы прежде всего показать коренные перемены, происходящие в сознании его героев.

Из них главный — Дмитро Горицвит. Его образ стоит в центре книги и именно в нём полнее всего обнаруживается её основная идея. Более чем двадцатилетний путь Дмитро в романе — это путь коренных психологических изменений, идейных завоеваний и открытий, дающихся ему подчас совсем не легко. На наших глазах меняется не только жизнь вокруг героя романа, меняется он сам. И в этих внутренних духовных переменах главного действующего лица романа — самая интересная сторона книги.

Путь из тьмы к свету, из нищеты к счастью — это путь, общий для всех

положительных персонажей романа. Уверенно встаёт во весь свой рост вчерашняя беднячка Докия, гордо выпрямляется придавленная к земле кулачём Марта, истинное человеческое достоинство обретает в колхозном труде деревенский шут и забавник Поликарп Сергиенко. «Теперь каждый человек может, как радуга, все свои семь красок показать», — говорит Дмитро его старший друг и учитель большевик Мирощниченко. Историю таких человеческих расцветов и представляет собой роман Стельмаха.

Но ярче всего, повторяем, это видно именно на примере Горицвита.

Дмитро — характер нелёгкий. Это натура недюжинная, крупная и кремнистоцельная во всех своих проявлениях. Нравственная сила, стойкость, чистота сочетаются в нём с большой волей, непрклонной требовательностью и к себе, и к людям. Есть в нём и «трудные» черты. Целомудренная строгость и требовательность перерастали у него в юности в мрачноватую суровость, а сдержанность — в замкнутость и нелюдимость. Словом, это характер своеобразный — крупный и сложный. История освобождения Дмитро от всего мешающего свободному, полноценному развитию лучших сторон его природы, приобретает поэтому для нас тем большее значение.

Что же происходит на протяжении романа с Дмитро Горицвитом? От чего он освобождается и чем овладевает?

Тут мы снова должны вспомнить Ягодку Александра Гончара. Его уныние и растерянность как будто бы не имеют ничего общего с мироучувствованием Дмитро, всегда собранного, целеустремлённо-мужественного. Тем не менее правда, которую разъясняет Ягодке лейтенант Черныш, и есть та самая правда, в которой больше всего попервоначалу нуждался герой Стельмаха. Пессимизм Ягодки был следствием его одиночества. Выросший в боярской Румынии, он привык ощущать себя живущим в некоей пустоте, никому не нужным изгоем. Совсем не такова жизнь Дмитро: даже в юности, даже и в те годы, когда его родное село ещё не встало на путь коллективизации, он уже испытывал на себе благотворное воздействие новых советских отношений. Он и тогда уже был членом великой семьи советских людей.

И всё же он далеко не сразу проникся той правдой невой, социалистической морали, которая составляет самую сердцевину советского гуманизма. А без этого он был так же бессилён настоящему полноценно проявить лучшие свойства своей человеческой природы, как и Ягодка. Тот обрёл мужество, поняв из слов Черныша, какими неразрывными узлами связан он, рядовой советский боец, со всем великим братством советских людей, со всей могучей социалистической державой. Овладел таким пониманием и Дмитро — и именно на этом пути достиг он подлинного своего расцвета как личность, как человек.

Внутренние противоречия в развитии Дмитро связаны прежде всего с преодолением им власти собственнических, «единоличных» представлений. Сам Дмитро говорил о себе в период своих неудачных попыток создать своё особое, «единоличное» счастье: «по колена в землю ушёл, а карбакоюсь». А большевик Мирошниченко упрекал его тогда: «С тебя ещё единоличное не слиняло». В этих словах и заложено самое верное объяснение состояния Дмитро в наиболее трудный, переломный момент его жизни.

Однако достаточно сравнить Дмитро хотя бы с Кондратом Майданниковым из «Поднятой целины», чтобы сразу же стало ясно своеобразие внутренней коллизии, переживаемой героем Стельмахом. Для Дмитро вовсе не имеют решающего значения те хозяйственные сомнения, которые так терзали отравленную собственничеством душу Майданникова, Моргунка и многих других героев нашей литературы, посвящённой великому перелому в деревне. О недоверии Дмитро к колхозному способу ведения хозяйства Стельмах упоминает несколько раз, но всегда походя, вскользь. Автор «Большой родни» переносит своё основное внимание на другое. Его больше интересует процесс преодоления героем романа его индивидуалистической ограниченности, поскольку этот процесс имеет решающее влияние на становление Дмитро как советского патриота, как человека. Писатель говорит своей книгой: индивидуализм, отъединённость от коллектива стеножили волю Дмитро, мешали ему встать во весь свой рост; в освобождении от этого идейного наследия

частнобственнического мира и состояла поэтому первостепенная задача — и одновременно — условие духовного развития Дмитро как советского человека.

Герой Стельмахом, повторяем, — человек даровитый от природы, глубокий, честный. В нём нет черт мелкого хозяинчика: скаредности, неотвязной жажды приобретения.

Но пытаюсь сначала в одиночку построить свою жизнь, Дмитро замыкается в себе, хотя и любит своих односельчан, отгораживается от них, хотя их интересы и дороги ему. Слово какой-то забор стоял тогда между ним и всем остальным миром, и какой узкой становилась из-за этого жизненная практика Дмитро...

Обобщая позднейшие раздумья Дмитро о самом себе, Стельмах пишет: «По узкому руслу текло его прошлое, так и не сумел он выплыть на широкий плёс. Но он любил жизнь, и людей, и природу. Всё хорошее радовало его, чужие печали печалили, несправедливость выводила из себя. Он не был холодным наблюдателем, который и пальцем не пошевелит, чтобы пособить кому-нибудь в горе... Если на его поле появлялся новый сорт семян — через год его уже имели соседи. Помогая кому-нибудь, он никогда ничего не требовал взамен. А кто больше него любил работать? Нет, он хотел людям добра».

Это очень важные признания. Обычный мелкий хозяинчик, истощенно цепляющийся за своё «кровное» достояние, не мог сказать таких светлых и чистосердечных слов. И всё-таки Дмитро оказался в стороне от людей, от народа. Замкнутый, как в скорлупе, в своём индивидуализме, он сам не раз был вынужден с горечью констатировать своё неумение найти путь к народу. Не люди м о с т ь — вот черта, на которой больше всего настаивает Стельмах, характеризуя психологический облик Дмитро в юности. «Не умею я с людьми обходиться», — жаловался он, например, секретарю райкома партии Маркову.

Марков помог Дмитро глубже, точнее осознать причины его обособленности. «Вам надо на мир шире смотреть», — советовал он Горицигу. И Дмитро вырвался из тесного закутка своего единоличного хозяйства, вырвался, убедившись на примере своих односельчан, какие необъятные

просторы открывает перед человеком колхозный строй.

В широком и поэтическом изображении преимуществ колхозной жизни — одна из наиболее драгоценных черт романа. Читая его, мы буквально физически ощущаем, как растёт, украшается, полнится новым смыслом жизнь села, какие новые прекрасные черты появляются под влиянием социалистических общественных отношений в людях. Стельмах окружает Дмитро характерами, в которых личное и общественное уже слито в нерасторжимом единстве. У таких людей, как Виктор Сниженко, Юрий Навроцкий, Кошевой, идея патриотизма входит как бы в самый состав их крови, питает все их помыслы и мечтания. По этому же пути идут в романе и Марта Варчук, лишённая своим приёмным отцом, кулаком Сафроном, личного счастья, но обретающая высшее счастье в новаторском труде и народном уважении; и Григорий Шевчик, преодолевший свою моральную несобранность, недисциплинированность по мере того, как в его сознание всё глубже входит понимание ответственности за порученное ему народом дело; и даже Марийка Бондарь, на первый взгляд, казалось бы, так и не вышедшая в своих помыслах за круг интересов своей семьи, но, тем не менее, неизменно изменившаяся во всём строе своих взглядов, ставшая настоящей советской патриоткой.

По этому же пути идёт и Дмитро. Его нелюбимость исчезает, как бы растопившись под воздействием того солнечного, живительного тепла, которым напитана вся жизнь вокруг, и на место прежнего мрачного индивидуализма в душу Дмитро входит светлое сознание неразрывной общности с народом. «Чужая судьба уже становилась частью его собственной», — пишет Стельмах, комментируя перелом, происходящий в сознании его героя. Всё больше крепнет в нём убеждение, что жизнь надо прожить, а не «опаску-дуть», и это убеждение неизбежно, чем дальше, тем больше подводит его к идее большой родни. Он уже видит себя не в одиночку стоящим среди своих узко личных забот и огорчений, а в дружной семье всего советского народа, вдохновенно крепящего и защищающего свою отчизну. Раньше весь мир был сужен для него до размеров своего дома, а теперь самое по-

нятие «своего дома» расширилось бесконечно, вобрав в себя всю необъятную ширь нашего советского мира. И это внесло новый свет в душу Дмитро, она становится по-особому открытой для всего нового, хорошего в жизни. «Всё стало ему во много раз дороже и милее, — рассказывает писатель. — Его будни, наполненные большими и маленькими заботами, теперь заливала новая волна прозрачной и сильной любви. Трепетные чувства и мысли... озаарили его, как чистые лучи заката озаряют перед вечером сад». Чувство благодарности советской власти, которая «бедняков в правах утвердила», закономерно перерастает в нём в сознание патриотического долга перед родиной, народом, всё более и более углубляющееся и крепнущее по мере того, как Дмитро всё дальше и дальше продвигается навстречу своей новой правде.

Это движение включает в себя как бы два этапа. Первый, как мы уже видели, состоял в овладении мыслью, что «счастье одного человека вороватое» и что, следовательно, истинное счастье состоит только в совместном движении со всем народом по пути к целям, указанным партией. Но и овладев этой истиной, Дмитро ещё не осознал всей полноты своих прав и обязанностей как советского человека. Ему ещё казалось в этот период, что если он добросовестно выполнит работу на своём обособленном участке, долг его будет исполнен. Он ещё не видел себя ответственным за всё происходящее в колхозе, ещё не понимал, какая мера государственной ответственности за судьбу всей страны, всего народа лежит на нём, как и на каждом советском человеке.

Такое патриотическое сознание ответственности за судьбы всей страны, всей социалистической державы неустанно воспитывает в советских людях большевистская партия. Она призывает советских людей к тому, чтобы они шире и глубже осознавали свои обязанности патриотов, чтобы они смелее вмешивались в родное им дело социалистического строительства, увереннее брали на себя ответственность за его судьбу. В. И. Ленин ещё на самой заре советской революции пророчески указывал, что «Главное, основное в большевизме и в русской Октябрьской революции есть втягивание в политику именно тех, кто был всего

более угнетен при капитализме»¹. Партия сделала все необходимые выводы из этого указания своего учителя. Гигантская воспитательная работа, которую она продела за годы социалистического строительства под руководством товарища Сталина, с небывалой полнотой вскрыла мощные резервы, заключённые в народе. Целая армия государственных и партийных деятелей ленинско-сталинского типа пришла к командирским пультам народнохозяйственной и культурной жизни страны. И типическое значение образа Дмитро в том и состоит, что в его судьбе ярко раскрылась эта важнейшая закономерность в росте советских людей. История идейного роста Дмитро — это история пробуждения сознания патриотической, государственной ответственности его перед народом, перед партией сперва за свою бригаду, потом за весь колхоз, наконец — за счастье и процветание всей социалистической Отчизны.

Когда-то Виктор Сниженко предупредил его о том, какая опасность ожидает человека, который «ото всей большой жизни своим забором отгораживается». Мы уже видели, что Дмитро не остался глух к этим словам. Но и выйдя из-за «своего забора», он ещё полагал некоторое время, что одно дело — руководители, другое дело — исполнители, такие, как он сам. В роли такого исполнителя он готов был проявить максимум добросовестности, даже инициативы, но только в роли исполнителя.

Жизнь же неуклонно вела его к осознанию своего места в истории, своих нестемлемых прав на историческое творчество. И тут мы ещё раз должны вспомнить Ягодку. Он победил своё сомнение не только потому, что увидел вокруг себя тысячи родных людей, кровно заинтересованных в его успехе. Он понял ещё и нечто несравненно большее: что ему, безвестному батраку из Измаильской области, выпало счастье принимать активное участие в акте исторического творчества, что, переправившись с риском для жизни через Мораву, он не просто пассивно выполнит чей-то приказ, а сознательно и творчески будет способствовать общему великому делу борьбы за мир и свободу народов. И именно это осознание себя историческим деятелем дало Ягодке

¹ В. И. Ленин. Сочинения. т. 32, стр. 138.

мужество, которого раньше у него не было. Он ощущал себя одиноким и «безродным», пока смысл происходящего был скрыт от него, сознание же патриотической цели, того, что должно сейчас произойти, стократно подняло его дух, сделало его способным к подвигу.

С Дмитро Горицантом происходит нечто подобное, хотя и в совершенно иных исторических условиях. Развёртывание заданных в нём созидательных сил происходит именно по мере того, как он всё более и более активно втягивается в сознательное творчество новой жизни.

Подлинной зрелости это сознание достигает в нём в годы Великой Отечественной войны. С острой болью отрывается Дмитро от своих близких, когда наступает час его включения в битву с врагами Родины:

«Он трижды, как со взрослым, поцеловался с Андрием, — рассказывает Стельмах, — и хлестнул коня кнутом, чтобы заглушить собственную боль.

Проехав немного, оглянулся. На дороге стояла маленькая чёрная фигурка. К ней приближалось, мерцая, тревожное зарево. Оно расплзалось всё шире.

Это горела земля Дмитро.

Но странно: удаляясь от села, от людей, он не чувствовал себя одиноким. С ним рядом стояли сейчас все его друзья и учителя: и Марков, и Кошевой, и Мирошниченко, и Очерет; он не отдалялся, а приближался к ним, стремясь к новому делу, которым теперь займётся».

И Стельмах действительно с безукоризненной последовательностью и психологической зоркостью прослеживает, как наполняется душа Дмитро новым содержанием, как всё шире становится его внутренний кругозор, как всё новые и новые грани действительности открываются его умственному взору по мере того, как он всё активнее включается в общенародное дело борьбы с врагами Отчизны. Когда он ещё был юношей, Мирошниченко однажды сказал ему: «На наших трудностях растёт и крепнет человек». В грозовой атмосфере Великой Отечественной войны Дмитро до конца познал справедливость этих мужественных слов. Трудности войны выковали из него отличного партизанского командира, испытанного и бесстрашного народного вожака. И тогда в его жизни произо-

шло самое значительное событие: его приняли в партию.

И вот уже перед нами большевик, патриот, закалённый в боях с врагами Родины — от кулацких и троцкистских бандитов до гитлеровских «юберменшей», — деятель с широким государственным кругозором. Дмитро теперь человек — в высоком коммунистическом смысле этого слова. «Прежде мир его можно было обнять руками, а теперь этот мир стал так велик, что он охватывал его только мыслями, всем сердцем, больше думая о судьбе людей, чем о своей судьбе. Когда-то основой основ он считал своё, хоть и маленькое, как птичье гнёздышко, но своё счастье, имущество, двор, хату. О другом понимании счастья он, конечно, знал, но оно казалось ему далёким и несколько книжным. Теперь он высоко поднялся над тем прежним, ограниченным мирком, и жизнь его, не утратив своих особенностей, объединилась с жизнью людей, — так, как соединяются весной на быстрине живые струи реки».

Так подытоживает жизненный путь своего героя сам писатель. И в этом итоге глубокое поучительное значение судьбы Дмитро Горичвита, благородный воспитательный смысл всего талантливого — человеческого и оптимистического — романа Михайла Стельмаха.

2

К этому итогу Дмитро Горичвит пришёл ценой опыта всей своей жизни — и именно поэтому нам так дорог этот итог, именно поэтому он полон для нас такого волнующего значения.

К сожалению, прочитав повесть другого украинского писателя, Василия Козаченко, «Новые Потоки», мы так и не можем сказать, в чём же, собственно, состоит жизненный опыт её главного героя — отставного майора Сергея Руденко.

По материалу, затронутому В. Козаченко, его повесть могла бы явиться продолжением романа «Большая родня». Роман М. Стельмаха кончается переходом его героев к мирной послевоенной созидательной деятельности. Повесть В. Козаченко начинается с изображения трудностей этой полосы в жизни украинской деревни. Война уже окончилась, первые раны залечены, но многое ещё мешает колхозу

имени Ленина достигнуть довоенного уровня. Выбыли из строя многие испытанные бойцы колхозного фронта, в износ пришло машинно-тракторное хозяйство, а вместо умелого, энергичного председателя, павшего смертью храбрых, во главе колхоза стоит новый председатель, Лука Митрофанович, — честный, преданный делу человек, но неумелый руководитель, не знающий, за какое звено надо ухватиться, чтобы вытащить, наконец, всю цепочку колхозных затруднений.

Решая эту задачу, Лука Митрофанович, впрочем, мог бы опереться на передовой опыт своих соседей. В том же селе Новые Потоки есть другой колхоз, сумевший преодолеть трудности, такой неодолимой преградой вставшие на пути колхоза имени Ленина. Причины трудностей, переживаемых колхозом, таким образом, надо искать не в объективных условиях его деятельности, — говорит своим сопоставлением писатель, — эти причины субъективны, они кофеляются в личных промахах и ошибках самого Луки Митрофановича. И действительно, в первых же главах повести мы детально знакомимся с его серьёзными недостатками. Не зная толком дела, он не желает прислушиваться к критике, игнорирует молодёжь, работает без плана. Список его ошибок можно было бы продолжить и дальше — писатель не постылся на то, чтобы доказать несоответствие председателя колхоза своему назначению.

Жизнь, трудовые будни колхоза имени Ленина охарактеризованы на страницах повести довольно подробно.

Перед читателями возникает целый ряд вопросов, имеющих жизненно-важное значение для дальнейшего развития колхозного строительства. Герои Козаченко задумываются и над тем, почему плохо дробление одного села на несколько колхозов, и о том, что надо сделать, чтобы победить засуху, и о том, как важно обеспечить привлечение к руководству колхозами людей, хорошо подготовленных в агротехническом отношении, и о многом-многом другом. По началу кажется, что повесть развёртывается по широкому фронту: её экспозиция обещает изображение борьбы нового со старым в современной колхозной деревне на богатом жизненном мате-

риале, в сложном и противоречивом переплетении различных реальных конфликтов.

Однако повесть свёртывается, по существу так и не успев как следует развернуться.

Мы остановимся на этом подробно, — пока же примем во внимание возможное возращение автора. Он ведь может сказать, что, хотя общая панорама колхоза имени Ленина и зарисована в его повести так разносторонне, всё же совсем не в этом состояла главная его задача. У него была своя особая тема: жизнь села интересовала его лишь постольку, поскольку на её фоне было удобно развить образ главного героя повести Сергея Руденко. И название книги «Новые Потоки» тоже ведь ещё совсем не означает, что автор преимущественно имел в виду именно село, носящее это имя. Новые потоки — это прежде всего те новые потоки жизненных сил, бодрости, оптимизма, которые вливаются в душу Сергея Руденко после его возвращения в родные места.

Что же, примем и такую трактовку Её резонность не вызывает сомнений.

Возвращение Сергея Руденко на развалины отчего дома, сгоревшего во время оккупации, во многом напоминает приезд в Крым полковника Воропаева из романа «Счастье». Одна и та же причина приводит их, заслуженных боевых офицеров, коммунистов — одного в Крым, другого — в украинское село Новые Потоки. Так же, как и Воропаев, Сергей Руденко пришёл к убеждению, что силы его сломлены и он уже не имеет права оставаться на переднем крае. «Дырявое решето», — так называет он себя, рассказывая секретарю райкома Воронову о своих ранениях. «Если бы не кожа, — говорит он, — рассыпался бы как разошедшая бочка». Естественно, что активный труд, борьба, участие в жизненной «буче, боевой, кипучей» представляются ему чем-то недостижимым. «Да, он мог теперь выполнять только несложные партийные поручения и с горечью наблюдать за тем, как люди по-настоящему работают», — так пессимистически формулирует В. Козаченко так сказать «превентивную» самооценку своего героя.

Во всех этих рассуждениях нельзя не услышать отголосок воропаевских мыслей и ощущений. Сходятся герои Павленко и Козаченко и в оценке своего права на

личное счастье. Сергей Руденко отказывается от любви врача Нины Фёдоровны, так же как бежал некогда от любви Александры Ивановны Горевой полковник Воропаев. «Вот она станет моей женой, — думал тогда Сергей, — а через месяц или два осколок (который остался у него в груди. — Е. С.) перегрызёт твою жизнь как гнилую прирётку. Подумал ли ты, какое горе причинишь ей этим? Не жестоко ли это?» Здесь только конкретная мотизировка несколько разнится от того, что говорил Воропаев, оправдывая боязнь соединить свою судьбу с Горевой, — сущность же поведения обоих персонажей остаётся общей.

Оговоримся сразу же, что все эти сопоставления мы делаем совсем не для того, чтобы заподозрить самую закономерность появления повести В. Козаченко. От того, что мы встретились раньше с полковником Воропаевым, чем с майором Руденко, рассказ о жизненных испытаниях, выпавших на долю этого последнего, вовсе не лишается своего поучительного значения. Козаченко почерпнул материал для своей повести там же, где и Павленко: в жизни, в опыте многих реальных советских людей. Перед нами большая и трудная психологическая проблема, решение которой имеет волнующий смысл отнюдь не только для реальных прототипов Воропаева и Руденко. Задумываясь над основными вопросами социалистической морали и этики, остро и смело вскрывая драматизм положения человека, вынужденного из-за своей физической немощи выключиться из борьбы, в которой для него заключена вся радость бытия, но в конце концов находящего в себе силы остаться в строю, — писатель может раскрыть всё величие и красоту нравственных принципов советского общества, великую жизнеутверждающую силу оптимистической, гуманистической философии нового мира. Именно так подошёл в своё время к решению своей задачи в романе «Как закалялась сталь» Николай Островский. Так строил свою работу над романом о счастье полковника Воропаева и Пётр Павленко.

В. Козаченко мог своей повестью не просто присоединиться к этому разговору, но и продолжить, развить его дальше. Однако, едва только затронув указанную тему, он тут же свёрнул в сторону.

Закрывая «Счастье» П. Павленко, мы ясно представляем себе, в чём состояли реальные жизненные трудности, преодоленные Воропаевым. Можем ли мы то же самое сказать о Сергее Руденко? Нет, поскольку никакие действительно серьезные трудности перед ним не возникают и, следовательно, никакой подлинно нравственной проблемы в его судьбе не заключено.

Воропаев у Павленко болен серьезно и даже, как кажется сначала, безнадежно. Фраза о том, что он выпал из счастья, как из самолета, не звучит поэтому преувеличением. Самое решение, которое принимает он, старый большевик, общественный деятель, испытанный солдат армии коммунизма,—отдохнуть, отойти в сторону, выключиться из борьбы, уже свидетельствует о мере его утомления. Мысль о «двухрачной хуторской жизни», на миг взманившая его надеждой исцеления, находится в кричащем противоречии со всем строем его большевистской жизненной философии. Естественно, что он отступает от неё сейчас же, как только вступает на крымский берег. Покойная жизнь «Робинзона», уединенного хуторянина, отъединившегося от бурь внешнего мира изгородью своего личного «счастья», не только невозможна для Воропаева, она была бы для него и губительна. Для того, чтобы выстоять, победить своё уставшее тело, ему необходимо как раз то, от чего он наивно рассчитывал укрыться в Крыму: борьба, люди, их волнения, тревоги, их неуёмная жажда скорее приблизить коммунистическое завтра. Источники его жизненной силы не в лёгком, созерцательном «существовании», а в движении, в творчестве, в великих радостях и трудностях рождения нового.

Такое понимание проблемы свойственно, по видимому, и В. Козаченко. Он тоже намеревался показать, какой животный источник физического и нравственного возрождения заключён для Сергея в повседневных трудовых буднях новопотокинского колхоза. Вся разница состоит только в том, что Воропаев побеждал действительные препятствия, Сергею же, собственно, преодолевать нечего. Его судьба в повести построена так, что тот беспощадный диагноз, который он сам себе ставит при первом своём появлении в Новых Потоках, ни разу не подтверждается потом на

протяжении всей книги. Правда, однажды, во время косябы, он почувствовал себя дурно, но это физическое недомогание при выполнении работы, уже переставшей быть привычной для Сергея, разумеется ни в какой мере не может ещё оправдать тот беспредельный пессимизм, с которым, как мы помним, герой Козаченко оценивал свои перспективы в жизни. Во всём же остальном он чувствует себя легко, привольно — и, право же, следя за тем, как стремительно и свободно развёртывает Сергей свою деятельность в колхозе, решительно невозможно понять, почему же, собственно, он считал, что ему доступны теперь только «несложные поручения», почему он так рано поторопился записать себя в инвалиды и «созерцатели»? Ведь не ложная же мнительность говорила в нём?

У героя повести Козаченко нет никаких серьезных оснований, чтобы мрачно оценивать своё состояние. Единственная проблема, которую решает он на протяжении повести, на самом деле не заключает в себе ничего трудного или поучительного. Писатель заставляет своего героя напряжённо выбирать, что лучше: заведывать школой фабрично-заводского ученичества в Донбассе или руководить колхозом в Новых Потоках? А между тем равно хороши обе перспективы, и совершенно непонятно поэтому, почему Сергей так драматически воспринимает предложение взяться за руководство школой. «Сергей представил себе,—пишет Козаченко,—работу директора, вся тяжесть которой ляжет не на его плечи, а на плечи его заместителей (?—Е.С.), и ему стало горько».

Но почему, собственно, «вся тяжесть» должна лечь на плечи заместителей? Почему Сергей, в прошлом кадровый шахтёр, сам не может по-большевистски взяться за воспитание молодых шахтёров? Повторяем ещё раз: перед нами вполне жизнедеятельный, энергичный человек, ведущий себя, несмотря на объявленные писателем ранения, так, что и любому здоровому было бы в пору.

Вся разница между Воропаевым и Сергеем Руденко, таким образом, в том и состоит, что Воропаев выстаивает тогда, когда любой, даже очень сильный, но не имеющий стержня в идеях большевизма человек сдался бы, пав до положения «хуторянина»,—Сергей же произносит мрачные

слова о «дырявом решете», на самом деле обладая, если верить тому, что рассказывает о нём писатель дальше, всеми необходимыми силами для того, чтобы продолжать свой труд на благо родины. Читая роман Павленко, мы поэтому не только восхищаемся тем мужеством, с каким поднимается над своим увечьем Воропаев, но и познаём на его примере, какую необоримую силу имеет великая идея борьбы за народное счастье, когда она овладевает человеком. Судьба же Сергея, естественно, не даёт никаких оснований для таких выводов. В ней потому и нет никакого большого поучительного содержания, что проблема, которой коснулся писатель в экспозиции повести, оказалась снятой прежде, чем она успела созреть и обнаружить своё истинное содержание в непосредственном развитии сюжета.

Тот же недостаток сказывается и в развитии мотивов, связанных с изображением колхоза имени Ленина. Мы говорили выше, что В. Козаченко поднимает в своей повести немало острых вопросов колхозной жизни. В авторе «Новых Потоков» чувствуется внимательный наблюдатель послевоенной деревенской жизни, обладающий верным пониманием стоящих перед колхозами задач. В повести много штрихов, выразительно рисующих высокий уровень сознательности, характерный для современных колхозников, их социалистическую инициативу, патриотическую любовь к своему делу.

Тем не менее яркого художественного изображения послевоенной колхозной нови повесть не даёт. В ней всё намечено как бы в эскизе, в общем, предварительном наброске. Остаётся впечатление, что автор не использовал и десятой доли своих наблюдений, так как, наметив основные направления, по которым должна была развиваться его книга, он заспешил и оборвал намеченные линии прежде, чем они успели развернуться с необходимой полнотой.

Словом, здесь произошло то же самое, что мы только что наблюдали на примере образа Сергея Руденко. Проблемы, которые должны были решаться на опыте преодоления недостатков и ошибок в работе колхоза имени Ленина, оказываются решёнными прежде, чем мы успеваем как следует разобраться в их существовании. Одной

только постановки вопроса о необходимости устранить тот или иной недостаток оказывается в повести вполне достаточно, чтобы этот недостаток мгновенно исчез. Присмотритесь к тому, как действует в романе Руденко. Он только и делает, что высказывает всё новые и новые идеи, и все они тут же претворяются в жизнь. Ему не приходится затратить и минимума усилий, чтобы повернуть дело в нужное русло. Между предложением и его реализацией не остаётся уже никакой промежуточной ступени: они просто сливаются в одно.

Разумеется, в конечном итоге новое всегда пробивает себе дорогу в нашей действительности, и хорошая, полезная мысль всегда найдёт отклик в сердцах советских людей. Козаченко прав, когда он показывает, что даже в отстающем колхозе всё уже потенциально готово для того, чтобы принять новаторскую инициативу, и надо только внести организующую партийную волю в его работу, чтобы привести в движение пока ещё пребывающие под спудом созидательные силы. Однако он, как художник, делает серьёзную ошибку, игнорируя самый процесс развития, этапы перехода колхоза от прежнего состояния к новому, высшему. Ведь как раз в этом процессе и проявляются человеческие характеры, обнаруживается их суть, выступают неповторимо своеобразные и вместе с тем типические приметы нашей действительности. В отражении таких процессов и заключается одна из интереснейших задач для писателя. Рисовать же развитие и победу нового в нашей действительности как процесс всегда безукоризненно гладкий, освобождённый от всяких неожиданностей и противоречий, значит лишать себя возможности показать героев в действии, в борьбе, в преодолении трудностей. Ведь то, что достигается само собою, без малейших усилий, теряет цену. Центральный Комитет партии в своём постановлении «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению» призывал писателей «...воспитывать советскую молодёжь... не боящейся препятствий, способной преодолевать любые трудности». Но сделать это нельзя иначе, как только показывая процесс преодоления советскими людьми любых трудностей, встающих на их пути к коммунизму. Просто же

снимать эти трудности, делая вид, что их ликвидация не требует никаких усилий, — не значит ли лишать героев литературных произведений возможности проявить одну из самых драгоценных черт советского человека: волю к победе, упорство в достижении поставленной партией цели, неистощимую энергию?

Стоит только сравнить повесть «Новые Потоки» с романами «Жатва» или «Кавалер Золотой Звезды», чтобы стало ясно, чего не сумел сделать В. Козаченко. Он не дал возможности своему герою проявить себя в работе, борьбе, в живом процессе преодоления реальных трудностей развития. Сергей Руденко не работает в повести, а только формулирует новые задачи, и по мере того, как новые истины созревают в его голове, мы сразу же видим их претворение в жизнь.

Поясним это только одним примером. Читатели помнят, вероятно, что Лука Митрофанович был подвергнут автором в экспозиции повести весьма основательной критике. Наряду с искренним желанием блага своему колхозу в его характере отмечена целая сумма недостатков и ошибок. И упорство, и нежелание прислушиваться к критике, и отсталость, и невнимание к инициативе рядовых колхозников, и многое другое, что для руководителя социалистического хозяйства являются серьёзными грехами, — было названо в числе черт его характера. Однако Козаченко быстро забыл обо всём этом. Стоило только Сергею разъяснить Луке Митрофановичу значение планового начала, как старик неузнаваемо переменялся. Сергею не пришлось и месяца поработать с Лукою Митрофановичем, как всё то, что раньше составляло для председателя такую непреодолимую трудность, вдруг урегулировалось с а м о с о б о й. «Прошло только несколько дней с того времени, как Сергей вмешался в дела колхоза, — рассказывает писатель, — а Лука Митрофанович уже говорил, что в глазах его многое прояснилось и руки развязались».

«Обойдя хозяйство и поработав до обеда (?! — Е.С.), выполнив всё, что было записано на этот день в тетради, он вдруг убеждался, что у него ещё есть свободное время. Этого раньше не было. Самому себе не веря, он проверял, не забыл ли чего-нибудь. Получалось, что всё было в по-

рядке. «Молодец, Серёжа, — говорил тогда старик, — выходит, что работать можно. И не очень устал, и подумать времени достаточно».

Наивность этих строк бросается в глаза. Только абстрагирование от живой жизни могло породить такую идилличность. Бесконечное разнообразие неожиданных поворотов, сдвигов, случайностей, возникающих в результате включения в работу сотен индивидуальных волей, характеров, чьих-то «незапланированных» достижений и чьих-то ошибок, наконец, всегда возможные изменения внешних обстоятельств, погоды, например, — всё это, делающее жизнь жизнью, а задачу руководства — трудным и сложным искусством, полностью игнорируется здесь. Писатель был бы прав в своём описании, если бы Лука Митрофанович действовал не в колхозе, с живыми людьми, а на механизированном макете, с заводными фигурками. Да и тогда, впрочем, ему пришлось бы считаться с возможностью тех или иных неточностей в работе механизма.

А между тем процитированное место очень типично для метода писателя, для его подхода к жизни. Невнимание к живой конкретной действительности, тенденция показывать её освобождённой от неповторимо своеобразных особенностей, отличающих каждое её отдельное проявление, чрезвычайно мешают В. Козаченко. Он очень невнимателен к тому, что можно было бы назвать красками живой жизни: к индивидуально неповторимым чертам в облике людей, к буйному и неистощимо многообразному цветению природы, словом, к тому, что обычно обозначается как чувственная сторона явлений. Его пейзаж беден и как-то информационно сух. Портреты — беглы и неточны. Вот, например, как описана в повести Галя, занимающая важное место в развитии действия: «Неудержимая энергия чувствовалась в каждом движении девушки, горела во взгляде. Не ответить на её улыбку было просто невозможно». А вот портрет секретаря райкома Воронова: «Около дверей телеграфа стоял невысокий широкоплечий человек в полувоенном костюме... Разглаженный левый рукав был заправлен за пояс. У человека круглое лицо, полные загорелые щёки. Слегка нагнув голову, он внимательно смотрел на Сергея

большими и ясными серыми глазами». Запомнить человека по этим описаниям невозможно. В них указаны только такие черты, которые могут быть отмечены ещё у сотен и тысяч людей, и не выделено как раз то неповторимо индивидуальное, что делает Воронова Вороновым, а Галю Галей.

А ведь умение видеть описываемое — это отнюдь не техническое качество в писателе. Оно неотделимо от знания художником своего жизненного материала, своих героев, тех лесов и полей, тех фабрик и лабораторий, где эти герои действуют. У В. Козаченко такое знание приблизительно, поверхностно. Только этим можно объяснить сбивчивость в характеристиках центральных персонажей повести — Сергея и Луки Митрофановича. И Лука Митрофанович, растерявший многие черты своего характера где-то на перевале от экспозиции к основному развитию действия, и Сергей, живущий и работающий в повести так, как будто бы всё сказанное в первых главах о его тяжёлых франах и общем изнурённом физическом состоянии было простым недоразумением, — являют собой наглядный пример забвения автором своих собственных героев. Задумав их в определённой трактовке, он затем в процессе повествования потерял их, на ходу подменив другими лицами.

3

В заключение мы должны отметить ещё один недостаток повести В. Козаченко, особенно существенный с точки зрения интересующей нас здесь темы.

Несмотря на то, что по замыслу автора судьба его главного героя, Сергея Руденко, должна была бы полностью зависеть от судьбы коллектива, в который он попал, — на самом деле такая зависимость в повести не раскрыта. Вернее, она осталась только декларированной.

В. Козаченко ведь хотел показать, какое оживляющее и вдохновляющее действие оказывает на Руденко включение в созидательный труд своих односельчан. Как Антей, черпающий силу в матери-земле, он должен был в неистощимой энергии народа почерпнуть ослабевшую в нём волю к жизни и борьбе. Такой замысел много обещал читателям, но мы уже видели, что писатель сам закрыл себе путь к его ре-

ализации, сразу же освободив героя от действительной потребности в каком-либо воздействии на него со стороны коллектива. В романе Павленко действительно новые потоки жизни вливаются в душу Воропаева по мере того, как он вращается в напряжённую и трудную жизнь своих новых товарищей. В повести же В. Козаченко эти потоки изливаются на Сергея Руденко бесцельно, ибо никакого процесса психологического и идейного обогащения под воздействием нового советского коллектива, в ряды которого вступил герой повести, в нём не происходит. В повести в лучшем случае можно найти изображение того, как Сергей воздействует на новопотокских колхозников, обогащая их своей инициативой, — но совсем не показано, как его самого растит и формирует новый жизненный опыт, почерпнутый в послевоенной колхозной деревне.

Советский писатель никогда не должен забывать о двусторонности такого процесса. Высокое воспитательное значение романа М. Стельмаха как раз тем и было определено, что писателю превосходно удалось показать, как постепенно раздвигались внутренние горизонты, как ширился и обогащался духовный мир его героя по мере того, как его жизнь всё теснее сливалась с жизнью народа. Каждая новая ступень, которую он проходил на своём пути к слиянию с народной жизнью, была в то же время новой ступенью на пути его роста как личности. Черпая в народе силу для своего развития, он сам в свою очередь приобретал всё большие возможности для того, чтобы быть полезным своей родине.

В раскрытии закономерного характера такой взаимосвязи — одна из принципиальных заслуг М. Стельмаха как художника.

В отсутствии такой взаимосвязи в повести В. Козаченко — одно из наглядных проявлений её незрелости, недодуманности.

...Чрезвычайно интересное отражение эта взаимосвязь получила в маленьком рассказе А. Гончара «Жаворонок» (из цикла «Юг»). Миниатюрные масштабы этого произведения ни в какой мере не ограничили его содержательности. Перед нами психологическая зарисовка, в которой, как небо

в капле воды, отразилась многокрасочная и светлая советская действительность.

Рассказ этот свидетельствует о нарастающих новых художественных поисках в творчестве А. Гончара. Так же как и другие его произведения последних лет, рассказ показывает, что писатель ищет сейчас новые пути к постижению духовного мира советского человека, стремится сделать методы раскрытия внутренней жизни своих героев более тонкими и гибкими.

Пока ещё рано говорить об окончательной кристаллизации этих новых тенденций. Рассказы из цикла «Юг», которые были опубликованы в русской печати и в которых наиболее отчетливо намечилось направление Гончара выйти за пределы творческой манеры, уже определенной в его прежних вещах, могут рассматриваться ещё только как первые подступы к какой-то новой большой теме. Это как бы ещё только первая пристрелка перед будущей битвой за новое овладение богатством современной тематики, битвой, которую Гончар, надо думать, проведёт в масштабах не меньших, чем в «Знаменосцах».

Его трилогия была написана размашисто, с подъёмом, сильными уверенными мазками. Характеры героев возникали перед нами, залитые ярким светом авторской любви и восхищения, в смелом и точном очерке, — не всегда, однако, оставляющем место для подробной психологической детализации. Живопись Гончара в «Знаменосцах» ярка, контрастна; моделировка, как говорят художники, отчетлива и верна. Но тонкой игры светотени, тех сложных и гибких цветовых соотношений, которые открывает в природе только по-особому сосредоточенный глаз, не так ещё много в «Знаменосцах». И люди, и исторический фон даны в трилогии как бы общим планом — выпукло, сильно, в смелых и крупных обобщениях, но не всегда достаточно глубоко в смысле постижения внутренней жизни людей. Торжественная поступь армии-победительницы, радостный гул распахнутых ей врат старой, закостеневшей в капиталистическом варварстве Европы слышится в романтически приподнятых, нередко пафосных интонациях романа. Именно ощущение праздничного великолепия происходящего определяет его основную мажорную тональность. Эта тональность и в авторских отступлениях, и в речах героев, почти все-

гда публицистически устремлённых. Это часто речь людей, как бы обращающихся через головы своих непосредственных собеседников ко всему миру, ко всему человечеству. Они сидят перед огнями бивуаков, обсуждают текущие оперативные дела и в то же время как бы стоят на огромной исторической трибуне, откуда перед ними открываются самые истоки великих исторических преобразований. Гончару здесь не до быта, не до частных и деталей психологического анализа. Он рассказывает прекрасную правду о своих героях — освободителях Будапешта и Праги, словно бы откладывая более детальное изучение их внутреннего мира на будущее.

«Жаворонок» и означает, по видимому, что писатель переходит постепенно к такому изучению. Пока он это делает на сравнительно узком плацдарме. Внутренние масштабы его рассказов и романа, разумеется, несоизмеримы. Но зато поле для наблюдений, которое открывалось перед Гончаром в узких рамках маленького рассказа, просмотрено в «Жаворонке» с удивительной тщательностью.

Никогда ещё, пожалуй, Гончару не удавалось быть таким точным в описаниях, таким естественным и ненапряжённым в психологическом анализе. Именно в этом рассказе то новое, чего ищет сейчас Гончар как художник, приобрело наибольшую законченность и полноту выражения.

Тематическая узость сюжета не лишила эту миниатюру широты обобщений. Рассказ о первых любовных радостях и тревогах шестнадцатилетней девушки всё время перерастает в рассказ о жизни большого советского коллектива, членом которого эта девушка является. И уже трудно становится сказать, о чём, собственно, в первую очередь стремится повествовать писатель — о тревожной и радостной любви Зои к удалому красавцу Савве или о трудовых забастах крупной Солончанской МТС. Одно входит в другое, сливаясь в органическом единстве, и если бы мы даже попробовали расчленить эти темы, выделив тему Зоинной любви, как самостоятельную, нам всё равно не удалось бы этого сделать. Ибо в таком случае мы лишили бы эту тему её основного содержания и, одновременно, сломали в рас-

сказе как раз то, что составляет его главное очарование.

Зоя — радистка Солончанской МТС. Здесь она выросла, здесь стала полноправным членом коллектива. «Нашему жаворонку легко летается: все ему — родные!» — говорят о ней эмтээсовские трактористы. И действительно, радостная полнота жизни, которую постоянно, каждой клеткой своего существа ощущает Зоя, рождена в ней именно этим глубоким чувством единения с родной ей МТС. Она живёт с ней одной жизнью, всей силой своих чувств переживая повседневные заботы окружающего её коллектива.

Гончару, несмотря на лаконизм повествования, отлично удалось передать, как богата и насыщена содержанием жизнь заброшенной куда-то в глубь украинской степи машинно-тракторной станции. Удивительно большой мир уместился на крохотном поле его рассказа! Степень возросшего мастерства писателя понимаешь именно тогда, когда вспоминаешь, как много удалось ему рассказать на протяжении всего только десяти журнальных страничек. Необразимые просторы полей, на которых, соревнуясь друг с другом, работают бригады эмтээсовских трактористов, высокое качество их технической оснастки, беспредельная любовь к своему делу, объединяющая в одно директора МТС и каждого механика, старого, опытного агронома и только ещё вступающую в строй радистку — всё это видишь, читая рассказ. И кажется, что если бы Гончар даже не ограничился рамками маленького рассказа, а написал о Солончанской МТС целую повесть, всё равно ему не удалось бы заставить нас живее ощутить и жаркое дыхание суховея, пронесшихся над МТС, и тревожное нетерпение её работников, ждущих дождя, и всю ту сложную и трудную, хотя внешне и несколько однообразную жизнь, которой живут в приднепровской степи посланные туда партией трактористы и агрономы, механики и бухгалтеры.

Это и есть признак подлинной художественной завершенности произведения. Рассказ Гончара исчерпывает содержание, заключённое в его замысле, и это в одинаковой степени относится как к передаче общей картины жизни Солончанской МТС, — в тех масштабах, какие определялись за-

мыслом произведения, — так и к развитию лирической темы основной героини рассказа — Зои.

Какой прозрачной и лёгкой казалась ей жизнь! Ещё вчера.. А сегодня ворвалась в её душу непрощенная гостья — любовь к этому стройному, смуглому, вечно весёлому Савве, и с нею вместе пришла ревность. Стала между Зоей и Саввой Оксана Бойко, всем наделённая щедрой судьбой — и золотистыми кудрями, и славой лучшей трактористки МТС. И вот Зоя мечется между ревностью и дружбой, с ужасом сознавая, как волна нехорошего, злого чувства захлёстывает её прежние отношения с Оксаной.

Гончар с тонким и ласковым юмором рисует эту «психологическую драму» в душе шестнадцатилетней девушки.

Детское причудливо перемешивается в Зое с первыми проявлениями настоящих, действительно глубоких и сильных чувств. Ещё не проведены в её душе грани между вчерашним, по-ребячески наивным мирком её мечтаний и иллюзий, и тем новым, волнующим и ярким чувством впервые пробуждающейся женской любви, которой отдаётся в эту, шестнадцатую, весну своей жизни Зоя.

В своём чувстве она одновременно и ребёнок, и серьёзный, по-взрослому требовательный к себе советский человек. И в этой серьёзности — самая обаятельная, самая трогательная черта в Зое. К новым переживаниям, обрушившимся на неё, она относится с величайшей ответственностью, не подчиняясь этим чувствам, а желая их понять, чтобы правильно оценить и направить. «Интересно, будут ли ревновать при коммунизме? — думала Зоя, сидя в своей радиорубке над раскрытой лекцией заочного курса. — Прекратятся ли когда-нибудь эти распри человеческих чувств, наступит ли в будущем примирение всех со всеми?» В этих наивных, но взволнованных и упорных размышлениях уже слышится недетская тревога о правильности своих чувств, неременное желание очистить их от того, что их извращает, портит.

Девушке не сразу удаётся это. Всё снова и снова замечает она, что «недоброе чувство врывается в её ровные, ясные отношения с людьми», нарушая привычную стройность в её душе.

И всё же она побеждает то недоброе, что вторглось в её сознание, и происходит это как раз в тот самый момент, когда обычное чувство единения в социалистическом труде, которое всегда связывало её со всеми товарищами по МТС, в том числе и с Оксаной Бойко, вспыхнуло в ней особенно ярко и сильно. В потоке этого чувства без остатка поггло, растворилось то недостойное и мелкое, что отделило на несколько мгновений Зою от её друзей, «ворвавшись в её ровные и ясные отношения» с ними.

Над Солончанской МТС нависла страшная опасность засухи. В эти дни «каждый по-своему глубоко переживал то, что причиняло боль всем». Тревога МТС была в то же время и личной тревогой любого из её тружеников. «Где тут разграничить своё от общего, как отделить своё от своего же», — пишет Гончар по другому поводу. Эти справедливые слова совершенно точно выражают, однако, также и состояние людей в те напряжённые дни, когда губительная сушь безысходной тяжестью сгустилась над степью.

Ощущение тревоги за судьбу любимого дела не разъединило советских людей, а наоборот, заставило их ещё острее осознать свои обязанности перед всей страной, перед всем государством. У Гончара в этом месте рассказа есть следующий выразительный эпизод. Как раз в период наибольшего напряжения тревоги за судьбу урожая от МТС потребовали передать лесозащитной станции часть своих трактористов. Один из работников МТС высказал тогда мысль, что лучше всего было бы выделить соседям трактористов помоложе. Но директор МТС, Зоян отец, поправляет автора этого предложения: на лесозащитную станцию будут посланы лучшие мастера своего дела — ведь «там проходит передний край борьбы против засух и суховея». И во имя этой общегосударственной цели коллектив, хотя и встревоженный надвинувшимся бедствием, с готовностью идёт на новые трудности.

Этот эпизод очень выразителен. Он показывает уровень социалистического сознания, достигнутый коллективом МТС, показывает и то, в какой нравственной атмосфере выросла и сформировалась Зоя.

...И вот, наконец, пришло долгожданное счастье. «Из-за горизонта медленно выполз

чуть заметный уголок синей тучи. Залитая солнцем степь сразу притихла, затаила дыхание, как бы ожидая, что из этого выйдет. А уголок тем временем упрямо тянулся вверх, разрастался вширь, постепенно превращаясь в тучу, в темносиний горный хребет, который скоро закрыл собою уже огромный сектор неба.

И вдруг хребет разломился, огненная трещина пересекла его поперёк, сверху до самого низа. Загremело. Облегчённо вздохнула степь, и радостнее стало вокруг.

Всё пришло в движение. Пока в небе всё переворачивалось, гудело и строилось, табуны вихрей помчались по равнине, по потемневшим степям, заволновались, забурунили зелёные валы лесополос, засуетились в воздухе птицы.

Нежным шелестом отозвались на всё, что происходило вокруг, акации, посаженные возле конторы.

Нежным трепетом отозвалось на проходящее и Зоино сердце. Жаворонком заливается она в эфире, одну за другой вызывая кочующие по степи бригады и торопясь передать им хотя бы частичку того великого счастья, которое уже испытывают в эти минуты те, что находятся в МТС. Но «когда дошла очередь вызвать Оксану Бойко, Зоя на мгновение заколебалась. Мало ли зла причинила ей соперница, надо ли сейчас осыпать её таким счастьем?»

Тем более, что в такой «жертве» с Зоинной стороны не было, собственно, никакой необходимости. Ведь пройдёт ещё 15—20 минут — и Оксана сама услышит и увидит над своей головой то, что уже огромной радостью надвинулось сейчас на МТС. Но не стала ждать Зоя — и щедро, от полноты своего переполненного сердца поздравила Оксану с долгожданным дождём. Ибо в эту минуту она уже не могла жить тем мелким, старым, уродливым «чувствованьем», которое отделяло её от Оксаны, от их окрепшей в совместном труде дружбы. Высокое чувство единства со всеми, чей труд был влит в хозяйственную мощь родной Солончанской МТС, а следовательно, и с Оксаной Бойко, — переполнило в эту минуту Зою, высоко подняв её над всем тем, чего она сама в себе и стыдилась и с чем до этого не могла справиться.

...Конечно, эта победа так незначительна на общем фоне действительно грандиозных

побед, о которых изо дня в день рассказывает, следуя за правдой жизни, советскому читателю советская литература. И всё же, думается, мы были вправе привлечь внимание читателей к маленькому рассказу Гончара. И не только потому, что он хорошо, искренне и точно написан, но и по другой, более важной причине. Большое ведь может быть видно и в малом. Величественные процессы утверждения и победы новой коммунистической морали протекают во всём: их можно увидеть и в сложном жизненном опыте славного партизанского командира Дмитро Горицвита, и в поучительных итогах «психологической драмы», пережитой шестнадцатилетней Зоей.

Да, разумеется, очень различны их судьбы, их характеры, наконец самые нравственные проблемы, раскрытию которых служат образы героев обоих произведений. Но в одном значение этих образов одинаково: они равно свидетельствуют о том, что всё хорошее, светлое, истинно человеческое в людях всегда коренится, как в своей почве, в народе. Только тогда силен и непобедим советский человек, когда жизнь его неразрывно слита с жизнью всего народа, строящего коммунизм. Только тогда во весь размах проявляют себя лучшие свойства, заложенные в душе отдельного человека, когда этот человек всего себя, без остатка, отдаёт святому делу борьбы за народное счастье, за свою социалистическую Отчизну.

Белинский, как мы помним, писал, что содержание произведений поэта принадлежит истории и действительности его народа.

Содержание трёх новых произведений украинской советской прозы, о которых шла речь в этой статье, также целиком принадлежит действительности своего народа. Но только двое из упомянутых здесь писателей сумели воспользоваться этим содержанием с должным художественным эффектом. Третьему же — В. Козаченко — помешала творческая робость, непонимание или боязнь собственного замысла, неумение художественно развить и выявить заложенные в этом замысле возможности. Вместо того, чтобы показывать процессы рождения нового в жизни, В. Козаченко ограничился тем, что стал наспех фиксировать готовые результаты. Он не дал поэтому такого глубокого и яркого отображения социалистической действительности, какое мы находим в произведениях М. Стельмаха и А. Гончара.

Во многом различные, произведения этих двух писателей, однако, сродни одно другому в самой своей основе. Ведь одна действительность подсказала глубоко различным по своей творческой индивидуальности художникам единое понимание отношения отдельного человека к своему народу, выразившееся в их произведениях. Именно она, эта действительность, подсказала им единый светлый гуманистический взгляд на жизнь, на человека, на его место в общенародном строю борцов за коммунизм.

Вот почему и сами эти произведения в свою очередь могут рассматриваться как своеобразное знамение времени. В них светится то же солнце, которое взошло сейчас над всей Украиной, над всей советской землёй, — солнце бессмертных ленинских идей, солнце коммунизма.



В. АЛЕКСАНДРОВ

★

О ДВУХ ОТКЛИКАХ НА СТАТЬИ С. МАРШАКА

Статьи С. Маршака «Заметки о мастерстве»¹ вызвали два отклика в нашей печати. Против некоторых положений С. Маршака о рифме возражает в своих «Заметках о языке» В. Саянов («Знамя» № 1 за 1951 год). О другом отклике будем говорить особо.

«...Мне кажется, — пишет В. Саянов, — что такой отличный знаток стиха, как С. Маршак, в своих заметках о мастерстве неправильно ставит вопрос о рифме, рассматривая различные системы рифмовки с субъективных позиций собственной поэтической практики, а не с позиций объективного исследования». Высказав такой упрек, В. Саянов тем самым обязуется противопоставить «субъективизму» Маршака подлинно исследовательскую объективность.

«В статье С. Маршака, — продолжает В. Саянов, — упорно проводится различие между «рифмой» и «созвучием». На мой взгляд, это различие настолько условно, что применять его в настоящий момент уже невозможно. Ведь всё это пишется через два десятилетия после смерти Маяковского, когда принципы рифмы Маяковского, основанные на богатейшем опыте народного рифмованного стиха, уже восторжествовали в нашей поэзии...

Любя и ценя Маяковского, С. Я. Маршак в то же время, как это чувствуется по его статье, не совсем уверен, что некоторые «созвучия» Маяковского хороши.

¹ С. Маршак. «Заметки о мастерстве». «Литературная газета» от 24 октября 1950 года.

С. Маршак. «Заметки о мастерстве». «Новый мир» № 12 за 1950 год.

Поэтому, приводя созвучие «узкого — Курского», он считает, что это «созвучие» хорошо потому, что оно подкрепляется и аллитерациями («курьерский с Курского»), и точнейшими рифмами («с виска» — «свистка»), и стремительностью всей строфы...

Почему, говоря о народной рифме, С. Я. Маршак считает «полезно — полезло» только созвучием, а скажем, «опячь — называть», встречающееся в его собственном переводе сонета Шекспира, «рифмами»?

А на мой взгляд («с позиций объективного исследования?» — В. А.) «узкого — Курского» и «полезно — полезло» с гораздо большим основанием могут претендовать на термин «рифма», чем, скажем, «вновь» и «любовь».

Сопоставим эти упреки В. Саянова с тем, что о рифме и о созвучии пишет С. Маршак.

«В его (Маяковского. — В. А.) стихах, играя, работают сотни самых неожиданных и полнзвучных рифм. Иной раз это не рифмы, а созвучия. Но к созвучию должны предъявляться требования ещё более строгие, чем к точной рифме. Точную рифму может с успехом заменить только созвучие, более богатое, более меткое, более подходящее к случаю, чем она сама...

Созвучия не кажутся у него неточными, случайными. Строфа строится без единого шва, отливается, как из металла.

Насилу,
пот стирая с висна,
сквозь горло тонзеля узкого
пролез
и, глуша прощаньем свистка,
рванулса
курьерский
с Курского.

Созвучие «узкого — Курского» подкрепляется и аллитерациями («курьерский с Курского»), и точнейшими рифмами («с виска» — «свистка») и стремительностью всей строфы.

Во-первых — откуда следует, что С. Маршак, так высоко оценивающий созвучия Маяковского, «не совсем уверен» в правомерности и достоинстве этих созвучий? «Это чувствуется по его статье!», — пишет В. Саянов. И ни одного довода, ни одного слова, которым полемист мог бы подкрепить свою укоризну. «Чувствуется» — и всё. Простите, но это совсем непохоже на обещанные «позиции объективного исследования».

Во-вторых: С. Маршак не говорил, что созвучие «узкого — Курского» хорошо потому, что оно подкрепляется аллитерациями и т. д. С. Маршак просто оценивал данное созвучие в составе всей строфы в её целом.

В-третьих. Давайте обратимся к самому Маяковскому. Вот Маяковский рассказывает о том, как, работая над стихотворением «Сергею Есенину», он нашёл рифму к слову «резвость» — «врезываясь». «Но вот беда, — продолжает он, — в слове «резвость», хотя и не так характерно, как «резв», но всё же ясно звучат «т», «сть». Что с ними сделать? Надо ввести аналогичные буквы и в предыдущую строку.

Поэтому слово «может быть» заменяется словом «пустота», избыточным и «т», и «ст», а для смягчения «т» оставляется «летите», звучащее отчасти, как «летить».

И вот окончательная редакция:

Вы ушли, как говорится, в мир иной,
Пустота — летите, в звёзды врезываясь...
Ни тебе аванса, ни пивной —
резвость».

Как видим, та же мысль, что и у С. Маршака в его разборе строфы о «курьерском с Курского». И там и здесь речь идёт о том, что выпадающие из «созвучия» звуки где-то и как-то «восполняются». Отсюда — ни по Маяковскому, ни по Маршаку — не следует, как мне кажется, что такое «восполнение» должно стать неким абсолютным, обязательным правилом. Если необходимо какое-то общее «правило», оно должно заключаться в строгом, взыскательном отношении к отбору

«созвучий» и к тому контексту, в который они поставлены.

Трудно предположить, что В. Саянов уже много лет не перечитывал статью Маяковского «Как делать стихи» и не помнит её. Но столь же трудно предположить, что, перечитывая и помня эту статью, В. Саянов мог не вспомнить этих вот строчек, мог не заметить совпадения подходов. Ведь С. Маршак комментирует приводимую им строфу Маяковского в том же плане, в каком сам Маяковский комментирует первое четверостишие своего стихотворения «Сергею Есенину».

Прав ли В. Саянов, предлагая отбросить, как нечто устарелое, разграничение «созвучий» и «рифм»?

То, что некоторые «созвучия» выразительнее и ярче некоторых «рифм» (бывает и наоборот) — не довод в пользу такого отбрасывания. Дальше: бывают такие «пограничные» случаи, когда трудно определить, к какой категории отнести то или иное явление. Это — тоже не довод. Надо брать явления в их характерном, типичном виде. Вот те примеры, о которых говорит сам В. Саянов. Слышится ли отсутствие и наличие «р» в «созвучии» «узкого — Курского»? Слышится ли различие между «я» и «л» в «созвучии» «полезно — полезло»? Конечно, слышится. Для чего вообще вводят терминологические разграничения? Для того, чтобы обозначать ими какие-то в самой действительности существующие различия. Существует ли такое различие между «рифмой» и «созвучием»? Разумеется, существует.

Это разграничение имеет и свой целевой, педагогический смысл. Многие молодые поэты, забывая о строгой поэтической дисциплине Маяковского, превращают «созвучие» в нечто смутное, случайное и неряшливое; говорят: «это у меня ассонанс» — и под этим предлогом рифмуют бог знает что с чёрт знает чем. С. Маршак, правильно предостерегая против такого неярешества, приводит пример: «пегонькой» и «техничкой». Таких примеров можно было бы привести великое множество. В том же самом номере «Знамени», в котором В. Саянов упраздняет различие между «созвучием» и «рифмой», Б. Соловьёв справедливо указывает молодому и способному поэту В. Фёдорову (речь идёт о его стихотвор-

* Разрядка во всех случаях моя — В. А.

ных циклах, напечатанных в журнале «Новый мир»): «Автор создаёт созвучия, слитком далёкие друг от друга, вроде «прихлопнула— оссобога». Бывает и ещё хуже. Но В. Саянова это широко распространенное бедствие, повидимому, не беспокоит.

2

В. Саянов, хотя доводы его и не представляются убедительными, спорит с С. Маршаком, не нарушая норм литературной полемики.

Но вот другой полемист. В журнале «Звезда» (№ 2 за 1951 год) в разделе «Трибуна читателя» помещена статья В. Назаренко: «В чём неправ С. Маршак?»

Заголовок «Трибуна» в данном случае обозначает то, что публикуемый материал должен расцениваться, как дискуссионный. Но непонятно, почему назван «читателем» автор, который не умеет и просто не хочет читать то, что он пытается оспаривать. Такое неумение и такое нежелание нашему читателю вовсе не свойственны, но, к сожалению, порой обнаруживаются в писаниях некоторых литературоведов и критиков.

Разбирать все выпады В. Назаренко и не нужно и просто невозможно. Для этого понадобилось бы полностью воспроизвести обе статьи С. Маршака и рядом с ними, как параллельный текст, всю статью В. Назаренко. Ограничимся лишь несколькими примерами.

«С. Маршак, — пишет В. Назаренко, — неправ, ориентируя молодого автора на «свободное рождение» рифмы: «так, как рождались меткие слова у запорожцев, сочинявших письмо турецкому султану». Это противоречит нашему представлению о поэтической работе, как о серьёзнейшем, напряжённейшем труде, ибо молодой поэт хочет стать «инженером человеческих душ», а не «запорожцем, сочиняющим письмо турецкому султану»... Маршак говорит: «Оригинальные, новые, своеобразные рифмы приходят естественно и свободно...»

Три раза на двух столбцах возвращается Назаренко к этим словам Маршака, рвёт их в клочки, но почему-то так и не удосуживается привести их полностью. А полностью они звучат так: «Оригинальные, новые, своеобразные рифмы приходят естественно и свободно, когда их вызывают к жизни оригинальные, но-

вые, своеобразные мысли и чувства. Они рождаются так, как рождались меткие слова у запорожцев, сочинявших письмо турецкому султану, у Маяковского, когда он писал «Во весь голос».

Подчёркнутые мною слова из статьи С. Маршака В. Назаренко предпочёл утаить. Есть люди, о которых говорят, что они на ходу подметки режут. Другие режут цитаты...

Снова и снова «цитирует» и «комментирует» В. Назаренко С. Маршака:

«Маршак пишет: «Надо научиться мыслить, чувствовать, зорко и внимательно наблюдать мир, точно выражать свои мысли».

Это неконкретно. Не так говорит Маяковский: «...Надо быть передовым своего класса, надо вместе с классом вести борьбу на всех фронтах...» «Поэт должен быть в центре дел и событий. Знание теории экономики, знание реального быта, внедрение в научную историю для поэта — в основной части работы — важнее, чем схоластические учебнички молящихся на старьё профессоров-идеалистов».

Нетрудно заметить разницу в этих высказываниях Маршака и Маяковского», — заключает В. Назаренко.

Столь же нетрудно заметить злостную демагогию в противопоставлении этих высказываний (не говорю уже о том, что и здесь Назаренко отрезал по кусочку цитаты — и у Маршака, и у Маяковского).

Разве кто-нибудь из наших советских поэтов, прозаиков, критиков, призывая учиться мыслить, чувствовать, наблюдать, тем самым предлагает отказаться от активного участия в общественной жизни, отстраниться от «центра дел и событий», умалить значение советской литературы? В частности и в особенности С. Маршак, чьи живые, почти ежедневные отклики на дела и события нашего времени теснейшим образом связаны с традицией Маяковского?

Разве для Маяковского требование: «быть передовым своего класса» не означало умения мыслить, чувствовать, наблюдать?

Всё это настолько ясно, что и говорить об этом не пришлось бы, если бы на страницах журнала «Звезда» не появились такие нелепые обвинения.

В заключительных строках той же статьи В. Назаренко мы не без удивления читаем: «Поэт должен твёрдо помнить, что главное в поэтической речи — это ячайшее и точнеешее выражение мысли». Почему же, когда Маршак писал о необходимости «точно выражать свои мысли», В. Назаренко возмущался: «Неконкретно», «не так говорит Маяковский»? — Простой и единственный ответ: для самого Назаренко эти его нападки были не мыслью, высказываемой всерьёз, а дубинкой, нужной лишь для того, чтобы кого-то ударить: схватил, помахал... а через мгновение не помнит и сам, была она у него в руках или нет.

3

Не нужно думать, что всё, написанное С. Маршаком в его «Заметках о мастерстве», совершенно бесспорно и критике не подлежит. Лично я не могу, например, согласиться с его оценкой фетовского восприятия природы. Найдутся и другие спорные положения. Но оспаривать их, разумеется, нужно не так, как это делает В. Назаренко.

Он подозревает С. Маршака в симпатии к модернистам начала XX столетия. В. Назаренко уцепился за то, что, говоря о них, С. Маршак упоминает о «мастерстве», хотя для каждого непредубеждённого читателя ясно, что в данном случае Маршак имеет в виду лишь «профессиональное умение». В. Назаренко ни одним словом не обмолвился о той резко отрицательной оценке модернизма, которую С. Маршак развёртывает на страницах своей статьи.

С. Маршак уподобляет стихотворцев-модернистов «равнодушному писарю» Егору из чеховского рассказа «На святках» — писарю, с его витиеватыми фразами («цивилизация Чинов Военного Ведомства») и каллиграфическими завитушками, похожими на рыболовные крючки. Маршак говорит о литераторах, из-за плеча которых, какой бы моды они ни придерживались, выглядывает тот же набивший руку писарь; об особом писарском высокомерии, которое ставит превыше всего своеобразие и шёгольство росчерка; о целых поколениях поэтов, которые воспитывались на том, что «главное в их деле заключается в своеобразии писательского почерка,

являющегося самоцелью»; о тех периодах в истории поэзии, когда она «страдала особой профессиональной глухотой». С. Маршак приводит, как пример, военные стихи 1914 года, написанные и какими-нибудь неведомыми Минеевыми, и известными поэтами-модернистами, Сологубом и другими; и заключает: «всё это было так же бездушно, так же мало отражало мысли и чувства миллионов людей, как писарская «цивилизация Чинов Военного Ведомства».

«...Достаточно положить,—продолжает далее С. Маршак,—рядом поэтические хрестоматии, посвящённые двум мировым войнам — империалистической 1914 года и Великой Отечественной,— чтобы преисполниться высокой и законной гордостью за нашу советскую поэзию, неотделимую от своего народа и воевавшую вместе с ним».

Недобросовестный полемист с крыл всё это с расчётом: найдутся, может быть, люди, которые прочитают его статьи, не читая заметок Маршака, и поверят, что Маршак в самом деле восхищён «мастерством» модернистов.

Другой вопрос: сводился ли модернизм к профессиональной глухоте, словесным играм, писарским завитушкам, и является ли такая критика исчерпывающей? Нет, но Маршак и не претендовал на исчерпывающую трактовку; он остановился на одной, очень существенной стороне вопроса, на «формализме, как таковом». В соответствии с той целью, которую Маршак ставил в своих «Заметках», он имел полное на это право, потому что пережитки именно тех черт, о которых он говорит, ещё не полностью исчезли из нашей поэзии; потому что «у нас и сейчас ещё не совсем вышли из моды каллиграфические завитушки».

4

В той части «Заметок» С. Маршака, которая была напечатана в «Новом мире», вопросы литературного мастерства разбираются, в основном, на примере Некрасова; Некрасов противопоставляется Фету, Полонскому, модернистам, поэтам, творчество которых олицетворяет собой упадок буржуазной поэзии «в последние предреволюционные десятилетия». Тем самым намечены определённые границы того материала, которым в этих главах оперирует автор.

В. Назаренко в ярости: Маршак пред-

лагает учредить «школу Некрасова!» «И тут мы замечаем, — пишет В. Назаренко, — что вообще о Маяковском ни слова не говорит Маршак. Развитие русской поэзии, по Маршаку, как бы закончилось со смертью Некрасова, Маршак словно не знает или не хочет знать, что работа Некрасова во многом обусловила принципы работы Маяковского, что принципы реформы, произведённой Маяковским, давно действуют в советской поэзии...»

Я указывал уже на рамки этой статьи С. Маршака, рамки, с которыми Назаренко не хочет считаться. Но в этом выпаде есть нечто более примечательное. Если написано: Маршак (в этой статье) ни слова не говорит о Маяковском, то как будто это так и понимать следует: молчит, ни слова не говорит. А ну-ка, проверим. Оказывается говорит, и не «для проформы», чтобы «упомануть», а по существу.

Обличая модернистское виршеплётство 1914 года, Маршак ссылается на Маяковского: «Недаром же Маяковский — тогда ещё очень молодой и по-юношески задорный — обнаружил пустоту, безличие и однообразие батальных стихов того времени, склеив одно стихотворение из трёх четверостиший разных и различных поэтов».

Что противопоставляет Маршак модернистским «батальным стихам того времени»? «...буйно-протестующие строчки Маяковского, который с первых же дней восстал против этой войны и отчётливо увидел её виновника — «рубль, вьющийся золотолепным микробом».

«Александр Блок и Владимир Маяковский, — говорит далее С. Маршак, — поэты очень различные по возрасту, темпераменту, характеру дарования и мировоззрению.

Маяковский стал первым поэтом нашей советской эпохи. Блок завершает собою поэзию дореволюционную.

Но их роднит то, что оба они в эти исторические дни напряжённо думали, знали цену поэтическому слову, понимали ответственность поэта перед временем и народом. Оба они далеки от всего, что было в литературе узко-профессионального, высокомерно-«лысарского».

И далее: «Точный адрес был и у Шекспира, и у Пушкина, у Чехова, Горького и Маяковского».

Критикуя Бенедиктова, Маршак говорит: «Ту же пошлую легковесность и бестактность находил Маяковский в лирических излияниях некоторых современных ему стихотворцев. Вспомните «Письмо к любимой Молчанова, брошенной им».

Маршак спрашивает: в чём победа Некрасова? «В том, что для народа поэзия Некрасова стала своей, народной, и послужила ему оружием в борьбе; в том, что она питала и питает не одно поколение поэтов, столь различных между собой, как, например, Добролюбов и поэты «Искры», Блок и Маяковский».

И в заключительных строчках статьи — имена Пушкина, Некрасова, Маяковского.

Как после этого определить заявление В. Назаренко: «вообще о Маяковском ни слова не говорит Маршак»?

Имя Маяковского обязывает ко многому. Эстетика Маяковского неотделима от этики Маяковского. Вряд ли можно требовать от В. Назаренко, чтобы он усвоил всё жизненное значение этой морали поэта. Но во всяком случае неопозволительно одной рукой бить себя в грудь, клянясь именем Маяковского, а другой — учинять такие вот непотребства.

Товарищи из редакции журнала «Звезда» или не читали «Заметок» С. Маршака, или читали и сознательно оказались в роли пособников В. Назаренко.

«Полемические» приёмы, которыми пользуется В. Назаренко, не новы. Таких полемистов мы встречали и среди пролеткультовцев, и среди рапповских вульгаризаторов, и среди приверженцев «школы» М. Покровского, и среди «учеников» Н. Марра. Все эти «группы» и «школы» ликвидированы.

Любители «приёмов» во вкусе В. Назаренко пытаются доказать свою близость к подлинным высоким ценностям нашей культуры, тшятся представить себя монопольными их охранителями. Но вскоре же обнаруживается, насколько эти монополистические поползновения несовместимы с советским искусством и советской наукой.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Б. Рюриков. Мировоззрение Добролюбова.— **С. Евгенов.** Новая поэма о Ленине.— **Д. Данин.** Утро великой стройки.— **И. Кротова.** Обеднённые образы.— **В. Архипов.** Монография о Некрасове.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. НАУКА

Кандидат исторических наук **М. Юрвев.** Победный путь китайского народа.— **Д. Милютин.** От Гитлера до Трумэна.— Профессор **Б. Кузнецов.** Ценное исследование о Ломоносове. **Ю. Милёнушкин.** Заметки биолога о заметках писателя.

Литература и искусство

Мировоззрение Добролюбова

С гордостью писал В. И. Ленин о самостоятельности русской философской мысли, о превосходстве отечественной материалистической мысли над реакционной европейской философией.

Боевой характер русской материалистической философии и органическая связь её с освободительным движением народных масс вызвали бешеную ненависть к её деятелям со стороны представителей реакционной идеалистической лженауки. Реакционные лжефилософы дореволюционной России, на протяжении многих лет с хлопским преклонением встречавшие любое веяние западной идеалистической, консервативной философии, по-барски, аристократически относились к творчеству народных масс. Они считали, что русский народ не способен создать свою культуру, свою философию и обречён на слепое заимствование достижений «просвещённой Европы».

Отголоски этих реакционнейших «теорий» нашли своё отражение и в наши дни — в «писаниях» безродных космополитов.

Партия, разоблачив и разгромив буржуазно-космополитические элементы, с

В. С. Кружков. «Мировоззрение Н. А. Добролюбова». Редактор **И. Кадышева.** Госполитиздат, 1950.

особенной остротой поставила задачи воспитания советского народа в духе высокой идейности, советского патриотизма, советской национальной гордости. Поэтому совершенно ясно, насколько необходимым является создание исследовательских работ, правильно, подлинно научно освещающих деятельность замечательных русских мыслителей, показывающих в истинном свете их борьбу, их вклад в развитие науки.

Книга В. Кружкова «Мировоззрение Н. А. Добролюбова» представляет собой исследование, направленное против искажений и извращений в оценке творчества замечательного публициста и критика, против ложных представлений, фальшивых версий, пущенных врагами материализма и революционной демократии и повторяемых даже некоторыми советскими литературоведами.

Белинский, Чернышевский, Добролюбов воплощают в себе такую силу ума и воли, такую душевную красоту, нравственное величие, что дать представление об их облике не может холодное, объективистское изложение материала. Творчество этих великих людей требует от исследователя сочетания научной глубины и партийной страстности, непримиримости в борьбе с чуждыми, антинаучными взглядами.

Книга В. Кружкова проникнута большой любовью ко всему облику Добролюбова; автор не только с научной добросовестностью проанализировал богатый материал, характеризующий мировоззрение великого критика, но и раскрыл значение Добролюбова как мыслителя и борца:

Добролюбов умер двадцати пяти лет. Деятельность его поразительна по своей напряжённости, многогранности и целеустремлённости. Написанное им составляет шесть объёмистых томов, и трудно поверить, что все эти статьи по вопросам философии, истории, литературы, педагогики написаны молодым человеком, почти юношей, и всего за четыре года.

Разумеется, это нельзя объяснить только необычной одарённостью Добролюбова. Нужны были сильнейшие общественные стимулы, чтобы деятельность великого критика, философа и публициста развернулась так широко. Добролюбов был выразителем мыслей и чувств поднимавшегося на борьбу крестьянства; он был поддержан в самом начале своего пути мудрой рукой Чернышевского; его талант развернулся в условиях нарастающей революционной ситуации. Добролюбов творил с такой напряжённостью и страстностью, с такой полнотой, которые характерны именно для деятелей революционных эпох.

В. Кружков подробно характеризует процесс формирования взглядов великого критика, этапы развития его мировоззрения. С обстоятельностью освещается в книге идейный рост Добролюбова в годы обучения его в Главном педагогическом институте. В эти годы окончательно складываются основы мировоззрения Добролюбова, в эти годы он подготовил себя к деятельности в «Современнике», где он стал правой рукой Чернышевского. В институтском рукописном журнале, в беседах с товарищами критик выступает в защиту идейности и правдивости искусства. Уже в этот период он проявляет себя непримиримым противником крепостничества и самодержавия.

Автору книги в процессе подготовки её не мог быть известен интереснейший документ, опубликованный в недавно вышедшем III томе «Литературного наследия», посвящённом Белинскому, — анонимное письмо Грецу, написанное Добролюбовым. Выражая своё презрение к жалкому литературному холопу реакции, Добролюбов

напоминает ему о неизбежном суде потомства, хранящего заветы великого Белинского. «Анастасий Белинский» — то есть воскресший Белинский — так подписывает он это письмо, напоминая Грецу, что идеи Белинского бессмертны.

Время окончания Добролюбовым института совпало с началом усиленной подготовки правительством пресловутой реформы, с обострением классовой борьбы, усилением размежевания общественных сил. Добролюбов сразу самоопределился в этой исторической битве, заняв достойное место в лагере революционных демократов.

В. Кружков справедливо указывает, что в своём духовном развитии Добролюбов не переживал тех мучительных этапов эволюции, которые пришлось пережить Белинскому на пути к материализму и революционному демократизму. Статьи Белинского и Чернышевского дали молодому Добролюбову ту духовную опору, которая помогала ему с первых шагов революционной деятельности идти точно определённым путём.

Но отмечая влияние Белинского, Герцена, Чернышевского на Добролюбова и то значение, которое это влияние имело для формирования мировоззрения Добролюбова, В. Кружков, однако, не сумел раскрыть его с достаточной полнотой и глубиной. Недостаточно это влияние устанавливать только по письмам и дневникам, по высказываниям самого Добролюбова. Следовало бы пойти по пути детального исследования и конкретно показать, как уже в первых статьях Добролюбова нашли своё отражение взгляды Белинского, как подхватывал и развивал Добролюбов мысли своего гениального предшественника. Исследование показало бы, что реалистические взгляды Белинского, мысли Чернышевского об обличительной роли литературы легли в основу уже первых критических высказываний Добролюбова.

Поучительный пример. В борьбе с предшественниками теории «чистого» искусства Добролюбов не мог не задуматься над проблемой «дидактики» в литературе, в которой упрекали революционных демократов их противники. В. Кружков приводит высказывания Добролюбова по этому вопросу. Но если бы эти высказывания были сопоставлены с мыслями, развиваемыми Белинским в статье «Разделение поэзии на

роды и виды» и в других его работах, положения автора обрели бы куда большую конкретность и доказательность.

Подробное исследование связей между высказываниями Добролюбова и Белинского по вопросам искусства обогатило бы книгу В. Кружкова, способствовало бы более отчётливому представлению о предметности идей революционных демократов. Более детального рассмотрения заслуживало также влияние Чернышевского на своего соратника и любимого ученика.

Особая глава книги В. Кружкова посвящена характеристике политических взглядов Добролюбова. Автор показывает, что требование уничтожения царизма и крепостнического строя было основой политических стремлений Добролюбова. Добролюбов писал о «самобытном воздействии» народной жизни; он ждал, что это «самобытное», то есть революционное воздействие окажет решающее влияние на ликвидацию крепостнических отношений.

Добролюбов был не только критиком крепостного права, но и критиком капитализма. Около года прожил он за границей. Его критика западного капитализма, по справедливому замечанию В. Кружкова, не уступает по силе обличительным статьям Герцена. Добролюбов не обманывал внешний лоск западноевропейской культуры. Он видел, что с успехами буржуазной цивилизации становится ещё более жестокой эксплуатация народа. Он ясно видел, как переплетается в Европе капиталистический и феодальный гнёт. С беспощадной иронией нападал Добролюбов на «наших англицизированных публицистов», идеализирующих европейскую жизнь и рассказывающих детские басенки о том, что люди богатеют от труда. Он выступал против филантропической болтовни либералов, имеющей целью сгладить глубокие общественные противоречия. «Милостыней не устраивается быт человека...», — писал он. И далее продолжает, что нужны «реформы общие и решительные», то есть революционное преобразование общества.

Перед критиком возникал вопрос о дальнейших путях развития России, о характере будущего общественного строя. Он писал: «Присматриваясь к ходу развития народов Западной Европы и представляя

себе то, до чего она теперь дошла, мы можем питать себя лестною надеждою, что наш путь будет лучше».

Будучи утопиком, Добролюбов не мог создать чёткой и всесторонне обоснованной картины социалистических преобразований, но будущая Россия представлялась ему демократической республикой, в которой материальные блага принадлежат всему обществу, в которой весь народ, большинство населения активно участвует в общественной жизни.

Добролюбов разделял взгляды Герцена на грядущую революцию, как на крестьянскую, и верил, что основой социалистического строя будет сельскохозяйственная община. Но В. Кружков справедливо замечает, что Добролюбов всё же не придавал общине такого большого значения, как Герцен и Чернышевский. Добролюбов боролся за широкое, активное развитие крестьянского движения, хотя, конечно, не мог ещё отдать себе полного отчёта в том, что крестьянская революция была бы не социалистической, а буржуазно-демократической, и что она привела бы лишь к устранению крепостничества и к развитию капиталистических отношений.

Подлинный патриот своей родины, Добролюбов с гневом и сарказмом обрушивался на тех, кто либеральной болтовнёй отделивался от активного участия в борьбе за счастье народа. Великий критик высмеивает «платоническую любовь к общественной деятельности, платонический либерализм и благородство». «Если платонизм в женской любви смешон, то в тысячу раз смешнее платонизм в любви к родине, народу, к правде». Патриотизм для Добролюбова — сильное, действительное чувство, которое, по его мнению, можно назвать истинным только тогда, когда оно проявляется в конкретных делах. В. Кружков подчёркивает несовместимость патриотизма Добролюбова с теорией национальной исключительности, кичливым национализмом. Но автор раскрывает и различие между тем, как понимал патриотизм Добролюбов и как раскрывается это понятие в марксизме. Есть глубокое качественное различие между допролетарским демократическим патриотизмом и патриотизмом пролетарским, ибо «эти два вида патриотизма отражают классовое содержание двух различных эпох: эпохи до-

пролетарского, демократического освободительного движения, направленного против самодержавия и крепостного гнёта, и эпохи массового пролетарского движения, направленного не только против самодержавия, но и против буржуазии, за победу социалистической революции.

Характеризуя философские взгляды Добролюбова, В. Кружков подвергает критике работы В. Кирпотина, О. Войтинской, П. Лебедева-Полянского, посвящённые творчеству великого мыслителя. В работах этих и ряда других исследователей Добролюбов-философ характеризуется, как ученик Фейербаха, ничего самостоятельно не создавший. Между тем философские воззрения Добролюбова определяются не феербахизмом, а традициями русской материалистической мысли, конкретной исторической обстановкой в России 50-х годов.

Добролюбов воспринял лучшие черты диалектического метода. Наряду с этим его материализм был свободен от метафизичности и созерцательности. Вместе с Чернышевским он сделал исключительно много для развития русской материалистической философии. Правда, Добролюбов так же, как и Герцен и Чернышевский, не смог подойти к историческому материализму. Такие сложные вопросы, как значение производства в общественной жизни, диалектика перехода к наивысшим формам развития природы были ещё не доступны пониманию Добролюбова. Он не постиг в полном объёме роли человеческого труда как главного материального фактора освобождения человека от власти природы. Он не сумел, например, установить зависимость религии от общественных отношений и нередко говорил, что корень религии в необразованности людей. При всём том философия Добролюбова была высшим этапом развития материалистической философии до марксизма.

Особое значение имеют работы Добролюбова в области эстетики. В. Кружков справедливо критикует ряд статей о Добролюбова, в которых эстетические взгляды великого критика «выводились» из теории познания Фейербаха. В. Кружков, подчёркивая самостоятельный характер работ Добролюбова по эстетике, подвергает справедливой критике А. Лаврецкого и других исследователей, принижавших значение Добролюбова, упрекавших его в метафизиче-

ском понимании процесса художественного творчества. А ведь Добролюбов сумел применить диалектический метод к рассмотрению важных проблем эстетики! Развивая традиции Белинского и Чернышевского, он боролся против разрыва науки и искусства. Он выступал против чистого искусства, против схоластики и формализма, против эмпиризма и требовал, чтобы художник изображал жизнь во всём её стройном течении, будучи чутким не к одной внешней стороне явлений, но и к их внутренней связи и последовательности. Добролюбову принадлежат блестящие высказывания о значении для художественного творчества мирозерцания, ясного взгляда на действительность.

Обстоятельно характеризуются в книге также социологические взгляды Добролюбова.

Несмотря на идеалистический характер ряда высказываний Добролюбова о движущих силах истории, в его статьях имеются попытки материалистически осмыслить общественную жизнь. Таковы его высказывания о классовой борьбе, о значении экономических отношений в жизни общества, о роли народных масс. Правда, это лишь тенденции, отдельные материалистические догадки, но уже в этих догадках проявляются величие и сила Добролюбова.

Признание решающей роли народных масс в историческом процессе является главным и наиболее существенным во взглядах Добролюбова на историю.

Значительное внимание в книге В. Кружкова уделено этике Добролюбова.

Автор показывает, что центральное положение этики Добролюбова — отнюдь не разумный эгоизм, а активная деятельность человека в защиту своего права путём вмешательства в ход общественной жизни. И если мораль Фейербаха, по словам Энгельса, была выкроена для всех времён и народов, то этика Добролюбова формировалась в обстановке революционной ситуации 60-х годов. Добролюбов боролся за развитие волевого, целеустремлённого, сильного, высокоидейного человека, против аскетизма и ложного самоограничения, против подавления личности.

Вслед за социологическими взглядами автор рассматривает особенности революционно-демократической критики и эстетики Добролюбова. Нам кажется спорным по-

строение книги В. Кружкова. Эстетические взгляды Добролюбова автор сначала рассматривает в главе, посвящённой философским взглядам критика. Затем он переходит к социологическим и историческим взглядам Добролюбова и снова возвращается к эстетическим взглядам в главе об эстетике и критике, во многом повторяя то, что уже сказал выше. Книга была бы стройнее, если бы построение её было более целостным и вопросы эстетики и критики рассматривались в рамках одной главы.

Призывая к реабилитации действительности, Добролюбов считал задачей искусства создавать не мёртвую фотографию явлений жизни, а их отражение в развитии, и не только отражение, но и осуждение одних, поддержку других сторон действительности. В отличие от Фейербаха, Добролюбов интересовал общественный человек, активный деятель, боец за освобождение народа от врагов — крепостников. Принцип народности, отстаиваемый Добролюбовым, неразрывно связан с принципом жизненной правды в художественном творчестве. Реализм Добролюбова был направлен и против сухого, отвлечённого дидактизма, и против эмпирического натурализма.

Таким образом, в книге В. Кружкова широко охарактеризованы философские, социологические, эстетические взгляды Добролюбова. В каждом разделе своей работы автор подчёркивает самостоятельность мысли Добролюбова, её связь с революционными материалистическими традициями русской философии, её превосходство над взглядами западных домарксистских мыслителей. Мирозрение Добролюбова рассматривается, как один из этапов в истории русской материалистической философии.

При всём этом книга несвободна от недостатков. Мы указывали уже на некоторую декларативность в освещении связей между Добролюбовым, Белинским и Чернышевским. Есть в ней и другие недостаточно развитые положения. В ряде глав В. Кружков указывает, что Добролюбову приходилось сражаться против дворянских космополитов и против славянофилов, отстаивающих идею «самобытности» России. В. Кружков справедливо берёт слово «самобытность» в кавычки, но не углубляет критику этой ложной самобытности

В течение ряда десятилетий в русской литературе прививалась ложная концепция, согласно которой реакция в России была самобытной, а передовые теории проникали в Россию извне, заимствовались у западных мыслителей. Хотелось бы, чтобы В. Кружков более широко раскрыл то положение, что реакция в России могла казаться самобытной лишь потому, что она защищала отжившие феодальные отношения и отвергала более передовые начала. Ничего подлинно самобытного концепция славянофилов собой не представляла. Хотя некоторые из них и носили русские косоворотки, подчёркивали свою преданность старине, — их взгляды были в сущности подражательными. Они сложились под влиянием исторических взглядов немецких идеалистических философов, на них оказала сильнейшее влияние реакционная националистическая концепция. Подражательными, лишёнными самостоятельности были и религиозные построения славянофилов. Следовало глубже раскрыть это обстоятельство, чтобы острее противопоставить мнимой «самобытности» идеологов крепостничества и патриархальщины — подлинно революционную самобытность (если уж употреблять это слово) идеолога «мужичьей демократии».

Местами в книге односторонне характеризуется отношение Добролюбова к некоторым русским писателям. Автор монографии справедливо говорит, что Чернышевский и Добролюбов вели решительную борьбу против теории чистого искусства, против либеральных взглядов Тургенева, Гончарова и других. Но В. Кружков недостаточно внимателен к другой стороне вопроса. Отношение Добролюбова к таким корифеям русской литературы, как Толстой, Тургенев, Гончаров, отнюдь не сводилось к раскрытию их ошибочных взглядов. Автор отмечает, что Толстой и Тургенев поддерживали реакционных критиков — Григорьева, Дружинина, Дудышкина. Но мы знаем также, что эти писатели, верные патриотическим традициям русской литературы, всем своим творчеством, всем самым лучшим, что в нём есть, были далеки от теории чистого искусства. Добролюбов, как и Чернышевский и Некрасов, ощущал себя представителем народа в литературе, чувствовал свою ответственность за судьбы всей литературы,

поддерживал всё прогрессивное, что было в творчестве таких писателей-реалистов, как Толстой, Гурганев, Островский.. Подчёркивая в отношении Добролюбова к великим современникам-реалистам главным образом критику недостатков этих писателей, В. Кржжков даёт неполное представление о позиции критика.

В своих высказываниях об отношении Добролюбова к русской литературе автор не свободен от социологической односторонности. Он почти не использовал мысли Добролюбова о художественной высоте и совершенстве русской литературы, о мастерстве её классиков. Думается, что даже в работе, посвящённой мировоззрению Добролюбова, должна была бы найти большее место характеристика художественных требований Добролюбова.

Добролюбов был чрезвычайно тонок и проницателен в своём анализе мастерства писателей. Он высоко ценил юмор Гоголя, лукавую простоту Крылова, глубину характеров, созданных Пушкиным. Писал ли он о Елене, об Инсарове, о Катерине—его статьи пронизаны ошущением высокохудожественного идеала, с точки зрения которого он оценивает произведения писателей. Говоря о Катерине в «Грозе», Добролюбов видел в этом образе не только критику собственнических отношений,—он видел живой образ прекрасного, цельного, чистого человека. «Почему люди не летают?»—тоскливо восклицает Катерина, и в этом восклицании раскрывается её духовная красота, благородство её стремлений. Добролюбов чрезвычайно тонко чувствовал психологическое богатство образов, мастерство описания жизни, красочность языка великих русских писателей. В Кружкова приходится упрекнуть в недостаточном внимании к этим существенным чертам творчества Добролюбова.

Чернышевского, Добролюбова. Некая же автор рассматривает как представите-

лей «революционно-демократического реализма». Жаль, однако, что в книге отсутствует более детальная характеристика этого реализма и не раскрыто его отношение к критическому реализму, а местами автор даёт основания для противопоставления творчества великих реалистов—творчеству революционных демократов. Он употребляет также понятие «революционно-демократический романтизм», но и его лишь декларирует, не раскрывая сколько-нибудь подробно, не связывая с конкретными художественными произведениями,—таким образом, оно повисает в воздухе.

Есть в книге отдельные неточности. Вряд ли правильно называть Николая Успенского писателем народнического толка—этот писатель много сделал для разоблачения народнических иллюзий. Достоевский и А. Григорьев, стоявшие на откровенно реакционных, охранительных позициях, названы почему-то представителями чистого искусства. Неточно указание автора, что журнал, упоминаемый Добролюбовым в его письме от 1 августа 1856 года,—это «Колокол» Герцена. «Колокол» начал выходить в 1857 году и не мог упоминаться в письме 1856 года.

При всех этих недостатках книга «Мировоззрение Добролюбова» является содержательным трудом, в котором основательность проникновения в исторические материалы сочетается с партийным, современным подходом к этим материалам.

Пропагандируя материалистические традиции, ведя борьбу с космополитическими элементами, мы опираемся на наследство классиков русской философской мысли, на наследство представителей той богатейшей философской традиции, которую так ценил В. И. Ленин и одним из славнейших выразителей которой был Н. А. Добролюбов.

Б. РЮРИКОВ.

★

Новая поэма о Ленине

Грандиозна и ответственна задача—писать о Ленине, стратеге пролетарской революции, о величайшем гении чело-

вечества. С большим творческим волнением приступали к воссозданию его образа такие выдающиеся мастера литературы, как Горький и Маяковский. «Писать его портрет—трудно»,—отмечал Горький Маяковский, начиная поэму «Владимир Ильич

Расул Рза. «Ленин». Поэма. Перевод с азербайджанского А. Тарковского. Редактор А. Жаров. Азербайджан, Баку, 1950.

Ленин», выражал опасение, как бы условная поэтическая форма не исказила облик великого вождя, как бы

...строчек тыщи...
не закрыли...
настоящий,
 мудрый,
 человечий,
ленинский
 огромный лоб..

Тем же сознанием огромной ответственности перед темой проникнуто вступление к поэме «Ленин» Расула Рза. Поэт заявляет, что был бы счастлив «хоть час этой жизни воспеть, хоть мгновенье одно!»

В поэме «Ленин» наиболее значительны страницы и главы, посвящённые дружбе Ленина и Сталина. Ключ к раскрытию этой темы даёт глава «Горный орёл»: в Сибири, в посёлке Новая Уда Сталин получает первое письмо от Ленина; первое знакомство вырастает в дальнейшем в великую дружбу:

Две воли воедино сплавлены,
Два знамени в одно слилось.
Двух братьев — Ленина и Сталина
Нельзя себе представить врозь.

...В них сила боевого мужества
Семьи народов трудовой.
Вожди великого содружества —
Два сердца партии одной.

Всюду, где появляется Ленин — «с ним рядом — Сталин, никогда в боях его не покидавший». Всегда плечом к плечу с Лениным — «Великий Сталин, его соратник и любимый друг». Глава поэмы «Радость» может служить развёрнутым поэтическим комментарием к широко известной картине «Ленин и Сталин в Горках».

В поэме Расула Рза проходит и другая важная тема — тесная связь Ленина и Сталина с народом. Одна из лучших глав в поэме — «Весна»: Ленин, возвращающийся весной 1917 года из-за границы в Россию, беседует в поезде с солдатами, раскрывает им перспективы пролетарской революции. Глубокое знание Лениным и Сталиным народных чаяний и стремлений, их умение в решающий момент опереться на массы раскрывается в главе «У прямого провода». Через головы саботажников из Ставки Верховного Главнокомандующего Ленин и Сталин обращаются к солдатам, и народ, одетый в серые шинне-

ли, идёт за своими вождями. В главе «Покушение» с большой силой выражены гнев народа против предателей, посягнувших на жизнь Ленина, которые «свинцом хлестнули по живому сердцу народа...». С хорошим знанием русского крестьянского быта описывает азербайджанский поэт поездку Ленина в Кашино. Общение Ленина с крестьянами изображено тепло и проникновенно.

В глубоко эмоциональных образах выражена в поэме народная скорбь по Ильичу. Картины народного паломничества к смертному одру Ленина, нарисованные поэтом, зримы и выразительны. Стихи проникнуты большим и искренним чувством великой утраты.

Но вот в торжественный реквием врываются новые настроения и новые чувства.

И снова тишина завладевает залом, но
 иная,
Не прежняя: теперь светлей она,
Светлей и легче.

На трибуну Второго Всесоюзного съезда советов поднимается Сталин.

Трогателен в поэме образ делегата съезда, старого рабочего-бакинца, который вспоминает о работе товарища Сталина в бакинском подполье. Как бы в ответ на эти воспоминания в поэме звучат мужественные, величественные, отмеченные высокой поэзией слова исторической клятвы товарища Сталина.

И Сталина клятва у всех на устах,
Народа и партии пламенный стяг
Надёжные приняли руки..

Поэма завершается главой, посвящённой Параду Победы на Красной площади.

Расул Рза принадлежит к числу азербайджанских поэтов, которые посвящают свои произведения современным темам. Поэт стремится обновить приёмы азербайджанского стихосложения. Об этом свидетельствуют такие ранее опубликованные произведения Расула Рза как «Маяковский», «Чапей», «Си Ау», «Кармен», «Абиссиния». Он успешно борется с устаревшими ориенталистскими влияниями. В поэме «Ленин» эти влияния лишь отчасти сказались в пространных рассуждениях о самом себе во «Вступлении», напоминающем традиционный пролог к восточным поэмам. В большинстве же стихотворений и поэм Расула Рза боевое револю-

ционное содержание сочетается с новизной формы. В этом сказывается влияние на Расула Рза передовой азербайджанской и русской революционной поэзии, в частности Маяковского. Расул Рза — один из первых и лучших переводчиков произведений великого поэта на азербайджанский язык.

Самед Вургун как-то отмечал, что и в оригинальных произведениях Расула Рза «нетрудно заметить черты сходства с поэзией Маяковского». В поэме «Ленин» влияние поэтики Маяковского отчётливо отразилось в главах, посвящённых похоронам Владимира Ильича, и в поэтических интонациях отдельных строф.

Но в противоположность Маяковскому, который, работая над поэмой «Владимир Ильич Ленин», боялся «снизиться до простого политического пересказа» и стремился построить свою поэму на крупных планах, на обобщениях, — Расул Рза останавливается на изображении отдельных фактов, связанных с жизнью и деятельностью Владимира Ильича. Поэт часто обращается к простому пересказу известных исторических эпизодов (таковы, например, эпизод с заявлением Ленина приставу при первом аресте, беседа Ленина с солдатами по дороге из Финляндии, телеграмма красноармейцев Ленину о взятии Симбирска и т. д.).

В начале поэмы Расул Рза оговаривается, что он не ставил перед собой задачи отобразить все периоды жизни и деятельности Ленина. Никто, разумеется, и не предъявит к автору столь грандиозных требований. Но всё же в образе Ленина есть черты, которые никак нельзя обойти, без которых образ вождя пролетариата и создателя советского государства оказывается недостаточно полным и рельефным.

«Ленин весь, во все мгновения жизни, — в бою», — писал Ромэн Роллан. Эта особенность Ленина недостаточно подчеркнута в поэме. Здесь говорится о борьбе Ленина с царским самодержавием, о борьбе с буржуазией в период Октябрьской революции, но в поэме не найдла своего

отражения борьба Ленина за большевистскую партию, борьба с оппортунистами, с социал-предателями. Не отражена в поэме и борьба Ленина против империалистического лагеря.

К образу Ленина, к его трудам мы обращаемся, как к вечно живому, неиссякаемому источнику мудрости, повседневно ищем и находим в нём руководство к действию.

«Помните, любите, изучайте Ильича, нашего учителя, нашего вождя.

Боритесь и побеждайте врагов, внутренних и внешних, — по Ильичу¹, — учит нас товарищ Сталин. И вот именно то, что особенно важно и ценно в образе и учении Ленина для нашей сегодняшней борьбы — для борьбы за мир, для разоблачения поджигателей войны и их пособников социал-предателей — почему-то опущено в поэме Расула Рза. При всех отмеченных выше достоинствах поэмы — это её серьёзный недостаток. Этот большой пробел делает поэму незаконченной, как бы фрагментарной.

Недоработана поэма и в композиционном отношении. В ней, не считая «Посвящения», три вступительных главы — «Вступление», «Горный орёл», «Мавзолей». Создается впечатление, что автор, приступая к созданию произведения на столь ответственную тему, долго не мог решить, с чего начать своё произведение, и предложил вниманию читателей несколько вариантов вступления.

Однако и при наличии отмеченных недостатков произведение Расула Рза — большой труд, важный этап в творческом росте одного из видных представителей азербайджанской поэзии. В результате дальнейшей серьёзной доработки поэма может быть превращена из отдельных, порою удачно и ярко написанных, фрагментов — в цельное и в гораздо большей мере обращённое к современности произведение.

С. ЕВГЕНОВ

¹ И. В. Сталин. Сочинения, т. 7, стр. 15.

Утро великой стройки

Самым удивительным во всей этой фантастической картине, которая разворачивалась перед нами, была её полная реальность, жизненность и какая-то даже... привычность».

Эти слова взяты не из утопического романа, а из книги, которой чужд какой бы то ни было произвольный вымысел, — из документальной повести о грандиозных по размаху изыскательских и пректных работах на Сталинградском гидроузле.

Ключ к пониманию бесконечно важного значения этой начальной стадии больших строительных работ даёт в повести хорошо документированная глава — «Рушится плотина Сент-Френсис».

Крушение плотины Stony River (США)...

Разрушение плотины Сем Lake (США)...

Обрушение Бузейской плотины (Франция)...

Разрушение плотины Зербино (Италия)...

Крушение плотины Аустин в Техасе (США)...

Крушение Денвильской плотины (США)...

Разрушение плотины Дельта (Египет)...

Прорыв Сбулфоркской плотины (США)...

Это — простая выдержка из оглавления научного труда, посвящённого бесчисленным катастрофам на «коммерческих стройках» Запада.

Коммерческие... В этом всё дело! Истинных причин столь частых, особенно в Америке (80 процентов!), катастроф гидротехнических сооружений «одной геологией... никак не объяснишь», — справедливо замечают авторы повести «Утро великой стройки».

И замечательен другой исторический факт: «У нас в стране не валились с гор пятидесятиметровые плотины. И равнинные реки не уносили на километр ни левого, ни правого крыла плотины... За все годы советской власти не было ни одной аварии, несмотря на гигантский, невиданный в мире размах гидротехнического строительства! И задавая вопрос — «что же обеспечивает наши успехи в гидротехнике?» — главный геолог Сталинградской ГЭС отве-

чает: «Изыскания, изыскания, изыскания — я с удовольствием повторяю это слово». Но, конечно, и здесь истинных причин этих успехов «одной геологией никак не объяснишь».

Так в «чистую» науку и «чистую» технику врывается политика — борьба двух миров, двух систем, историческое соревнование двух методов хозяйствования, двух методов подчинения природы воле человека. Большое достоинство повести, написанной в творческом содружестве геологом-литератором Василием Галактионовым и молодым журналистом Анатолием Аграновским, состоит в том, что вся она пронизана духом этой борьбы, этого соревнования, патристической гордостью советского человека, глубоко сознающего своё великое историческое право на такую гордость.

...Идёт кропотливая, неустанная, обыденная работа, сопряжённая с тысячью мелочных забот.

Но за всей буднично подробной картиной жизни разведчиков армии строителей мы различаем ясные контуры будущего: перед нами возникает великолепное зрелище как бы уже осуществлённого сталинского замысла: мы видим громаду плотины-красавицы, шагающие через бескрайние степи стальные мачты линий высоковольтных передач, блистающие белизной теплоходы на волнах Сталинградского моря, летящую на восток синюю стрелу магистрального канала Волга — Урал...

Другими словами, перед нашим взором разворачивается та фантастическая картина, в которой самое удивительное — её полная реальность, жизненность и какая-то даже... привычность.

Живое слияние мечты и действительности составляет душу документальной повести «Утро великой стройки». Это та черта всего лучшего в нашей литературе, которая в теории социалистического реализма получила определение, как единство реалистического и романтического начал.

Верные правде строительных будней, авторы заимствовали эту черту для своего повествования у самой жизни и передали её столь же документально точно, как рассказали они о труде сталинградских изыскателей. «...Пришло время, — го-

В. Галактионов, А. Аграновский. «Утро великой стройки». Документальная повесть. «Знамя» № 6 за 1951 год. Главный редактор В. Ножевников.

взрывает главный геолог, — отправлять экспедицию в районы, которые в будущем станут морским дном. Мы уже больше часа сидели с Мстиславом Евгеньевичем, договариваясь о всех подробностях организации работ, утрясая вопросы кадров, транспорта, заработной платы, и только теперь удивлённые глаза юного студента неожиданно напомнили нам, что речь идёт о чудесной сказке, которая скоро станет действительностью». Недаром всё, о чём рассказано в «Утре великой стройки», одновременно совсем просто и необычайно, всё обыденно и всё празднично, всё естественно и всё заставляет изумляться...

Фабулу и сюжет, действующих лиц и конфликты этой первой очерковой повести о великих стройках коммунизма дала реальная жизнь. И как всегда, оказалось — нет ничего увлекательней, поучительней и неожиданней самой жизни... Но перед каждым, кто пишет документальное произведение, возникает опасность — отдаться на волю бесконечному разнообразию фактов, событий, лиц и утонуть в море частных подробностей, несущественных явлений, ничтожных обстоятельств труда и быта. Авторы повести «Утро великой стройки», видимо, ясно представляли себе эту опасность и поэтому счастливо её избежали.

В коротеньком предисловии они пишут, что, «не претендуя на полное описание всего хода работ, стремились отобрать типическое в событиях и характерах людей».

Типическое в событиях... Темпы строек, их размах, всё возрастающая механизация труда — этим и прежде славилась созидательные работы нашего народа. Но темпы строек коммунизма, их размах и механизация оставляют далеко позади всё, что на опыте знал начальник Сталинградгидростроя Логинов, который начинал свою жизнь строителем десятиником на Днепре, досрочно сдавал гидростанцию на Чирчике и приехал в Сталинград с ещё неизрасходованным блокнотом бланков Днепротгэса, восстановлением которого он руководил после войны... Даже для советских строителей здесь, под Сталинградом, «всё шло, словно нарочно, вразрез с обычаями!»

«...Конечно, всё было бы куда проще, если бы, по канонам проектно-изыскательских работ, сперва геологи трудились несколько лет и лишь после этого включи-

лись бы проектировщики... Строители Сталинградской ГЭС, не дожидаясь готового проекта, ставили уже подсобные заводы, прокладывали дороги, строили посёлки. Это было нелегко, но, совмещая, сжимая воедино различные этапы работ, мы выигрывали главное — время...»

Очевидно, что типическое в небывало новом — это как раз и есть небывалость и неизбежна происходящего.

...Приходит юноша-студент и просит принять его на лето в экспедицию. Начальник отделения водохранилищ Гидропроекта сосредоточенно и деловито, не замечая удивительного, странного смысла своих слов, спрашивает юношу: «На дно Сталинградского моря поедете?» Юноша недоверчиво переспрашивает: «Какого моря?» Начальник повторяет: «Сталинградского... будущего...» Это — типическое, именно потому, что воспринимается как необычайное.

...На волжских берегах разыскивают начальника экспедиции, чтобы сообщить ему — с Урала прибывает четырнадцатикубовый экскаватор и надо немедленно обеспечить ему широкий фронт работ... Рабочие Урала раньше срока изготовили чудо-машину, — не стоять же ей без дела! И вот ломаются все «обычные» представления о сроках, последовательности, масштабах работ». Человек рождает передовую технику, и техника эта заставляет человека по-новому мыслить и, казалось бы, невозможное делать возможным. Это — типическое, именно потому, что небывалое.

Типическое в событиях авторы документальной повести «Утро великой стройки» сумели отобрать безошибочно и показать убеждающе просто, выразительно, ярко.

Типическое в людях... Оно неразрывно связано с типическим в событиях, потому что люди — творцы нового, потому что реальность наших планов — люди.

В той же шестой книге «Знамени», где напечатана повесть В. Галактионова и А. Аграновского, есть статья А. Суркова «Советская литература и великие стройки коммунизма». Среди многих больших вопросов, поставленных в ней, один привлекает к себе особое внимание. «Поймём ли мы те новые явления, которые отражены в этих пяти стройках коммунизма и будут порождаться ими, — спрашивает А. Сур-

ков,— или не поймём? Вот главное. Если не поймём, мы будем мельчить... Художнику мало умозрительного знания, мало взять и сопоставить цифры — художнику надо всё это увидеть и прочувствовать, причём увидеть «плотно», глубоко, и понять всё это надо через человека, повтोरять, через человека!..» Старая, но вечно новая мысль.

Было бы ненужным преувеличением, если бы мы сказали, что авторы повести «Утро великой стройки» всё новое и небывалое, типическое в событиях увидели и поняли через человека.

В этой повести имён и фамилий гораздо больше, чем человеческих образов и характеров. Нередко даже важные события раскрываются не через их непосредственных участников, а помимо них, вне их психологии, чувств, чаяний, интересов. Татьяна Лутохина, Тоня Королёва, Покровская и многие другие герои, которые проходят через всё повествование, так и остаются до конца книги мало знакомыми, в сущности, совсем неинтересными для нас людьми.

В то же время некоторых героев, которым повествование отводит довольно скромную, эпизодическую роль, авторы представляют читателю так многообещающе, что они привлекают к себе неоправданно большое внимание (не потому, что они не заслуживают такого внимания, как реальные люди, а потому, что их «литературное бытие» в повести слишком незначительно). «Распахнулась дверь, и на пороге картинно вырос... Нет, описать этого человека надо со всей обстоятельностью... Сказать о бороде шошедшего, что она окладиста, значит ничего не сказать...» Так появляется в повести технорук по бурению Донской экспедиции Николай Владимирович Альшанский, появляется, чтобы поразить своей колоритностью воображение читателя и уйти со сцены, не доказав всерьёз самой необходимости своего появления...

Разумеется, нет ничего труднее, чем открыть типическое в индивидуальном облике человека и в его делах. Но к чести авторов, им многое в этом отношении хорошо удалось.

Спокойный, педантичный и неторопливый учёный Егоров в обстановке бурных споров, вечной спешки, напряжённых исканий «по-

началу производил странное впечатление». «Не понимал я начальника нашей лаборатории. Равнодушие? Не увлёк масштаб работ?» — признаётся в своём недоумении главный геолог строительства. Но проходит неделя, другая, третья... Замечательные черты характера этого скромнейшего человека, его организаторский талант, непоколебимая большевистская принципиальность, глубокий интерес ко всему окружающему, удивительные способности воспитателя, неутомимая энергия выявляются шаг за шагом. И незаметно он завоёвывает все сердца, становится душой экспедиции. Коммунисты выбирают его секретарём экспедиционной парторганизации.

Этот прекрасный образ потому удался В. Галактионову и А. Аграновскому, что они, по их собственным словам, «сложили» его «из многих чёрточек», связали «большое с малым».

По этой же причине удался и другой, прямо противоположный характер — «отрицательный тип» Калихина. Он написан, собственно, тем же методом постепенного снятия кажущейся противоречивости внешнего облика и внутреннего образа героя. Этот высокий, статный, «всегда представительный», чрезвычайно уверенный в себе человек, наделённый «сочным баритоном» и обольстительными манерами, тоже раскрывается шаг за шагом. Но он медленно и неумолимо разоблачается как полное ничтожество, фатоватый себялюбец, лишённый «самой обыкновенной профессиональной чести», в решительную минуту делающий в своём поведении поправку на «коэффициенты малодушия и перестраховки», которые между тем «могут обойтись государству в миллионы и миллиарды рублей».

Однако, обратив внимание на довольно часто встречающееся в жизни противоречие между внешней повадкой человека и его подлинной сущностью, авторы повести как бы решили извлечь максимум возможного из своего правильного, хотя в общем и не нового наблюдения. Незаметно для самих себя они превратили такой контраст в характере человека едва ли не в житейское правило, а раскрытие этого контраста — в литературный приём.

Так, геолог Раиса Сенкевич, совсем как Егоров — «молчаливая, сосредоточенная девушка», которая по общему мнению более всего подходила «для спокойной, кабинет-

ной работы», оказывается героем-полевиком... Наоборот, геолог Лена Грошева, «весёлая и живая девушка», словно созданная «для работы в полевых условиях», оказывается, подобно Калихину, себялюбивой пустышкой... Но всё это именно оказывается, а не раскрывается, потому что, в отличие от образов Егорова и Калихина, реалистические портреты Раисы и Лены «заменены» скорописными копиями с привычного очеркового шаблона. И нельзя здесь не вспомнить верную мысль самих авторов: «Есть слова (добавим — и зримы. — Д. Д.), которые потускнели от частого употребления...»

Типическое в людях авторы повести «Утро великой стройки» сумели донести до нас не с такой полнотой и безошибочностью, как типическое в событиях. Но упреки, которые вправе сделать им читатель, носят частный, а не общий характер.

Удача образа Семёна Николаевича Егорова — не случайна в этой документальной повести. С ним рядом стоит начальник экспедиции Припотень, начальник первого отряда полевиков Гусаров, топограф Леонид Егоров, новый главный геолог экспедиции Панов — те люди сталинградской стройки, что показаны в повести с рельефной отчётливостью в своих главных, прекрасных чертах — в своём гордом патриотизме и ясном понимании той великой цели, которой они служат, в своей страстной увлечённости милым их сердцу делом. «В хорошие руки передали защитники Сталинграда знамя борьбы за счастье народа...» — справедливо говорит главный геолог Сталинградской ГЭС, от лица которого идёт повествование. Он и сам — чело-

век, влюблённый в свою профессию, отдающий всего себя общему делу. Он знает — где бы ни появился советский геолог, это «провозвестник нового, хорошего, светлого. Пришёл геолог — значит в этом месте будут добывать нефть, или строить гидростанцию, или закладывать социалистический город, или рыть канал». И оттого, что он так широко и так современно понимает свою роль во всей созидательной работе строящего коммунизм народа, в его словах, обращённых к товарищам по работе, в его суждениях о людях, в его раздумьях постоянно звучит прекрасное слово ответственность.

Ответственность перед народом, для которого строятся эти гиганты, ответственность перед партией, которая доверила геологу быть разведчиком армии строителей, ответственность перед будущим, ибо воздвигнутое сегодня должно жить века!..

И авторы хорошо показывают, как то, что всегда было тягостно человеку, что неизменно обременяло его и ощущалось им, как нарушение его внутренней свободы, перестало быть бременем — в чувстве ответственности советского человека перед обществом, перед человечеством заключена его внутренняя свобода. Вся эта повесть о великой стройке коммунизма проникнута подлинной поэзией ответственности советского человека за то малое или большое дело, которое выпало на его долю в опромной исторической коллективной работе народа. В этом — источник силы человека, сознающего себя, подобно павленковскому Воропаеву, «человеком для людей».

Д. ДАНИН.

★

Обеднённые образы

В книгу Льва Линькова «Отважные сердца» вошли девять рассказов и одна повесть. Эти произведения знакомят читателя с трудной и важной работой советских пограничников. Автор хорошо знает и умеет описать обстановку, условия, в которых приходится действовать воинам, стоящим на страже наших границ. Это знание

и это умение видеть и передать многие подробности разносторонней профессии пограничника проявляются в каждом рассказе, в каждой детали, описываемой автором.

Из рассказов Льва Линькова читатель узнаёт о разнообразных географических условиях пограничной службы, о сложных методах охраны наших границ, о том, как несли свою службу пограничники в различные периоды истории советской страны. познавательная ценность книги «Отважные сердца» бесспорна.

Лев Линьков. «Отважные сердца». Рассказы. Редактор Н. Старжинский. Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1951.

Но как только Л. Линьков переходит от описания внешних сторон жизни и борьбы советских пограничников к описанию их внутреннего мира, оказывается, что о чувствах и мыслях этих людей автор может рассказать удивительно мало.

Герой рассказа «Исполнение желаний» колхозник Ермолай Серов хочет стать пограничником. С трудом добивается он исполнения своего желания и вскоре убеждается, что служба в пограничных войсках гораздо сложнее, чем он это себе представлял. Серов постепенно осваивается в новых, непривычных для него условиях, упорно борется со своими недостатками, мешающими ему стать дисциплинированным бойцом. То, что писатель рассказывает о методах выслеживания нарушителей границы, о многих важных подробностях жизни пограничной заставы — любопытно и интересно, хорошо и точно. Но едва лишь писатель переходит к изображению живого человеческого характера, той внутренней борьбы, которую пришлось выдержать герою рассказа, чтобы победить собственные слабости и недостатки — повествование становится вялым, неинтересным, лишённым художественной убедительности. То, что сообщает автор о внутренних переживаниях, о мыслях и чувствах Ермолая Серова, — лишено психологической точности и конкретности, которые являются необходимым условием писательского рассказа о человеке.

«Сознания у него нехватает, оттого и дисциплины маловато, — говорят в начале рассказа о Ермолае его товарищи, — ...а он лежал с закрытыми глазами, охваченный острым чувством стыда». Вот, собственно, и всё, что мы узнали о психологическом повороте, заставившем Ермолая Серова понять свои ошибки.

В конце рассказа, когда герой видит в стенной газете свой портрет, под которым написано «Привет мастеру пограничной службы», он «почувствовал на глазах слёзы радости».

«Чувство стыда», «слёзы радости»... Дело не только в том, что этих деталей бесконечно мало для описания того, что пережил и переживал за полтора года человек, задержавший 198 шпионов и диверсантов. Дело ещё и в том, что эти трафаретные слова ни в коей степени не вскрывают типичных черт характера героя.

И так как в рассказе нет конкретного образа человека, — то нет и не может быть типического образа, потому что в искусстве обобщение всегда возникает из конкретного.

Духовно обеднённым предстаёт перед читателем советский пограничник Ермолай Серов. И как ни интересны описания событий, в которых он принимает участие, они не восполняют пробелов в раскрытии образа героя. Знакомство с характером и внутренним миром героя было бы для читателя ещё более интересным и поучительным.

В рассказе «Заслон у Большой зарубки» говорится о событии исключительном даже для богатой событиями жизни пограничников. Сержант Фёдор Потапов и пограничники первого года службы Клим Кузнецов и Закир Османов отправляются в наряд к дальнему горному проходу, известному под названием Большая зарубка. В горах происходит обвал, и советские бойцы оказываются отрезанными от мира. Обстоятельства таковы, что до самой весны с ними нельзя связаться, их нельзя снабдить продовольствием, им невозможно помочь.

Три человека, затерянные в горах, голодающие, страдающие от холода, не только не теряют мужества, не предаются отчаянию, но продолжают стойко охранять границу. С юга, из-за кордона, появляются три человека — якобы иностранный учёный со своими помощниками. На самом деле это шпионы. В течение нескольких месяцев горстка советских пограничников в исключительно сложных условиях борется с врагами — и побеждает их.

И в этом рассказе есть много интересных описаний специфических условий работы пограничников, их жизни в трудных условиях, их борьбы с суровой природой. Но и здесь автор проходит мимо самого главного, о чём следовало бы рассказать: какими характерами, какими моральными свойствами обладали советские люди, в чём секрет их силы и выдержки, их непреодолимого упорства, почему Потапов, Кузнецов и Османов выдержали все трудности и победили, а пришедшие из-за границы диверсанты Матиссен, Сорокин и Аджан оказались побеждёнными. Обо всём этом Лев Линьков говорит как-то вскользь. В результате характеры героев остаются неясными, чувства их неощутимыми.

Клим Кузнецов — горожанин, который «с детства привык к заботам родителей и школы», к жизни большого города. Условия границы для него особенно трудны. Сначала он грустит, поёт печальную песню, потом, оказывается, — он «словно повзрослел за эти последние недели». Дальше, когда Кузнецов мужественно борется с одним из шпионов и побеждает его, автор замечает: «Да, теперь он всё понимал». Кузнецов действительно проявляет себя смелым и мужественным бойцом, но читатель знакомится только с внешним рисунком событий, а чувства, мысли и переживания героя остаются ему не известными.

Закир Османов мечтает о том, чтобы построить замечательную машину, но и его мечтания описаны автором шаблонно, они, как и образ этого героя, в целом тоже лишены неповторимой характерности.

О Фёдоре Потапове мы узнаём только то, что: «Клим отлично представлял, каким хорошим электросварщиком был Фёдор до призыва в армию. И в Новосибирске на заводе Потапов наверняка был примером для товарищей по цеху и хорошо, что его любит Вера, карточку которой он показывал недавно и о которой говорил, сдержанно и гордо улыбаясь». Всего этого — слишком мало для раскрытия характера героя, а с Потаповым, совершившим столько подвигов, хотелось бы ближе познакомиться.

Недостатки, свойственные рассказам «Исполнение желаний» и «Заслон у Большой зарубки», в ещё большей степени относятся к другим рассказам сборника. Есть среди них и совсем слабые, как, например, «Встреча в поезде», «Самая большая любовь», в которых нет даже интересных

описаний. Эти незрелые произведения не заслуживали быть включёнными в сборник.

Наиболее удачным из произведений, вошедших в книгу «Отважные сердца», является повесть «Капитан «Старой черепахи»». В ней показано, как наши чекисты в трудных условиях гражданской войны боролись с английской разведкой, засылавшей на юг Советской России своих агентов — диверсантов, шпионов, убийц. Автор правдиво воспроизводит обстановку героической борьбы, которую под руководством партии большевиков вели советские люди с врагами родины. Несмотря на то, что события повести имеют тридцатилетнюю давность, они воспринимаются, как вполне современные.

Однако и в этом — лучшем произведении сборника — сказались свойственные всей книге недостатки. Знакома читателя с историей матроса царского флота Андрея Ермакова, ставшего командиром советского пограничного судна, писатель игнорирует внутренний мир героя. Автор на протяжении всей повести не показывает ни одного его душевного движения.

Книга Л. Линькова, интересная по материалу, по фактам, событиям, которые в ней описаны, не несёт в себе глубокого раскрытия черт советского человека.

В наше время исторические события столь грандиозны, перемены, происходящие в жизни каждого человека, столь значительны, что порой из интереса к самим событиям мы прощаем художественные слабости книги, им посвящённой. Но материал, полноценно, художественно не вскрытый в произведении, — это материал обеднённый.

И. КРОВОТА.

★

Монография о Некрасове

Исследование В. Евгеньева-Максимова «Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова» подводит итог почти пятидесятилетней работе автора по изучению творчества великого русского поэта. Важность

В. Евгеньев-Максимов. «Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова». Том 1. Редактор В. Дружин. Гослитиздат, М.—Л. 1947. Том 2. Редактор Г. Бердников. Гослитиздат, М.—Л. 1950.

темы, сознание высокой ответственности перед советским читателем определили большие достоинства его монографии. Широта привлечённого материала, ревностное отношение к подбору фактов и тщательное их изучение, строгость и обоснованность выводов, полнота критически выверенных данных о жизни и деятельности Некрасова — всё это положительные черты разбираемого труда. Отмечены в сторону

многочисленные «апокрифы», созданные усилиями и радетелей, и особенно недругов Некрасова. Труд В. Евгеньева-Максимова будет первой научной биографией великого русского поэта (мы говорим — «будет», так как вышедшие два тома — около 800 страниц! — охватывают лишь период до 1856 года).

Понятно, сейчас ещё нельзя вынести окончательные суждения о работе В. Евгеньева-Максимова. Но некоторые предварительные замечания как о достоинствах монографии, так и о её недостатках не только можно, но и нужно сделать.

Не торопясь, вникая во все подробности и детали, ведёт автор своё повествование, и перед читателем черта за чертой раскрывается жизнь великого поэта... Детство, безотрадные первые «впечатления бытия», годы ученья в Ярославской гимназии, неудовлетворённость юноши Некрасова окружающей жизнью, бегство в Петербург, тщетные попытки сдать вступительные экзамены в университет — всё это завершается «петербургскими мытарствами»; поэт оказывается на самом дне города, в мире жестокой нищеты. Ценой огромных усилий и самоотверженного труда Некрасов выжил, устоял, не сдался. Однако мытарства не кончились и тогда, когда поэт обрёл возможность постоянного литературного заработка. Попрежнему Некрасов был вынужден вести жизнь литературного чернорабочего, подёнщика, поставщика изделий для литературных маклаков. Но и тогда Некрасов выстоял: «годы презрения» не только не ослабили его воли, а, наоборот, закалили характер, утвердили веру в себя, придали строгую определённую его мировоззрению, определили его демократическую направленность. Суровая школа жизни была для Некрасова и политической и поэтической школой — в ней проходила выучка «муза мести и печали». Встреча с Белинским утвердила поэта на избранном им пути: личный опыт стал теоретически осознанным, частные наблюдения были положены в основу стройной системы взглядов, путь вперёд стал яснее. Проза жизни для Некрасова стала предметом поэтического изображения, а поэзия с её «мечтами и звуками» опустилась на землю, начала говорить «презренной

прозой». Личные наблюдения, пережитое, собственная биография осознавались уже как типические явления. Они были положены в основу работы по созданию литературных характеров. Так родилась ранняя некрасовская проза с её резким автобиографическим колоритом и огромной силой обобщения.

Суровая школа жизни, пройденная поэтом, помогла ему впоследствии создать такую поэму, как «Железная дорога», такие стихотворения, как «На Волге», «Плач детей». Сила этих произведений в том, что за образами героев этих стихов видна личность поэта, слышен его стон, чувствуются его страдания, ощущается и сила его. Судьба поэта стала судьбой народа, а судьба народа — судьбой поэта. Вот почему картины эпического характера носят у Некрасова яркий субъективный отпечаток, а субъективное всегда выводит на просторы эпического изображения жизни. Образ Царя-Голода («Железная дорога») несомненно создан человеком, которому пришлось много голодать. Но одновременно он полон большого объективного содержания: Некрасов с изумительной силой проникновения в суть буржуазного общества вскрывает здесь механику капиталистической эксплуатации, основанной на так называемом «экономическом принуждении».

Всё это нашло полное отражение в работе В. Евгеньева-Максимова, использовавшего и воспоминания современников, и архивные данные, и произведения поэта. Автор неоднократно выезжал на родину Некрасова, отыскивал людей, лично знавших его, беседовал с крестьянами, — выясняя, уточняя детали жизни и быта поэта, по крупице собирая и копя всё то, что хоть в малой степени характеризовало Некрасова или его окружение. Во многом данную работу повторить уже невозможно: умерли современники, утрачены некоторые архивы, отсюда — целые страницы монографии приобретают значение первоисточника. В книге имеются обширные сведения о предках Некрасова, обстоятельная характеристика его родителей, особенно отца, ценные данные о влиянии крестьянской среды на поэта в момент формирования его личности, подробнейшее описание ярославской гимназии... Причём, повествуя о жизни поэта, учёный показы-

вайт тот реальный материал, который стал предметом поэтического изображения.

Автор стремится всё документировать, обставить наибольшим количеством подробностей и деталей. Это и понятно: в жизни великого человека каждая черта драгоценна, малое может пролить свет на большое. Но чрезмерная детализация и документированность порой не только не проясняют, а скорее затемняют суть вопроса. В монографию включены материалы, добытые исследователем за пятьдесят лет. Однако за это время претерпевали изменения и взгляды исследователя, и интересы читателя. Это обязывало учёного делать очень строгий отбор, ставя всё на суд современности. К сожалению, автор не всегда так поступал. В результате книга оказалась перегруженной второстепенным материалом, разбухла; пунктуальное следование за показаниями документов привело местами к эмпиризму, сужающему, в конце концов, и значение самих документов.

В процессе работы исследователю приходится пользоваться «лесами», без них нельзя строить. Но коль скоро постройка закончена, леса необходимо убрать. В. Евгеньеву-Максимову, очевидно, жаль было убирать леса, — он их оставил. Не к чему, например, было воспроизводить в книге старые споры, подробно разбирать различные точки зрения на Некрасова, которые были в своё время отвергнуты наукой, — монография должна отличаться строгостью позитивного изложения.

Конечно, никакого интереса не представляет вопрос о количестве любовниц отца поэта. Н. Некрасов сказал об этом в «Родине» два слова: «грязный разврат». Биограф же предпринял целое исследование, в результате которого установил, какая из любовниц Алексея Сергеевича Некрасова являлась «коренной» и какие ходили «в пристяжке». Всё это производит впечатление довольно странное. И совершенно недоумеваешь, когда автор сравнивает (разумеется, в отрицательном плане) любовь поэта с «...примитивными любовными отношениями, которые связывали Алексея Сергеевича с его Аграфенами, Федосьями и т. д.»! Явления эти настолько несоизмеримы, что мысль о сравнении кажется совершенно неуместной. Очевидно, автор продолжает спорить с какими-

то старыми своими противниками, до которых советскому читателю нет никакого дела.

Не было никакой нужды, например, в сотый раз полемизировать с неким Н. Гутьяром, который оспаривал неопровержимые данные о тяжёлом положении Некрасова в первые годы петербургской жизни. Но В. Евгеньев-Максимов не может, видимо, оторваться от старых своих противников. Так, он уже сейчас дал обещание изложить в третьем томе все стадии дела об огарёвском наследстве, которое в своё время вызвало ожесточённые споры. Сейчас оно может считаться «вполне решённым», и нет нужды снова разбирать его во всех деталях.

Уделяя слишком много внимания ненужным спорам, автор не касается темы Некрасов-художник. Некрасов-поэт — темы мастерства. Да и тогда, когда исследователь подробно останавливается на том или ином существенном вопросе, он зачастую освещает его односторонне.

Возьмём старую тему — Некрасов и Белинский. Автор монографии рассматривает её весьма пристально. Угол зрения определён: Белинский — учитель, Некрасов — ученик, преклоняющийся перед своим учителем. Всё это так. Но не следует забывать, что перед учителем был не просто ученик, а гениальный ученик, обладавший таким богатством наблюдений жизни, какого не имел тогда учитель. С другой стороны, ко времени знакомства с Некрасовым Белинский только что выходил из стадии так называемого «примирения» с действительностью, только что начал преодолевать свой ошибочный взгляд на разумность окружающей действительности (заметим, что рецензия на «Мечты и звуки» написана в период «примирения», чего В. Евгеньев-Максимов совершенно не учитывает). Невероятно, чтобы в таких условиях беседы с гениальным учеником не могли ничего дать учителю. Но исследователь убеждён, что Некрасов не мог быть для Белинского ничем, кроме объекта воспитания. Рассматривая факты, говорящие о том, что Некрасов-критик довольно часто предвещал мнение Белинского, учёный отмечает всякую возможность какого-либо воздействия статей Некрасова на тот или иной частный отзыв Белинского. В тех же случаях, когда

Некрасов высказывал о какой-либо книге мнение более чёткое, более политически определённое, нежели аналогичное суждение Белинского, исследователь объясняет: цензура! Белинскому она мешала, Некрасову не мешала... Почему же? Некрасов выступил в газете, а Белинский — в журнале, — отвечает учёный. Но разве цензура в газетах была более мягкой, чем в журналах, — не наоборот ли? Биограф, видимо, посчитал обидным для Белинского признать за Некрасовым (ученик!) большую чёткость и определённую в решении отдельных вопросов.

Ярко выраженная демократическая устремлённость Некрасова — представителя «голодной братии» (выражение Белинского), — прямолинейность его духовного развития (Некрасов не знал мучительных противоречий Белинского), цельность натуры полностью исключала возможность примирения с окружающей действительностью. Более того, автор романа о Тихоне Тростникове показал зверства буржуазной эксплуатации, нарисовал правдивую страшную картину процесса обнищания масс. Проникновенное изображение противоречий действительности Некрасовым не могло не оказывать влияния на Белинского. В авторе статьи о «Парижских тайнах» трудно не видеть человека, который очень внимательно изучал «Петербургские углы»...

Традиционность в освещении темы Белинский — Некрасов помешала В. Евгеньеву-Максимову глубоко разобраться и в истории сборника «Мечты и звуки», дать должную оценку первой книге стихотворений Некрасова, которую он считает произведением «романтика эпигонского типа». Но, как известно, поэт ожидал сочувственного отзыва о своём сборнике именно от тех, кто был «недоволен настоящим порядком вещей». Совершенно очевидно, что пафосом первой — художественно слабой — книги Некрасова был протест против мира страданий, лишений, мученического бытия. Он-то и составляет её внутреннюю тему.

Существенным недостатком вышедших томов монографии о Некрасове является увлечение автора показаниями частных документов и недостаточное внимание к характеристике эпохи. В книге нет даже общей характеристики 30-х и 40-х годов,

способной объяснить эволюцию Некрасова и Белинского; нет и анализа борьбы в политике, литературе и журналистике той поры. Отдельные замечания на этот счёт — сбивчивы, противоречивы. Не всегда автор придерживается современной научной терминологии. Так, например, он относит Некрасова 40-х годов к «лево-западническому» направлению. Термин этот не выдерживает строгой научной критики, как и «ультраромантизм» (?). Неоправданы старания исследователя отыскать следы «влияния Фейербаха» на Некрасова.

Напрасно учёный прошёл мимо такой темы, как Ярославль 30-х годов. Ведь известно: из гимназии Некрасов убежал, проводя время в трактире (об этом свидетельствуют личные признания поэта). Сюда стекались голь да нищета, бурлак пропивал здесь свой тяжкий грош, мастеровой из-за Которости приносил «праздничную» рубаху, чтобы горечь и обиду залить вином... Не от этой ли прозы юноша-поэт бежал в царство «мечтаний и звуков»?.. Почему-то не заинтересовала учёного и тема Петербурга, как средоточия противоречий крепостнического общества, в недрах которого уже развились буржуазные отношения. Краткая характеристика Петербурга была необходима: она могла бы стать живым комментарием к некрасовским альманахам — «Физиология Петербурга», «Петербургский сборник», помогла бы раскрыть их общественно-политическое содержание. Петербург — родина русского реализма. Здесь вырос Некрасов. В поисках родины «физиологического очерка» учёный обратился на запад, не уделив почти никакого внимания традиции физиологического очерка у русских писателей. Не назван «Кавказец» Лермонтова, не упомянуты очерки декабриста Бестужева-Марлинского «Ночью». «Русский язык», не привлекло внимания исследователя и замечательное описание петербургского Сытного рынка у того же автора, хотя оно так и просится в некрасовский «физиологический сборник».

Стоило бы сказать и о декабристских альманахах. Всё это автор, большой знаток русской литературы и журналистики, мог бы осуществить. В результате стала бы более ясной закономерность появления некрасовских альманахов.

Нельзя согласиться с В. Евгеньевым-

Максимович и в трагикомедии ряда стихотворений Некрасова: порой она узка и субъективна. Например, известное стихотворение «Зачем меня на части рвёте...» объясняется узко биографически: мол, здесь поэт ставит в непосредственную связь компромиссы, к которым он вынужден был прибегать как издатель «Современника», с «психическим наследием, полученным им от «отцов». Это слишком сужает значение стихотворения и неверно объясняет его идею.

Недооценивает литературовед и знаменитую сатиру Некрасова — «Отрывки из путевых записок графа Гаранского».

Сатирические разглагольствования Гаранского литературовед без всяких оснований приписывает самому Некрасову. Гаранский говорит:

...А если точно есть
 Любители кнута, поборники тиранства,
 Которые, забыв гуманность, долг и честь,
 Пятнают родину и русское дворянство —
 Чего же медлишь ты, сатиры грозный
 бич?..
 ...Жаль, дремлет русский ум. А то чего б
 верней?

Правительство казнит открытого злодея,
 Сатира действует и шире и смелей,
 Как пуля, находить виновного умея.

Это типичная программа либерального обличительства в помощь властям, на предмет исправления тех, кто, забыв гуманность, пятнает честь русского дворянства. Ничего общего между подобной благонамеренной сатирой и революционно-демократической сатирой Некрасова, его «карающей лирой», конечно, нет.

Труд В. Евгеньева-Максимова — серьёзная вежа в изучении жизни и творчества великого поэта. Автор исследовал стихотворения и прозу, драматургию и критику, деятельность поэта по организации и сплочению кадров революционно-демократической интеллигенции, его редакционно-издательскую работу...

Монография найдёт признание у советского читателя, станет необходимой для студента, учителя, литературоведа, писателя. Всё это особенно обязывает остановиться на отдельных её недостатках.

В. АРХИПОВ.

★

Международные отношения. Наука

Победный путь китайского народа

Китайский народ вместе со всем лагерем мира и демократии 1 июля 1951 года отмечает тридцатилетие славной коммунистической партии Китая. В эти дни советский читатель с особым интересом прочтёт недавно вышедшую книгу Ф. Иензена «Китай побеждает».

«Коммунистическая партия Китая, — пишет автор, — достигла огромных успехов на своём пути. Всё более широкие горизонты открываются перед ней; она видит свободный народ, свободную страну, свободный континент. Путь её был тяжёлым и трудным. Его можно было пройти только при величайшей настойчивости и под целеустремлённым руководством. И на всём протяжении пути, в тех местах, где подъём был особенно крутым и опасным.

Ф. Иензен. «Китай побеждает». Перевод с немецкого А. Семёновой, Е. Чирковской и С. Халецкой. Вступительная статья проф. Б. Масленникова. Издательство иностранной литературы, М. 1950.

высечено имя Мао Цзе-дуна. Он шёл впереди и указывал направление борьбе». В этих словах выражена основная идея книги.

Врач по профессии, в прошлом участник героической борьбы Испанской республики против бандита Франко и его империалистических хозяев, Ф. Иензен с 1939 по 1948 год пробыл в Китае, работая в госпиталях. Его книга не является исследованием учёного, не претендует на глубокое научное освещение проблем истории Китая. Тем не менее основные главы книги, в которых автор с чувством большой любви к народным массам Китая пишет о самоотверженной борьбе сил китайской демократии против империалистов и внутренней реакции, вызывают большой интерес читателя. Ряд фактов, сообщаемых автором-очевидцем, привлечёт внимание и специалистов, изучающих историю Китая последних лет.

Автор умело обобщает свои впечатления, даёт убедительный ответ на вопрос о причинах победы народных масс Китая в их многолетней освободительной борьбе. Он показывает, что никакое сверхсовременное и сверхсекретное оружие не может обеспечить империалистам и их марионеткам победу над народом, во главе которого идёт рабочий класс, идут коммунисты. Правдивый рассказ очевидца наглядно свидетельствует о том, как коммунистическая партия добивалась изменения в соотношении сил в Китае и в конце концов добилась того, что «Народная революция оказалась неизмеримо сильнее реакционного агрессивного блока китайских феодалов и американских империалистов»¹.

Большое впечатление производят главы книги, в которых говорится о победоносной борьбе армии и народа освобождённых районов против японских империалистов, а затем — против гоминдановцев — клики американских наёмников. «Героизм в этих районах стал массовым явлением, — рассказывает Иензен. — Это был не блестящий, бросающийся в глаза героизм, проявляемый при штурме вражеских позиций, а более убедительное, несокрушимое мужество в обстановке общей нехватки самого необходимого. Это был повседневный героизм, живший двумя чашками риса в день, одетый день и ночь в один и тот же подбитый ватой халат из бумажной ткани, спасающийся от ледяной стужи Северного Китая только при помощи котелка с древесным углем и рисующий замораживающими пальцами узорчатые иероглифы важных государственных декретов на грубой самодельной бумаге».

Борьба народных масс против американских империалистов и клики Чан Кай-ши в послевоенный период была по сути продолжением в новых условиях той борьбы, которую вёл народ Китая против японских агрессоров и их пособников во время второй мировой войны. Точно так же политика национального предательства и нещадного угнетения народа, проводимая гоминдановскими изменниками после капитуляции Японии, явилась продолжением их антинародной политики в предшествующие годы.

¹ Г. М. Маленков. 32-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Госполитиздат, 1949, стр. 27.

Разоблачение антинациональной предательской сущности гоминдановской шайки сыграло важную роль в образовании в Китае могучего народного фронта, руководимого коммунистической партией. Именно партия рабочего класса является самой патриотической партией Китая, доказавшей это не словами, а кровью своих лучших сынов и дочерей, которые отдали жизнь в борьбе за свободу и независимость китайского народа.

Вот почему вместе с коммунистической партией шли люди, чьи имена являются гордостью Китая, подобно великому писателю Лу Синю, который, по определению Мао Цзе-дуна, «был самым справедливым, самым отважным, самым твёрдым, самым преданным, самым пламенным, самым великим национальным героем, который от имени большинства народа начал штурм позиций врага на фронте культуры». Преследуемый гоминдановской охранкой, Лу Синь умер в 1936 году. Его дело, дело создания культуры новой демократии, развивается сейчас в благоприятнейших условиях, обеспеченных победой народной революции.

В этой связи большой интерес у читателей вызовут приводимые Ф. Иензеном обширные отрывки из выступления Мао Цзе-дуна в 1942 году в Яньани, посвящённого вопросам литературы и искусства.

Мао Цзе-дун призвал деятелей культуры «сомкнуться с массами рабочих, крестьян и солдат, глубоко окупнуться в практическую борьбу и, в процессе изучения марксизма-ленинизма, изучения общества, постепенно перестроиться, окончательно перейти в лагерь рабочих, крестьян и солдат». Вождь народных масс Китая выразил уверенность, что «товарищи в процессе выправления стиля, в дальнейшей систематической учёбе и работе несомненно сумеют перестроить и себя, и своё творчество, сумеют создать множество превосходных произведений, которые встретят тёплый приём у рабочих, крестьян, солдат — словом, у народных масс, сумеют поднять литературу и искусство опорных баз и всего Китая на новую замечательную ступень».

Советские люди имели возможность ознакомиться с образцами культуры демократического Китая на выставках китайского искусства, а также по переводам

произведений прогрессивных писателей. Расцвет литературы и искусства нового Китая — результат заботы коммунистической партии и лично Мао Цзе-дуна о единстве «революционного политического содержания и максимально высокой художественной формы».

Ф. Иензен посвятил свою книгу миллионам мужчин и женщин, сражающихся за свободу Китая. Бойцы Народно-освободительной армии, — справедливо подчёркивает автор, — «противостоят тем представителям американского правительства и трестов, которые, используя последние достижения техники — диктофоны, радарные установки и атомные бомбы, — агитируют за политику войны и угнетения народов». Поэтому правдивый рассказ об освободительной борьбе народных масс Китая под руководством коммунистической партии есть, вместе с тем, рассказ об огромном вкладе китайского народа в дело защиты мира во всём мире и, в первую очередь, на Дальнем Востоке. «Китайский народ горячо любит мир, но ради защиты мира он никогда не боялся и никогда не побоится дать стпор агрессору», — писал в день первой годовщины Китайской народной республики премьер Государственного административного совета Центрального народного правительства Чжоу Энь-лай.

Вся история Китая, особенно в новейшее время, подтверждает эти слова. Народные армии и партизаны, ведя героическую борьбу против японских империалистов, тем самым боролись за установление мира во всём мире. Этой же благородной цели послужила победа Народно-освободительной армии над контрреволюционными ордями американской марионетки Чан Кай-ши. Братская помощь китайских добровольцев героическому корейскому народу знаменует новое проявление самоотверженной борьбы китайского народа за мир.

Книга Ф. Иензена не свободна от недостатков. Прежде всего надо отметить, что в ней недостаточно глубоко вскрывается разбойничья политика американских монополий в Китае. Неверно, например, что американская доктрина «открытых дверей», как пишет Иензен, «всё же представляла для Китая известные выгоды, ибо затрудняла попытки каждой отдельной державы полностью колонизировать Китай». Представитель правительства Китайской

народной республики У Сю-цюань разоблачил грабительскую сущность политики «открытых дверей», подчеркнув, что «она означает участие американских империалистов в дележе добра, награбленного в результате агрессии других империалистических стран против Китая». Правящие круги США рассчитывали при этом, что им удастся подчинить весь Китай своей власти. После победы Великой Октябрьской социалистической революции и особенно после второй мировой войны американские империалисты усилили агрессию в Китае, стремясь превратить эту огромную страну в свою колонию и плацдарм для войны против Советского Союза. Эти человеконенавистнические планы недостаточно разоблачены Ф. Иензеном.

В книге не всегда правильно определяется существо взаимоотношений между империализмом и феодальными силами Китая. Говоря о причинах крайней длительности китайского феодализма, Иензен не указывает на реакционнейшую роль капиталистических стран в истории Китая. «...империализм со всей его финансовой и военной мощью в Китае есть та сила, которая поддерживает, вдохновляет, культивирует и консервирует феодальные пережитки со всей их бюрократически-милитаристской надстройкой»,¹ — указывал товарищ Сталин в 1927 году.

Автор неправ, считая, что китайская буржуазия играла в первые годы национально-освободительной войны китайского народа против японских империалистов «ведущую роль в деле мобилизации сил народа». На самом деле не буржуазия, а китайский пролетариат и его коммунистическая партия подняли народные массы на борьбу с японским империализмом. Об этом говорят и многие факты, приводимые в книге Ф. Иензена.

Эпизод книги датирован мартом 1949 года. С тех пор на Дальнем Востоке произошли важнейшие события, имеющие огромное значение для всего человечества. Главным из этих событий является разгром американизированных банд Чан Кай-ши и провозглашение 1 октября 1949 года Китайской Народной республики. Последовавшее на второй день после этого при-

¹ И. В. Сталин. Сочинения, т. 9, стр. 286.

знание молодой народной республики Советским Союзом в огромной степени укрепило международные позиции Китая, а заключённый 14 февраля 1950 года договор о братском союзе между СССР и Китайской Народной республикой превратил советско-китайскую дружбу «...в такую великую и могучую силу в деле укрепления мира во всём мире, равной которой нет и не было в истории человечества»¹. (В. М. Молотов).

Последовательная и принципиальная позиция Советского Союза, оказывающего всестороннюю бескорыстную помощь Китайской Народной республике, является продолжением традиционной политики Советского правительства — политики солидарности с борьбой угнетённых народов за свою независимость. Великий Сталин ещё в 1925 году говорил, что «...мы сочувствуем и будем сочувствовать китайской революции в её борьбе за освобождение китайского народа от ига империалистов и за объединение Китая в одно государ-

¹ «Правда» за 11 марта 1950 года.

ство»¹. Это сочувствие и революционный опыт нашего народа явились одним из важнейших факторов, способствовавших исторической победе китайского народа. «Труды Ленина и Сталина — огромный вклад Советского Союза в дело демократической революции Китая», — пишет Йензен. Теория марксизма-ленинизма, пришедшая в Китай из России, стала мощным всепобеждающим оружием в руках китайского народа и его вождя Мао Цзе-дуна, показывающего образец творческого применения учения Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина в революционной практике.

«Силы революционного движения в Китае неимоверны»², — говорил товарищ Сталин четверть века тому назад. В наши дни эти могучие силы китайского народа, освобождённого от власти империалистов и гоминдановской реакции, направлены на создание нового, счастливого, процветающего Китая.

Кандидат исторических наук
М. ЮРЬЕВ.

¹ И. В. Сталин. Сочинения, т. 7, стр. 294.

² Там же, стр. 293.

★

От Гитлера до Трумэна

Передовые писатели всех стран, разоблачая в своих книгах преступную деятельность империалистов, готовящих новую бойню, вносят свою долю в общую борьбу народов за мир. Литература в защиту мира всё чаще пополняется новыми книгами.

К их числу относится книга «От Гитлера до Трумэна», вышедшая в конце 1950 года в Париже. Её автор — известный французский прогрессивный журналист Жан Бомье.

Уже само заглавие книги ясно раскрывает основную мысль автора: Трумэн — прямой наследник и продолжатель тех кровавых дел, которыми отмечен бесславный путь Гитлера.

Книга целиком построена на фактах и документах. Значительная часть из них уже публиковалась в различное время. Однако собранные вместе они являются но-

вым обвинительным актом против империализма. Эти документы в исторической последовательности разоблачают дипломатию и политику империалистов от Мюнхена и до наших дней.

Автор показывает, что все эти важные для судеб человечества годы англо-американские империалисты и их европейские, в частности французские, прислужники преследовали одну цель: изоляцию Советского Союза и подготовку войны против него. Тайно или явно, прикрываясь фальшивыми лозунгами «умиротворения», «невмешательства», защиты от мнимой «коммунистической опасности», международная реакция ни на минуту не прекращала подготовки нового похода против страны социализма.

Через всю книгу проходит отчётливое противопоставление неизменно миролюбивой внешней политики Советского Союза разбойничьей политике империализма.

В книге три раздела. Первый из них, носящий название «Мюнхен», воскрешает

Jean Bompier. «De Hitler à Truman». Paris, 1950. (Жан Бомье. «От Гитлера до Трумэна». Париж, 1950).

в памяти читателя один из позорнейших периодов современной истории. Анализируя ряд исторических документов, Бомье показывает истинный смысл мюнхенских событий, раскрывает сущность внешней политики Англии и Франции. Он доказывает, что эта политика была направлена не на объединение сил миролюбивых государств, не на борьбу с агрессией, а на её поощрение, на развязывание антисоветской войны руками Гитлера.

В книге подробно рассмотрены последствия Мюнхена. Читатель видит, что именно Мюнхен сделал возможным захват Гитлером всей Чехословакии, способствовал сплочению антисоветского лагеря и привёл к срыву франко-советских переговоров 1939 года. Разоблачив всю подоплеку финско-советской войны, Бомье говорит: «Представленная в Париже и Лондоне как война, которую Хельсинки вели якобы в защиту демократии, она в действительности была предвестником нацистской кампании против Советского Союза».

Весь первый раздел книги неопровержимо доказывает, что Мюнхен был важнейшим шагом в развязывании второй мировой войны. Эту главу автор завершает словами французского буржуазного журналиста Анри де Кериллис, которого нельзя заподозрить в симпатиях к коммунизму:

«На этот раз... я не мог не крикнуть: измена! Действительно, для меня не оставалось больше сомнений, что мы были преданы, преданы вследствие глупости большинства и подлости меньшинства. И предатели были главным образом из среды привилегированных классов, из числа банковских и промышленных магнатов, из числа политических деятелей, высших чиновников, представителей официальной прессы, членов Французской академии и Генерального штаба».

В следующем разделе книги, озаглавленном «Второй фронт», собрана обширная документация, характеризующая политику англо-американского империализма в годы второй мировой войны. Эта документация устанавливает, что даже и тогда, когда американские и английские правительства формально являлись союзниками СССР, они ни на минуту не отказывались от мысли организовать новый поход против нашей страны. «Деятельность англо-американской секретной службы в Советском

Союзе в течение всей войны,— говорит Бомье,— а также упорно проявляемое нежелание открыть второй фронт были частями одного и того же плана — всеми средствами ослабить Советский Союз». Но, пишет Бомье, «воля народов не позволила подменить борьбу против фашизма борьбой против Советского Союза».

Автор справедливо указывает, что, уже начиная с 1942 года, Гитлер нашёл знаменосца, достойного заменить его в борьбе против Советского Союза... Черчилль и ему подобные не потеряли надежды достигнуть своих целей. Ещё не кончилась война против Гитлера, а они уже готовят будущий антисоветский «священный союз», то есть Фултон, Брюссель, Атлантический пакт. В 1942 году, во время Сталинграда, Черчилль составляет меморандум с целью создать после войны преграду от «коммунистического варварства».

Таким образом, два первых раздела книги подводят читателя к выводу, что антисоветская агрессивная политика, проводимая в настоящее время США и поддерживаемая Англией, Францией и другими империалистическими государствами, возникла не сегодня. Это — закономерное явление, вытекающее из всей истории империализма, всегда стремившегося к мировому господству. На одном этапе орудием империализма, выражающим его волю и интересы, был Гитлер, на другом — Черчилль, сегодня этим орудием является Трумэн. В самом деле, спрашивает Бомье, разве заявление Трумэна: «Если появится необходимость, то я применю атомную бомбу немедленно и широко», — не достойно ефрейторских бредней об истреблении целых народов?!

«Мы должны в первую же неделю после начала конфликта нанести удар по Москве и другим городам России авиацией, имеющей базы на континенте. Благодаря заключению Атлантического пакта, мы имеем эти базы. Основное, что нам необходимо сейчас,— это самолёты, чтобы транспортировать бомбы, снарядить солдат других наций и заставить эти нации послать на убийство своих сыновей, чтобы нам не надо было посылать наших... Будущая война должна быть выиграна в три первых недели... За это время мы должны уничтожить все военные центры России».

Это заявление Кеннана, председателя финансовой комиссии палаты депутатов США, приводимое в книге, сделано в апреле 1949 года. С этим беспримерным по своему цинизму документом может конкурировать аналогичное заявление, сделанное в ноябре 1949 года французским генералом Шассэном.

«До настоящего времени война была недостаточно совершенным способом истребления людей. Если бы русские потеряли в молниеносной войне, о которой мы только что говорили, 30 миллионов человек... у них бы ещё осталось 150 миллионов жителей, и численность их населения достигла бы прежнего уровня за какое-нибудь десятилетие. Значит, необычайно важно разработать военный метод уничтожать людей, не разрушая зданий... Кажется, радиоактивные облака — это именно то, что мы ищем».

Эти слова «бравого» генерала поставлены автором в виде эпиграфа ко всему третьему разделу книги, носящему название «Атлантическая коалиция». Кровавые бредни двух людоедов красноречиво характеризуют лицо империалистического лагеря, обнажают его хищническую, человеконенавистническую сущность и подчёркивают роль, которую призван сыграть Атлантический пакт в подготовке новой войны.

Разоблачению агрессивной политики империализма в послевоенный период, её антисоветской направленности и посвящён весь третий, важнейший раздел книги. С большой политической остротой в нём поставлены основные проблемы, волнующие в наши дни всё прогрессивное человечество. Автор показывает, что именно американские империалисты стягивают под свои разбойничьи знамёна реакционные силы во всём мире, чтобы развязать новую войну, в первую очередь против Советского Союза.

Подробно рассматривая вопрос об Атлантическом пакте, Бомье пишет: «Так были растоптаны все старые соглашения великих держав, заключённые после победы над Германией. Западные державы грубо игнорируют потсдамские решения, преследуя в Германии сепаратистскую политику подготовки к войне».

Бомье показывает, как магнаты Уолл-стрита во главе с Трумэном всеми мерами

стремятся превратить Западную Германию в плацдарм новой войны в Европе. Подчёркивая далеко идущие последствия ремилитаризации Германии, Бомье пишет: «Восстановление вермахта, в то время, как развиваются трагические события в Корее, ясно показывает, что опасность грозит не только странам отдалённым, — она стучится в нашу дверь».

Бомье приводит поистине потрясающую по своей наглой откровенности выдержку из опубликованной в прессе программы союза «Брудершафт» — одной из многочисленных военных организаций Западной Германии, возрождаемых американско-английскими оккупационными властями. «Наша цель в том, — говорится в этом документе, — чтобы снова взять руководство немецким народом в свои руки и вернуть его к истинно германским традициям фюрера... Наша высшая цель — объединение европейских народов, заселяющих территорию от Атлантического океана до Урала. Основой этого объединения будет райх, райх всех немцев, объединённых внутри их этнографических и исторических границ... В ожидании же этого нужно как можно скорее добиться ремилитаризации Германии, потому что только хорошо вооружённая Германия может иметь смысл».

В книге показано, что ставка Трумэна и его соратников на ремилитаризацию Западной Германии и использование гитлеровской военной машины в будущей войне против СССР основана на предательской политике боннского «правительства». Все командные посты в политике и экономике Западной Германии, пишет Бомье, заняты нацистами.

Книга Бомье проливает свет на очень актуальный вопрос: почему представители трёх западных держав на совещании заместителей министров иностранных дел так упорно уклонялись от включения в повестку дня вопросов о ремилитаризации Западной Германии и об Атлантическом пакте.

Бомье предостерегает миролюбивые народы против той опасности, которая грозит им в лице Трумэна и всего лагеря поджигателей войны. «Развалины Сеула и Пхеньяна, — говорит он, — уже сейчас могут дать представление о том, какое страшное будущее готовит для человечества фактический преемник Гитлера — Трумэн

и созданная им антикоммунистическая коалиция».

Вся книга убеждает читателя, что Корея — это только страница «...в кровавой истории кровавого империализма...»¹ «Даже противники коммунизма, — пишет Бомье, — противники в социальной, экономическом и политическом плане начинают ясно видеть на примере трагических событий, разворачивающихся на Дальнем Востоке, кто хочет мира и кто хочет войны. Всё большее число их примыкает к лагерю мира и, без различия религиозных и политических убеждений, они со всей энергией

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 28, стр. 44.

борются, чтобы избежать мировой катастрофы».

Свою книгу Бомье заключает призывом к борьбе за мир. «Мы хотим мира», — так озаглавлена последняя глава его книги, обращённая к людям доброй воли.

Разоблачая всю подлую, антинародную политику империализма на протяжении более чем десяти лет и противопоставляя ей миролюбивую внешнюю политику Советского Союза, книга Бомье помогает людям, стремящимся к миру, выбрать свой путь. В этом огромное значение книги французского публициста, крайне нужной именно теперь, когда битва за мир в разгаре.

Д. МИЛЮТИНА.

★

Ценное исследование о Ломоносове

Книга А. А. Морозова о Ломоносове это не только удача автора, но и серьёзный шаг в утверждении жанра научно-художественной литературы в целом. У нас издано немало увлекательных научно-художественных произведений, но среди них ещё очень редки книги, которые не были бы чем-то средним между художественной и научно-популярной литературой, а соединяли бы в себе художественные достоинства и научную новизну. Читатель давно ищет в научно-художественной литературе не только увлекательного изложения более или менее известных сведений, но и смелых научных догадок, основанных на серьёзном и творческом изучении данных развивающейся науки.

Этим требованиям советского читателя отвечает книга А. Морозова о Ломоносове.

В тесной связи с художественными достоинствами новой биографии великого русского учёного находится научный характер книги; наличие новых мыслей, сопоставлений и характеристик.

А. Морозов начинает свой труд с описания родины Ломоносова. Мы видим побережье Белого моря, где прошла юность Ломоносова; двинскую землю, пробуждённую преобразованиями начала XVIII века, слышим шум Вавчужской верфи, следим за

полярными экспедициями земляков Ломоносова и убеждаемся, насколько закономерно было появление в русской науке и литературе этого гиганта, о котором с изумлением говорили и современники и последующие поколения.

Рассказывая о двинской земле, А. А. Морозов подчёркивает наиболее существенное обстоятельство — отсутствие помещичьего землевладения на севере. «...Ломоносов родился не в курной избе, а тогдашний Беломорский север, как мы видели, отнюдь не был забытым и безотрадным краем. На вольном севере находили себе простор русская даровитость, находчивость и изобретательность, не связанные обезволивающим крепостным правом. Над северным крестьянином не висела власть мелкого землевладельца, служилого вотчинника или помещика. И хотя крестьянский «мир» испытывал общий гнёт феодально-крепостнической системы, всё же он развивался с большей самостоятельностью, давал выход личной инициативе и предприимчивости».

Отмечая, вслед за Г. В. Плехановым, значение особенностей экономического развития на севере для биографии Ломоносова, А. А. Морозов в то же время далёк от мысли сводить к этим особенностям истоки его творчества. «Творческую личность формирует совокупность культурно-исторических условий развития всего народа. Наш север всегда был восприимчив к культурным веяниям, шедшим из всего Мо-

А. А. Морозов. «Михаил Васильевич Ломоносов. 1711—1765». Предисловие академика С. И. Вавилова. Редактор А. Наркевич. «Молодая гвардия», 1950.

сковского государства. Культурная жизнь севера была неразрывной частью общерусской культуры. Беломорский север наложил на Ломоносова неизгладимый отпечаток, пробудил в нём творческую энергию, но создал Ломоносова исторический опыт и гений всего русского народа.

Следует отметить, что, высказав эту спорную мысль, А. А. Морозов посвятил в своей работе гораздо больше внимания особенностям русского севера, чем анализу исторической обстановки во всей стране. Это не упрек. Работы о Ломоносове не могут быть построены по одному и тому же плану. Автор художественного или научно-художественного произведения вправе сосредоточить своё внимание на конкретных впечатлениях, окружавших Ломоносова в юности.

Дальше мы видим Ломоносова в Москве в Славяно-греко-латинской академии при Заиконоспасском монастыре. А. А. Морозов показывает, что Заиконоспасская академия была не только убежищем беспросветной схоластики. В книге приводятся любопытные сведения о библиотеке деятеля петровских времён епископа Гавриила Бужинского, попавшей в 1731 году в Заиконоспасскую академию. Здесь были сочинения Гомера, Вергилия, Тита Ливия, Эразма Роттердамского, Галилея и даже изложение философии Рене Декарта под забавным названием «Начала философии Ренатовы и Картезиевы». Пользуясь этой библиотекой и другими московскими библиотеками, Ломоносов приобрёл, повидимому, довольно основательные естественно-научные знания. В 1735 году он попадает в Петербург, учится в академическом университете, а затем отправляется в Марбург к Христиану Вольфу.

Картины марбургской жизни удались А. А. Морозову. Здесь мы особенно отчетливо видим, как научное содержание книги определяет её художественную форму. А. А. Морозов исходит из знаменитой характеристики Энгельса, относящейся к Германии XVIII века: «Это была одна гниющая и разлагающаяся масса. Никто не чувствовал себя хорошо. Ремесло, торговля, промышленность и земледелие были доведены до самых ничтожных размеров. Крестьяне, торговцы и ремесленники испытывали двойной гнёт: кроваваджного пра-

вительства и плохого состояния торговли»¹.

Морозов сумел противопоставить кипящий Петербург сонному Марбургу. Автор нашёл яркие краски и точные эпитеты для описания города. Внешняя характеристика Марбурга с его узкими, горбатыми улицами, с маленькими, отгороженными друг от друга, глухими домами, естественно переходит в противопоставление идейной среды, окружавшей Ломоносова на родине и на чужбине.

«Выродившиеся из старого протестантизма, лицемерно благочестивые «пниетисты» преследовали всякое движение свободной критической мысли. Естествознание захирело, экспериментальная работа подменялась умозрительными рассуждениями, приправленными доброй дозой богословия. В то время как в России Пётр I государственным путём боролся с суевериями, в Германии им придавали наукообразную форму».

Третья часть книги озаглавлена «Наш первый университет» и включает главы: «Естествоиспытатель», «Поэт и филолог», «Российская история», «Мозаичское искусство», «Грозовая машина», «Земное недра», «Явление Вены на Солнце».

Переходя к научной деятельности Ломоносова, автор посвящает каждой отрасли знаний особую главу. Такой способ изложения не может заменить последовательного анализа работ Ломоносова в хронологическом порядке, но для научно-художественной биографии имеет ряд преимуществ.

Основные физико-химические, геологические и астрономические идеи Ломоносова обрисованы правильно, с пониманием исторической ценности этих идей, с точными историческими параллелями. В книге доходчиво рассказано об одной из основных идей Ломоносова — сохранении вещества и движения. А. А. Морозов следует здесь за С. И. Вавиловым, пользуясь его работами о Ломоносове. Говоря о создании физической химии, Морозов справедливо связывает этот научный подвиг Ломоносова с его борьбой против эмпиризма. Приводя интересное письмо Эйлера о Ломоносове как учёном, отличающемся от эмпириков, Морозов пишет: «Эйлер прекрасно подметил начавшийся уже в его время разрыв

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. V, стр. 6.

между опытом и теоретическим обобщением, индуктивным и дедуктивным методом познания, постепенный отход естествознания от широких философских проблем. Западноевропейское естествознание всё более уходило в частности, стремилось изучить мир в деталях, но мало заботилось об их взаимной связи. Неполнота и недостаточность реальных сведений и наблюдений, слабость экспериментального исследования природы порождали множество бесплодных и фантастических гипотез, тем более непродуктивных, что они уже не опирались на целостную философскую систему».

В главе «Громовая машина», более пёстрой по содержанию, чем систематизированные очерки в других главах, говорится о столкновениях Ломоносова с руководством Академии наук в ноябре 1753 года. Читатель видит конкретные условия научной деятельности Ломоносова, связь между глубокой разработкой им научных проблем и его борьбой против «неприятелей наук российских».

С практическими замыслами Ломоносова связано «Слово о рождении металлов». Переходя к другой геологической работе — «О слоях земных», Морозов подчёркивает важнейшую идею Ломоносова — представление об изменчивости земли и указывает на многочисленные факты предвосхищения русским учёным современных геологических воззрений.

Изложение естественно-научных работ Ломоносова связано у А. А. Морозова с доказательством последовательно материалистического характера мировоззрения великого мыслителя, основателя русской материалистической философии.

В характеристике поэтического творчества Ломоносова останавливает внимание чёткая оценка ломоносовских од. Вслед за рядом исследователей поэзии Ломоносова, А. А. Морозов подчёркивает демократическое и материалистическое содержание, врывавшееся в строки придворных од, и значение научных мотивов ломоносовской поэзии.

«Ломоносов испытывает подлинный восторг перед могуществом науки и человеческого разума. Мирный труд, который славит Ломоносов в своих одах, немалым для него без науки, научного знания и творчества. Постоянно подчёркивая роль и значение науки в развитии общества, Ломо-

носов далеко опережал своё время. Он восторженно говорит о радости научного исследования мира и стремится заразить русских людей своим энтузиазмом к науке.

...Ломоносов не застыл и не замкнулся в пределах феодально-придворного стиля. В его оды постоянно вторгается нова; тема. Он ищет новые пути для поэзии, которые уже вовсе не имеют отношения к старой идеологии. Таким новым путём было создание научной поэзии, в которой нашло отражение передовое, материалистическое мировоззрение Ломоносова».

Рассказывая о филологических трудах учёного, автор умело привлекает биографические данные, показывает, как жизненная школа, общение с различными кругами русского общества способствовали выработке филологических взглядов Ломоносова. «Уроженец севера, он впитал в себя меткий и точный язык своей родины, изобилующий добротными старинными словами и чрезвычайно склонный к свободному образованию новых, рождённых потребностью случая слов и понятий. Юношей он жил в Москве, исконной хранительнице прекрасного русского языка, где издавна ценилась бойкость и находчивость речи, весёлая прибаутка и степенное веское слово. Он общался с монахами и школярами, купцами и мастеровыми, сановниками и вельможами, приказными и отставными солдатами, начётчиками-староверами и новомодными книжниками, — он знал родной язык во всей его пестроте и разнообразии...»

Однако здесь мы можем предъявить автору один серьёзный упрёк. В книге, подписанной к печати в декабре 1950 года, «Филология» и «Русская грамматика» должны были подвергнуться серьёзному анализу с позиций современного учения о языке. Гениальные работы И. В. Сталина по языкознанию, осветившие бесчисленное количество проблем общественной науки и давшие такой плодотворный импульс развитию всех отраслей знания, позволяют увидеть новые стороны ломоносовского учения о языке, позволяют глубже понять и оценить значение борьбы Ломоносова против архаического жаргона в литературе. Товарищ Сталин указал на стремление дворянской аристократии и верхних слоёв буржуазии навязать языку «...свой особый лексикон, свои особые термины, свои осо-

бые выражения»¹. Представители правящих кругов стремились навязать русской литературе свой прозябающий жаргон, пересыпанный архаизмами. В своей борьбе за чистоту литературного языка Ломоносов выступал против подобных поползновений. Трудно понять, почему А. А. Морозов не подошёл к «Грамматике» и «Филологии» с этой наиболее важной стороны. Такой подход помог бы собственно биографической задаче, он показал бы связь между содержанием трудов Ломоносова и его борьбой против антинародной политики придворных кругов и их подголосков в литературе.

В последней главе «Судьба гения», где указываются исторические истоки бессмертного научного и культурного подвига Ломоносова, есть новые и правильные замечания.

Справедливо отмечено, что русская наука «была во многом свободна от средневекового хлама, засорявшего западноевропейские академии и университеты». Справедливо и то, что Ломоносов опередил западноевропейскую науку своего времени также и потому, что он был свободен от

¹ И. Сталин. Относительно марксизма в языкознании. Госполитиздат, 1950, стр. 11.

кастовых предрассудков западных учёных, потому что он был сыном простого народа, которому было органически чуждо метафизическое понимание природы, чей подход к явлениям природы отражал здравый смысл и непредубеждённость народного опыта.

Но, нам кажется, следовало бы более чётко сказать о главном — о значении революционной борьбы крестьянства для развития русской науки XVIII века. Здесь нет такой непосредственной и явной связи, как в общественной мысли. Но основной исторической причиной величия русской науки и её идейного превосходства над западной наукой было мощное воздействие угнетённого и борющегося против своих угнетателей народа на развитие науки и в частности естествознания.

А. А. Морозов сумел в основу художественного изображения жизни великого русского мыслителя положить серьёзный, вдумчивый анализ его творчества. Поэту следует присоединиться к пожеланию покойного С. И. Вавилова в предисловии к книге: «Очень хотелось бы, чтобы осветская молодёжь во всей своей массе прочтала новую книгу о Ломоносове».

Профессор Б. КУЗНЕЦОВ.

★

Заметки биолога о заметках писателя

В своё время Пушкин писал: «Замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов». Это был горький, но справедливый упрёк великого патриота по адресу правящих кругов царской России.

Советский строй навсегда покончил с недооценкой талантов русского народа. За последние годы появилось много научных и научно-популярных книг и статей, отображающих историю отечественной науки.

В ряду этих книг находится и работа А. Поповского «Восстановим правду». Книга имеет подзаголовок: «Заметки писателя». Поэтому мы должны предъявить к труду А. Поповского несколько иные требования, чем те, которые предъявляются к книге, написанной учёным или исследователем. Мы вправе ожидать что это будет

Александр Поповский. «Восстановим правду. Заметки писателя о русской науке». Редактор Л. Ларина. Профиздат, 1953.

не просто популяризаторская работа, но яркое, эмоциональное повествование, раскрывающее предмет с новой стороны, выявляющее отношение к нему самого автора.

Рассмотрим, в какой степени оправдывает А. Поповский законные ожидания читателей. Эти ожидания возрастают ещё более в связи с предисловием к книге, принадлежащим доктору медицинских наук Н. Н. Гращенкову и доктору химических наук Н. Ф. Ермоленко. В предисловии говорится, что книга Поповского — «первая попытка собрать воедино всех наиболее ярких представителей русской науки, приоритет которой занимает неоспоримое место в мировой науке» (авторы предисловия, вероятно, забыли о двухтомнике Гостехиздата, вышедшем в свет ещё в 1948 году, — «Люди русской науки», охватывающем около 130 имён выдающихся русских деятелей).

В книге Поповского помещено семьдесят шесть очерков об учёных, работавших в разное время и в различных областях науки. Книга написана хорошим, живым языком, читается легко. Автор справедливо подчёркивает глубину научной мысли, самобытность, оригинальность, смелое новаторство русских учёных.

Нельзя не отметить трудолюбие и способность писателя, сумевшего столь быстро познакомиться со множеством вопросов науки и рассказать о трудах выдающихся учёных в общем грамотно, интересно и содержательно.

Однако при таком огромном охвате имён и областей знания неизбежна известная поверхностность. Так получилось и в книге Поповского. В ряде очерков деятельность учёных изложена без необходимой исторической перспективы, не показана глубокая связь прошлого с настоящим.

Так, рассказывая о С. Н. Виноградском, Д. И. Ивановском, Н. Ф. Гамалея, автор словно забывает об их продолжателях, и в результате славная деятельность этих учёных представляется каким-то изолированным эпизодом в истории нашей науки, эпизодом, по существу не имеющим ни начала, ни конца.

Эта позиция писателя не случайна. В авторском вступлении он старательно обосновывает её, указывая, что отказался от описания школы учёного, опустил историю открытия и лишь коротко остановился на своеобразии методов советской науки.

Прочитав всё это, невольно приходишь в недоумение. Конечно, писатель вправе строить свою книгу так, как ему кажется наиболее интересным, удобным и целесообразным. Но что же описывает автор, если он не говорит о научных школах, об истории науки? Разве приоритет русской мысли в науке можно понимать столь узко, чтобы изображать его лишь как краткое описание открытий и изобретений?

Да и что можно рассказать о крупном учёном, создавшем целую область знаний, на одной-двух страницах? Например, крупнейшему микробиологу Н. Ф. Гамалея в книге отведено всего полторы странички. А ведь речь идёт об учёном, который стоит плечом к плечу с такими корифеями нашего естествознания, как Сеченов, Павлов, Тимирязев, Мечников, Мичурин. Выдающемуся невропатологу В. М. Бехтереву

уделено только две страницы и т. д. Нужны ли такие беглые заметки общего характера, их ли мы вправе ждать от писателя, который зарекомендовал себя как вдумчивый художник-популяризатор отечественной науки? Думается, нет.

Автору, пожалуй, следовало бы сосредоточить своё внимание на одной-двух отраслях знания и скорее всего на биологии и медицине. В этой области А. Поповский уже давно и с успехом работает, к ней относятся его лучшие произведения, заслуженно привлёкшие внимание читателей. Именно в этой знакомой ему области писатель должен был бы идти и вширь, и вглубь, охватывая всё новые имена, черпая новые сведения из богатейшей сокровищницы истории отечественной науки, углубляя характеристики учёных.

Содержание книги мало отвечает её названию. Только в сравнительно немногих случаях автор говорит о «восстановлении правды», то есть приоритета русской и советской науки, чаще всего он просто ограничивается коротким живым рассказом о некоторых важнейших работах того или иного учёного. Какое отношение к восстановлению правды имеют, например, очерки о Мечникове, Скрябине, Филатове, Шипове, Ратнере, Павлове?

Крупный недостаток книги Поповского заключается в том, что он, стремясь подчеркнуть значение работ наших учёных, то и дело опирается на... авторитет зарубежных специалистов. Например, в очерке о великом русском физиологе И. П. Павлове автор сообщает, что гениального учёного похвалил эдинбургский профессор Барджер, что «восемь академий Западной Европы избрали его своим почётным членом, в Англии ему присвоили все учёные степени и почётные звания, какие только присваиваются учёным в этой стране. Шведский король (! — Ю. М.) вручил ему Нобелевскую премию». В заключение сообщается, что на конгрессе физиологов в Северной Америке овации Павлову длились двадцать минут, и председатель конгресса «учёный с мировым именем сел у его ног, выразив этим своё преклонение перед великим русским учёным».

Почему Поповский не рассказал прежде всего о той высокой оценке, которую заслужил Павлов в своей стране, почему не упомянул о том, что великий Сталин

привёл имя Павлова в ряду имён, которыми гордится русский народ?

Подобную же картину мы видим в очерке об основоположнике вирусологии Д. И. Ивановском. Приводятся отзывы Пири и Стенли об Ивановском, но нет никаких ссылок на оценку его работ нашими учёными. Рассказывая о физиологе Ционе, автор не нашёл ничего лучшего, как привести мнения о нём Людвига, Гельмгольца, Клод Бернара. Он цитирует даже «Календарь биологов и врачей», выпущенный в США в 1942 году и наполненный невежественными выдумками о русских учёных. Крайне неприятно видеть подобную «опору» в книге советского писателя.

О крупнейшем гельминтологе К. И. Скрябине автор пишет: «Верный традициям своего времени Скрябин едет за границу искать себе учителей. Таких традиций в русской науке никогда не было. Обычно наши учёные искали за границей не учителей, а просто хорошие лаборатории, которые зачастую отсутствовали на их родине, где царское правительство не заботилось о науке и её деятелях.

Вспомним, что у молодого Н. И. Пирогова учились многие западноевропейские хирурги и анатомы, что И. И. Мечников был единственным в мире учёным, кто мог принести в Пастеровский институт теорию иммунитета, в которой наука так остро нуждалась. Вспомним, что соратник Мечникова молодой русский врач Н. Ф. Гамалея опытом по лечению бешенства, накопленным русскими учёными в Одессе, поддержал Пастера в самые трудные для него времена.

Напрасно автор некритически цитирует американского учёного ботаника Майера, который, похвалив Мичурина, зачвил: «Будь в Америке такой человек, его озолотили бы там...» Мы хорошо знаем, как «озолотили» в США замечательного селекционера Лютера Бербанка! При жизни он боролся с реакционерами и задыхался в атмосфере торгашества и наживы, а после смерти его чудесный питомник был продан с молотка, имя его было забыто и продолжать его работу было никому.

В наше время и учёному, и писателю, работающему в области истории науки, следует сугубо критически относиться к высказываниям буржуазных специалистов. Как видно, автор рецензируемой книги иногда забывает об этом.

Досадное впечатление производят ошибки и неточности, каких немало в книге Поповского. Совершенно неверно, что до того, как Н. Ф. Гамалея стал заниматься инфекционной анемией лошадей, «не было даже исследовательских работ о ней». Таких работ было немало, и сведения о них можно найти в трудах того же Гамалея.

Неверно, что В. М. Бехтерев был первым, кто «применил учение о рефлексах для объяснения законов человеческого поведения». Общеизвестно, что первенство в этом отношении принадлежит И. М. Сеченову. Автор забыл, что он сам несколько раньше говорит об этом.

Нельзя согласиться с оценкой работ А. Г. Полотебнова и В. А. Манассеина, которую даёт А. Поповский, приписывая открытие антибиотиков Б. П. Токину. На самом деле приоритет в области антибиотиков принадлежит Манассеину, Полотебнову и Мечникову.

Рассказывая об истории открытия и изучения таёжного (весенне-летнего) энцефалита, Поповский пишет, что «экспедиция Павловского и микробиологов поспешила туда и вскоре обнаружила причину зла». На самом деле академик Павловский в этой экспедиции не участвовал, там были только некоторые его сотрудники, а экспедиция была организована и возглавлялась профессором Л. А. Зильбером.

Книга А. Поповского содержит большой фактический материал, имеющий определённую познавательную ценность. Первоначальным её вариантом явился очерк того же автора «Заметки о русской науке», напечатанный в «Новом мире» за 1948 год (№ 3), позднее значительно расширенный и дополненный. К сожалению, недостатки этого очерка не были исправлены автором, и они остались в книге, опубликованной в 1950 году.

Ю. МИЛЕНУШКИН.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

(Май — июнь 1951 года)

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

К. Маркс. Критика Готской программы. 47 стр. Цена 50 к.

К. Маркс и Ф. Энгельс. Манифест коммунистической партии. 72 стр. Цена 1 р.

В. И. Ленин. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905—1907 годов. 212 стр. Цена 3 р.

В. И. Ленин. Апрельские тезисы. 64 стр. Цена 1 р.

В. И. Ленин. Критические заметки по национальному вопросу. 40 стр. Цена 50 к.

В. И. Ленин. О праве наций на самоопределение. 68 стр. Цена 75 к.

В. И. Ленин. Очередные задачи советской власти. 100 стр. Цена 1 р. 25 к.

В. И. Ленин. Рассказ о II съезде РСДРП. 19 стр. Цена 30 к.

И. Сталин. Вооружённое восстание и наша тактика. 14 стр. Цена 15 к.

И. Сталин. Класс пролетариев и партия пролетариев. 16 стр. Цена 15 к.

И. Сталин. Политический отчёт Центрального Комитета XIV съезду ВКП(б). 104 стр. Цена 1 р. 25 к.

И. Сталин. Политический отчёт Центрального Комитета XV съезду ВКП(б). 84 стр. Цена 1 р.

К. Абресенко. Советская социалистическая культура — самая передовая культура в мире. 64 стр. Цена 65 к.

П. Каширин. Реакционная сущность религиозной идеологии. 68 стр. Цена 75 к.

А. Ляпин. Труд при социализме. 112 стр. Цена 1 р. 50 к.

О государственном бюджете РСФСР на 1951 год и об исполнении государственного бюджета РСФСР за 1950 год. Доклад и заключительное слово министра финансов РСФСР депутата И. И. Фалеева на первой сессии Верховного Совета РСФСР 3-го созыва 13 и 17 апреля 1951 г. Закон о государственном бюджете РСФСР на 1951 г. 33 стр. Цена 30 к.

С. Татур, А. Соколовский, В. Мнацаганова. Использование личных счетов экономики в борьбе за социалистические накопления в промышленности. 168 стр. Цена 2 р.

Д. М. Трошин. Диалектика развития в мицуринской биологии. 184 стр. Цена 2 р. 50 к.

Г. Хачапурядзе. Большевики Грузии в боях за победу советской власти. 341 стр. Цена 7 руб.

И. Чигарёв. Четырнадцатый съезд ВКП(б). 116 стр. Цена 1 р. 50 к.

И. Шкадаревич. Американские империалисты — злейшие враги мира, демократии и социализма. 128 стр. Цена 1 р. 35 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

П. Автомонов. Без межи. Повесть. Авторизованный перевод с украинского Льва Шапиро. 192 стр. Цена 3 р. 50 к.

С. Бабаевский. Свет над землёй. Роман. Книга II. 302 стр. Цена 7 р.

А. Белиашвили. На перепутья (Бесики). Исторический роман. Перевод с грузинского. 644 стр. Цена 14 р. 75 к.

А. Броделе. Марта. Повесть. Авторизованный перевод с латышского Д. Глезера. 196 стр. Цена 5 р.

Н. Васильев. Америка с чёрного хода. Очерки и зарисовки. Второе дополненное издание 356 стр. Цена 7 р. 50 к.

Василий Гроссман. Степан Кольчугин. Роман. 692 стр. Цена 19 р. 50 к.

А. Гудайтис-Гузьявичюс. Правда кузнеца Игнотаса. Роман. Авторизованный перевод с литовского. 596 стр. Цена 16 р.

Мехти Гусейн. Апшерон. Роман. Авторизованный перевод с азербайджанского. 316 стр. Цена 7 р.

Алексей Зарицкий. Сады над Берёзой-рекой. Стихи. Авторизованный перевод с белорусского. 170 стр. Цена 3 р. 25 к.

А. Кулешов. Поэмы. 140 стр. Цена 3 р.

И. Кочерга. Исторические драмы. Авторизованный перевод с украинского. 272 стр. Цена 7 р. 50 к.

Терень Масенко. Стихи. Авторизованный перевод с украинского. 172 стр. Цена 3 р.

С. Михайлов. Война—войне. Стихи, басни, эпиграммы. Рисунки Б. Ефимова. 88 стр. Цена 3 р. 50 к.

С. Олейник. Моё слово. Стихи. Перевод с украинского. 118 стр. Цена 2 р. 50 к.

Аркадий Первенцев. Кочубей. Роман. 284 стр. Цена 6 р.

Л. Никулян. Россия верные сыны. Исторический роман. 346 стр. Цена 10 р. 50 к.

А. Пидсуха. Клятва после боя. Перевод с украинского. 127 стр. Цена 2 р. 75 к.

Поэты Дагестана. Сборник стихотворений. 296 стр. Цена 5 р.

Конст. Сямонов. Избранные стихи. 260 стр. Цена 6 р. 50 к.

В. Собко. Залог мира. Роман. Авторизованный перевод с украинского П. Дмитриевой и Н. Тренёвой. 359 стр. Цена 8 р.

Г. Фиш. Мы обновляем землю. 424 стр. Цена 8 р. 50 к.

Элляй. Стихи. Перевод с якутского. 149 стр. Цена 3 р.

ГОСЛИТИЗДАТ

Ари Барбюс. Избранные произведения. Перевод с французского. 552 стр. Цена 10 р.

Христо Ботев. Стихотворения. Перевод с болгарского. 72 стр. Цена 1 р. 20 к.

Ванда Василевская. Родина. Песнь над водами. Очерки. Авторизованный перевод с польского Е. Усиевич. 888 стр. Цена 16 р.

М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах. Том 9. Повести. 1909—1912. 640 стр. Цена 12 р.

Жемайте. Избранные сочинения в двух томах. Том первый. Рассказы и повести. Перевод с литовского Ф. Шуравина. 364 стр. Цена 7 р. 50 к.

Панас Мирный. Собрание сочинений в четырёх томах. Перевод с украинского под редакцией А. Белецкого и А. Дейча. Том 1. Пропащая сила. Роман из народной жизни. 415 стр. Цена 10 р.

Виктор Некрасов. В окопах Сталинграда. 284 стр. Цена 10 р.

Б. Прус. Рассказы. Перевод с польского. 391 стр. Цена 8 р.

Н. Д. Телешов. Повести и рассказы. 264 стр. Цена 5 р.

Л. Н. Толстой. Избранные произведения в трёх томах. Том первый. Повести и рассказы. 1852—1856. 580 стр. Цена 9 р. 50 к.

Л. Н. Толстой. Собрание сочинений в четырнадцати томах. Том второй. Повести и рассказы. (1852—1856). 380 стр. Цена 10 р.

Н. Г. Чернышевский. Эстетика и литературная критика. Избранные статьи. 544 стр. Цена 23 р.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Д. Гранин. Ярослав Домбровский. Повесть. 183 стр. Цена 5 р. 50 к.

Н. Шмелёв. В новой Албании (Молодёжи о странах народной демократии). 117 стр. Цена 3 р. 25 к.

Ник. Шпанов. Заговорщики. Роман. 799 стр. Цена 20 р.

А. Яковлев. Великие стройки коммунизма. 70 стр. Цена 1 р. 20 к.

ДЕТГИЗ

П. Воронько. Наше счастье. Стихи. Перевод с украинского. 128 стр. Цена 3 р. 30 к.

И. Есеволожский. Уходим завтра в море. Повесть. 240 стр. Цена 7 р.

Ж. Гриза. Рыбаки Паламоссы. Рассказ. 32 стр. Цена 80 к.

В. Громов. Что было на земле миллионы лет назад. 72 стр. Цена 1 р.

Л. Кассиль и М. Поляновский. Улица младшего сына. Повесть. 512 стр. Цена 9 р. 50 к.

И. Костенко и Э. Микиртумов. Летающие модели. 128 стр. Цена 5 р.

Н. Носов. Весёлая семейка. 100 стр. Цена 2 р. 10 к.

Рассказы и сказки русских писателей-классиков. 160 стр. Цена 2 р. 20 к.

ГЕОГРАФГИЗ

И. П. Еловацкий. Малайя. 46 стр. Цена 70 к.

В. В. Невский. Первое путешествие россиян вокруг света. 270 стр. Цена 6 р. 50 к.

М. В. Певцов. Путешествия по Китаю и Монголии. 283 стр. Цена 14 р.

Лидия Чуковская. Декабристы — исследователи Сибири. 135 стр. Цена 2 р. 65 к.

ГОСТЕХИЗДАТ

А. И. Погумирский и Б. П. Каверин. Производственный чертёж. (Научно-популярная библиотека). 72 стр. Цена 1 р. 5 к.

Е. К. Прокофьев. Фотографические методы количественного спектрального анализа металлов и сплавов. Часть 1. Приборы. 368 стр. Цена 14 р. 70 к.

О. А. Реутов. Органический синтез. (Научно-популярная библиотека). 64 стр. Цена 1 р.

Энциклопедия элементарной математики. Под редакцией П. С. Александрова, А. И. Маркушевича и А. Я. Хинчина. Книга вторая. Алгебра. 424 стр. Цена 12 р. 40 к.

ГОСФИНИЗДАТ

З. В. Атлас. Укрепление денежных систем СССР и стран народной демократии. Инфляция в странах капитализма. 226 стр. Цена 7 р. 50 к.

А. А. Кочетов. Хозяйственно-культурное строительство и бюджеты союзных республик. 135 стр. Цена 3 р.

Н. Н. Любилов. Международный капиталистический кредит — орудие империалистической агрессии. 168 стр. Цена 12 р. 50 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

И. Андерссон. История Швеции. Перевод с шведского. 408 стр. Цена 20 р. 25 к.

Ма Фын и Си Жун. В горах Люйляча. Перевод с китайского. 568 стр. Цена 16 р. 20 к.

Оуян Шань. Слуга народа. Перевод с китайского. 202 стр. Цена 6 р. 20 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИСКУССТВО»

И. Бэла. Чешская оперная классика. 153 стр. Цена 12 р. 50 к.

А. Виннер. Как пользоваться акварелью и гуашью. 52 стр. Цена 3 р.

К. Виноградов. Краснознаменный ансамбль Советской Армии. 84 стр. Цена 4 р. 25 к.

А. Гераскина. Аттестат зрелости (пьеса). 133 стр. Цена 2 р. 75 к.

Н. Коваленская. История русского искусства первой половины XIX в. 196 стр. Цена 25 р.

Е. Люфанов. Жигули (пьеса). 102 стр. Цена 2 р. 15 к.

Н. Погодин. Пьесы. 501 стр. Цена 22 р.

В. Собко. Жизнь начинается снова (пьеса). 107 стр. Цена 2 р. 25 к.

А. Сидоров. В. Н. Яковлев. 78 стр. Цена 12 р. 50 к.

К. С. Станиславский. Работа актёра над собой. Части I и II. 666 стр. Цена 30 р.

П. Цырлин. Французские художники в борьбе за мир и демократию. 42 стр. Цена 3 р.

А. И. Южин-Сумбатов. Записки. Статьи. Письма. 611 стр. Цена 35 р.

А. Якобсон. Пьесы. 294 стр. Цена 12 р. 50 к.

ПРОФИЗДАТ

Яков Баш. Горячие чувства. Роман. Авторизованный перевод с украинского Владимира Юрезанского. 332 стр. Цена 11 р. 50 к.

СЕЛЬХОЗГИЗ

А. Т. Карчанов, Г. М. Савельев. Подсобные предприятия в колхозах. 608 стр. Цена 12 р.

В. К. Милованов. Новое в биологии размножения сельскохозяйственных животных. 400 стр. Цена 9 р. 65 к.

«СОВЕТСКАЯ НАУКА»

А. И. Белозерский и И. И. Прескуряков. Практическое руководство по биохимии растений. 388 стр. Цена 11 р. 50 к.

Л. А. Зенкевич. Фауна и биологическая продуктивность моря. Том I. Мировой океан. 506 стр. Цена 35 р.

С. С. Перов. Биохимия белковых веществ. 360 стр. Цена 12 р. 50 к.

Птицы Советского Союза. В 6 томах. Под редакцией Г. П. Дементьева и Н. А. Гладкова. Том I. 652 стр. Цена 35 р.

Л. С. Фридланд. По дорогам науки. Рассказы о медицине. 380 стр. Цена 14 р. 50 к.

УЧПЕДГИЗ

Воспитание ребёнка в семье от трёх до семи лет. Под редакцией Е. А. Флёринной. 279 стр. Цена 5 р. 15 к.

В. А. Матисен. Опыт работы станции юных натуралистов. 264 стр. Цена 6 р. 15 к.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
УССР

Владимир Союра. Избранное. Стихи и поэмы. 182 стр. Цена 12 р. 20 к.

Павло Тычина. Избранные произведения. Стихи. 352 стр. Цена 17 р. 50 к.

«РАДЯНСЬКИЙ ПИСЬМЕНИК»

Леонид Смилянский. Михаил Коцюбинский. Повесть. 192 стр. Цена 7 р. 50 к.

СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Е. Ружанский. Умельцы. Стихи. 32 стр. Цена 1 р. 75 к.

С. С. Шварц, В. Н. Назлинин, Н. Н. Данилов. Животный мир Урала. 176 стр. Цена 5 р.



Главный редактор **А. Т. Твардовский**
Редколлегия: **М. С. Бубеннов, В. П. Катаев,**
С. С. Смирнов, А. К. Тарасенков, К. А. Федин, М. А. Шолохов

Редакция: Москва, 6. Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К-5-06-96.

Сдано в набор 9/VI-51 г.

Подписано к печати 21/VI-51 г.

А 05221

Объём 18 печ. л.

Тираж 104.000

Заказ № 1078.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова.

Цена 9 руб.